

# ОТВЕТ

Эркин Агзамов  
ОТВЕТ

Асад Дилмурадов  
ТАИНСТВЕННЫЕ СТУПЕНИ

Мурад Мухаммад-Дост  
ОТСТАВНОЙ

Хайриддин Султанов  
В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ

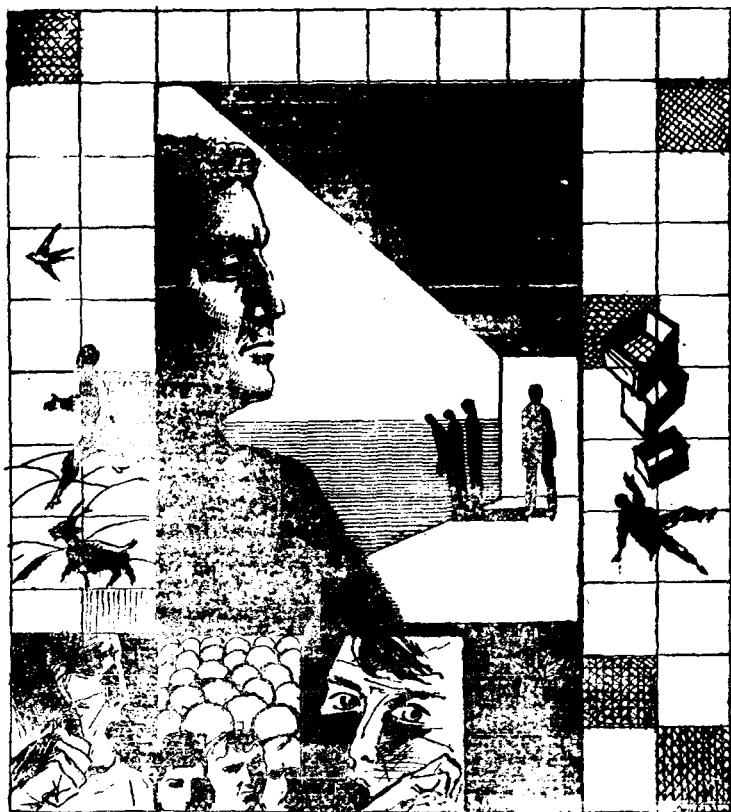
Повести  
*Перевод с узбекского*

ТАШКЕНТ  
Издательство литературы и искусства  
имени Гафура Гуляма  
1987

Уз2  
О—80

С  $\frac{4702570200-134}{М 352(04)-87}$  72—87

© Перевод на русский язык. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1987 г.



*Эркин Агзамов*

ОТВЕТ



Эркин Агзамов родился в 1950 году.

Закончив Ташкентский университет, работал на радио и в республиканских журналах. Был участником VII Всесоюзного совещания молодых писателей в 1979 году.

Ныне Э. Агзамов — автор прозаических книг «Ночь негаснувших огней» (1977), «Год рождения Атаи» (1981), «Голубой мир» (1983), «Ответ» (1986).

Рассказы его переводились на языки народов СССР, а также за рубежом.

За сборник «Год рождения Атаи» Э. Агзамов удостоен в 1982 году премии Ленинского комсомола Узбекистана.

Он переменялся внезапно, у всех на виду. Да так, что сам на себя стал не похож. Ну, скажите на милость, разве этот человек — Нуриддин Эльчиев? Впрочем... для знакомых и сослуживцев он по-прежнему «Нуриддин Эльчиевич» или «товарищ Эльчиев» — кому как больше нравится, а для семьи — отец и муж. Но нет, нет, — и аллах тому свидетель! — он уже не прежний Эльчиев. Он другой, совершенно другой. А того, что раньше был, уже нет, тот — раздавлен, и надо бы ему рассказать сейчас обо всем, но как? Как?!

Время, понятно, меняет человека: меняет и внешность его, и привычки, и взгляды. Но сущность... сущность-то неизменна. Взять ту же совесть: либо она есть, либо нет. Можно, конечно, жить под той или иной личиной, пускать, как говорится, пыль в глаза. Только надолго ли хватит?..

Да, но что все-таки произошло с Нуриддином Эльчиевым? С прежним Эльчиевым?

Людей вроде Эльчиева вы встретите в любом порядочном учреждении. Вы увидите их скромно сидящими в зале заседаний — для массовых сцен необходимы люди! — поднимающих, когда положено, руки, аплодирующих правильным речам; и пусть отведена им скромная роль статистов, без них мертво емкое понятие — все.

При распределении путевок и прочих благ о таких вспоминают крайне редко. Другое дело, если на голову свалилась беда и срочно требуется помощь. Здесь эти люди — надежные и бескорыстные — незаменимы. Кто-то неделями не показывается на службе — и ничего, а такому достаточно отлучиться на час-другой, чтобы вы почувствовали: кого-то рядом недостает.

У них свое место, пусть скромное и незначительное, но — свое!

Итак, жил в большом городе человек по фамилии Эльчиев. Утром шел на работу, вечером — с работы, чи-

тал газеты, охотно садился за шахматную доску, был сверх меры общителен, просто минуты не выдерживал в одиночестве. Бывало, после работы заглядывал с сослуживцами в кафе, что напротив. Там всегдалюдно, шумно и дымно, но то — не помеха, особенно если он, Эльчиев, в ударе. Как признанный тамада, заводит он традиционную аскию<sup>1</sup>, заставляя соседей по столу смеяться до упаду, и сам хохочет громче всех. В общем, весельчак, душа-человек.

Если затевается в чайхане плов — идут за Эльчиевым. И знают, он все будет делать сам: дрова наколет и подбросит их в очаг, нарежет морковь, промоет рис... От помощи откажется — своим рукам больше доверия. И если кому-то такие обязанности в тягость, для Эльчиева они — в порядке вещей, берется он за них без чьих-либо понуканий, по доброй воле. Окружающие к этому привыкли, и если вдруг не оказывается его на своем месте, удивляются, а то и упрекают. И нет человека, который задался бы вопросом, а почему, собственно, Эльчиев? Почему именно он? Отчего повелось — как застолье, так черновую работу — Эльчиеву? А все просто: для них Эльчиев есть Эльчиев и никем иным быть не может, потому что он Эльчиев! Да и сам он давно привык к этому. Случается, найдет на него хандра, и хочется тогда ему бросить все к чертовой матери. Но как посмотрят на это другие? Да и что, в конце концов, такого, если он похлопочет лишний раз?!

Никогда Эльчиев не роптал на свою судьбу. Он принимал жизнь как она есть, довольствуясь малым и не бегая впоыхах за чем-то большим. По натуре скромный, лишенный нахальства и напористости, он уже долгие годы занимал одну и ту же должность, тогда как некоторые, толком и не поработав, уверенно обходили его по службе. Стоило такому новоиспеченному начальнику опуститься в мягкое кресло, он тут же начинал заговаривать с Эльчиевым свысока, обременять его служебными и неслужебными поручениями. Всякий раз Эльчиев удивленно вскидывал брови: «Вот же как бывает!» — и брался — а что делать? — за работу. И всем он нравился именно таким: скромным и исполнительным. А что там у него на душе? В сущности, какое это имеет значение!

И у себя дома он был точно таким же: надо, так он

---

<sup>1</sup> Аския — остроумная шутка-экспромт.

и посуду вымоет, и сыну брюки погладит, не видя в том ничего зазорного. А вот чего не выносил, так это мелких ссор да скандалов, предпочитая им добрую шутку и задорный смех. Соседи завидовали миру и согласию в доме Эльчиных.

Еще любили Эльчины принимать гостей. Повод для их приглашения всегда найдется: дочь институт окончила, старший сын из армии вернулся, младший — похвальную грамоту получил. Угощение у них всегда на славу. Здесь и тандыр-кебаб, и гранатовый сок, и полон стол жареного и печеного. Гости уплетают все за милую душу, а про себя, возможно, усмеваются: «Чудак-человек, в квартире телевизора нормального нет, а он такие деньги — на ветер!»

И вот этот человек внезапно переменялся: замкнулся в себе, стал хмур и неразговорчив. Во взгляде его — прямом и открытом — появилось какое-то виноватое выражение. Ну разве по нему такая жизнь?

И он решился...

Впрочем, кое-что до этого произошло...

\* \* \*

— Камалиддин, что с вами?

Три дня, как вернулось к нему сознание. И три дня он молча лежит, положив руки под голову, и смотрит в потолок, а как только в дверях палаты появляется знакомое лицо, отворачивается к стене. Невыносимо больно, что приходят к нему, живому...

Зачем, зачем он остался? Почему не ушел? Ведь должен был уйти. Должен! Уйти безвозвратно! Как все надоело! Зачем, зачем же вернули его к этой постылой жизни?

— Камалиддин, что с вами?

Это первое, что он услышал, очнувшись. Слово издали доносилось тихий плач и это жалобное: «Камалиддин, что с вами?»

Он с трудом разомкнул ресницы: у изголовья сидела женщина и теребила в руках носовой платок. В покрасневших глазах женщины застыли, искрясь на свету, слезы.

В прежней жизни он хорошо знал эти глаза...

— Что с вами, Камалиддин?

Будто не минуло сто-оляк лет, сто-оляк событий... По-прежнему Нуриддин и Мастура привычно называ-

ют друг друга именами старших своих детей: она е: Камалиддином, а он ее — Джасурой...

...В те годы он был просто Нуриддином, неотесанным, кишлачным пареньком с острыми плечами и выширающими лопатками. С другом детства и юности, а потом сокурсником Хайдаром снимали они комнату на улице Арпапая. Хозяевами была у них немолодая чета парикмахеров — люди замкнутые, но в общем, славные, работающие. Ни минуты не посидят без дела, то в доме наводят порядок, то во дворе, то в курятнике. К квартирантам, однако, — ни ногой, платят исправно — и ладно. Неназойливость хозяев была очень кстати, тем более что комната у ребят находилась в отдельной постройке, прямо у ворот, и навещать к ним могли односельчане, учившиеся, как и они, в Ташкенте. Именно здесь справлялись дни рождения, устраивались большие и малые застоля.

Было время... Бурлит и пенится быстротечная река жизни, мир вокруг таинственен и переливается всеми цветами радуги. Душа города — Бешагач; неспокоен пульс старой площади; в зелени утопает двор финансового института; подсвеченный вечерними огнями театр Мукуми, красочные афиши спектаклей «Тахир и Зухра», «Лейли и Меджнун»; Комсомольское озеро, шумный парк, незатихающие карнавалы, фестивали, концерты, которым, кажется, нет конца; раздуваются по ветру модные по тем временам мешковатые брюки и просторные украинские рубахи с вышивкой... Попробуйте появиться сегодня в таком наряде — засмеют. А тогда, тогда без него, как сейчас — без джинсов и кроссовок. Нуриддин тоже щеголял в такой рубахе, — деньги заработал на сборе хлопка, — и в брюках, подаренных ему братом в честь его поступления в институт. И не беда, что все висело на нем, как на вешалке, и что волосы, жесткие и непослушные, никак не зачесывались назад. Многие так ходили, и он ходил, чувствуя себя этаким франтом. Когда-то ходил! Теперь воспоминания об этом более похожи на чудесный, но, увы, скоротечный сон. Разве что старая кинолента о чем-то напомнит, что-то оживит в памяти...

Нет, и в те времена жизнь не казалась, да и не была сплошным праздником. Были в ней свои тревоги и огорчения. Все было. Но сегодня тогдашние хлопоты и переживания кажутся милыми пустяками, имеющими даже сладостный привкус. На то и молодость...



Однажды ранней весной Нуриддин, заключив пари две пачки «Беломора», смело бултыхнулся в Анхор. Першился спор сильной простудой и двухнедельным щельным режимом. Температура у него бешено скакала, голова буквально раскалывалась...

Пропотев после очередной дозы аспирина, он пролся и, открыв глаза, увидел перед собой девушку. а вот так же сидела на краешке стула...

— Что с вами, Нуриддин?

Сколько воды утекло с тех пор! Тот же голос, тот же прос... Только вместо «Нуриддина» — «Камалиддин».

Она подогрела ему машхурду — машевый суп, на ормила, а потом они поболтали за чаем о том о сем. И странное дело, он почувствовал себя как-то лучше. Но того, что это посещение Мастуры (так звали эту добрую пери) не случайно, он, кажется, и не заметил. Может, виной тому — болезнь, когда ни до чего нет дела? Да и что тут такого особенного — узнала, что товарищ болен, и пришла проведать. Вообще она такая душевная, общительная, разговаривать с ней — одно удовольствие. Недаром у нее столько поклонников. Но разве оказывала она кому-либо из них такие знаки внимания, как Нуриддину. Что поделать, в молодости мы многого не видим, многого не замечаем. То, что девушка к нему равнодушна, он понял куда позднее, когда Хайдар уже прожужжал ему на этот счет все уши, и когда он, наконец, разгадал лукавые взгляды ее подруг. И ему осталось лишь признаться себе, что он тоже равнодушен к этой хрупкой и беззащитной на первый взгляд девушке.

Мастура одевалась скромно, быть может, даже скромнее своих подруг, но всегда со вкусом. Все, что бы она ни надела, необычайно шло ей и неизменно выделяло ее среди остальных девушек. И красота ее, хоть и неброская, чем-то привораживала, — в те времена о женской красоте судили в большей степени не по одежде!

После лекций влюбленные выходили из институтского двора и шли вдоль трамвайной линии к скверу Революции. Правда, до наступления темноты Нуриддин чувствовал себя скованно; любопытные, как ему казалось, взоры прохожих действовали на него удручающе: он краснел и покрывался холодным потом, говорил что-то невпопад или вовсе умолкал. Лишь когда опускались на город сумерки, Нуриддин успокаивался, распрямлял плечи и брал Мастуру под руку. Улица Карла Маркса,

в те годы оживленная и разноликая, знаменитый книжный магазин, Центральный универмаг... Сколько раз проходили они туда и обратно, заглядывая по пути в магазины,— они стали завсегдатаями этой улицы. А еще был парк...

Этот парк на Комсомольском озере славился не только фестивалями и молодежными гуляниями. Особую репутацию создавали ему бешагачские хулиганы, от которых не было никакого спасу. Влюбленных тут нередко поджидали сюрпризы... И к Нуриддину как-то пристали. Он не струсил, подравшись с грозой Бешагача Анваром-Паханом, и тому это понравилось. С того самого дня Нуриддин пользовался особым покровительством Анвара-Пахана и мог гулять с Мастурой везде, где им заблагорассудится.

В тот летний день они вышли из института и пошли привычным маршрутом, минуя театр. Вдруг кто-то окликнул их. Обернулись и опешили: на низком стульчике у ларька с квасом, скрестив ноги и держа в руках пустой стакан, сидел человек в сдвинутой на самое темя чустской тюбетейке, украинской рубашке с высоко закатанными рукавами и широких брюках. Они, конечно, сразу узнали его. То был поэт, знаменитый поэт. Они глядели на него, не веря своим глазам, а он, улыбаясь, махнул их рукой:

— Что же вы встали? Подойдите, молодые люди...

Парень с девушкой несмело двинулись к нему. Поэт привстал, вытер губы и поздоровался с обоими за руку. Затем повернулся к продавцу, облокотившемуся на прилавок и утопившему круглый подбородок в мокрых ладонях.

— Эй, Мише, налей-ка пару кружек! Лей, не жалея, дорогой! Знаешь ли ты, кто они? Не знаешь! Потому что ты сиднем сидишь в своей будке и знаешь только одно— дурить стариков вроде меня. Они — наше будущее, квасходжа. Запомни, будущее!— Протянув молодым людям по полной кружке, поэт хитро подмигнул Нуриддину.— Дочка-то наша, видать, ташкентская,— только промолвила словечко, а я уже понял, что она с Мирабада или Камалана. Отца ее, конечно, не знаю, но подозреваю, что он учитель. Верно?.. А ты, парень, откуда будешь?— спросил строго, будто для протокола.

Нуриддин растерялся и промямлил в ответ что-то невразумительное.

— Что ж так несмело?— рассердился поэт.— Во весь

голос говори, льбенок, что с родины Алпамыша! Говори, что ты сын гор, что продрался сквозь острые, неприступные скалы. Кунградские или Чигатайские?.. Надо же, она из большого города, а он — с горных вершин! Значит, Фархад спустился в долину за своей Ширин? Молодец, молодец. Так держать, Фархад! И помни, сокол не сокол, если не стремится к вершине!

Он вдруг крепко сжал Нуриддину локоть:

— Честно скажи: любишь?

Нуриддин смутился, опустил глаза.

— Любишь, по глазам вижу, — удовлетворенно произнес поэт. — Любит он тебя, дочка, и это замечательно. Идите и будьте счастливы!

Сказал, словно благословил.

Можно ли забыть эти слова?

И снова пришла весна...

«Мы с бабушкой хотели немного прибраться во дворе, — как-то сказала ему Мастура. — Не помогли бы вы с Хайдаром в это воскресенье?» Так впервые очутился Нуриддин в доме на Караташе, где жила Мастура со своей бабушкой. О бабушке он был, естественно, слышан, но никак не ожидал увидеть столь живую, подвижную старушку. И встретила она их так, будто знала с рождения: шутками да прибаутками. А за чаем вовсе сразила друзей, прочтя на память несколько газелей из Кувайдо.

Работа оказалась пустячной, и с ней быстро управилась. Когда двор был очищен, бабушка вспомнила про виноградник. Нуриддин принес лестницу и залез подвязывать к жердям лозы. Хайдар отошел в сторонку и возобновил шуточный разговор со старушкой, а Мастура осталась помогать. Она подавала обрывки шпагата, Нуриддин завязывал. Она приподнималась на цыпочках; глаза, нежные белые руки, все тело ее устремлялось к нему, и Нуриддин, наклоняясь, словно бы встречал девушку с распростертыми объятиями.

А ночью он закрывал глаза, и ему виделись опрятный дворик с черной шелковицей посередине, улыбочивая старушка, томящийся в казане плов... Но даже в самых дерзновенных мечтаниях не мог он предположить, что эта старушка и дом ее станут для него родными.

«Вы понравились моей бабушке, — сказала на другой день Мастура. — Она вас хвалила. Говорит, вы такой спокойный и рассудительный, не то что ваш приятель».

Эти слова стали поворотными в судьбе Нуриддина. Майским вечером (бабушка уехала в Паркент к младшей дочери) Мастура пригласила домой Нуриддина и нескольких сокурсников, и они славно провели время. Оставив гостей, влюбленные до рассвета просидели на скрытой зелены супе, поверяя друг другу самые сокровенные тайны. Большею частью говорила Мастура. Она рассказала о матери, которая умерла при родах, когда Мастуре не было и двух лет, об отце, женившемся вскоре после этого вторично. Теперь у него была новая семья, должность, положение; Нуриддин даже присвистнул, когда Мастура назвала его имя. Кто же не знает этого человека? С отцом они виделись редко: он сам приезжал раз или два в году, соскучившись, и всегда ненадолго. Бабушка не очень-то одобряла их общение.

Слезы капали из глаз девушки, и Нуриддин пробовал ее успокоить, но где там!

Потом были другие такие ночи и рассветы...

Народу на их свадьбе собралось немного, в основном молодежь — однокурсники, его друзья-односельчане. Пришли также ближайшие соседи да несколько родственников невесты по материнской линии. Родных жениха не было; там, в кишлаке, весть о женитьбе Нуриддина встретили негодующие. Отец с матерью, недовольные его самоуправством, припомнили о давнем сговоре. Он ведь должен был взять в жены дочь своего троюродного дяди; не беда, что бедняжка еще заплетала косички, дожидаясь его возвращения...

Но так или иначе, а все свадебные расходы легли на плечи молодых. Стол богатым назвать было нельзя, и начало свадебного застолья было каким-то приглушенным. Однако потом все стало на свои места и свадьба вышла похожей на свадьбу. Особенно старался Хайдар, которому была отведена роль главного распорядителя. Он успевал повсюду, развлекая гостей и трогательно опекая молодоженов. Тогда ведь его еще не величали Хайдаром Самадовичем!

В полночь, когда веселье пошло на убыль, приехал с друзьями старший брат жениха Наджмиддин и, конечно, не с пустыми руками! Застолье, было угасшее, разгорелось с новой силой...

Окончив институт, Нуриддин остался в городе. Дружная семья, работа по душе, что еще надо? Он не показывался в родном кишлаке года два, два с половиной, но

потом все-таки приехал на свадьбу сестренки, а потом — на поминки близкого родственника. Его старики, примирившиеся с женитьбой сына, — а что делать? — уговаривали молодых перебраться в кишлак. Но разве могли они бросить на произвол судьбы старую бабушку Мастуры?

Бабушка умерла незадолго до памятного ташкентского землетрясения. Дома, хранившего о ней память, тоже в скором времени не стало, его снесли, а они получили квартиру на Куйлюке. Домашние хлопоты, забота о растущих детях — куда уж там было трогаться с места!

Слишком многое теперь связывало его с городом, слишком глубоко были пущены корни. Он и не представлял себе другой жизни, хотя, будучи иногда не в духе, упрекал жену: «Из-за тебя, неженка, столько лет живу вдали от родного дома».

Односельчане считали его, как видно, большим человеком. Но стоило ему появиться в родном кишлаке, друзья-товарищи начинали подбивать клинья: «Когда же вернешься? Для тебя здесь всегда местечко отыщется. Может, не такое, как в городе, но скучать не придется». Он обыкновенно отшучивался, а сам почему-то вспоминал своих более удачливых сокурсников. Один заведовал райфинотделом, другой был начальником статуправления, третий — управляющим банком. О Хайдаре — теперь уже Хайдаре Самадовиче! — и говорить не приходится.

А ему не повезло — как был, так и остался рядовым инспектором. «Фирма» его хотя и республиканская, да утешение небольшое. Что толку в звучной вывеске, коли он сам — мелкая шестеренка в огромном механизме. Каждый, конечно, скажет, что Эльчиев — трудяга, что знает дело, как свои пять пальцев; казалось бы, все на месте, а чего-то для дальнейшего продвижения все-таки не доставало. Может, какого-то невидимого чужому глазу толчка? Впрочем, лет десять назад тогдашнее высокое начальство предлагало ему солидное место в областном банке. И это было как гром среди ясного неба. Тогда-то и ощутил Эльчиев, каков он есть, этот таинственный толчок. Ну, конечно, то было дело рук тестя, постаревшего, вышедшего в отставку, но по-прежнему почитаемого и многое могущего. Тесть незадолго до того заявился с дорогими подарками, чтобы, наконец, познакомиться с избранником дочери да поглядеть на внучат.

Обескураженный этим внезапным предложением,

Эльчиев поспешил за советом к жене. Мастура, умища Мастура, чуточку похожая на мужа, быстро разрешила его сомнения: «Оставьте вы эту затею! Мы, слава богу, сыты и одеты. Я знаю отца — всю жизнь потом будет каяться. И чего это мы вдруг ему понадобились?!»

На другой день Эльчиев вежливо отказался от заманчивого повышения, сославшись на слабое здоровье и попутно заметив, что нынешней работой вполне доволен. Так и закрылся для него вопрос служебной карьеры.

А жизнь шла своим чередом. По-прежнему жили они с Мастурой душа в душу, жена была его надежным спутником. И пусть давно минула молодость, — нежная привязанность, забота друг о друге сохранились. Правда, бывало, что их отношения напоминали своей неустойчивостью весенний ветер.

Случилось это сразу после переезда в новый дом. Привыкая к квартире и к уличному пейзажу, Эльчиев надолго застревал у окна. За окном был виден кусок необжитого двора с недавно воткнутыми в землю саженцами и торец соседнего дома. Каждый вечер в одном из окон того дома показывалась девушка, а быть может, молоденькая женщина, и, завидя Эльчиева, приветливо махала ему рукой. Он кивал ей в ответ. Постепенно они привыкли к такому общению, и Эльчиев стал с нетерпением поджидать каждого нового «свидания» с незнакомкой. Он мучился, стыдясь своего увлечения, но ничего не мог с собой поделать — в положенное время его вновь, как магнитом, притягивало к окну. Ох, уж эти увлечения! Мужчина, отец четверых детей, как мальчишка, теряет голову. Он упорно искал с ней встречи: выходил утром на работу пораньше, задерживался на автобусной остановке вечером. Но мимо проходили женщины, мелькали быстроногие девушки, а «той» все не было. Отчаянно жестикулируя, он просил у нее встречи, а она, прижавшись к стеклу лбом, лишь улыбалась.

Однажды, когда он в очередной раз занял излюбленную позицию у окна, за спиной его раздался голос жены: «Ах, она говорит, что любит вас больше жизни! И вы ей поверили?! Надо же!» Обернулся, — жена смотрела на него, выставив подбородок, и нервно улыбалась. И что было в этой улыбке — жалость, любовь? А может, злодство?

Поймала, а теперь рада его замешательству? Жена

вдруг показалась ему лютым врагом, он увидел в ней само воплощение женского коварства и чуть было не кинулся на нее с кулаками. И что за дурацкое изобличение?! А Мастура стояла перед ним с тлеющей на губах непонятной улыбкой — кроткая и беззащитная...

С той поры Эльчиеву совестно вспомнить эту историю. Бывает, подойдет к окну и припомнит про то глупое увлечение. И вновь его мучает так и неразгаданная загадка: почему Мастура тогда улыбалась? Ни скандала, ни истерики — одна улыбка! Досадуя на себя, он поспешно отходил от окна...

А Мастура никогда не напоминала ему о той истории, ни словом не попрекнула. Уж лучше бы сказала! Как мучительно ждать той секундной вспышки, когда затаенная обида выльется наружу! И страх, что это когда-нибудь случится, не давал ему покоя.

Да, он, между прочим, не ангел! Был у него кратковременный роман с молоденькой Василей, работавшей тогда в соседнем отделе. И попробуй скрыть, если слух об этом прошел сквозь продырявленные уши хайдаровской супруги. О, та прямо оживает от таких слухов! Тут же позаботилась, чтобы обо всем узнала Мастура, и, конечно же, наплела ей с три короба. А когда Эльчиев стал оправдываться, жена досадливо отрезала: «Не вмешайтесь, пожалуйста, в бабьи сплетни!» И все...

Попробуй пойми женщин! Пришел как-то с работы, а Мастура сидит у раскрытого сундука и, плача, прижимает клицу его старую рубашку с вышивкой. И бесполезно о чем-то спрашивать. Пожмет плечами, так, мол, нашло...

До сих пор он не понимал, как та девушка могла стать его женой, его половиной?! Что побудило ее остановить свой выбор именно на нем, Нуриддине Эльчиеве? За какие его достоинства? Наверное, он неплохой человек, и тот Нуриддин был неплохим парнем, да мало ли неплохих людей вокруг?

Он старался избегать подобных мыслей, но ему никак не удавалось избавиться от мучительных сомнений. Временами ему казалось, что за всем этим кроется какая-то тайна, и он порывался даже спросить у жены напрямик: «Почему ты вышла за меня? Почему живешь под одной крышей с обыкновенным неудачником? Ведь я не достоин тебя!»

Вот она сидит, та самая Мастура, и не верится, что позади уже двадцать пять лет. Она снова, как и два ме-

сяца назад, когда он попал сюда, в отделение травматологии, из-за того злосчастного случая, сидит у его изголовья. И тогда она была рядом, сутками дежурила у его постели. Удивительная женщина! Даже дети, и те остались в неведении, мол, был отец слегка пьян и, выходя из автобуса, упал и расшибся...

Какая бездна любви и терпения в этой хрупкой женщине! Откуда они в тебе, Мастура? Чем я заслужил такое отношение? Ну что, в самом деле, ты видела со мной? Что?! Однако ты со всем была согласна и благодарила судьбу за то, что есть. Говорила: пусть дети подрастут и будут здоровы, остальное — потом. А потом были те же бесконечные хлопоты по хозяйству, забота о подросших детях. Но ты... ты, кажется, всегда была счастлива. Может, ты из железа, Мастура? Ты хотя бы раз подумала о себе! А теперь вот я лежу пластом, не смея взглянуть тебе в глаза, опять ставший тебе обузой...

— Камалиддин, что с вами?

Он с трудом разомкнул ресницы, у изголовья сидела женщина и теребила в руках носовой платок. В ее покрасневших глазах застыли, искрясь на свету, слезы. А на виске серебрится прядь.

Он повернулся лицом к стене и закрыл глаза. И снова то ужасное видение. Нет, нет, это всего лишь сон, кошмарный сон!

Два месяца тому назад он лежал в этой же, так называемой «палате катастроф», лежал почти три недели. И, кроме жены, никто в точности не знал, что с ним. Потом он, конечно, обо всем рассказал. Сам рассказал. Возмущению сослуживцев не было предела. Одни, правда, успокаивали: чего в жизни не бывает? Другие, по характеру воинственные, советовали действовать безотлагательно. «Безобразия! — возмущались они. — Избить человека среди бела дня. За решетку их, гадов!» «Напишите в газету!» — советовали третьи.

Делать он ничего не стал, не по нему эта канитель, тем паче следственные органы возбудили дело. Возбудить-то возбудили, да толку мало, скорей, наоборот, над его собственной головой стали сгущаться тучи.

...В тот злополучный день они праздновали день рождения Бахрама. Сидели в закуской, пили за его молодость — парень работал без году неделя; за его энтузиазм — еще бы, вкалывал не покладая рук; за его поч-



тительное отношение к старшим — сразу видно воспитание; за его прекрасное будущее — далеко пойдет, раз хорошо начал. Сам Бахрам помалкивал, слушая эти медоточивые речи, и время от времени исчезал в магазине напротив, возвращаясь с оттопыренным карманом.

Бахрам был парень с понятием. Он бы и сам мог петь дифирамбы каждому из сидящих за столом, но этикет... Сегодня все-таки его день рождения, и к тому же он новичок, а новичку на первых порах надо больше слушать, нежели говорить. Иначе можно составить о себе невыгодное впечатление — так-то. Но из парня, по всему видно, выйдет толк, будет еще руководить — придет его время.

Застолье грозило затянуться, поэтому, когда старуха-уборщица выудила из-под стола очередную порожнюю бутылку, Эльчиев сказал: «Пора...» — и все нехотя стали подниматься. Ведь дай возможность, сидели бы до ночи.

Обменявшись на прощание рукопожатиями, Эльчиев зашагал, минуя парк, к метро. Вдруг на витрине одиноко стоявшего на углу ларька он увидел ровные ряды бутылок с ташкентской минеральной водой. Облизав сухие губы, он машинально нащупал в заднем кармане брюк авоську и свернул к ларьку. Страдая изжогой, он частенько пополнял свои домашние запасы минеральной водой.

Нет, не зря говорят: «рок», «судьба», не зря! Иначе разве родился бы Бахрам именно в этот день? Эльчиев как чувствовал, не хотел идти на это застолье (да и настроения из-за вчерашней выходки сына не было никакого), а все же пошел. И как назло эта «Ташкентская» оказалась на подсвеченной уходящим солнцем витрине, зазывно сверкая пробками. Все одно к одному. Короче говоря, от судьбы не убежишь, и чему быть, того не миновать.

Ведь если бы Бахрам не справлял свой день рождения, если бы Эльчиев не пошел с друзьями, если бы не увидел этих проклятых бутылок с минеральной водой (дома их, между прочим, девать некуда!), если бы не вступил в спор с продавцом, а спокойно прошел своей дорогой — не было бы этой напасти, этих тяжких испытаний. Да что говорить, если уж на то пошло, не навести его четверть века назад девушка по имени Мастура, а потом не пойдил он к ней домой на хашар, и не скажи она: «Вы понравились моей бабушке»; и не останься он ради нее в этом большом городе, и теперь не работай в

этом учреждении, и не ходи именно этой дорогой, и махни рукой на этот день рождения, и не пригуби стакан... Но тогда он был бы не Нуриддином Эльчиевым, а совершенно другим человеком! Поразительно, каждый шаг, каждый твой поступок тысячами нитей связан с другими! И нет тут случайности, то — судьба! Так в чем здесь вина Мастуры? В чем вина ее славной бабушки, душа которой, верно, бродит сейчас по райским кушам? В чем провинился бедный Бахрам, решивший в день своего рождения сблизиться с коллегами? И при чем тут город? Все это — отговорка, обыкновенная отговорка! Нет, ни с того ни с сего вода не потечет и костер не вспыхнет!

Продавец был молод, с аккуратной щеточкой усов. Приятный на вид парень. Но стоило ему заговорить, обнаружилось некое несоответствие между голосом и его приятной наружностью. Казалось, что говорит кто-то другой, скрывающийся за его спиной — грубый и нахальный, а он сам лишь беззвучно ему вторит.

— Ака, я же вам уже сказал — вода газированная! — выкатил парень наглые глаза.

— Вижу, что не пиво, — сказал Эльчиев, стараясь не горячиться. — Но стоит она, братец, не тридцать пять, а тридцать копеек. Запомни на всякий случай и верни мне сорок копеек.

— А эта по тридцать пять — в ней газа больше.

— Вот тебе и на! — с досадой проговорил Эльчиев. — Неужто и такую успели выпустить?! Пожалуй, этой газовой у меня и дома достаточно!

— Идите тогда и пейте!

— Дай мне жалобную книгу! — неожиданно для себя вспыхнул Эльчиев и стал нервно вытаскивать бутылки из сетки.

— Она у хозяина! Не морочьте голову и топайте отсюда подобру-поздорову!

— Позови сюда того хозяина!

К его удивлению, парень послушно исчез внутри ларька. Полминуты спустя он вернулся и пробурчал в нос:

— Вас самих просят, — и показал большим пальцем, куда пройти.

Обойдя ларек, Эльчиев уткнулся в гору из пустых ящиков, которая высилась до самой крыши. За ней он увидел четверых парней. Те сидели у ящика, застеленного газетой. На газете лежали куски вареной колбасы, копченой рыбы, соленые помидоры, а под ногами пар-

ней валялись пустые бутылки. Парни о чем-то живо спорили, не обратив на появившегося перед ними Эльчиева ровно никакого внимания. А он стоял и не знал, как и с кем заговорить.

— Эй,— глянул вдруг на него в упор плотный рыжеволосый парень, который сидел к нему ближе остальных, и потянулся за бутылкой «Столичной».— Выпьешь?

— Нет, я...— растерянно мотнул головой Эльчиев.

Тогда медленно поднялся тот, что был в синем вельветовом пиджаке — рослый и широкоплечий. Он вплотную подошел к Эльчиеву и грубо спросил:

— Что за книга тебе нужна, братан?— А потом в считанные секунды...— На тебе книгу! На, на!..

В глазах Эльчиева потемнело. Падая, он стукнулся головой о ступеньку ларька и зацепил ногой ящики, которые с грохотом попадали вниз и на него самого. Но страшной ящиков оказался град пинков, нет, не пинков, град посыпавшихся камней. От одного из ударов в спину внутри будто что-то оборвалось. Подумал отчего-то про очки: целы ли, не поранил ли случайно глаза? Эти очки—подарок дочери из первой ее полочки... Он посмотрел сквозь пальцы, которыми защищал лицо, и ужаснулся. Перед глазами стояла кровавая пелена. Мир виделся ему в крови, и это была его кровь из рассеченного упавшим ящиком лба. Он закрыл глаза и замер, словно испустил дух.

Сознание медленно угасало, осталось одно-единственное ощущение и один-единственный вопрос: камень, камень, камень... почему, почему, почему?.. камень, камень, камень... почему, почему, почему?

— Хватит, Шавкат, остановись! А то окочурится еще...

Обрывок той фразы застрял в его памяти: «Остановись! А то...» Кто? Который из них? Что ж, и на том тебе спасибо, благодетель...

Очнулся он в больнице. Весь в бинтах, в кровоподтеках, лицо зудит, левый глаз заплыл — не откроешь. У изголовья сидит с поникшей головой жена, и веки у нее красные, опухшие...

— Что с вами, Камалиддин?

\* \* \*

«Он сам, оказывается, был навеселе...»

Клевета — яд, каждая капля которого способна не только ужалить, но убить человека. Бывало, конечно, он

выпивал, но в тот день был трезв, как стеклышко, разве что пригубил рюмку, чтобы не обидеть Бахрама, и то чисто символически. И вообще, в последнее время он особенно страдал от изжоги и по-возможности избегал обильных возлияний. К тому же мысль о сыне, которого увидел днем раньше с той занозой сидела в голове.

«Сам виноват. Знает же нынешние нравы. Интеллигентный человек, а полез выяснять. Связался с хулиганьем из-за пятака. Подумаешь — копейки! Где их только не оставляешь? И что за мелочность!»

Его можно обвинять в чем угодно, но не в этом. Нет, будь он мелочным, вроде тех, кто умеет делать деньги из ничего, то повел бы себя иначе. И продавец, наверное, тоже. А тут грубость этого смазливого малого, угадавшего в нем человека скромных возможностей, дала вдруг выход его собственному раздражению. Мог же махнуть рукой и пройти мимо. Но не прошел.

«Какое хамство! Попросили у тебя книгу жалоб — так дай! А вместо того избili до полусмерти человека, который им в отцы годится! Подонки! Били, видно, пока не выдохлись, а потом ушли. Повернулись и ушли, оставив его лежать в кровавой луже без признаков жизни. И не наткнись на него уборщица, наверняка отдал бы богу душу!»

Ладно, избili бы его опять, раз ни на что другое они неспособны; переломали бы ему руки и ноги, не оставили на теле живого места! Но зачем втапывать в грязь его душу? Как жить ему теперь, как смотреть людям в глаза?!

«Таких надо расстреливать на месте!..»

О чужой беде судят по-разному. Кто так, кто эдак. На то и молва. Что нам стоит, к примеру, посочувствовать со стороны? Это проще, чем разделять чужое горе или помогать ближнему. «Горю чужому не поможешь», — подсказывает нам разум. Случись, однако, та же беда с нами (не приведи, конечно, господь!), мы сразу принимаемся искать всеобщего сочувствия и деятельного участия одновременно, и находим при этом в лице людей близких или далеких лишь сторонних наблюдателей. Таких же, как мы сами. Ведь человек по натуре — любитель зрелищ. И у него есть язык, который, как известно, без костей. Вот и мелет, что ему вздумается. Ладно еще, что язык способен лишь ужалить. Будь иначе, перемалывал бы с зубами заодно, так что искры бы изо рта сыпались!

Впрочем хорошо, что язык без костей,— отрезать легче...

\* \* \*

— Вы о нас, папа, подумали?..

Сказала — и больше ни слова. Молча чистит, растелив на коленях газету, желтокожий банан.

Она вошла в палату и, сухо кивнув его соседям, прошла к отцу. Присела на стул и, как-то странно взглянув на него, тихо проговорила: «Вы о нас, папа, подумали?..» И в этом вопросе вся ее любовь к нему и вся горечь.

«Подумал, доченька, хорошенько обо всем подумал. Именно поэтому...»

Эльчиев знал: если бы он ушел, его дом наполнился бы громкими рыданиями. Плакали бы все: жена, дети, собравшиеся родственники, ну все-все, а дочь стояла бы в стороне, не проронив слезинки. Ей делали бы замечания, упрекали в бессердечии: не стыдно тебе, родная дочь, а стоишь, как на чужих похоронах, нет слёз, так хоть иди лук порежь...

Но он точно знает, что никто не скорбел бы в тот момент больше, чем она. И когда гроб с его телом подняли бы на плечи — а ведь так могло случиться! — эта самая девушка, его бессердечная дочь, истуканом стоявшая в углу комнаты, тихо застонала бы, и слышалось бы в ее стене душераздирающее: «Оте-ец!».

Да, худо умирать за тридевять земель от родного дома, очень худо... И потом, что может быть горше вечной разлуки?.. Но высохли б по нему слезы, стихла боль, и память о нем осталась бы лишь в смутных воспоминаниях. Да и те постепенно бы стерлись, и дети — плоть от плоти его — предали бы отца забвению...

Эльчиев отвернулся к стене, чтобы дочь не увидела слезы у него на глазах, и пролежал так довольно долго, пока не взял себя в руки.

— Нате, съешьте... Дина из Москвы привезла, — протянула дочь очищенный банан.

Эльчиев, вздрогнув, отдернул было руку, но, чтобы она не обиделась, взял банан и положил на тумбочку.

— Ну как твои дела, дочка?

— Дела?.. Перехожу на другую работу, папа.

— Почему?

— Долгий разговор, — вздохнула она и, завернув ко-

журу в газету, сунула в сумку.— Мне предложили завести отделом!

— А что в этом плохого?

Нахмурилась, дочь пристально посмотрела на него:

— Ведь вы сами знаете! Думаете, они случайно выбрали меня, когда у нас столько достойных кандидатур да еще со стажем?

Эльчиев почувствовал, что ему не хватает воздуха.

«Ведь у вас взрослые дети — сын и дочь, хорошо бы о них позаботиться...» Тогда он не сразу понял, что стоит за этой фразой. Значит, так решили они сломить его. Гадды! Подачками норовят взять, подачками! Ох, как глубоко пустили они корни! Какой далекий расчет, какой тонкий подход! Но не клюнула дочка на их наживку, не приняла милостыни. Честь и достоинство отца ей дороже! Умница ты моя!

«Ведь у вас взрослые дети — сын и дочь...» Да, сын и дочь! Вот она рядом — его птичка-невеличка, смелая защитница отцовской чести! Чего можно еще пожелать, когда есть такие защитники?

Дочка, первая и единственная, была любимицей Эльчиевых; многие печали и радости на заре их супружеской жизни были связаны с ней, и первые морщинки у глаз Мастуры появились тогда же. Кажется, не было такой болезни, которая бы к ней не прилипла, и больницы, где бы она не лежала. Она словно бы отболела и за себя и за младших братьев, которые вырастали незаметно для родителей.

Заканчивался рабочий день, и Эльчиев торопился в больницу, где с нетерпением ждала его маленькая дочка. Едва он открывал дверь палаты, Джасура соскакивала с койки и бежала к нему навстречу. Эльчиев садился на корточки, и дочурка, обхватив худенькими, совсем прозрачными ручонками его шею, шептала на ухо: «Папочка, знаешь, а мне сегодня опять укольчик делали, и я совсем-совсем не плакала». Потом, сидя у него на коленях, она весело щебетала, поверяя ему свои незамысловатые тайны,— тоскливая больничная жизнь не лишила ее жизнерадостности. Иногда же ни с того ни с сего она начинала целовать ему руку, кончики пальцев, и Эльчиева умиляла эта безотчетная ласка.

Когда Джасура пошла в школу, с ней произошла странная, но радостная для Эльчиевых метаморфоза — все болезни ее как рукой сняло, разве что желтухой в восьмом классе переболела. Избалованность, свойствен-

ная обыкновенно людям в детстве хилым и болезненным, была ей чужда, и вообще Джасура была непохожа на многих своих сверстниц. Ни разу от нее не услышали: «Хочу то!» или «Купите это!» Студенткой она ходила в институт в старом школьном пальтишке и не жаловалась. Сама скромность, а не девушка!

На втором курсе Джасура стала выходить из дома чуть свет. «Нулевая пара,— бросала она на ходу.— Я опаздываю!» Что это за «нулевая пара», Эльчиев узнал только несколько месяцев спустя. Как-то Джасура вернулась домой с большим свертком — в нем было новое пальто,— и Мастура, естественно, стала допытываться, на какие деньги куплено? Тогда-то дочь и призналась, что работает уборщицей в небольшой конторе. Эльчиев страшно рассердился: «Как это так, не спросившись, пойти работать... Да что ж, мы сами в конце концов не в состоянии купить тебе пальто? Немедленно увольняйся!»— «А что в этом плохого?»— отвечала Джасура с улыбкой. Работу она не оставила.

С одной стороны, их с женой радовала ее самостоятельность, но она же и пугала. Они стали строже контролировать ее, но Джасура по-прежнему не изменяла своей вольной натуре. Защитив диплом, пошла по распределению в приглянувшийся ей проектный институт в двадцати минутах езды на автобусе. С первой полочки она купила матери японский зонтик, а отцу импортную рубашку и очки, те самые очки...

И вот их любимицу Джасуру хотят использовать в своей грязной игре вроде шахматной пешки. Проведут ее в королевы — и баста! Но они просчитались. Она уйдет с этой работы и заодно не будет видеть перед собой лицо того паршивца...

Однажды вечером (он уже вышел на работу после больницы) Эльчиев застал дома пять или шесть незнакомых женщин. Мимоходом Мастура шепнула ему, что родня Юсупа пришла посмотреть их квартиру. Он вышел на балкон, закурил.

Жена говорила ему как-то, что у Джасуры есть парень, с которым она работает в одном институте. Ничего удивительного в этом посещении, стало быть, не было, другое дело, почему они пришли именно сейчас? «Вот характерец! Взяла и поставила перед фактом, — с ревностью подумал он, закуривая новую сигарету.— А впрочем, как ни крути, девушка — чужая собственность. Не сегодня уйдет, так завтра».

Женщины тем временем столпились в прихожей, стали прощаться. И надо же было появиться в ту минуту следователю да еще в форме. Ну да что там, Эльчиев сам виноват — игнорировал его вызовы в милицию.

Два дня спустя стал известен результат визита свах. Джасура, по словам матери Юсупа, оказывается, не чета ее распрекрасному сыну. Понятно, обстановка в квартире Эльчиевых для чужих глаз малопривлекательная, но это, как говорится, полбеда. Милиционер в доме, конечно, побудил женщин сделать рейд по соседям. А те — люди разные, вот кто-то, видимо, по доброте душевной, и брякнул, что к Эльчиеву, мол, милиция день и ночь ходит, все допытываются, кто и за что его недавно так зверски избил. А на квартиру посмотреть — цыганский шатер. Непохоже, чтобы там собирались играть свадьбу дочери: ни ковров дорогих, ни серванты от хрустала не ломаются, да и все прочее...

Не прошло и месяца, как Юсуп женился. Невеста нашлась, видно, под стать ему — с хорошим приданым. А что там любовь?! Чушь! Дым! Эльчиеву было обидно за дочь: такая умница, а не разглядела человека. Поверила, видно, его красивым словам о любви, вечной весне. А этому прохвосту, судя по всему, нужна была не любящая жена, а денежный мешок... Как же ты, дочка, не почувствовала этого раньше! Ведь для людей такого сорта человек и сердце человеческое подобны ходовому товару: они сначала приценятся к нему да поторгуются, как на базаре, и если не сойдутся в цене, спокойно отодвинут в сторонку. Но не понимают, что при этом сами превращаются в жалких и презренных рабов, которых легко купить и продать... Ну теперь-то ты поняла, что это за люди, доченька? Я твой отец и не могу спросить тебя об этом напрямик. А ты, моя дочь, не говоришь... Может, я ошибаюсь, но кажется мне, что ты уже ничему не веришь. Дай бог, чтобы я ошибся.

Им с Мастурой больно было смотреть на дочь. Та замкнулась в себе: все молчит и молчит — слова из нее не вытянешь. Придет с работы, проскользнет в свою комнату и не показывается. Поинтересуется мать, как ее дела, ответит, уставясь в пол, что нормально, — и молчок. Дважды за какую-то неделю приходили к ним сваты, но оба раза слышали один ответ: «Не утруждайте себя понапрасну, я не собираюсь замуж...»

И сейчас, размышляя о судьбе дочери, Эльчиев почувствовал, как закололо в сердце. «Неужели для того



не досыпали мы с матерью ночей, чтобы ты, дочка, познала в жизни одну только горечь? Неужели я не хотел, чтобы ты была счастлива? А может, это из-за меня, из-за твоего непутевого отца счастье отвернулось от тебя? Но то было, поверь мне, мнимое счастье, и не печалься — радуйся, дочка, что все так получилось. Может, так оно и лучше, подальше от этого подлеца...»

Сам того не замечая, он не сводил вопрошающего взгляда с бледного лица дочери, что сидела с опущенной головой. Наконец она оторвала глаза от своей сумочки и, посмотрев на отца, понимающе улыбнулась. Эльчиеву показалось, что она вот-вот расплачется.

...Мастура приходила к нему по два раза на день. Сегодняшним вечером она задержалась дольше обычного.

— Ты бы шла,— сказал Эльчиев обеспокоенно,— а то уже темно на улице.

— Не беда, я же не одна... с Камалиддином,— проговорила жена.

— С Камалиддином?! Он здесь?— воскликнул Эльчиев.— Почему же не зашел?

— Да ну его,— смущенно улыбнулась Мастура.— Я ему говорю: «Пойдем к отцу», а он уперся и ни в какую. Там он, во дворе, с Нусратиллой...

Которые сутки отец в таком плачевном состоянии: часами лежит недвижно, глядя на тонкие жгуты капельниц, одурелый от запаха лекарств и вынужден еще слушать бодренькие фразы проходящих его проведать... А сын приходит ежедневно в больницу и, видите ли, стыдится, или же боится его? Но отчего?

Эльчиев знает, точнее, догадывается. Ведь в какой-то мере и сын повинен в том, что он вторично очутился на больничной койке. Ведь именно сын помешал ему тогда уйти! Не зайти Камалиддин той ночью в ванную комнату... Вот и пойми теперь — проклинать ему сына или, наоборот, благодарить как спасителя? Как все сложно, запутанно! Во всяком случае, пока он не в силах ничего решить. А потом? Потом, наверное, видно будет — время покажет.

Возможно, сын вправе упрекать его. И в самом деле! Но тогда, тогда... Нет, в любом случае еще рано делать какие-то выводы. Ладно, пусть не заходит. Наверное, у него в душе тоже саднит рана...

Больше месяца Эльчиев не виделся с сыном. Впро-

чем, нет, он столкнулся с Камалиддином той ночью. Тот заявился домой, словно чувствовал — что-то должно случиться... И когда глубокой ночью заглянул в ванную, то застал там отца... в таком виде, в таком состоянии!..

Конечно, как же теперь сыну зайти к нему в палату, посмотреть отцу в глаза... ведь он невольный свидетель его падения?!

Как незаметно на глазах подрастают дети. Казалось, только вчера вы радовались первым шагам своего ребенка, а сегодня уже примеряете на нем новенькую школьную форму. «Мой ребенок, мое дитя!» — упорно твердите вы, и когда он набедокурит дома, и когда подерется с мальчуганом из соседнего двора. Однажды это дитя пойдет наперекор вашей родительской воле, и вы будете переживать, а все равно скажете, что он еще ребенок, и что он потом все поймет, и что ему будет стыдно. Да и как иначе, если течет в нем ваша кровь? Так есть и так будет. Даже на закате жизни для вас он — ребенок, которого покидаете на веки вечные с горькой мыслью: что будет с ним потом? Как он перенесет такую утрату? А между тем этот «ребенок» в первую очередь думает уже о собственном чаде и переживает за него. Точно так же, как вы. Чувство это перешло к нему по наследству, и оно, пока жив человек, — вечно! И только от вас самих зависит, какими будут наследники. В общем, что посеете, то и пожнете. Так что сейте себе на здоровье, но думайте, чаще думайте, как вы сеете и как ухаживаете! А иначе все ваши старания, все надежды и чаяния пойдут насмарку. Все равно, как крупа, насыпанная воробьям. Поклюет, поклюет воробышек то, что ему бросили, да и улетит. И нет разницы для него, кто бросил те зерна и для чего — было бы что поклевать!

Неужели Эльчиев не знал всего этого? Знал, еще как знал! Но что может предотвратить даже такое знание?

Все обращался к нему: «Сынок, сыночек», — а как он вырос, и не заметил. И не мудрено. С раннего детства был мальчик тих и застенчив, хлопот больших не доставлял. Бывало, усадят его в уголок, он и сидит там не двигаясь. Спросят: «Чего не встаешь?», отвечает: «Мама поругает». А протянут леденец, отказывается: «Мама сказала — мне нельзя!» В школе он был образцом прилежания и послушания. Учителя нарадоваться на него не могли, а соседи постоянно ставили в пример своим детям.

И вдруг после окончания школы его как на сто во-

семьдесят градусов развернуло. Началось все с того, что он недобрал баллов при поступлении в институт. Казалось, с кем не случается, но сына стало просто не узнать: упрямый и заносчивый, он то и дело грубил матери, помыкал младшими братьями и лишь отца еще как-то побаивался.

Продолжалось это вплоть до ноябрьских праздников, вслед за которыми Камалиддина призвали в армию. За два года службы он прислал три или четыре письма. В письмах сообщал, что жив-здоров, что служба идет нормально; в конце каждого из писем просил о чем-либо Джасуру, и та мигом исполняла его просьбы, высылая перчатки либо альбом с фломастерами.

Через два года Камалиддин вернулся. Эльчиев даже не признал сначала в этом здоровенном верзиле своего сына. Тогда же впервые он почувствовал, что его собственная жизнь пошла на убыль, а эта, молодая, им данная, набирается сил. Он смотрел на сына со смешанным чувством гордости и печали и не верил своим глазам.

Армейская служба наложила отпечаток не только на внешность Камалиддина. Он стал спокоен и сдержан, основателен в своих суждениях. Словом, повзрослел. С несвойственной ему раньше заботой относился к сестре и младшим братьям. Иногда он помогал Джасуре нести большую чертежную доску на работу и обратно. Младший, Джалалиддин, тот вовсе был на его попечении: утром отведет в школу, днем заберет, потом часами сидит с ним, помогая готовить уроки. Оставаясь дома один, Камалиддин и на базар сбегает и, если надо, состряпает что-нибудь на скорую руку, по-армейски...

Длилось это месяца два-три. Затем он пошел работать на завод. Работа была у него посменная, и никто в доме толком не знал, когда он уходит, а когда приходит. На следующий год он сдал документы на экономический факультет института народного хозяйства и поступил на вечернее отделение. Эльчиев не знал, что побудило сына пойти по родительским стопам: семейная традиция или же желание доказать, что и на этой стезе можно многого достичь. Но как бы то ни было, Камалиддин вскоре зажил, как тысячи его сверстников, учащихся и работающих одновременно. Рано утром он уходил на завод, оттуда — прямиком на учебу и лишь в полночь возвращался домой. Времени на родителей, сестру и братьев у него не оставалось, да он и сам заметно охладил к ним. Квартирант — и только.

Но ничто так не волновало Эльчиева, как неожиданно обнаруженное пристрастие сына к спиртному. Поначалу Эльчиев даже не придавал этому значения: «Молодой, где-то, возможно, и выпил. Мало ли у них событий и поводов...» Но постепенно в сердце закралась тревога. Не раз и не два он слышал, как сын, возвратясь поздней ночью, запирается в ванной. «Может, пойти и всыпать ему хорошенько?— думал Эльчиев, беспокойно ворочаясь в постели.— Ведь это ни в какие ворота не лезет. Спросить, что у него за горе? Отца похоронил или мать? Зачем пьет эту отраву, от которой выворачивает потом наизнанку?!» Но что-то останавливало его. Если поразмыслить, заслуживает ли сын упреков? Вон иные отпрыски в грош родителей не ставят, без ножа их режут, заявляя, к примеру: «Купите машину! А не то...» Камалиддин, слава богу, не такой. Целыми днями работает, в поте лица добывает свою трудовую копейку. И хотя тяжело, не раскисает и не берет родителей за горло. К тому же природой парень не обижен, вдвое, пожалуй, здоровей отца... Вот и приходил Эльчиев к выводу, что вряд ли он сможет воздействовать на сына. Пусть сам разберется, что к чему. Все равно в эти годы они никого не слушают, даже отца родного. Придет время — Камалиддин опомнится, возьмет себе в жены девушку из подходящей семьи, пойдут у них дети, и не останется тогда на выпивку ни времени, ни средств...

Да у него никогда и рука не поднимется на своих детей — маленьких ли, больших ли. Ведь нет для Эльчиева никого ближе, никого дороже в этом огромном мире, они для него — все на этой земле. Какое уж там битье! Стоило ему нечаянно повисить на ребенка голос, неделю ходил потом сам не свой — мучился, переживал.

Так уж устроено природой, что дети наследуют лучшие и худшие черты родителей. Точных копий, разумеется, не бывает, но те или иные свойства характера в какой-то степени повторяются. С внешностью та же картина. Одному богу известно, что и как будет унаследовано. Вот, скажем, Джасура — и фигурка с осиною талией, точь-в-точь как у матери в молодые годы, и глаза с поволокой, и изогнутые брови, и манера общения — все материнское. Но душа у Мастуры открытая: и радость, и горе у нее — наружу. А что у Джасуры на душе, не угадать, внутренний мир ее — печать за семью замками. Всегда серьезна, даже излишне, не по-девичьи рассудительна. Шло бы это от отца — так ведь и он не

таков. Если радость у Эльчиева, известие о ней разносится по всей округе, если горе — держит в себе день-другой, а потом все равно прорвется наружу. Словом, точит сердце дочери какая-то затаенная боль. Сейчас по крайней мере причину этой боли хоть можно объяснить себе, но если припомнить, такой же Джасура была и раньше. Неужели это то неизменное, что дано человеку природой? Но если так, природа-мать была несправедлива к девушке...

Что же касается Камалиддина...

Сын не походил на него ни характером, ни внешностью, правда, было нечто общее в прямом носе и разрезе глаз, но на том сходство и заканчивалось. Эльчиев был роста среднего и наружностью ничем не примечательной, а сын просто вылитый киноактер. «Неужели этот парень мой сын?! — не перестает удивляться Эльчиев. — В кого он такой красавчик?» Чистое, чуть смуглое лицо, глаза черные и блестящие, словно подведены сурьмой, а выражение их какое-то неопределенное: и недовольство, и брезгливость, и надменность, что ли, и решимость... поди разберись. «На кого он все-таки похож?» — задавался вопросом Эльчиев, не догадываясь, что это — просто молодость, цветущая молодость. «На деда своего, — успокаивает Мاستура. — Взгляните на его фотографии сорокалетней давности...» Ну ладно, пусть он в деда, такой же красивый и осанистый. Но как быть с характером? В кого он такой упрямый?..

Упрямство... Сложная это черта характера. Кто-то благодаря упрямству взмывает ввысь, а кто-то раненой птицей падает вниз. Упрямство подходяще для того, кому оно по плечу, кому в спину дует мощный попутный ветер. За спиной же Эльчиева неизменный штиль, стало быть, по одежке протягивай ножки. Протянул-таки он ножки...

Или эта непонятная страсть сына к тряпкам. Сам Эльчиев одежде большого значения не придает, привык носить то, что есть... В последние годы гроша на себя не потратил — доверяет покупки жене — и никогда не замечал, чтобы кто-то косо посмотрел или рассмеялся ему вслед.

Камалиддин другой. А ведь он раньше не был таким. Теперь же одна тряпка другой дорожке и все, как они говорят: «фирма́». Но эта «фирма́» бешеных денег стоит — ни одной зарплаты не хватит. «Так откуда они у него?» — ломает голову Эльчиев, и раздумья его закан-

чиваются одним и тем же выводом — все она! Все эта артисточка! Кому, спрашивается, по карману джинсы всех фасонов с молниями и чужестранными наклейками, туфли на высоких каблуках с блестящими подковами на носках, плащ из натуральной кожи, карманные часы с боем и музыкой (интересно, чье время, чей срок они отбивают?) и, наконец, цепочка с миниатюрным сердечком на шее! Цепочка из золота, чистого золота. Но все же — цепочка, да еще с сердечком! На парне! Кто придумал такое? Где они все это берут? На какие деньги?

«Достал... достали!..» — вот и весь ответ. Было бы только, на что повесить!

«Шлюха! Шлюха!» — вертится на языке Эльчиева. Ну а будь даже словечко помягче, разве смог бы он высказать его женщине в глаза? Нет, все равно бы промолчал. В конце концов, это личное дело Камалиддина. Он не мальчик, ему уже двадцать четыре; скоро окончит институт, и на заводе у него отличная репутация — начальник смены, передовик!

Верно, Камалиддин — его сын, которого он растил и воспитывал. Теперь этот сын взрослый, самостоятельный человек: сам поступил в институт, сам учится и работает, сам выбрал будущую профессию — все сам! Но так или иначе, он его сын, его кровь, частица его сердца. И разве не желает отец всей душой ему добра?!

Но невольно он забывал, что сын, взрослое дитя его — человек другого времени, иных мыслей и устремлений... Эльчиеву не хотелось даже думать об этом. А тут еще словно кто-то нашептывал со злорадством в уши. «Верно, ты растил, ты воспитал, но теперь он не твой». «Он мой! Мой!» — и сердце Эльчиева сжималось от обиды.

У него была заветная мечта. Пусть сын его не светоч, не само совершенство, но пусть будет похожим на него, пусть пойдет по его стопам. Пусть выберет себе равную и скажет об этом, и пока они с Мастурой живы, лучше ли, хуже, но все сделают, как положено.

Но нет, время уже другое и люди другие. Отстал Эльчиев, безнадежно отстал и потому чего-то не понимает, не может понять.

До сих пор ему больно вспоминать о той выходке Камалиддина...

Однажды собрались они всей семьей у телевизора. Такое случалось не часто. В тот вечер сын был свободен от лекций и, сидя за низким столиком — хантахтой, пил

чай. Показывали телеспектакль. «Дальше — тишина» — так, кажется, он назывался. Всех взволновала грустная история о покинутых стариках, которые, несмотря на все невзгоды, сохранили друг к другу теплые чувства. Мастура то и дело подносила к глазам платочек, и у Джасуры на виске трепетно билась крохотная жилка. Глава семьи посматривал на жену и, вздыхая, говорил: «Смотри-ка, а там, действительно, настоящие джунгли, недаром говорят: «капитализм».

Затаив дыхание, смотрели они на экран. Когда же сын-негодяй, не нашедший для родителей даже скромного уголка в своем доме, заявил, что по-настоящему отца с матерью любят лишь дети людей состоятельных или что-то в этом роде, Мастура не выдержала: «Язык бы у тебя отсох, мерзавец!» И тут молчавший до сего Камалиддин промолвил: «А что, дельная мыслишка!» А затем, будто бы не удовлетворяясь сказанным, ехидно посмотрел на отца, потом на мать и тоном, не вызывающим возражений, добавил: «Верно, совершенно верно!» «Ну и ну!» — выдохнул Эльчиев, хватаясь за сердце. «Камал! — закричала Джасура, вскакивая. Подбежав к телевизору, она выдернула шнур из розетки и, всхлипывая, выбежала из комнаты. «Правда глаза колет», — хладнокровно сказал Камалиддин, и от этого хладнокровия у Эльчиева похолодело внутри. Мастура, охая, поднялась, а он так и остался лежать на диване, опершись на подушку и чувствуя, как тело сковывает холодом и как немеют руки и ноги.

Он так и уснул, не заметив, что кто-то прикрыл его пледом и выключил свет. Утром поднялся с трудом, голова раскалывалась. Дома никого уже не было: кто ушел на работу, кто на учебу. Чайник, накрытый полотенцем, давно остыл. И еще несколько дней атмосфера в доме была подобна этому остывшему чайнику.

Но это оказались цветочки...

У бездетного Зиямухамедова из экономического отдела после долгих лет ожиданий родилась дочка, и он на радостях устраивал пир. Разумеется, пристал к Эльчиеву: «Сделайте плов, Нуриддин-ака, своими руками. Я вас очень прошу». Эльчиев, как обычно, все приготовил сам — от и до. Разве можно отказать человеку, когда у него такая радость!

Лишь выходя из автобуса, Эльчиев почувствовал, что чертовски устал, да и перебрал малость. Переходя улицу в сумерках, он едва не угодил под машину. Так-

сист, высунувшись, обложил его матом и, проехав чуть дальше, остановился.

Из машины вышел рослый парень, а за ним — девушка с копной темных волос; таксист с ходу рванул машину, и Эльчиев, было насторожившийся, успокоенно двинулся дальше. Он шел, а метрах в сорока впереди него маячила та парочка из такси. Парень обнимал девушку за плечи, а она держала его за талию. Эльчиеву фигура парня показалась знакомой, и он издали принял его за соседского Марата.

Парочка подошла к угловому дому, и девушка, засмеявшись, что-то подбросила, а парень попытался поймать. Когда он прыгнул, луч света из окна упал на его лицо, а потом и на лицо спутницы, и — о боже! — Эльчиев застыл на месте. Не сон ли это? На всякий случай он ущипнул себя за руку...

А парень и девушка, вновь тесно обнявшись, весело прошли во двор. Если это они, то почему им не стыдно? Почему не смущает их, что в окнах, за которыми сотни зорких глаз и языков без костей, горит свет?.. Почему их не волнует, что скажут люди... А они скажут, непременно скажут; будут судачить о них на всех перекрестках! На то у человека и глаза, чтобы видеть, и язык, чтобы говорить. Что же это за напасть такая? Камал... с Динной... Почему они вместе, в такой поздний час? Почему идут в обнимку? Возвращаются с вечеринки?.. Или это не они? Может, он все же обознался? Дай бог, чтобы обознался, дай бог!

Эльчиев, побледневший и даже, кажется, протрезвевший, приостановился у подъезда Дины. С тревогой он взглянул на окно второго этажа, и вдруг за кружевной белой тюлью зажегся свет, а изнутри донеслось надрывное: «Жи-изнь невозможно повернуть наза-ад...»

Когда Эльчиев поднялся к себе, у него еще оставалась слабая надежда, что то были не они. Но, увы, худшие ожидания оправдались... «Камалиддин? Нет, еще не приходил. А что случилось?» — удивилась Мастура. «Пришел, при-и-шел! Если не веришь, иди и посмотри у Дины! Иди и увидишь все своими глазами!» — хотелось прокричать ему жене с порога. Но стало жалко встревожившуюся Мастуру, и он сдержался, прохрипев лишь: «Потом, потом... Завтра я тебе обо всем расскажу».

Но именно на следующий день произошел тот самый случай, и он угодил в «палату катастроф». А после выписки из больницы иных бед да забот было по горло.



Да и что он им скажет? Как скажет?

Дина росла вместе с его детьми, а последние года два и вовсе стала почти своим человеком в доме Эльчи-эвых. Они переехали сюда одновременно. «Откочевался я, хватит,— говорил тогда отец Дины, Тахирджан-ака.— Пришло время наконец начать оседлую жизнь, не так ли, приятель?» Добрый, открытый был человек. Выйдя полковником в отставку, он преподавал в каком-то институте гражданскую оборону. «Говорят же, и вор на старости лет муллой подряжается,— улыбался Тахирджан-ака.— Вот и я так же: хожу на занятия и байки рассказываю. А молодежь-то нынче грамотная! «Что же нам, случись нападение, сложа руки сидеть прикажете?»— спрашивают. А я им: «Вы за это не беспокойтесь, кому надо — на страже стоят. Опасайтесь больше тех, кто у вас под боком». Ведь на самом деле, если бы человек понимал своего ближнего и сочувствовал ему, то, кроме дождя и снега, ничего не упало бы с небес. Ведь и угрозу, о которой мы постоянно твердим, создал злой человеческий гений, а теперь сам же вынужден искать от нее защиты!»

Еще праздновались тут и там новоселья, еще валялись повсюду груды строительного мусора, а Тахирджан-ака был уже весь в заботах. Соскучился, видно, человек по земле. Целыми днями возился он во дворе, вытаскивал из квартир соседей (здесь сказался его командный опыт), и те во главе с ним дружно отработывали субботник за субботником. Вокруг дома были посажены яблони, урючины, чинары, за которыми он бережно ухаживал. Позже он соорудил подпорки для виноградника и неподалеку поставил широкую деревянную кровать — сури, чтобы было где посидеть с приятелями.

Был он беспокойным человеком. Привык, наверно, в армейскую бытность не сидеть без дела. Однажды бог весть откуда привез он во двор совершенно разбитый «ЗИМ». И вот по воскресным дням, собрав увлеченную техникой молодежь, копался в этой развалюхе, а вечерами сражался с Эльчиевым в шахматы. Летом он провел к сури электричество, и до поздней ночи не смолкали там оживленные голоса мужчин. Иногда они жарили шашлык или же готовили плов... Славные были времена! Суетливые хлопоты при этом не раздражали окружающих. А все потому, что организатором всегда был симпатичный и всеми почитаемый дядя Толя, как звали Тахирджан-ака соседи.

Наступала очередная суббота, и опять собирались у машины отставного полковника, и опять возились с ней до ночи, все ковыряли чего-то. Эльчиев не помнил случая, чтоб хоть раз она завелась. Но разве Тахирджан-ака не знал, что все старания их напрасны? Знал, наверняка знал. Так зачем он купил эту рухлядь, зачем тратил на нее столько сил и времени? Видимо, нужны человеку такие хлопоты.

«ЗНМ» этот и сейчас стоит на прежнем месте. Умер его владелец, и никто из взрослых больше не подходит к нему. Зато получившая свободный доступ к машине детвора облепляет ее, словно мошкара. Забравшись в кабину, они накручивают старый руль, по своему «водят» и «останавливают», легко справляясь с тем, что никак не получалось у старших, несмотря на все их усилия! И ни у кого из обитателей двора рука не поднимается отвезти машину на свалку, потому что стоит она как память о человеке, бывшему когда-то душой этого двора, его беспокойным сердцем!

Так уж вышло, что Дина была единственным и к тому же поздним ребенком в семье Тахирджана-ака. Они с женой берегли дочь, как зеницу ока, лелеяли ее, исполняли любую прихоть любимого чада. Отец звал ее «ласточкой» и обращался к ней исключительно на «вы», а мать только и повторяла: «Адинахон, светик мой...». Дочь, напротив, была лишена того благоговейного трепета и говорила с ними на «ты», — Дина училась в русской школе, и так ей было привычнее.

Большеглазая, стройная, улыбчивая Дина раньше других своих сверстниц изучила науку — разбивать мальчишеские сердца. Сколько помнил Эльчиев, всегда у соседнего подъезда дежурил кто-то из ее ухажеров, которые, случалось, прямо во дворе выясняли между собой отношения. Юная ветреница обращалась с ними немилосердно — сегодня удостоит внимания одного, завтра другого, а еще через день даст обоим от ворот поворот.

Окончив хореографическое училище, Дина попала в знаменитый ансамбль «Бахор»; девочка, которая, казалось, только вчера ходила по двору с куклой в руках, вскоре стала зваться «Диной Шакирджановой!» — а ее чистое милое лицо замелькало на телеэкране. Гибкие плавные движения, томный взгляд щедро накрашенных глаз приводили в трепет даже такого человека, как Эльчиев. Потому стоило Дине появиться на экране, он сразу выходил из комнаты — покурить, а там, на балконе,

ругал себя последними словами: «Старый осел, нашел на кого паялыться. Она же тебе в дочери годится!»

«Воспитанный в старых традициях, Эльчиев искренне жалел своего соседа и приятеля. Правда, жалея, и осуждал: «Как мог добрый мусульманин позволить дочке стать танцовщицей?! А теперь смотрит на нее по телевизору и любит... нет, не любит! — позор ее наблюдает! Понятно, в ранние годы — девочка танцует, играет, веселится. Но сейчас! Тысячи глаз жадно следят за каждым ее движением, кокетливым и зазывным... Как он выносит?! Будь у всех чисты взоры и, главное, помыслы, разве кто-то противился бы, чтобы его дочка шла в танцовщицы? И неужели сейчас сидит он с женой у телевизора и гордится своей дочерью, которая извивается в танце полуобнаженной? Не понимаю...»

Позднее в семье Тахирджана-ака появился худенький паренек в лейтенантских погонах. «Это сын его старого друга, — говорили всезнающие соседи. — Тахирджан-ака служил с его отцом на Дальнем Востоке». Лейтенантик зачастил, и они допоздна бродили с Диншой под руку из конца в конец двора. Начали поговаривать, что дело идет к свадьбе, и верно: не прошло и полутора месяцев — Тахирджан-ака принялся лично обходить всех с приглашением.

Играли свадьбу в большом зале «Зарафшана». Все семейство Эльчиева (за исключением Камалиддина, который был в то время в армии) собиралось на свадьбу, но его самого внезапно отослали в срочную командировку, и подробности ему рассказали уже по приезде.

Спустя месяц-другой, когда еще не успели потускнеть краски, коими описывалось свадебное торжество, лейтенант исчез, так же внезапно, как и появился.

«Не сошлись характерами», — вздыхали соседи.

У Тахирджана-ака эта история словно выбила почву из-под ног. Недавно бодрого и энергичного, его буквально стали одолевать всевозможные хвори, которые в считанные месяцы уложили его в могилу. Но беда, как говорится, не приходит одна; жена Тахирджана-ака, часто жаловавшаяся на сердце, так и не смогла смириться со столь тяжелой утратой; справив на сороковой день поминки, она прилегла на минутку и больше уже не поднялась.

И девушка, что порхала по жизни беззаботным мотыльком, осталась одна. Она сильно изменилась, вероятно, чувствовала себя виновной в смерти родителей; из

смешливой девчонки Дина превратилась в тихую, задумчивую женщину с печальными глазами. Старики-соседи помогли ей с поминками, и она около года носила траур, не принимая участия по крайней мере в записях на телевидении.

Слезами, однако, горю не поможешь, и Дина стала искать утешения в работе. Тут кстати пришлось гастрольные поездки ансамбля за рубеж; то она в Японии, а то в Индии, которую сменяют Турция или Саудовская Аравия. Боль к тому времени поутихла, и теперь, возвращаясь с гастролей, Дина собирала в квартире молодежь и вечеринки затягивались до рассвета. В день приезда непременно заглянет к Эльчиевым: в каком-нибудь экзотическом наряде, замысловатых украшениях. Расцелует каждого, в том числе хозяина дома, и, улыбаясь, раздает сувениры: «Это вам, Нуриддин-ака, это тебе, Джасурочка...» Потом садится на диван и, закинув ногу на ногу, рассказывает, где побывала, что повидала. Стрекочет, стрекочет и вдруг как прорвет ее: «Милая моя тетушка Мастура! Джасура! Джасурочка! Как я по вас соскучилась!»— и снова начинаются объятия да поцелуи.

Эльчиев, дуреющий от запаха духов и поведения этой странной девушки, ускользает в другую комнату, а когда Дина уходит, недовольно ворчит: «Бесстыдница... Грудь напоказ и на шею человеку вешается, как будто так полагается. Ты скажи, чтобы она поменьше к нам ходила!»— «Почему?— искренне удивляется Мастура.— Что в этом плохого? Ведь она к нам — со всей душой. Тем более дочка ваша!» И выставив привычно подбородок, Мастура загадочно улыбается. Четверть века живет он с этой женщиной, а до сих пор не понимает этой улыбки...

Говорит: «Дочка ваша!» Он знал бы, что делать, будь у него такая дочка! Но это он только так думает, а на самом деле...

Когда Джасура заболела желтухой, ей срочно понадобилось переливание крови. Его группа не подходила, у Мастуры тоже не возьмешь — страдает малокровием, в общем, положение незавидное. Прослышав об этом, Дина в тот же день пришла в больницу и настояла, чтобы у нее взяли кровь для подружки. Дина была старше Джасуры на четыре года, но с детства они считались подругами.

«Теперь вы — родные сестры,— сказала Мастура, когда Джасура вернулась домой из больницы,— у вас

одна кровь. А Адинахон — моя дочь». Так, к неудовольствию Эльчиева, Дина стала не просто завсегдаем, но и близким человеком в их доме. И все его наставления дочери — как о стенку горох, та не переставала твердить: «Дина-апа<sup>1</sup>, Дина-апа...»

И вот эта самая «старшая сестра», его «дочка» вскружила голову своему «братишке» Камалиддину. Шлюха! Настоящая шлюха!

Но пришло, наконец, время выяснить отношения.

Спустя несколько дней после выписки Эльчиева Масура зашла с работы на базар и накупила овощей и фруктов. Придя домой, она стала накрывать на стол, включив одновременно телевизор.

Шел концерт ансамбля «Бахор».

— Ой, наша Дина-апа! — воскликнула Джасура. — Видно, запись, я ее только что видела.

Танец кончился. Джасура с матерью пошли на кухню мыть посуду, а Камалиддин молча поднялся и снял со спинки кресла кожаный пиджак.

— Ты куда это? — глухо спросил Эльчиев, внутренне сжимаясь от мелькнувшей догадки.

— Так, хочу прогуляться.

— Опять туда?! — не выдержал Эльчиев.

— Куда?

— К этой... самой!

— Да, к этой самой, — сквозь зубы ответил Камалиддин. — Теперь вы довольны?

Эльчиева затрясло от гнева.

— Сядь сейчас же! — закричал он.

— Пожалуйста.

Камалиддин небрежно бросил пиджак обратно, сел, вытянув на полкомнаты ноги, приготовясь слушать.

Эльчиев взял себя в руки, резко сменил тему разговора и интонацию:

— На кого ты стал похож, сынок? Что ни день, то выпивший...

— На вас, папа, на вас, — отвечал Камалиддин с поразительным спокойствием, за которым скрывалась довольно-таки едкая ирония.

— На м-меня?! — растерянно промолвил Эльчиев и провел ладонью по лицу со свежими еще следами побоев. — Как это на меня?

---

<sup>1</sup> Апа — старшая сестра; уважительное обращение к женщине, старшей по возрасту или очень авторитетной.

— Не знаю...— Камалиддин опустил глаза.

Что-то острое кольнуло в сердце Эльчиева, и даже слезы на глаза набежали. Спасибо, сынок, спасибо, что прямо взглянуть при этом не посмел. И на том спасибо.

— Ну что, долго собираешься ходить-бродить?— спросил Эльчиев напрямик.— Жениться-то думаешь?

— Вот вы и жените, — бросил Камалиддин, будто речь шла о каком-нибудь пустяке.

Эльчиева задел такой ответ. То был по сути дела первый разговор с сыном на эту тему, и Эльчиев вдруг понял, что сам не очень-то готов к нему. Его мальчик открыто заявляет: «Жените!» Но «жените» у него звучит как «купите». Только не мячик и не велосипед, как в детстве,— жену! Глядя отцу в глаза, просит: жени, мол, или оставь в покое! О, Эльчиев на его месте провалился бы со стыда сквозь землю. А этот мальчишка... Впрочем, какой там мальчишка — взрослый парень, самостоятельный человек. Что ж ему делать, если отец до сих пор помалкивал на сей счет? Сегодня отец спросил, он и ответил...

— Жените,— повторил Камалиддин с прежней беспечностью.— Посватайте, например, Муниру, дочку дяди Хайдара. Если, конечно, ее отдадут!..

Это был чересчур явный, открытый выпад, которым он загнал Эльчиева в угол.

Хотите женить? Пожалуйста, я готов! Сосватайте дочку дяди Хайдара, если сможете! Ведь он ваш близкий друг, как-никак вместе росли и учились, породниться уговаривались. Что-то, а это я помню, и Мунира наверняка не забыла. Что же вы не говорите в последнее время про этот дружеский обет? Или дядя Хайдар передумал? Ах, я и забыл, что ему страсть как хочется сделаться сватом своего шефа, ректора Кариева! Профессорская дочка — профессорскому сынку! Не так ли? Да-а, папочка! Что ж, найдите и мне какую-нибудь завалющую в своем кишлаке или... или не трогайте меня больше!

— Брось вспоминать об этом, сынок. Разговор тот давний,— тихо сказал Эльчиев.

— А что же мне прикажете делать?

— Опомнись. Та, с кем ты сейчас, ведь она...

— Что она?

— Она, во-первых, старше тебя, а во-вторых...

— Что во-вторых!— воскликнул Камалиддин, стискивая подлокотник кресла. Потом откинулся на спинку и

с горечью покачал головой.— Вы не знаете ее, отец, и вы не в состоянии понять!

— Чего я не знаю? Чего я не смогу понять?— обиженно спросил Эльчиев.— Ведь она артистка!

— Пусть!

— Пусть?! Да она видела на своем веку сотню, тысячу таких, как ты!.. Шлюха она, вот кто!

— Замолчите! Замолчите сейчас же!— истерически закричал Камалиддин и с размаху двинул кулаком по подлокотнику.

В дверях появились перепуганные мать и дочь.

— Папа-а!...— поспешила Джасура к отцу.— Папочка!

Мать тоже засуетилась:

— В чем дело, Камалиддин?! Тебе не стыдно? Что скажут соседи, если услышат?!

Но тут вскипел Эльчиев:

— Пусть услышат! Пусть все слышат! Пусть весь мир слышит! Если твой сын еще раз переступит порог того дома!..

— И переступлю!— крикнул Камалиддин, хватая пиджак.— Сейчас же пойду туда!

— Если пойдешь!..— взревел Эльчиев и задохнулся.— Тогда... тогда...— Он схватил со стола пиалу и швырнул ее в сторону сына.— Катись отсюда! Катись!..

Пиала угодила в ножку серванта и разбилась вдребезги.

Камалиддин пулей выскочил из квартиры, а Джасура, расплакавшись, стала собирать осколки. Мастура подошла к побледневшему от ярости мужу, который застыл, судорожно сжимая кулаки, посреди балкона. Успокаивающе поглаживая его по плечу, тихо спросила:

— Что с вами, Камалиддин?..

Эльчиев молчал.

Через час он тихо вышел из квартиры, спустился по лестнице и прошел в соседний подъезд. Он долго стоял перед дверью, обитой порыжелым дерматином, не решаясь нажать кнопку звонка. Потом все-таки дотронулся до нее.

Дверь тут же отворилась... В синем фартуке в горошек, с веником в руках в дверях стояла Дина. При виде Эльчиева она смутилась:

— Заходите, Нуриддин-ака, — несмело пригласила Дина.— Добрый день...

— Адинахон, доченька...— промолвил Эльчиев и не

смог больше ничего сказать, повернулся и пошел обратно.

Дина вышла за ним на лестничную площадку:

— Нуриддин-ака, что-то случилось?

Не оборачиваясь, он покачал головой. Что он хотел сказать этой молодой женщине? Многое, очень многое. Но все уместилось в одной нелепой фразе: «Адинахон, доченька...» Странно...

Перед сном зашла Джасура и, поставив у его изголовья чайник, пристально посмотрела ему в глаза.

— Папа, вы тогда не поняли... Дина не такая, как вы думаете...— дочь с трудом подбирала слова.

Эльчиев молчал. И эту девочку он не понимает, и того мальчика, хотя сам их породил и поднял на ноги. Не понимает... И вообще он ничего не понимает — отстал от жизни.

В ту ночь Эльчиев спал беспокойно: его били во сне остроносими ботинками; били не одного, а вместе с сыновьями и дочерью. С криком он раскрыл глаза и увидел над собой взволнованное лицо Мастуры.

— Голова что-то побаливает, — пробормотал он, стыдливо поворачиваясь на бок. Попытался уснуть, но сон как рукой сняло...

Для чего существует род человеческий? Мужчина и женщина? В чем причина их вечного тяготения друг к другу? Радость любовных утех? Но ведь и без них можно прожить, и нельзя сказать, что такая жизнь будет пустой и недостойной. Есть просто в них более высокий смысл. Вечность? Человек стремится к вечности — осознанно или интуитивно, все равно стремится. И этот присущий всему живому инстинкт лишь у человека обретает высокое духовное начало. В тот момент, правда, меньше всего он думает об этом. Охваченный страстью, ей и только ей подчиняет он каждый свой порыв. Но вот появляется на свет существо — частица его плоти, в жилах которого течет его кровь. Теперь смерть не страшна, она уже не оборвет течение человеческой жизни; останется его кровь, которая будет передаваться из поколения в поколение, а значит, и он будет вечен! Но с того самого дня его силы, духовные и физические, незаметно пойдут на убыль! Великая миссия выполнена, и теперь живет его дитя, живет и взрослеет; а он приносит себя в жертву ему, и это приношение — также великий унаследованный от предков закон! Оно неизбежно — уйти от него



человек просто не может. Самый справедливый и самый несправедливый в одно и то же время закон природы. И он живет одной надеждой: только бы не видеть мук и страданий любимого существа; ладно, пусть на него самого падут самые жестокие испытания, он готов даже умереть, но зная, что его дитя здравствует. Ведь то существо — он сам! Но как быть, когда дитя непохоже на отца и не идет по указанному им пути? Ведь он не может отказаться от собственного продолжения! И тогда, тогда ему остается одно — понять... Попытаться понять своего ребенка... И мучения, и радости, а стало быть, сущность той не всегда понятной вам жизни...

Нет, Эльчиев вовсе не философ, чтобы выводить из своих горьких раздумий универсальные формулы. Это лишь смутное очертание выстраданных им мыслей, что потянулись вслед за теми несчастьями — только и всего...

После ссоры с отцом Камалиддин не вернулся. И у Дины его не было, — Джасура не скрыла бы этого, да и соседи не прозевали бы. Мастура поплакала-поплакала и не выдержала — пошла к нему на завод. Там его не застала — Камалиддин был в отгуле, зато узнала, что живет сын у одного своего приятеля на Чиланзаре, и что, по словам ребят из бригады, домой возвращаться не собирается. С завода Мастура вернулась вся в слезах. Эльчиева душе прежнего охватили муки раскаяния, а сердцу прибавилась еще одна боль...

...И вот теперь которые сутки лежит отец ни жив ни мертв в опостылевшей палате, а сын приходит и уходит, не найдя нужным заглянуть к нему: видите ли, стыдно ему, а может быть, и боязно войти? Но почему? Нет, точный ответ может дать только сам Камалиддин.

— Нусрат и сейчас здесь? — спросил Эльчиев, устало поворачиваясь к жене.

— Да он же отсюда не выходит. Как вы его не видите?

— Я же говорил, что не нуждаюсь теперь в его помощи.

— Не знаю. Он сказал, пока вы не поправитесь, он никуда не уйдет. Бедняга, которые сутки здесь...

— Ну кто его просит? Пусть идет, — сказал Эльчиев раздраженно. — Где он?

— На улице, с Камалиддином. Хотела уговорить его поехать к нам — не соглашается ни в какую. Стесняется,

что ли? Говорит: «А вдруг опять дяде кровь понадобится?»

— Мне уже ничего не понадобится. Скажи ему, пусть едет домой, а то дождется, что с работы уволят.

Эльчиев тяжело вздохнул: еще одна забота, ещё одно переживание...

Как только вышел из палаты Хайдар Самадович, с дальнего угла послышался голос Музраба-амаки<sup>1</sup>:

— Важная, видать, птица, высокого полета...

Эльчиев вздохнул и подумал: «Да, Музраб-амаки, он из тех, кто очень высокого полета...»

Хайдар Самадович вошел в палату в сопровождении лечащего врача и двух медсестер. Широко расставя ноги, он встал посреди комнаты и, рассеянно слушая врача, огляделся вокруг. В гордой осанке, в движениях его чуть посеребренной на висках головы ощущались сила и уверенность. Одет он был с иголки, как и подобает людям его уровня: элегантный темный костюм в мелкую полоску, красивый, узким узлом завязанный галстук, новые, не знающие пыльных дорог туфли, кожаный «дипломат» в руках. Словом, верно подмечено: «птица высокого полета».

Отпустив врача и медсестер, Хайдар Самадович подвинул стул к койке Эльчиева. Сел и заговорил. Упрекал, срамил, недоумевал, но только не подумал спросить, как же он сейчас себя чувствует, Эльчиев? Хайдар Самадович закончил свой назидательный монолог и важно поднялся. Профессор Самадов выполнил свой человеческий долг. И лишь напоследок обронил невольное: «Не будет ли мне каких поручений?..»

Он ушел, а на сердце Эльчиева еще один камень...

«Не будет ли мне каких поручений?» Да разве можно тебе что-то поручить, Хайдар?! Тебе, доктору наук, профессору, едва ли не первой величине большого института! Думай, о чем говоришь, приятель! Тебе — и поручение! Да ты в первую же минуту избавишься от него, переложешь на чужие плечи. Да и какие поручения я могу дать тебе теперь?..

Двое друзей из высокогорного кишлака, выросшие в одной махалле, вместе приехали в далекий Ташкент и, поступив в один институт, снимали одну квартиру на

---

<sup>1</sup> Амаки — дядя.

двоих, повсюду были вместе и в большую жизнь вступили одновременно. Но один из них остановился на нижней ступеньке и сказал: «Все, с меня хватит и этого, дальше я не пойду», а другой усмехнулся и, энергично двигая локтями, пошел вперед, приступом брал ступеньку за ступенькой. По-ше-ел! И поднялся высоко-высоко. А сегодня он навестил товарища, который остался там, внизу, и теперь лежит беспомощный, потерявший к жизни всякий интерес. Пришел и спрашивается о его здоровье: «Не будет ли мне каких поручений?»

Кто поверит этим словам?

«Что за глупость?! Взрослый человек, ты что, с ума спятил?! В конце концов у тебя есть дети, родственники... ты о них подумал? Хотя бы обо мне подумал? Хорошо ли, плохо — с малых лет с тобой дружим. Эх ты, спятивший!..»

...Хватит, Хайдар, хватит, не мучай меня больше — зачем тебе терзать мое сердце, и без того полное горечи? Я думал, тысячу раз думал, прежде чем пошел на такое: у меня не было иного выхода, и не лучше ли было разом со всем покончить?

Но вот о тебе я не думал, приятель, это верно. Да и с какой стати я должен был думать о тебе в тот момент? Верно, были друзьями... Когда-то. Ах, какими были друзьями, водой не разольешь! Для меня не было человека более близкого, более верного, более дорогого! Ты действительно был для меня таким человеком, и временами я упрекал себя за то, что так легко принимаю в дар твою самоотверженность и преданность. Ведь если ты помнишь, даже в те счастливые дни моих свиданий с Мастурой у меня не было от тебя секретов, я поверял тебе наши самые сокровенные тайны. Ты был моим единственным другом!

Да, юношеская дружба совсем иная, приятель, она искренна и бескорыстна. Она чиста и прозрачна, и нет на ней ни пыли, ни грязи. Только это вовсе не означает, что со временем пыль и грязь на нее не осядут. Вот и осели! Да что там пыль и грязь... Сам ведь, Хайдар, знаешь!

Но до сих пор, как только заговорят о дружбе, я, не скрою, вспоминаю тебя. Дожив до седых волос, я встречал в жизни много разных людей, но никто из них не стал для меня по-настоящему близким, и я волей-неволей вспоминаю тебя. Но разве можно назвать дружбой наши отношения? А если можно, скажи, что ценного ос-

талось в ней, кроме воспоминаний? А в тот самый день, когда страшное подозрение закралось в мое сердце, сжало его до боли, я с надеждой взирал в твою сторону, но ты даже бровью не повел... Снова и снова обращался я к тебе, а ты все отмалчивался...

И вот, то ли из уважения к нашей прошлой дружбе, то ли из обычных человеческих побуждений, как бы там ни было, ты пришел проведать меня. Смотришь на меня участливым взглядом, и винишь, и укоряешь. Спасибо, тысячу раз спасибо, что ты все-таки есть! Но учти, приятель, я сделал это не по глупости. Ничего подобного!

«...Ты не подумал о том, в какое положение ты меня поставишь? Ты меня опозорил! Меня, своего друга?!»

Ах, тебе, бедняге, неловко, что твой бывший друг, с которым ты делил хлеб и кров, наложил на себя руки, пробовал наложиться... Ах, как нехорошо, ведь кто-то может где-то невзначай заметить, что он-де был твоим приятелем. Не так ли? Вот именно! Силен же ты, приятель! А моя жизнь, моя честь? Это не в счет?! По твоим особым меркам, разумеется, не в счет! Не так ли? Молодец! Вот теперь ты опять стал самим собой! А я — профан — по сей день горжусь, что у меня такой друг, крупный ученый, большой человек.

Я никак не могу забыть свою позапрошлогодную поездку в родной кишлак. Наш приятель Иманкул устраивал той<sup>1</sup> по случаю рождения сына. Кстати, сына он назвал Хайдаром — в честь «друга детства, выходца из кишлака, ныне авторитетного ученого». Сына, который появился после семи девочек! Той был что надо! Во время него то и дело произносили, как святыню, твое имя. Мне временами даже казалось, что праздник этот затеян не в честь маленького Хайдарчика, а в твою — Хайдара Самадовича — честь. А сам ты, «занятый неотложными делами», приехать не сумел, точнее — не соизволил. Зато я стал свидетелем твоего чествования и слышал слова, звучавшие в твой адрес; превознося тебя, вспоминали и обо мне, грешном: «Друг Хайдара Самадовича! Они вместе росли, вместе учились...» Я стал твоим должником, ведь частица твоей славы перепала на мою долю. Мне было неловко, и я чувствовал себя виноватым. Стоило мне заговорить с кем-нибудь, сразу же раз-

---

<sup>1</sup> Той — пиршество, празднество.

говор заходил о тебе, о твоём здоровье, о твоей работе. По правде говоря, все эти вопросы-расспросы о тебе задевали мое самолюбие, вызывали во мне легкое раздражение. Была ли то зависть? Что ж, не исключено. Иногда, когда мне становится совсем неспособно, я завидую тебе. Ведь ты на моих глазах превратился в Хайдара Самадовича! Но никто не знает тебя лучше меня! Ведь ты, не кто другой, решил последовать моему примеру и отправился со мной в Ташкент, а там прислушивался к каждому моему слову. И не за мной ли ты тянулся в учебе и в жизни? Благо, что ты хоть помнишь об этом, не отрицаешь.

Поступил ты с трудом и учился кое-как, с грехом пополам окончил институт. Потом, как и я, остался работать в городе. Помнишь, что говорил мне, когда я женился: «Умен же ты, друг Нуриддин, взял в жены городскую и теперь хозяин такого дома». В ту пору ты завидовал мне! Эх, Хайдар, друг мой дорогой, разве думал я, что останусь жить в этом городе? Если бы не Мастура... Поначалу я остался здесь ради нее, а потом... ладно, что ворошить старое — сам знаешь.

А ты тем временем встретил Халбеку. Нашел ее... и вдруг решил избрать научную карьеру. И это ты, едва-едва доучившийся до конца. Я был поражен, хотел отговорить тебя от этой глупой затеи, но боялся ранить твое самолюбие. Однако я и не подозревал о твоих скрытых талантах, а дела твои пошли как нельзя лучше. После защиты кандидатской (банкет был устроен в ресторане «Шарк») наблюдал я, как ты, безмерно счастливый, волчком крутился перед учеными мужами, и все еще не верил, что такое стало возможным. Но сам ты уже имел в то время ясную цель и шел к ней, не останавливаясь, а позже сила инерции понесла тебя все дальше и выше...

Помнится, ты не раз говаривал: «Возьми тему, за остальное я ручаюсь». Но я не смог на это отважиться, считая себя неспособным к науке.

По мере твоего продвижения наши отношения приобретали иной, нежели в молодые годы, характер. Первое время ты жалел меня, потом... да и сейчас, я знаю, чувствую, что в душе ты смеешься надо мной! Прошли те времена, канули в Лету, когда я был для тебя «друг мой Нуриддин»; ты уже сам стал гораздо на наставления и спрашивал при встрече, похлопывая меня по плечу: «Как делишки, Нуриддинбай?» Вскоре ты перешел на сухо-официальное «Эльчиев», а с недавних пор взял за

моду звать меня высокомерно, с какой-то обидной иронией: «Эльчине-евич». А я и с этим согласился. Но что я мог, если ты «Хайдар Самадович»!

Говоришь, я тебя опозорил?!

Да бог с тобой! Тебя, Хайдара Самадовича, доктора наук, профессора, заведующего кафедрой и опозорить?! Кто кого опозорил? Короткая же у тебя память, приятель... Вспомни, как кричала и рвала на себе волосы твоя благоверная, а ты молча стоял в сторонке, тем самым соглашаясь с ее словами. Между прочим, достаточно было прикрикнуть на нее: «Замолчи сейчас же!», — и все предстало бы в ином свете. Потрясенный услышанным, я обратился к тебе с вопросом, а ты лишь процедил сквозь зубы: «Не верь». Ты ограничился этим неопределенным «не верь», оставляя меня в смутном неведении, кому и чему не верить. А ведь речь шла о моей чести, о добром имени моей жены, и от тебя, своего близкого друга, я ждал других слов и других объяснений. «Вы у Хайдара спросите, он же ваш друг», — плача сказала Мастура. Как, о чем я мог спросить у тебя, закадычного друга?

«Не верь...» Чему же мне верить, Хайдар, а чему — нет? Почему ты вел себя так, будто бы обвинения Халбеки имели под собой основание? Почему не сказал: «Что ты, друг мой, чепуха все это! Нашел кого слушать»? Но нет, вместо этого ты пустил гаденький слухок, будто я ревную к тебе свою жену. А остальное пусть каждый додумывает сам, не зря же говорится: «Дыма без огня не бывает». Чего ты добивался — загнуть с помощью грязной клеветы меня в угол, а самому возвыситься в глазах окружающих?..

Знал бы ты, какие страдания доставили мне тот скандал и поползшие следом за ним слухи! Я не мог прямо посмотреть в глаза Мастуре, я ходил, как пришибленный; мне казалось, что, заговори я об этом снова, случится что-то непоправимое. В то же время я ни на йоту не сомневался в том, что вся эта история — дурацкая выходка зловредной фурии — твоей жены, гнусный вымысел от начала и до конца. Но и сегодня, едва я вспоминаю об этом, меня гложет обида...

Да, я до сих пор на тебя в обиде, Хайдар... Ведь ты тогда знал, прекрасно знал, какого ответа я жду, но ни словом не обмолвился. Почему?

Ты... ты таков, мой друг! Ты не сделаешь какую-нибудь гадость открыто ни мне, ни кому-то другому — это

несомненно. Но любишь пощекотать чужие нервы. И вес ты в этом!

Говоришь, я тебя опозорил...

...Хайдар встретил Халбеку и начал расписывать ее Нуриддину: «Ну, друг, нашел я, наконец, свое счастье. Увидишь ее—ахнешь!» Нуриддин увидел и действительно — ахнул... Впрочем, внешность бывает обманчива: и царевич взял же в жены лягушку. На настойчивые расспросы Хайдара он ответил просто: «Раз тебе нравится, то хороша». И двух месяцев не прошло — стали они мужем и женой. Вся любовь, все испытания, радость свиданий и горечь разлук уместились в этот короткий срок.

Сыграв пышную свадьбу, молодые, однако, не ведали, где найдут приют: от комнатушки, которую снимал Хайдар, Халбека воротила нос, а о семейном общежитии и слышать не хотела. «Посоветуй, что делать, друг? Жена капризничает, говорит: «Уеду домой»,— жаловался ему Хайдар. В те дни Нуриддин как раз подремонтировал пустующую комнату у ворот. «Поживите пока у нас,— предложил он,— а там видно будет».

Откуда было ему знать, что он совершает тем самым большую, непоправимую ошибку. Неделью спустя он понял это, но было уже поздно.

Халбека была дочерью знатного председателя целинного колхоза под Мирзачулем. Выросла она среди четверых старших братьев неженкой и белоручкой. Училась на втором курсе университета, посещала занятия от случая к случаю. Что ни день, то «ой, голова болит!», приляжет — и с концами, а раковина полна грязной посуды. Но попробуй скажи ей хоть слово—хватает сумочку и на автостанцию или на вокзал. Через неделю-другую возвращается в сопровождении одного из братьев (у нее что ни брат, то —«шишка!»), и держись тогда, Хайдар!

Был один из тех дней, когда бабушка гостила в Паркенте; Нуриддин задержался на работе и возвращался немного позднее обычного. Еще с улицы он услышал визгливый голос Халбеки. Дома он застал такую картину: Халбека, истерически крича и дергая на себе волосы, сует по двору, а Хайдар, прислонясь к винограднику с окурком в зубах, молчаливо наблюдает за ней.

— Что случилось?— подошел Нуриддин к Халбеке после некоторого замешательства.

Халбека, обычно скрытная, избегавшая с ним общения, неожиданно кинулась на него, вытаращив и без то-

го круглые глазищи. Из ее рассказа, сопровождаемого воплями и плачем, следовало, что, возвратясь с консультации, она «застукала» своего муженька и его жепушку за чаепитием на супе. Чай, конечно, для отвода глаз. Сидели и ворковали, как голубки. В карты, видите ли, играли, а сами так и жались друг к другу.

— В карты? Ну и что здесь такого?— произнес Нуриддин побелевшими губами.— Вместе учились... сели чаю попить...

— Боже мой!— затрясла она головой на манер китайского болванчика.— И это мужчина?!

Последние слова больно хлестнули его. Нуриддин в растерянности приблизился к Хайдару.

— Хайдар, что... что это значит?

— Не верь,— сказал Хайдар, не глядя ему в глаза, и, выплюнув папиросу, быстро выбежал за ворота.

С опущенной головой и безвольно повисшими руками Нуриддин зашел в дом, откуда слышны были сдавленные рыдания Мастуры.

— Мастура... что?..

— Неужели вы не знаете этой бабенки!— повернула она к нему заплаканное лицо.

— Знаю, но...

— Вы у Хайдара спросите, он же ваш друг!

В это время захныкала лежавшая в колыбели Джасура. Присев, Мастура дала ей грудь, а потом посмотрела на него, выставив подбородок, и нервно улыбнулась. И что было в этой улыбке — жалость, любовь? Нуриддин обмяк. Медленно опустился рядом с женой и, обняв ее за плечи, нагнулся к ребенку. Маленькие, как бусинки, глазенки с удивлением глядели на него...

Через некоторое время с шумом хлопнула калитка, и они увидели в окно Халбеку с большим свертком в руках. Не оглядываясь, она шагала прочь вверх по улице, торопясь, по-видимому, на вечерний поезд, который помчит ее в Мирзачуль!

— Уехала,— пробормотала Мастура с горькой усмешкой.— Чтоб тебе пусто было, барыня!

Нуриддин не проронил ни слова.

Никогда не были они столь близки друг к другу, как в те часы... Может, и Камалиддин был зачат в ту ночь...

А на следующей неделе приехал на машине Хайдар — за вещами. Он поздоровался с ними как ни в чем ни бывало, только перед самым уходом сказал: «Не поминайте лихом». И как-то жалко улыбнулся. Насчет же-



ны Хайдар умолчал, и было заметно, что покидает он дом друга с облегчением. Тогда и понял Нуриддин: друг его — уже не прежний Хайдар. Этот другой Хайдар ни словом не обмолвился о купленном тестем доме.

Так в отношениях некогда близких друзей образовалась трещина. О поддержании дружбы не могло быть и речи, особенно на первых порах. Если где и встречались, справлялись вежливо о здоровье, один спрашивал: «Почему вы не заходите?», а другой отвечал: «Приходите сначала вы, милости просим!». Ни к чему не обязывающие фразы... Правда, накануне защиты Хайдар заехал к Нуриддину домой и пригласил их с Мастурой на банкет. «Кто старое помянет...» — вздохнул после его ухода Нуриддин. И они пошли. Неожиданно было то, что Халбека обрадовалась их приходу. Может, беременность смягчила ее нрав, а может, успехи мужа привели ее в доброе расположение духа, но так или иначе, она обнялась с Мастурой, как с давней подругой, неуклюже выставив при этом круглый живот.

Потом возникли, точнее, возобновились семейные связи. О старых обидах больше не вспоминали, по крайней мере вслух. Время шло, подрастали дети. Во время одной вечеринки в доме Эльчиева разговор зашел о детях, что резвились в соседней комнате.

«Эй, друзья, а почему бы нам не породниться?!» — воскликнул основательно захмелевший Хайдар, и с его легкой руки, стали они зваться «сватами». И для растущих детей это стало привычным.

Мало-помалу между ними установились странные отношения: пожелает семья Хайдара прийти к Эльчиевым — приходит, а к себе тех пригласят, лишь когда им самим удобно, да оловестят притом в последний момент. Словом, держались, как хозяева положения.

Ладно бы только это. Как правило, встречи с Халбекой не обходились без ее нашептываний. Покоя потом не жди: не успеют они проводить Хайдара с Халбекой, а Мастура и замечает вроде бы невзначай: «Не пойму, откуда ей все известно? Ведь целыми днями дома. Говорит, работает у вас одна интересная женщина по имени Василя. Работает и ладно, мы-то здесь при чем?» И ходит потом Эльчиев сам на себя не похож, и скребут на душе его кошки. Он давал себе слово сказать пару крепких слов этой наущнице, но всякий раз сдерживался: «Глупо терять друзей из-за мелочных женских сплетен.

И не так молоды мы, чтобы заводить новых... К тому же между нами существует уговор...»

А все дело в том, что Халбека, жена Хайдара Самадовича,— просто ведьма какая-то в шелках да атласе, когда Мастура — жена Эльчиева — милая и обаятельная!

И почему Хайдар женился на этой Халбеке? Чтобы стать вот таким Хайдаром Самадовичем?..

«...Ну и упрямец же ты, Нуриддин-бай! Я тебе еще когда говорил: «Брось ты это дело»...

...Одно мне непонятно, Хайдар, почему ты нахально лжешь мне в глаза; и я хорош — никак не решусь оборвать тебя. Хотя и сам ты, пожалуй, понимаешь, что я не верю твоим рассказам, но все равно продолжаешь лгать, а я, в свою очередь, терпеливо выслушиваю всю эту чепуху — разве это не взаимное лицемерие? Впрочем, лицемерие даже тебе к лицу, а я — лицемер поневоле. Почему так, Хайдар... Хайдар Самадович?

Впрочем, и тогда ты убежденно советовал: «Брось это дело!», а заботился, дружище, совсем об ином. В те дни я только вышел из больницы — синяки еще не сошли с лица, а обида — из сердца, да и затянувшееся следствие порядком осточертело. Вдруг звонишь. А между тем месяц от тебя не было ни слуху, ни духу. «Привет, герой! — бодро кричишь ты в трубку. — Слышал и не верил. Неужто ты и вправду подрался с какими-то сопляками? Что, решил тряхнуть стариной? Ну да ладно, дело не в этом. Понимаешь, один из этих молокососов дальний родственник моего шефа, ну и он просил, естественно, чтобы я поговорил с тобой по старой дружбе. Так что очень тебя прошу... Сделай одолжение... Заодно и вопрос с учебой Камала отрегулируем, а, Эльчиевич?» Я растерялся и не смог выдать из себя ничего путного, пробормотал вроде того: «Ладно, посмотрим».

Какая наглая торговля! Тебе, отцу четверых детей, человеку с сединой в голове, избитому хулиганами, которые в сыновья годятся, предлагают отказаться от своего законного иска, а взамен обещают перевести твоего сына на очное отделение!..

Хайдар, друг ты мой любезный, пораскинь-ка сначала мозгами, а потом скажи начистоту: откуда такая безнаказанность? Избить до полусмерти отца, оскорбить его человеческое достоинство, а в порядке компенсации облагодетельствовать его сына. Но какой нормальный че-

ловек согласится на подобное унижение, заключит столь гнусную сделку с совестью!

Переломы срastутся, синяки сойдут, упавший встанет. А сердце? Растопанное достоинство, ущемленная гордость, измученная душа?! Подумал ли ты об этом, прежде чем предлагать мне это, приятель мой?!

Верно, в прошлом году я как-то попросил тебя перевести сына на дневное отделение, решил, так лучше будет. Ты ответил: «Подумаем»,— и ничего больше. И вот после «долгих раздумий» ты вдруг вспомнил о моей давней просьбе, ты даже обещал ее исполнить, но для этого я должен сделать «одолжение, маленькое одолжение». О, у тебя далеко идущие планы: выполнишь эту просьбу шефа — еще ближе к нему станешь, поможешь Камалиддину — от него избавишься. Зачем тебе зять, живущий на стипендию? Итак, одним выстрелом — двух зайцев... Молодчина, приятель, охотник ты славный!

«...Не будет ли мне каких поручений? Может, поговорить с врачами?»

Поговори, Хайдар Самадович, поговори! Только что ты им скажешь? Они уже сделали, что могли, даже больше. Если ты еще на что-то способен, то пойди и скажи им: «Он все равно не жилец, надоело ему, помогите человеку уйти. Бросьте, не мучайте ни его, ни себя!» Услуги мне хоть раз в жизни, приятель! Знаю, даром ты и пальцем не пошевелишь, ну а если вздумаешь: кому-то помочь, то перед тем раструдишь об этом на весь свет. Я знаю об этом и тысячу раз подумаю, прежде чем просить тебя о чем-либо. О, ты готов все для меня сделать, но лишь в том случае, если тебе это выгодно...

Зачем ты пришел, Хайдар? Уходи, уходи!..

Будь Эльчиев в палате один, он сказал бы это вслух, во всю силу легких.

Но кроме него в палате пять человек: у одного забинтована рука, у другого — нога, у третьего — голова. Верно окрестили — «палата катастроф».

— Приятель мой,— сказал Эльчиев Музрабу-амаки и смущенно улыбнулся.— Когда-то учились вместе.

Тот лукаво подмигнул:

— «Пятерки» получал?

— Пятерки? Какие пятерки?

— Сам же говоришь, «учились вместе». Вот я и спрашиваю: приятель твой небось отличник?

— Да нет,— мотнул головой Эльчиев, не уловив иронии,— учился он так себе, на «троечки».

— Получал, получал,— насмешливо возразил Музраб-амаки.— Только вы не видели, не замечали...

Эльчиев пожал плечами, а все остальные рассмеялись, даже его сосед по койке, который ни с кем в палате не общался и к которому после операции никто не приходил, как, впрочем, и до нее. Значит, занятый своими мыслями, Эльчиев не заметил, куда зашел разговор. Видно, Музраб-амаки опять спорит с Хайбатиллой, парнем веселым и словоохотливым, а все с интересом их слушают.

Музрабу-амаки под семьдесят. В больнице он уже второй месяц. Но, несмотря на серьезную травму — упал с лестницы и расшибся,— держится бодро. Человек он на язык острый, и ум у него живой — все знает старик, на все имеет собственное мнение. Эльчиеву, к примеру, мигом поставил диагноз: «Никакого синдрома-пиндрома у вас нет! Нервный стресс, последствие депрессивного состояния. С каждым может случиться».

Хайбатилла, состарясь, будет, по-видимому, точь-в-точь как Музраб-амаки. Он тоже обо всем наслышан и за словом в карман не полезет. Всезнайство и сыграло с ним злую шутку: хотел объяснить попросившим закурить хулиганам, что сигареты продаются в магазинах по пятьдесят копеек за пачку, а те, не вникая в юмор, отдубасили его и довольно крепко.

Молодой шофер Марсель всегда готов подбросить дровишек в затухающий костер очередного спора двух «мудрецов» и заразительно смеется над каждой остротой. В больницу он попал после аварии. Что ни день — навевываются к нему друзья, наполняя палату запахами бензина и масла. Прихрамывая, он уходит с ними во двор и возвращается оттуда чуть навеселе; потом старательно жует сухой чай, чтобы не попасться...

Студент из Андижана, прозванный «Ашуг Гарибом»<sup>1</sup>, парень стеснительный и потому больше молчит. Каждый вечер его навещает красивая девушка, и они тихо разговаривают, словно голуби воркуют. Так вышло, что эта девушка стала невольной виновницей того, что «Ашуг Гариб» попал сюда, так как студента избил... ее старший брат!

Думая о своем, Эльчиев слушал краем уха продол-

---

<sup>1</sup> *Ашуг Гариб (влюбленный Гариб)* — герой народного дастана «Ашуг Гариб и Шахсанам».

жение разговора. Разглагольствовал, по обыкновению, Хайбатилла:

— ...Все так и стелятся перед этим Саидваккасом, а за глаза говорят о нем всякие гадости. Даже близкие друзья! Молодой парнишка, а женился на «разведенке»—там папа, там монета—вот и задрал кверху нос. А для махалли он кто? «Зятек»! А вы заладили: деньги, деньги!

— Ерунда все это. Ерунда!—отмахнулся как от назойливой мухи, Музраб-амаки.— Ну подумай: будь у тебя деньги, лежал бы ты здесь? Вернее всего ты не влип бы в такую историю. Но даже если бы тебя и побили и ты в итоге попал бы сюда, отношение к тебе, поверь старику, было бы совсем другое. Хорошо, конечно, быть ученым человеком, обо всем знать, но разве плохо иметь заодно побольше денег? С деньгами и знания твои, чтоб ты знал, не оскудеют, наоборот! И потом, деньги с неба не падают, чтобы их заработать — голова нужна. Как говорится, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. А кто богат и умен, тот и красив, а разве плохо быть красивым? Все тебе завидуют, восхищаются тобой, вокруг тебя толпы влюбленных девушек, кивни только, и любая отправится за тобой хоть на край света. Ну как? Убедил? Не в оценках дело, ну, а если и получаешь «пятерки», то на здоровье. Об этом, мальчик, не мешало бы тебе знать!

— Знаем, знаем,— не сдавался Хайбатилла.— Все это — не ново. И зря вы сводите все к деньгам и к судьбе. По-вашему...

Хайбатилла не успел закончить,— в палату вошла няня:

— Будете есть, мои милые, или вы уже сыты своими разговорами?— спросила она.

«Будь у тебя деньги, лежал бы ты здесь?..» Эльчиев размышлял над этими словами. С одной стороны, в рассуждениях Музраба-амаки есть доля здравого смысла, но нельзя же быть таким циничным, особенно в общении с молодыми. Видно, хлебнул старик лиха... На днях он сам рассказывал о своих злоключениях, так, наверное, и родилась в его душе озлобленность на всех и вся.

— Дядя, мой отец...— сказал Нусрат, входя с двумя бумажными пакетами; следом показалась в дверях массивная фигура в коротком белом халате на крутых плечах.

То был старший брат Наджмиддин. Он поздоровался с каждым больным в отдельности и только после этого подошел к его койке. Не спеша опустил на стул, поставленный для него Нусратом.

— Ну что, опять отдыхаем?— заговорил брат с наигранной веселостью.— Или понравились больничные харчи?

— Не говорите,— виновато улыбнулся Эльчиев. Он сел на кровать и поджал под себя ноги.— С приездом, ака.

Наджмиддин несильно тряхнул его руку, мол, «не падай духом», и сказал:

— Прости, браток, что в прошлый раз не смог к тебе вырваться. Дела были...

— Как мать? Как жена, дети?

— Ничего, здоровы. Ну ты, ты-то как? И не надоело тебе здесь?

Говорит, будто ни о чем не знает! Добрая же у тебя душа, брат!

— Не стоило ехать в такую даль.

— Почему? Сел на самолет и мигом в Ташкенте. На коллегию вызвали, я к тебе домой, а там сноха говорит, что ты прихворнул.

Значит, «прихворнул»! Чья же это все-таки забота? Нусрат, конечно, он. Больше никому. Дал телеграмму, наверное, поганец. Выждал сначала немножко, чтобы не огорчать прежде времени старенькую бабушку. Но в чем его вина? В том, что сообщил старшему брату о младшем, который чудом остался жив после покушения на собственную жизнь? Не сообщи он, брат все равно бы узнал и все равно бы приехал. Он всегда рядом с ним: и в горе, и в праздник.

Эльчиев в неоплатном долгу перед своим братом. С ранних лет Наджмиддин был для него опорой, надежной опорой. Даже вещи, которые Эльчиев донашивал после него, казалось, хранили теплоту его доброго сердца. Росли они в семье небогатой, отец плотничал понемногу, не сильно вникая в дела хозяйские и просиживал все свободное время в чайхане. Не удивительно, что заботы о младших братьях, а их было трое, легли на плечи старшего — Наджмиддина.

Днем Наджмиддин работал в совхозной конторе, а вечером учился. Продолжить учебу в институте, пока не поставлены на ноги младшие братья, ему долгое время не удавалось. Зато, благодаря ему, они все получили

высшее образование. Нуриддин уехал учиться в Ташкент. А двое других — в Карши. И не держал он на них обиды, не сетовал на свою судьбу. Ведь старший брат.

Особенно любил он Нуриддина. Когда от того отвернулись все родные, один Наджмиддин поддержал его и приехал с друзьями на свадьбу. С пониманием отнесся он и к тому, что Нуриддин остался в Ташкенте. Более того, он гордился тем, что его младший брат стал горожанином и не упускал случая похвалиться его домом в столице, куда ему можно приехать в любое время без предупреждения, и где он всегда желанный гость. Разумеется, он знал о скромных достатках младшего брата, однако искренне считал работу Нуриддина ответственной и относился к нему уважительно. Порой предлагал в шутку: «Слушай, братишка, давай, меняться: я займусь инспекцией, а ты — совхозом поруководишь. Идет?»

Но при всем том Наджмиддин чрезвычайно щепетилен — попробуй уговори его остаться хотя бы на ночь. «У меня люкс в гостинице», — говорит он, потирая большие ладони. Порой не замечаешь, как он успевает побывать в городе и отчалить обратно. «Времени, братишка, в обрез. Знаешь же, что такое совхоз!» И даже во время своей заочной учебы в сельхозинституте Наджмиддин не хотел беспокоить брата, снимая во время экзаменов комнату у какой-то старухи. Говорил, что он не один, с товарищами, и ему так удобнее. А Эльчиев переживал — родной брат все же и не пожелал жить у него...

Зато не бывало, пожалуй, чтобы, будучи в Ташкенте, брат не заглянул к нему, пускай даже на часок. И всякий раз навозит дорогих подарков, так что Нуриддину делается неловко. «Ты не хмурься, братец, — говорит ему Наджмиддин. — Я это детям твоим привез и невестке». Брату очень нравится Мастура — ее гостеприимство, домовитость, кулинарные способности. А когда Нуриддин приезжает с ней в кишлак, Наджмиддин так старается угодить им во всем, что каждое невольное оброненное невесткой слово служит ему сигналом. «Нуриддин-бай, братишка мой, из Ташкента приехал вместе с женой», — радостно сообщает он каждому, кого бы ни встретил. И везет дорогих гостей то в горы, то в степь, временно оставив свои многочисленные дела.

Эльчиевым тоже не хочется ударять лицом в грязь, и когда приезжает брат, Эльчиев сам бежит на базар и в гастроном, а Мастура затевает званый ужин. Наджмиддин смущенно наблюдает за этими приготовлениями,

вища повод поскорее уйти, словно боится, что окончательно подорвет своим визитом их семейный бюджет. А они с женой расстроены: опять не сумели принять дорогого гостя как полагается. И не переубедить Наджмиддина, что жизнь в городе не такая уж дорогая, как он себе это представляет.

Но спорить с ним бесполезно. Когда умер отец, брат запретил Нуриддину давать деньги на похороны. Эльчиев, правда, пробовал возражать, но тот и слушать не захотел. «Ну как же так, Наджмиддин-ака, ведь это и мой отец», — не унимался Эльчиев. «Ну какая тебе разница, кто из нас будет платить!» — отвечал брат. Возвратясь в Ташкент, Эльчиев все же взял займы и устроил поминки в махалле: исполнил-таки сыновний долг. Но вспомнить о тех днях ему до сих пор неловко.

Или взять дни рождения... Каждый год брат исправно поздравляет его, приезжая сам, либо посылая с гостинцами кого-нибудь из домашних. Эльчиев же, к своему стыду, не помнит даже точно, когда брат родился, — знает только, что Наджмиддин старше на четыре года. И в этом году брат прислал с сыном тандыр-кебаб из целого барашка...

Задолжал он брату, здорово задолжал. Но как отблагодарить его, как рассчитаться? Или ты мой должник? Раз брат — значит должник? Если родство наше — долг, то как вернуть его? Нет, не получится! Да и как можно вернуть то, что как материнское молоко или подарок судьбы, что возврату не подлежит! Знаю, ты ничего не ждешь от меня взамен. Но почему? Неужели для этого достаточно быть просто младшим братом? Всего-то! Ты одобряешь едва ли не все мои слова и поступки, обычно ведь бывает наоборот, ты же старший. Меня это мучает, брат, а у тебя на все один ответ: «Ты же мой братишка, одна мать нас родила» — и все.

— Ваш Нусрат просто дежурит здесь... — не находит других слов Эльчиев.

— Э-э, — машет рукой Наджмиддин и чешет затылок. — Тоже шалопай. Заявил, что не будет жениться!

Самое время поинтересоваться родному дяде: а в чем дело? Но Эльчиев молчит...

Два года назад старший сын Наджмиддина окончил в Ташкенте политехнический институт. Когда он поступал, то недели две жил у них. Был Нусрат тих и по-деревенски стеснителен, так что его присутствия даже не за-



мечали, и, конечно, в тягость он никому не был. Но приехал Наджмиддин и что-то, видимо, сказал ему, так что вскоре Нусрат перебрался в общежитие. И никакие уговоры не помогли. А сколько раз Эльчиев уговаривал его вернуться, но племянник лишь с улыбкой качал головой. На последнем курсе Нусрат вовсе позабыл дорогу в их дом. Может, влюбился, гадали они, но ошиблись.

Прошел год, и Нусрат вновь зачастил в Ташкент — работает он прорабом, и потому повод для приезда всегда находится. А причина хорошо известна и Эльчиеву, и Мастуре, и другим...

В последний раз он приехал под предлогом дня рождения дяди и задержался здесь надолго — дядя попал в больницу!

— Он днюет и ночует здесь,— говорит Эльчиев после небольшой паузы.— Скажите ему, пусть идет к нам. Мне уже лучше.

— Пойдет, сегодня же пойдет,— обещает брат, задумавшись.— Я и сам несколько дней побуду. А обратно поеду, заберу его с собой. Никак не пойму его: взрослый парень, руководит на стройке людьми... Не знаю, как и быть, братишка.

И Эльчиев не знал, как разрешить этот запутанный вопрос. Одно лишь упоминание, а в сердце — будто бы десяток шипов...

Когда появилась на свет Джасура, Эльчиев решил показать ее родственникам. И в надежде, что помирится с ними, приехал с женой и крошечной дочкой в кишлак. После знакомства с Мастурой у родных явно потеплели сердца. «Хоть и городская,— говорили они,— но лучше многих наших будет»,— и желали молодым долгой супружеской жизни и рождения на сей раз сына.

Эльчиев хорошо помнит, как в один из таких дней сидели они перед обедом на супе, что посередине двора, и вдруг соседская старушка обратилась к его матери: «Чем горевать да лить слезы, что сын остался в городе, свяжите лучше вон те колыбели, Рабия,— и показала пальцем на открытую дверь.— Посмотрим, как он будет тогда чужим!»

Мать, свято верившая старинным обычаям, встретила эти слова как счастливое предзнаменование. «Как вы на это смотрите, сношенька?— тут же спросила она с надеждой.— Не посмеетесь ли потом над нами?» Мастура только мягко улыбнулась, слегка огорошенная происходящим.

Так дети двух братьев с пеленок были сосватаны. И попробуй развязать узелок, завязанный проникательной старухой!..

В позапрошлом году Эльчиевы гостили в кишлаке. «Послушайте, что невестка мне сегодня сказала,—заговорила с мужем Мастура.—«Нусрат, видать, всерьез болен вашей дочкой. Только заведу разговор о женитьбе, вспыхивает, как спичка, и ни слова в ответ. Вы не обижайтесь, невестушка, мало ли о чем когда-то сговорились, время теперь другое. Черт бы побрал эту бабку: заварила кашу, а мы — расхлебывай! И что он,— говорит,—вбил себе в голову? Неужели не поймет, что он не по душе девушке, к тому же они двоюродные брат и сестра. Ума не приложу, что делать...»

— Им самим виднее, как поступить,— задумчиво проговорил Эльчиев.

— Ты это о чем?— спросил Наджмиддин, наливая а пиалу чай, заваренный Нусратом.

Эльчиев посмотрел на дверь, за которой только что скрылся племянник.

— Да-а... я тоже так думаю, Нуриддинбай. Ты не переживай, найдется какой-нибудь выход. Выдашь Джасуру замуж, и мой образумится...

Нуриддин молчал задумавшись, вспоминая...

...Братья поднимались в гору за хворостом... Дойдя до арчовой рощицы, сделали привал. Старший оставил младшего присматривать за ослами, а сам двинулся с топором и веревкой вглубь. Оставшись один, младший не сидел сложа руки: он напоил животных, потом собрал вокруг сухие ветки и сложил в кучу. Притомившись, заскучал. Не найдя более подходящего занятия, он залез на высокую арчу и стал изучать окрестности.

Чуть поодаль слышался монотонный стук топора и треск ломаемых веток. Старший брат работает. Вот он приносит вязанку и, тяжело дыша, опускает ее у большого камня. Потом поворачивается и медленно идет за другой.

Сделав четыре ходки, он сел на камень и утер потный лоб. Переведя дыхание, тщательно отряхнулся и тут вспомнил о братишке. «Нуриддин, эй, Нуриддин!»— крикнул он, а тот не отозвался, уставясь на арчовый склон.

Старший брат снова окликнул его, уже более тревожным голосом, но младший застыл на ветке, задумав

поиграть немного в прятки. «Нури-и-и, Нуриддин! Где ты? Отзовись. Ладно, поедешь верхом, я сам понесу дрова. Нури-и! Где ты? Покажись! Я не буду больше тебя обижать!..» Брат обежал рощицу и остановился перед мирно щиплющими траву ослиами. «Где же он? Где?!» — сердито пнул он одного из них, будто тот был виновен в исчезновении братишки. Шалуна это рассмешило, и, чтобы не выдать себя, он зажал рот ладошкой.

Разве ожидал он, что брат рухнет на землю, как подкошенный, и заплачет, причитая: «Что я скажу отцу-у-у, что я скажу-у матери, а-а?..» Нуриддину стало жаль брата. Не откликнуться ли ему? А вдруг брат, разобравшись в чем дело, задаст ему трепку?

С замиранием сердца он следил за плачущим братом, пока, наконец, рыдания того не утихли. Наверно, брат устал плакать, а ему сделалось страшно: «Неужели Наджмиддин умер от горя?!» Он торопливо слез с дерева, подбежал к брату и тихо тронул его за плечо: «Ты чего это?»

Старший брат поднял голову и посмотрел на него обезумевшим взглядом. Затем вскочил и крепко прижал его к груди: «Братик мой, братик!» По щекам его катились слезы. Младший тоже не удержался, и они заголосили дружным дуэтом...

Теперь младший брат, прятавшийся тогда в ветвях, лежит вот на больничной койке, а старший, проливший столько слез, сидит подле него, и Эльчиеву кажется, что Наджмиддин до сих пор всхлипывает: «Братик мой, братик», опустошенный тщетными поисками, только рыдания его беззвучны. Вторично за последние месяцы приезжает он, получив дурную весть, и, как и в первый свой приезд, сидит вот так молча и не спросит: «Что с тобой, братишка? Зачем ты это сделал? Что тебя мучает?» Битый час сидит и не решается спросить о главном. Зачем спрашивать — причинять боль измученному сердцу? Ему и так все известно — он же родной брат, единокровный и не может не чувствовать... Кровь у них одна, а судьбы разные. И хотя страдания младшего брата для него как собственные, помочь он не в силах. Что судьбой дано...

Эльчиев смотрит на старшего брата, на сеточку морщин у его глаз и поредевшие волосы; на глаза его набегают, предательски блестя, слезы.

— Ты чего, Нуриддинбай, ты чего? — наклонясь к нему, растерянно говорит брат.

И все же есть долг, который должен быть уплачен!..

Вечером пришли сослуживцы, в четвертый раз за минувшие две недели. Не приведи господь очутиться в больнице, да еще в его положении. Посетителям нет конца, все считают своим долгом проведать. Вот и тянутся с бумажными пакетами родственники, приятели, коллеги, соседи. Кто приходит любопытства ради — узнать, как он там, оклемался? Другие для очистки совести — раз больной, надо навестить... Но хуже всего, когда в дверях появляется человек, при виде которого все внутри закипает, и волком выть хочется. Но ничего не поделаешь, ведь человек специально пришел к тебе, потратил личное время и, следовательно, заслуживает того, чтобы ты лицемерно его постылую физиономию и десяток раз повторял на прощание «спасибо», прикладывая к сердцу руку.

В прошлый раз благодаря жене никто не знал, где он. А теперь... словно глашатай по городу проехал или же «Вечерка» объявление напечатала: от людей отбоя нет. В первые дни он вообще поворачивался ко всем спиной, не желая разговаривать. Потом, однако, свыкся с этими выражениями сочувствия и терпеливо сносил расспросы о своем самочувствии. Раз тебе не удалось задуманное, раз остался жив, раз можешь говорить, то будь добр — отвечай!

Через день наведывается Рузиев. Приносит то плов, то горячую самсу, а живет-то в другом конце города. «Жена специально для вас приготовила», — уговаривает он Эльчиева поесть. Эх, если бы он был голоден! Едва Рузиев уходит, Эльчиев выкладывает все на стол, настойчиво приглашая к нему соседей по палате, особенно больного, к которому никто не приходит.

Рузиев совсем ему не приятель. По натуре общительный, Эльчиев даже недолюбливал этого скрытного и чересчур угрюмого инспектора. При встречах «здравствуйте» да «прощайте» — вот и все отношения. И дома у Рузиева он был лишь однажды, на тое, традиционно исполнив роль шеф-повара. С того самого дня Рузиев проникся к нему особой симпатией. От Мастуры он узнал, что именно Рузиев стоял в больничном коридоре на следующий день после случившегося и плакал навзрыд, словно ребенок.

Странно, с виду сухарь, а в душе...

Дважды был у него и старичок-вахтер Шамурадака. «Отведайте, мулла Нуриддин, — уговаривал он, предлагая вкусно пахнущие манты, — старуха моя вам послала. Кушайте, поправляйтесь».

Старик его уважал: едва заметит Эльчиева в вестибюле, тут же протягивает ему пиалку чая, будто бы специально заваренного к этому моменту, и спрашивает про житье-бытье. Удивительный старик. В больнице он первым делом прочитал Эльчиеву мораль:

— Благодарите аллаха, что остались живы, мулла Нуриддин. Чего только не случается в жизни! Но если вы постоянно будете повторять: «И на том спасибо», не пожалеете. Поверьте, братец, моему слову: тот, кто замыслил зло, будет наказан. А если кто-то ни за что ни про что обидел вас, так придет день, и этот человек понесет заслуженную кару. Вы что думаете, он там наверху без дела сидит, да? Он все видит, во всем разбирается и делает выводы. У него две тетрадки: в одну записываются ваши добрые дела, в другую — грехи. Попробуй-ка потом увильнуть от ответа! Не-ет, не выйдет! Поэтому человек обязан оценивать каждый свой шаг: ступил не так — в тетрадке грехов отточка. Всем потом придется держать ответ! Не зря говорится: «Любое зло наказуемо». Так-то вот, мулла Нуриддин.

Слушая наивные стариковские мудрствования, Эльчиев улыбнулся, впервые, пока лежал здесь:

— Скажете же, отец! Значит, есть у него и тетради...

— Есть, есть! — быстро закивал старик, словно только вчера держал их в руках.

Если есть тетрадь, хватит ли в ней страниц, чтобы записать все гнусности, что творятся на белом свете? Или для них есть отдельная тетрадь? Бумаги там, по-видимому, в избытке...

Среди тех, кто пришел к нему этим вечером, были завотделом Артык Исламович, старшие инспектора Тураматов и Зиямухамедов, экономист Бахрам и... Муминбаев! При виде Муминбаева ему даже нехорошо сделалось, и, пока они у него сидели, Эльчиев избегал смотреть на этого человека, один вид которого был ему неприятен.

С Муминбаевым они работают в одном отделе вот уже шесть лет, но так и не разобрался Эльчиев, что это за человек? Лицо у Муминбаева — холодное и непроницаемое, словно маска, а что внутри — поди разберись. Такие лица обычно у людей молчаливых, а этот, напротив, шутник да балагур, со всеми запанибрата — знаком с человеком или не знаком. Поговорит минуточку-другую, смотришь, тот уже для него «дружище»: и по плечу его

похлопает, и очередную остроту выдаст, да такую, что не поймешь, смеяться или впору обидеться.

Эльчиева дрожь пробирает, когда он слышит муминбаевский голос, особенно после одного разговора. Но, как назло, Муминбаев обязательно приходит с остальными коллегами. Ладно бы помалкивал или хотя бы соблюдал элементарные приличия, так нет, хватило нахальства спросить: «Интересно, а как вас, старина, откачали?» Эльчиев знал, Муминбаев не отвяжется, пока не услышит подробного рассказа. С каким трудом он сдержался! «Увы, после того, как я потерял сознание, прошло, видно, мало времени,— вошел сын и...» — стал объяснять Эльчиев дрожащим голосом. «Э-э, надо было держать руку под водой!» — перебил его Муминбаев, чем смутил всех пришедших. Эльчиев попытался обратиться эти слова в шутку, но желчь все же прорвалась наружу: «В следующий раз, братец, я сделаю именно так, как вы советуете...»

Когда сослуживцы несколько дней спустя пришли без Муминбаева, у Эльчиева даже вздох облегчения вырвался. А когда Турамаатов со смешком рассказал о том, что накануне к Муминбаеву в дом забрались воры, Нуриддин даже позлорадствовал про себя. Правда, сразу стало как-то неловко за эту безотчетную радость: в конце концов, плох ли Муминбаев, хорош ли, а жалко человека.

Ну, а в другой раз пришел сам Муминбаев, верней, заскочил на минутку и, смакуя каждое слово, поведал, как все было. Сочным баском расписывал он эту кражу, а Эльчиев никак не мог взять в толк, откуда такое легкомыслие?

...В тот день, возвратясь с работы, Муминбаев с удивлением обнаружил входные двери открытыми. В квартире все было вверх дном: постели перевернуты, одежда разбросана, стулья опрокинуты. Пока он соображал, в чем дело, вернулась и жена. Не снимая обуви, она кинулась в спальню, и через мгновение оттуда донесся ее сдавленный вопль: из шкафа исчезли завернутые в китайское полотенце драгоценности. Впрочем, Муминбаев не сильно расстроился. Невелика потеря! Жена-то не знала, что бриллианты в украденных серьгах фальшивые. Вызвали милицию, составили акт, а так как имущество было застраховано, то он рассчитывал получить в скором времени полторы тысячи!

Прямо сказка! Ни стыда, ни совести у человека. Дру-

гой постеснялся бы такое рассказывать, а этому хоть бы хны — веселится даже, об одном лишь сокрушается — на новый замок раскошелиться придется.

И вот опять перед ним это самодовольное лицо. Ухмыляется, значит, прихватил с собой воз сплетен!

— Лежите, Эльчиев, отдыхайте! Вы сегодня молодецом! — весело проговорил Муминбаев.

Эльчиев, привыкший к подобным замечаниям, лишь слабо кивнул.

— Проходите, пожалуйста, — пригласил он всех в палату.

Сослуживцы вошли, и Муминбаев поспешил выложить свежую новость:

— Знаете, пока вы здесь загораете, Надыра Файзуллаевича, начальника нашего родного, перевели на другую работу.

— Не может быть! — воскликнул Эльчиев. — А почему?

— На повышение пошел, в министерство, — развел руками Артык Исламович.

— Вот-вот, — подтвердил Муминбаев.

— А кого же взамен? Уже назначили?

— Мы еще не решили. Ждем, когда вы поправитесь, — съязвил Муминбаев.

Потом речь зашла о достоинствах и недостатках бывшего шефа. Турамаев и Зиямухамедов обвиняли того едва ли не во всех смертных грехах, в то время как Артык Исламович активно им возражал. Муминбаев держался золотой середины, принимая сторону то одной, то другой половины. Бахрам слушал и помалкивал — новичок.

Известие было для Эльчиева столь неожиданным, что он и не воспринял как следует спор сослуживцев.

— У вас, быть может, есть, что сказать нашему руководству? — спросил перед уходом Муминбаев. — Мы, как таковое появится, передали бы...

Эльчиев выслушал и этот вопрос, так и не удостоив Муминбаева ответом; попрощался со всеми рассеянно — да и как иначе, если мысли далеко-далеко, в тех злополучных днях...

Удивительно, как он все это вытерпел, в особенности в первые дни после выписки, ведь покоя не было ни дома, ни на работе. Дом походил на потревоженный улей: какие-то женщины со свертками, посредники; следом — обещания, угрозы, сплетни, слухи...

На службе такая же чехарда — хоть на обед не выходи. Всякий, кому не лень, подходит, заглядывает в глаза, даже руками трогает. Качая головой, интересуется, из-за чего началась драка, сколько их было, пьяные или нет, как били, что говорят врачи, как идет следствие?.. И в том же духе. А одному кто-то наплел, что его убили, и бедняга чуть в обморок не упал, когда они встретались в коридоре.

В отделе, едва выпадала свободная минута, его засыпали советами и предостережениями. Учили, к примеру, как давать показания, советовали, как составить письмо в газету, для подстраховки. Те-то наверняка не сидят сложа руки, понимать надо. А с деньгами чего не сделаешь? У них — связи, но без переделки медицинского заключения им все равно не обойтись. Так что надо быть предельно осторожным, эти люди ни перед чем не остановятся...

Сплошное беспокойство, сплошные треволнения...

Но все это — ладно, это — куда ни шло. Но как остертели ему вызовы в милицию! Следователь, который поначалу как будто был на его стороне, спустя какое-то время заговорил совсем по-другому: «Знаете, а вы, оказывается, сами во всем виноваты,— заявил он как-то Эльчиеву.— Ведь вы были в нетрезвом состоянии, когда пристали к парням? Не так ли? Просили вас уйти по-хорошему, так вы давай ругаться нецензурной бранью. Да вас самих следовало бы привлечь к ответственности!» На мгновение Эльчиев лишился дара речи, но, благо, замешательство его было недолгим. Выхватив из вороха бумаг, что лежали на столе, медицинское заключение, он поднес его к самому носу следователя: «это, это что?! Учтите, если я не найду правды здесь, найду ее в другом месте!»— пригрозил он и решительный вышел из кабинета, с силой хлопнув дверью. И, как выяснилось в дальнейшем, правильно поступил.

«Вы меня не совсем правильно поняли,— сказал ему следователь, когда Нуриддин явился к нему в очередной раз.— Поверьте, ака, все не так просто, как вам кажется».

Больше Эльчиева в милицию не вызывали, а он сам не ходил, решив про себя — будь что будет!

Но на душе у него было неспокойно, обида не проходила! Отпустит немного, так вновь кто-то или что-то напомнит об этой истории. Ночью он вскакивал от кошмарных снов, днем шараялся в сторону от случайных



прохожих, словно бы опасаясь внезапного нападения. Он чувствовал себя виноватым перед женой, детьми, знакомыми, родственниками, перед всем миром.

Мысли, мысли, мысли...

Однажды вечером он застал дома незнакомых женщин. Приняв их за каких-то новых свах, Эльчиев повесил плащ и молча прошел в спальню. За ним следом — жена.

— К вам женщины... насчет того самого...— сказала Мастура.— У одной—сын, у другой—брат, у третьей—муж. Хотят поговорить с вами. Сидят вот и плачут. Уж больно мать убивается, говорит, он у нее единственный и неженатый еще, заклинала меня именем материнским, чтобы вы не губили его. А молодуха — в положении. В общем, простые, хорошие, видно, женщины, и жалко мне их стало; по-человечески жалко...

— А мужа своего тебе не жалко?!— вскипел Эльчиев, сжимая до боли кулаки.— Муж, выходит, по боку! Скажи им, что я ни с кем не желаю разговаривать, все, что нужно, я уже сто раз говорил следователю, и мне нечего к тому добавить!

Но на этом визите дело не кончилось.

Дня два спустя к ним в отдел заглянул незнакомый мужчина лет тридцати пяти и, пройдя к его столу, вежливо приподнял шляпу:

— Нуриддин-ака? Здравствуйте.

— Здравствуйте,— удивленно посмотрел на него Эльчиев.

— Вы не могли бы уделить мне несколько минут?

— Пожалуйста.

А — Если можно, наедине.

— Идемте,— сказал Эльчиев и вывел гостя на небольшой балкон в конце коридора, излюбленное место курильщиков. Подозрительно оглядел незнакомца:— Чем могу быть полезен?

Тот облокотился на перила и посмотрел вниз.

— Ох-хо, как высоко!— сказал он с улыбкой.— Интересно, что будет, если упасть отсюда?

Эльчиев невольно вздрогнул и отшатнулся от перил. Тысячу раз выходил он на этот балкон, но никогда не думал об этом.

Семью этажами ниже гудела улица; сновали туда и обратно автомобили, спешили куда-то люди, которым не было никакого дела до человека, стоящего на узком балкончике.

— Ну, я вас слушаю!— нетерпеливо проговорил Эльчиев, упираясь спиной в дверь.

— В общем, такое дело, брат...— вперил в него колющий взгляд незнакомец...

Сопляки, что с них возьмешь? Выпили в тот день, ну, самую малость, и давай выяснять друг с другом отношения, а тут, как на беду, подвернулся он, Эльчиев. Бывают же такие несчастные совпадения. Парни они хорошие — мухи не обидят, непонятно, уму непостижимо, что на них такое нашло. Но теперь они все осознали и просят, искренне просят простить их. На колени готовы встать. Ну что поделывать, коли случилось! Надо пощадить юные души — да ладно их самих — родителей, деток малых... Зачем отрывать их от семей? Нет, серьезно, они вовсе не плохие ребята: двое в магазине работают, а двое других учатся. И родственников у них повсюду... Даже та-ам! Так что если этой истории дать ход, родственники могут и обидеться. А к чему обижать уважаемых людей? Парней все равно выпустят, рано или поздно, так не лучше ли сразу разойтись по-мирному. Тем более оплатят это вполне прилично. Дадут, например, машину, а хочет — деньгами. Чем не цена?

— ...Короче, братец, считай, десять штук у тебя в кармане!— небрежно заключил незнакомец.

— Что?!

— Ну десять тысяч...

— Десять тысяч?!— испуганно выдохнул Эльчиев.

— А что, мало?

Эльчиев нервно захлопал по карманам в поисках сигарет. Но вспомнил, что оставил пачку на столе, и занервничал еще больше.

Ладно, предположим, он согласится и получит десять тысяч. Но унижение, как быть с унижением! Ведь сердце до сих пор болит... Кто же все-таки за эту боль ответит? Кто заплатит за его муки, страдания?! Хотят купить, взять хотят, как ребенка красивой игрушкой! А потом посмеяться над его падением, над унижением его!

— Мало! Мало!— испуганно закричал Эльчиев.— Сто тысяч!

— Ого-го-го! Ну и аппетиты!— обалдел незнакомец.

— Ни меньше! Ни копейкой меньше!— сказал Эльчиев твердо и, глядя, как вытягивается от удивления лицо незнакомца, добавил: — А кто вы, собственно, будете и откуда?

Незнакомец после некоторого замешательства назвал

какое-то имя и так же на ходу сочинил какую-то до не-  
лестности длинную аббревиатуру места работы. Эльчиев  
так и не вник в нее, потому что в голове его вертелось:  
«Посредник, посредник... грязный маклер, торгующий  
чужой бедой... барышник... мразь!..»

Эльчиев вновь оглядел незнакомца. Ни одной сколь-  
ко-нибудь запоминающейся черты во внешности: обыкно-  
венное лицо, похожее на тысячу других, растворяющееся  
в толпе, как капля в стакане воды. Сколько людей с  
такими лицами ходит по улицам, и он — обычный пред-  
ставитель людского племени, один из них...

— И не стыдно вам?!— сказал Эльчиев и, резко по-  
вернувшись, вышел в коридор.

— Пожалеешь!— бросил ему вслед незнакомец.

Сгоряча он рассказал об этом разговоре сослужив-  
цам. Потом понял, что дал маху, и корил себя за это.  
Да чего уж там корить!.. Муминбаев, как всегда, бесце-  
ремонно посоветовал:

— Догоните его, Эльчиев! Синяки и шишки — черт  
с ними, пройдут, а деньги — останутся! Ни за что, можно  
сказать, предлагают десять тысяч, вы только подумай-  
те — десять тысяч, а он еще размышляет! Десять тысяч!  
Есть же такие денежные мешки! Эх, окажись я на вашем  
месте...

В понедельник утром позвонила секретарша из при-  
емной: «Товарищ Эльчиев, вас Надыр Файзуллаевич  
просит».

Надыр Файзуллаевич?! Эльчиев заволновался. Надыр  
Файзуллаевич, начальник, просит к себе его, Нуриддина  
Эльчиева! Почему? По какому вопросу?

Эльчиев ни разу не был в кабинете шефа и не гово-  
рил с ним с глазу на глаз; на работу его принимал дру-  
гой начальник, было это давно и еще в старом здании. А  
сколько руководителей сменилось на его веку, он и не  
помнил. Эльчиев — рядовой сотрудник, маленький чело-  
век в крупном учреждении, и, если начальник не вызы-  
вает, с какой стати, спрашивается, он пойдет к нему  
сам? Да и какие дела могут быть у него к начальству,  
если любой вопрос можно решить несколькими этажами  
ниже. А Надыр Файзуллаевич — руководитель. Фигура!  
И все вокруг твердят, какой он замечательный человек.  
Говорят, кто бы ни зашел к нему с просьбой, выходит от  
него с надеждой. Может быть... Откуда Эльчиеву знать?  
Он видел Файзуллаева крайне редко, в основном на соб-

рапиях, сидящим в центре президиума. Правда, когда-то они учились на одном курсе, только в разных группах, но и в те годы не были близко знакомы; бессменный комсорг, он запомнился Эльчиеву больше тем, что всегда был при галстукке и деловито расхаживал по коридорам с какими-то бумагами. В позапрошлом году он молнией сверкнул на финансовом небосклоне, получив руководящий пост у них в учреждении. Поговаривали, что это лишь трамплин к его будущему восхождению и, как оказалось, не зря.

Однажды Эльчиев побывал даже у него дома: прошлой осенью у Надыра Файзуллаевича умер отец, и сотрудники в переполненном служебном автобусе поехали выразить соболезнование к нему на Бадамзар, в живописную махаллю — нешумную, утопающую в зелени. Там у ворот, в окружении высокого начальства и научных светил, скорбно опустив голову, стоял Надыр Файзуллаевич в подпоясанном чапане и тюбетейке. Эльчиеву стало жаль его — он вспомнил, как умер собственный отец... Пройдя со всеми во двор, он едва не схватился за голову: поминки это или свадьба?! Какой стол! Какое великолепие! А двор! Не двор, а дворец: высокие виноградники, цветники с обеих сторон, а посередине мраморный фонтан...

И вот этот человек просит его к себе. Зачем? По какому вопросу?

Он вышел из его кабинета опустошенный, сломленный и разбитый! И трудно теперь ему быть самим собой, трудно...

Нет, он цел и невредим — тело его покинуло кабинет Надыра Файзуллаевича, а душа... душу его вынули: так тихо и незаметно, что он и не почувствовал!

Как только он несмело ступил в раскрытую секретаршей дверь кабинета, так словно попал под действие некоего силового поля. Неведомая сила усадила его в мягкое кресло, убаюкала сладкими-пресладкими речами. Потом нежные тонкие пальчики приятно гладили его по спине. Удовольствие, одно удовольствие! Он чуть задремал, и эта сила положила что-то на язык. То был мед! Вдруг язык занемел от холода, и он перестал ощущать его во рту. Тогда он услышал: «Зачем вам эта вещичка, без нее вам будет куда спокойней», — чирк, и нет языка! Просто, все очень просто! А затем началось наступление на его душу...

И теперь он тело без души. Труп...

Надыр Файзуллаевич встретил его широкой улыбкой. Он вышел из-за стола, что находился в глубине, и двинулся к нему навстречу с протянутой для приветствия рукой. Крепко пожав ему руку, Надыр Файзуллаевич жестом указал на одно из кресел у журнального столика и сам сел напротив.

Эльчиев осмотрелся. Все было значительно в этом кабинете: и блестящая полированная мебель, и картины на стенах, и книги в шкафах, и алые папки на столе, и пять телефонных аппаратов в ряд... Пока Эльчиев изучал эти апартаменты, Надыр Файзуллаевич снял салфетку, — на узорчатом подносе стояли высокие фужеры и необычной формы бутылки.

Надыр Файзуллаевич налил в фужер минеральной воды и, протянув его Эльчиеву, кивнул на сладости в вазочке:

— Угощайтесь, пожалуйста.

— Спасибо, спасибо.

— Я вот все думал, откуда мне знакома ваша фамилия, а потом догадался: ну, конечно, это Нуриддин-ака — старый знакомый, однокашник! И не заходите совсем, будто не помните меня. Как же так?!

От удивления брови Эльчиева поползли вверх. «Ака»?! Он говорит мне «ака»? Он знает меня и помнит мое имя? И даже обижен, что я не захожу к нему? Надо же! Нет, не напрасно хвалят этого человека!

Да, нередко мы кого-то ругаем за глаза, а порой и ненавидим без видимых причин. Может, это действительно дурной человек, но ведь может быть и наоборот. Вот и Эльчиев невзлюбил Надыра Файзуллаевича, полагая, что тот — выскочка и карьерист. Теперь он понимал, что просто не знал его.

Манзура внесла на маленьком подносе чашечки с кофе. Надыр Файзуллаевич взял одну из них и протянул Эльчиеву.

— Себе, пожалуйста, себе, — засуетился тот и пояснил: — У меня с желудком плоховато.

— А-а, если так... — понимающе закивал Надыр Файзуллаевич.

Эльчиев с интересом смотрел, как Надыр Файзуллаевич пил кофе: сделает глоток из чашечки и тут же запьет минеральной водой. А движения при этом свободные, непринужденные, как у дипломата. И вообще, трудно не позавидовать его импозантной внешности: ни седого волоска на голове, волосы смоляные, волнистые;

зубы, как на подбор — белые, ровные; ладная, подтянутая фигура; об одежде и говорить не приходится — высший класс! Выглядит лет на тридцать с небольшим, а ведь они с Эльчиевым однокурсники и, стало быть, ровесники. Странно, видно, должность, ко всему прочему, молодит, заставляет держать форму!

По комнате тихо потекла нежная мелодия. Казалось, она пробивается ручейком сквозь толщу стены и заставляет замирать в сладостной истоме сердце Эльчиева.

— Ахмад Заир,— сказал Надыр Файзуллаевич.— Афганец. Чудный голос, не правда ли?..

Допив свой кофе, Надыр Файзуллаевич спросил, что у Эльчиева с желудком, и пообещал достать какое-то импортное средство. Затем вдруг вспомнил студенческие годы, рассказал о том, где ему довелось работать, поинтересовался он и личной жизнью Эльчиева, его работой и не скрыл своего удивления, что тот до сих пор ходит в инспекторах. Словом, держался он так, будто перед ним сидел близкий друг его юности, с которым он не виделся целую вечность. Но все это было прологом, которым Надыр Файзуллаевич предварял основной разговор. Наконец он подошел к делу.

Сначала оговорился, что люди они с Эльчиевым молодые и потому особо должны заботиться о своих детях. Не к лицу придавать значение мелким ссорам, растрачивать себя по пустякам и тем более иметь дело с милицией. Слышал он, что с ним приключилось. Дело щекотливое, задевает кое-кого, и потому возможны любые дурные последствия... Лучше уж оставить котел закрытым, чтобы не обжечься, и не связываться с этими людьми...

Обо всем этом Надыр Файзуллаевич говорил с такой искренней заинтересованностью, что Эльчиев ловил его слова на лету. Еще немного, и Эльчиев прослезился бы. Чего стоила одна лишь фраза: «Ведь у вас взрослые дети — сын и дочь; надо бы и о них позаботиться. У меня ведь тоже сын и дочь — первенец, любимица моя, первая радость, боль, счастье, несчастье...»

Вдруг он почувствовал звон в ушах, а за ним тишину, такую тишину, от которой лопаются барабанные перепонки. Когда же смолкла та сладкая мелодия?

Песня кончилась, праздник прошел и теперь...

— Мой вам добрый совет, Нуриддин-ака,— сказал Надыр Файзуллаевич и похлопал его по руке,— напишите новое заявление! В противном случае...

Эльчиев с мольбой посмотрел на него, согласный заранее со всем, что тот скажет. Попроси Надыр Файзуллаевич сейчас его душу, Эльчиев отдал бы без раздумий! А разве не просит?..

Надыр Файзуллаевич положил перед ним лист бумаги, затем достал из кармана красивую ручку: «Пожалуйста». Больше ничего не сказал, лишь ободряюще улыбнулся. От этой улыбки, казалось, просторней и светлей стала комната, и у Эльчиева отлегло от сердца...

Торопливо, размашистым почерком он написал, что не имеет претензий к гражданам таким-то (перечислил фамилии), что сам был частично виновен в происшедшем. Закончив, несмело вернул ручку и лист Надыру Файзуллаевичу. Тот, пробежав глазами текст, остался доволен:

— Прекрасно! Вы мастерски все изложили. А ручку возьмите себе на память, я ее, кстати, из Сирии привез.— Потом он взял Эльчиева под руку и проводил до двери.— Заходите, Нуриддин-ака, не забывайте, буду рад вас видеть.

Вот и весь разговор...

Из кабинета Надыра Файзуллаевича Эльчиев поспешил на балкон. Жадно затягиваясь, он вдруг подумал: кто же именно из этих четверых, избивших его, хулиганов доводится родственником Файзуллаеву?

На одном из нижних этажей застучали. Там шел ремонт и работали плотники. «Есть! Есть! Есть!»— дружно били молотки по его натянутым нервам...

В отделе все с нетерпением ждали его появления и, как только он вошел, забросали вопросами:

— Ну что? Какие новости? Переводят в другой отдел?..

— Э, оказывается, он мой родственник,— неожиданно ответил Эльчиев и тяжело опустился на стул.

— Кто? Надыр Файзуллаевич?!

— Не-ет, тот парень.

— Какой парень? При чем тут парень?! Что за чушь вы несете, Эльчиев, что с вами?

— Один из тех...

— Кто бил?— догадался Муминбаев.— А пусть даже и родственник. Какая разница? Надо брать, пока дают. Бестолочь!

С этого дня и стало не узнать Эльчиева. Словно взяли его и подменили. И живет теперь в Нуриддине Эльчиеве совсем другой человек...

Когда через день-другой понуро, чужой, шаркающей походкой шел он по вестибюлю, его подозвал старый приятель Шамурад-ака.

— Знаю я, сынок,— сказал он, наполняя пиалу.— Рассказывали мне про ваши беды. И что за напасти на вашу голову? Но раз уж остались в живых, то соберите людей, угостите... Такой обычай, сынок...

Эльчиеву пришлось по душе совет старика, и Мастура не стала возражать. Сразу прикинули, кого позвать да что купить. Близился к тому же день рождения Эльчиева, и оба события решено было объединить.

Эльчиев заглянул в сберкассу и взялся за покупки. Привычно он приглашал в назначенный день кого бы ни повстречал, менее всего заботясь, хватит ли места. Позвонил и старшему брату. «Извини, братишка, у меня комиссия в совхозе, вряд ли вырвусь,— сказал Наджмиддин.— Но я обязательно кого-то пришлю. Вероятней всего, Нусрата».

Эльчиев очень хотел, чтобы брат приехал именно сейчас, и, хотя причина отказа представлялась достаточно веской, он обиделся. До последнего часа он не терял надежды и, лишь увидев Нусрата, прибывшего с полным хурджуном мяса и фруктов, понял, что брата ждать уже бесполезно. Он был сильно раздосадован, тем более что с утра не оставляло его дурное предчувствие.

К вечеру на открытой террасе двора стал собираться народ. Подъехавший на машине сына Шамурад-ака похвалил стол, приготовленный Эльчиевым, но и это не взбодрило мрачного хозяина.

Когда сели за стол, раздражительность его только усилилась; с озабоченным лицом ходил он меж гостей, словно бы не мог кого-то досчитать. На самом деле собрались практически все приглашенные, не было лишь тестя и Хайдара Самадовича. Но Эльчиеву казалось, что гости потешаются над ним как раз из-за отсутствия этих двух человек.

К тестю Эльчиев посылал вчера Мастуру, и тот обещался быть, а Хайдару Самадовичу он сам звонил дважды и слышал в ответ: «Приду, как же не прийти!» Выходит, обманул? Погнушался его угощением?

А гостей собралось — яблоку негде упасть: три комнаты и терраса во дворе были полны людей. Жена с дочерью и помогавшие им соседки сбились с ног. Нусрат жарил внизу тандыр-кебаб, а средний сын Эльчиева Низамиддин с ватагой быстроногих товарищей носили



готовые шашлычные палочки в дом. Рузиев тоже не усидел, пришел помогать Нусрату.

За столом разговорчивый Турамаатов взял на себя обязанности тамады и сыпал забавными анекдотами. Поочередно он давал слово тому или иному гостю, и следовала традиционная похвала славному угощению, а за ней — дифирамбы хозяину дома, виновнику торжества — удивительному человеку, прекрасному семьянину, верному другу, замечательному экономисту Нуриддину Эльчиеву! Чудесно! Чудесно! Чудесно!..

Но разве до сего дня Нуриддин Эльчиев был плохим человеком, плохим отцом, плохим другом, плохим специалистом? Почему лишь во время застолья звучат в его адрес медоточивые речи? Или только сейчас выяснилось, что он за человек? Где ж вы раньше были, люди?..

Временами ему начинало казаться, что застолье происходит вовсе не у него дома, а звучными эпитетами награждают кого-то другого. К тому же в голове уже зашумело, он осоловел после двух рюмок, набегался, видно, за день да и с утра не имел во рту маковой росинки. Нервозность, конечно, тоже дала о себе знать. Да это все, конечно, — сон, и говорится все во сне..

Да еще сослуживцы принесли с собой новость, которую он переваривал весь этот вечер. Ее сообщил Муминбаев, прямо с порога, будто надеялся получить суюнчи<sup>1</sup>: «Если уж бог дает, Эльчиев, то обеими руками!» Оказалось, что утром Надыр Файзуллаевич снова вызвал к себе Эльчиева. Когда Артык Исламович доложил, что Эльчиев отсутствует, он попросил зайти его самого. Узнав от Артыка Исламовича о готовящемся в доме Эльчиева празднестве, шеф неожиданно посетовал: «Жалко, что я не смогу побывать на этом торжестве, очень жалко — улетаю вечером в Москву, но вы непременно поздравьте его от моего имени. Кстати, у нас есть для него подарок...» Надыр Файзуллаевич пригласил секретаршу и в присутствии слегка ошарашенного Артыка Исламовича поручил подготовить приказ о назначении Эльчиева на должность заведующего экономическим отделом вместо ушедшего недавно на пенсию Абдураззакова!..

А квартира тем временем потонула в оживленном гомоне: за весельем, шутками несколько забыли о ви-

---

<sup>1</sup> Суюнчи — подарок за радостную весть.

повнике торжества. Был бы хорош собеседник, а там не все ли равно, у кого угощаться...

Низамиддин сбегал к соседям за магнитофоном. Заиграла музыка, под одобрительные возгласы Бахрам с Зиямухамедовым вышли на середину комнаты и, покачиваясь, стали танцевать. «Эльчиева в круг!» — выкрикнул Турамаатов и тут же потащил Нуриддина Эльчиевича танцевать. Вдруг он увидел, что Мастура плавно движется ему навстречу. Эльчиев выгнул грудь и, поводя плечами, пустился в пляс. Гости зашумели, зааплодировали: «Молодец Нуриддин Эльчиевич!», «Давай, Нуриддин-ака!» Эльчиев танцевал, а в глазах его стояли слезы. Он не знал, сколько времени длился этот танец. Опомнился лишь за столом, куда не без труда усадила его жена. Перебрал он немного, нехорошо, нехорошо, стыдно перед людьми, надо взять себя в руки.

Очередной тост произносил Муминбаев. Он, не жалея красок, расписывал достоинства «замечательного человека». Пропустить бы эти разглагольствования мимо ушей, так ведь нет — уловил он одну фразу, которая задела его за живое. Он моментально протрезвел и насторожился. И надо было ему услышать!

Наконец гости начали расходиться, и каждого он провожал до двери. «Хорошо ли посидели? Как, нормально?» — уважительно спрашивал Эльчиев. Подойдя к двери с последними гостями, он столкнулся лицом к лицу с Камалиддином. Тот стоял на пороге, язвительно улыбаясь. Они не виделись со времени их ссоры. Сын держал в руках три гвоздички и какой-то сверток подмышкой.

— Поздравляю, папа, — дыхнул Камалиддин водочным перегаром.

— Мой сын, — сказал Эльчиев, но не с гордостью, скорей с желчью.

Он вышел с гостями на улицу и, вернувшись, увидел, что в гостиной прибрано и мебель расставлена по местам. «Как быстро управились!» — подивился Эльчиев и сразу же пришла догадка, что слишком долгими, по-видимому, были проводы. В кухне шумела вода, позвякивала в мойке посуда, а на балконе — голоса, смех, звон рюмок. Он воровато заглянул туда: Камалиддин с рюмкой в руке, в окружении Нусрата и каких-то незнакомых парней, в углу в накинутом на плечи кожаном пиджаке — Дина...

Эльчиев молча прошел к себе; Мастура, утомленная

приготовлениями, крепко спала, не слыша его прихода. Несмотря на страшную усталость, спать Эльчиеву не хотелось, и он подошел к окну. Позже он услышал топот ног в коридоре. Он вышел на опустевший балкон и зажег сигарету. Тут на живую изгородь упала из соседнего подъезда полоска света и донеслась знакомая мелодия: «Жизнь невозможно повернуть назад...»

Опять та песня...

Жизнь прошла, ее невозможно повернуть... Жизнь жизнь... невозможно, невозможно... повернуть, повернуть...

Эльчиев тревожно заходил взад-вперед, потом остановился у стола и плеснул в пиалу из недопитой бутылки. Выпив, он не почувствовал во рту горечи, словно то была — вода. Снова налил и выпил, и снова, и снова...

Вот пришли и ушли люди... Погуляли, отдохнули от своих забот, наплели бог весть что про него и разбрелись по домам. А его оставили наедине с тягостными мыслями. Да ладно бы так... Но поглядите, что говорит Муминбаев: «Теперь, Нуриддин Эльчиевич, не тратьтесь без нужды, может, на остальные машину возьмете!» Негодяй! Мразь! Значит... значит, все так считают? Все до единого! Какой стыд, какой позор! А ты, глупец, пользуясь своим днем рождения, рассчитывал забыть, хотя бы на вечер, в кругу друзей и знакомых обо всех переживаниях. А что получилось? Хорошо же ты обмыл свое исцеление, лучше не придумаешь...

Хотя, чем, собственно, ты можешь похвалиться в свои сорок восемь? Сыном, в котором почти разуверился, или дочерью, ставшей игрушкой в руках подлеца? Может, всю жизнь будет клясть она свой несчастный род. Чего же ты все-таки достиг за эти сорок восемь лет? В такой день старший брат, и тот не приехал, и близкий друг отвернулся. Конечно, брат — большой человек, директор совхоза, принимает комиссию. Но неужели нельзя было вырваться на денек?! А друг... Хайдар Саматович! Он явно не спешил к тебе, да и какой прок ему от тебя? Он просто тебя обманывал — всю жизнь водил за нос... Почему, почему у тебя все так мелко и ничтожно?! Ладно, сегодня тебя нежданно-негаданно пересадили в другое кресло. Но опять же почему? За какие такие заслуги? Чем ты заплатил за это? Вспомни! Ага, ты и не забывал об этом?! Ну, хватит... Устал... Устал от всего... Чего еще ждать?..

Словно кто-то подтолкнул его в ванную комнату. Ну

же, ну... И не будет ни насмешливых взглядов, ни сосущей боли в сердце. Ничего не будет... Какое радостное чувство освобождения! Освобождения от всего, что навалилось на него... Вот и конец! Ты избавился, избавился от всего!..

...Потом, глубокой ночью, Камалиддину захотелось пить, и он пошел в ванную... Открыл дверь... окровавленный отец, хрипя, лежит на полу! И все...

Потом...

Кровь или усыпанный тюльпанами луг? Это луг на горном склоне, виденный в далеком детстве. А разве он не ребенок? Когда он успел повзрослеть, когда?.. Почему время летит, проносится резвым ребенком? Пролетает... Если пересечь этот луг напрямик, попадешь в кишлак... Пересек, пересек, но опять на пути тюльпаны, алые тюльпаны. Алые, как кровь...

Отрывистые голоса:

— Сильней, сильней нажимайте!

— Пинцент! Тампон!

— Засучи мне рукава, Нафис!

— Посмотрел на его руки — уж не коллега ли? Хирург, думаю, а не знает, как перерезать...

Смех, звонкий, как колокольчик:

— А племянник его, племянник! Вот чудак! «Возьмите,— говорит,— кровь, сколько потребуется!..»

— А какой здоровенный! Племянник, конечно...

— Ну вы, кончайте, хватит!

...Приземлился, приземлился! Почему же он не в силах открыть глаза? Неживые руки и ноги! Тяжелые веки... Куда он попал? Кто эти люди? Да-а... Ресницы, ресницы... Сквозь тонкую щелочку пробивается алый луч, похожий на кровь...

— Камалиддин, что с вами?..

Сегодня выписали Музраба-амаки и Ашуга Гариба, днем раньше — Хайбатиллу. После их ухода скучно стало в «палате катастроф». Свободные койки заняли вновь поступившие, которым пока не до разговоров. Один после аварии — чуть живой, другой лежит целыми днями, не отрывая глаз от потолка, и Эльчиев узнает в нем себя в первые больничные дни... Палата катастроф, палата катастроф...

Перед уходом Музраб-амаки подошел к Эльчиеву с таким напутствием: «Теперь надо жить, приятель; и так, жизнь летит — не успеешь оглянуться, а уже помирать

пора!» С сожалением Эльчиев распрошался со стариком, к которому привязался за эти недели.

Была суббота, и день выдался довольно щедрым на посещения — тещь, сосед Юлдаш-ака, Рузиев, Джасура, — и это только в первой половине дня.

Тещь узнал, что он в больнице, вчера, встретив на базаре Камалиддина. В палату он вошел как-то бочком, несмело, и даже прослезился, глядя на бледное, без кровинки, лицо зятя. Он извинился, что не пришел тогда на день рождения: приболела, как на грех, его старуха, а кроме него некому за ней ухаживать — сын и дочь выросли и заняты собственными семьями.

Эльчиев недолюбливал тещу, и тот не питал к нему теплых чувств. Но сейчас старик, на одном дыхании которого когда-то, наверное, можно было подогреть плов — орел — не мужчина! — показался ему жалким. Эльчиев даже пожалел и его, и заболевшую жену. Когда-то монументальный, тещь сидел сейчас сгорбясь, со слезящимися глазами. Судьба, стало быть, не слишком жаловала этого человека, посылая ему одно, но лишая другого.

К обеду Джасура принесла ему самсу, начиненную зеленью, и букетик тюльпанов.

— Я перешла на новую работу, — буднично сообщила она, прибирая у него на тумбочке.

— Куда это? — спросил Эльчиев.

— Да в такой же проектный. Далековато немножко, на Актепе, но ничего, лишних полчаса на дорогу! Дина-апа мне помогла, там у нее знакомый работает.

— Опять Дина-апа! Когда это кончится?! — бросил в сердцах Эльчиев.

— Папа... — сердито посмотрела на него Джасура. — Вы ее не знаете... Она и сейчас со мной пришла, только войти постеснялась. Она часто со мной приходит...

— И что они думают делать дальше? — спросил он после некоторого раздумья.

— Кто?

— Камал и Дина...

— Ничего, — улыбнулась Джасура. — Хотя она любит нашего Камала...

— А он?

— Не знаю. Мне кажется, у него это несерьезно. Скорей из жалости.

— Не понимаю.

— Эх, папа, сложно все... Как объяснить? Дина-апа

хорошая, очень хорошая. Только вот несчастная, бедняжка.

— Так она хочет сделать несчастным и твоего брата?..

— Папа!— воскликнула Джасура, краснея.— А, все равно вы не поймете!

— Ладно, дочка,— сказал Эльчиев растерянно.— Вы уже не дети, сами знаете, что хорошо, что плохо. Шла бы ты, она, верно, заждалась... Да, постой-ка, а Наджмиддин-ака еще не уехал?

— Нет, он вечером к вам собирался.

«Странно,— подумал Эльчиев после ее ухода.— Она его любит, а он нет. Значит, не поженятся. Но почему несчастная?.. Оттого, что разведена, или из-за Камала? А может, она бесплодная? Так чего же Камал не порывает с ней? Странно. Нет, не понимаю!.. Ничего я о них не понимаю...»

Сегодня он впервые вышел во двор.

Эх-хе, вот где весь народ... На улицу высыпали все, кто мог самостоятельно передвигаться. Повсюду мелькают больничные халаты, полосатые пижамы. Да, лежа на койке, он как-то привык считать палату целым миром.

Погода стоит ясная, пахнет свежей зеленью, и к этим запахам примешиваются другие — резкие, сбивающие дыхание. Смешалось, все смешалось. А солнце! Светит, прогревает, нежит цветущие деревья, чирикающих на ветках птиц, тонкую травку-муравку...

Какие чудесные краски, как удивительно переливаются... Проведя несколько недель в душной палате, он словно бы заново открывал теперь красоту окружающего мира, от которой голова шла кругом. Чудо, изумрудное чудо; он дышал и не мог насытиться!

Эльчиев медленно пошел по тропке между деревьями. Отекшие и ослабевшие ноги плохо слушались его, то и дело подгибались. Зеленая трава напомнила ему тот далекий год, когда в такую же весеннюю пору хоронили они отца. Через несколько дней братья пришли на могилу, а та уже успела покрыться зеленью. Тогда он несколько не удивился. А теперь зелень показалась ему настоящим волшебством. И не чудо ли, что эти нежные ростки пробиваются сквозь толщу земли! И так каждую весну! К чему она тянется, к чему стремится? К солнцу! Да, к солнцу, а значит — к жизни! К жизни!

Потом он вспомнил свое детство. Вспомнил, как бегал по холмам босоногим мальчонкой, подгоняя прутиком серенькую козочку...

Странно, сегодня он вдруг почувствовал себя ребенком,— все вокруг поражает, и мир как будто бы заново открывается его пытливому взору. И не покидает его радостное ощущение новизны! Ему кажется, что он дремал до сих пор и лишь сегодня пробудился. И широко открылись его глаза...

Да, он дремал! Столько лет, щелкая костяшками счетов, держа в уме бездну всевозможной цифири, ни разу не просчитал в уме собственную жизнь, все было недосуг. Теперь он это понял. Лишь после несчастья мерное течение его сонной жизни — словно дерево молнией — было расколото надвое, ослепительно высветив каждое прожитое мгновение...

О чем думает человек, лежащий в больнице? Конечно же, о выздоровлении. Но разве он, Эльчиев, безнадежно болен? Он потерял много крови — ему сделали переливание, только и всего. Племянник дал свою кровь, родную кровь и перелили. И сейчас он абсолютно здоров. Нет, недуг его не физический, он глубоко в душе, и не поможет ему ни один врач и ни одно лекарство.

Эльчиев никогда не был философом, но наступил миг, и он поставил на весы день настоящий и день прошедший, чтобы представить, каким будет день будущий. Каждый человек сам себе советчик, каждый живет своими представлениями, отстаивает свои убеждения — универсальной дороги для всех нет. И недаром говорится, что каждый человек должен хотя бы раз пережить сильное потрясение, чтобы вдруг широко раскрылись его глаза! А не то вся жизнь так и утечет, как вода меж пальцев.

И вот, перебрав, как старые вещи, прожитые годы, Эльчиев пришел к неутешительному выводу. То, что казалось ему полноценной жизнью, предстало на деле жалким прозябанием. Бегал он по земле таким муравьишкой, заботился о хлебе насущном, перебрасывая на счетах дни и годы. Но разве человек приходит в этот мир лишь для счета дней? Жалкая жизнь!

Да, он боялся жизни, шагая неспешно по ее обочине. Никто не рождается ни храбрецом, ни трусом, им человек становится, и это уже зависит от него самого. Разве не бывает так, что подросток, настоящий сорви-голова в детстве, незаметно превращается в трясущегося от

страха человека, шарахающегося от собственной тени, и тогда вся дальнейшая жизнь его подчиняется страху и только ему. Страху потерять, например... Так и Эльчиев. Встретив свою любовь, боялся потерять ее, потом боялся за детей, за свой покой, за свое тихое место. Ему не хватило мужества и решимости засучив рукава взяться за какое-то большое дело. Он довольствовался тем, что есть, ни к чему не стремился! Он отдался воле волн, и шлюпка его плыла по течению, пока не случился шторм! Налетев на первый же риф, она разбилась вдребезги, а человек превратился в беспомощное существо, не могущее даже постоять за себя, за свое достоинство. Он наказан судьбой, и не это ли ее ответ? Как выразился бы Шамурад-ака: попробуй-ка увильнуть от ответа! Да, ты сам виноват, что жизнь твоя сложилась так, а не иначе, и некого здесь больше винить!

«Так держать, Фархад! Сокол не сокол, если не стремится к вершине!» Почему эти слова поэта не благословили тебя на подвиг? Ты запомнил их, но не осмыслил, не вник в их сущность! Ты, Эльчиев, оказался плохим пловцом! У тебя была шлюпка, были весла, почему же ты не смог ею управлять? Не было силы в руках и огня в сердце? Но чем ты хуже Хайдара Самадовича или Надыра Файзуллаевича?.. В спину дул другой ветер, приятель? Эх, нечего пенять на других, сам виноват. Вот и мучайся на здоровье!

Наверное, ты был хорошим человеком, может, даже с лишком хорошим! Хорошим вообще... А это все одно что плохим. Скромность — хорошее качество, деликатность — тоже, но как походит на подаяние, а то и на оскорбление благодарность за них... Разве можно жить в расчете лишь на чью-то щедрость — это сомнительная вещь. Она — как тихий ласковый ветерок: приятно, когда дует, но не стоит забывать, что ветер этот может в любой момент и стихнуть. Не лучше ли самому быть в постоянном движении и каждый миг ощущать за спиной попутный ветер...

Да, жизнь ставит немало вопросов, и человек обязан найти на каждый достойный ответ; притом своевременно и без трусливой оглядки. От этого зависит его достойный завтрашний день. В противном случае он может идти лишь по линии наименьшего сопротивления. Таков и был путь, избранный Эльчиевым, путь наиболее легкий и безответственный... Поэтому и не может он ответить на вопрос «как жить?»



За больничной решеткой, чуть поодаль, грохочут на стыках рельсов трамваи, сигналият нетерпеливые таксисты, но никакой посторонний шум не может вывести из раздумий человека в широкой больничной пижаме с подвешенной к груди левой рукой.

Опьяненный дыханием весны, он прогуливается, касаясь рукой шершавых стволов деревьев, и впервые он радуется тому, что не ушел, что жив... И нет больше камня, проклятого камня, что непосильным грузом давил на его сердце.

Когда он вернулся в палату, сосед показал ему на две большие хозяйственные сумки у стены: «Кто-то вам оставил».

...Он открыл глаза и увидел у изголовья какую-то девушку. И знакомая и незнакомая. Он взял ее за руку и поцеловал! Так легко и просто...

Но то было во сне, а наяву он никак не мог вспомнить, кто же та девушка? И кто шепнул ему: «Ты самый дорогой для меня человек». Он мог бы спросить у жены, но как спросишь? Смешно. Почему же сам не может вспомнить? Верно, долго спал. А когда долго спится, память ослабевает...

Пробудившись, но еще не отойдя ото сна, Эльчиев увидел в дверях младшего сынишку. «Сплю?— подумал он и протер глаза.— Нет, это действительно Джалалиддин!» Жена ни разу не брала его с собой в больницу, говорила: «Бойтся»— и вот такой сюрприз!

Эльчиев вскочил с постели и обнял сына.

— А он мог бы брать пример с братишки,— услышался за дверью голос Мастуры. Она вошла, а за ней появились со свертками брат Наджмиддин с Нусратом.— Вот упрямец, говорю ему: идем, а он уперся. Не решается!

— Кто? Камал?— спросил Эльчиев, не выпуская из объятий Джалалиддина.— Ладно, оставь его в покое. Выпишут меня через пару деньков, тогда и свидимся.

Оказалось, что Наджмиддин и Нусрат пришли к нему проститься: завтра они первым рейсом улетали домой.

— Может, приедешь в кишлак, как выпишут?— спросил брат.— Повидаешься с матерью, братьями да и красиво сейчас, весна... Побродишь по холмам, поправишься на деревенских хлебах, а?.. Там тебя давно шашлык дожидается, лично барашка откармливаю!

— Вас сегодня не узнать,— заметила Мастура.

— Я сегодня сделал одно дело, дорогая,— серьезно проговорил Эльчиев.— Большое дело.

— И что это за дело?

— Не скажу,— шутливо помахал пальцем Эльчиев.— Секрет!

Мастура счастливо улыбалась: муж, встретивший их в добром настроении, казался помолодевшим, тьфу-тьфу, только бы не сглазить!

Впервые Эльчиев вышел проводить пришедших проводить его родственников...

— Поживем — увидим,— ответил Эльчиев, смущенно улыбаясь, и что-то шепнул на ухо Джалалиддину.

Мальчик рассмеялся.

\* \* \*

Надыр Файзуллаевич в банорасовом халате на плечах возился во дворе, подрезая виноградник. Работалось ему в охотку, и он мурлыкал в нос популярную песенку.

За воротами просигналила машина.

— Взгляни, кто там!— крикнул он сыну.

Тот выбежал на улицу и возвратился, сгибаясь под тяжестью двух хозяйственных сумок.

— Что это за сумки?— спросил Надыр Файзуллаевич, подходя к айвану.

— Не знаю, какой-то таксист... Говорит, один мужчина попросил доставить по нашему адресу. Станный, говорит, в больничной одежде, с забинтованной рукой.

Сумка с длинными ручками была полна разной снеди. Чего в ней только не было? Все, что душе угодно, кроме самой души! И, словно часовые, торчали по углам головки бутылок с минеральной водой.

В другой, также набитой продуктами, Файзуллаев обнаружил сложенную вчетверо записку.

«Простите нас, ака, ради бога. Мы нинарошна. Так ни будим больша. Выздаравливайте.

Ахрор, Шавкат».



*Асад Дилмурадов*

## ТАИНСТВЕННЫЕ СТУПЕНИ



Асад Дилмурадov родился в 1947 году.

Окончив Ташкентский университет, работал в редакциях областных и республиканских газет.

Первая книга А. Дилмурадова «Кусок неба» вышла в свет в 1978 году. За нею последовали сборник очерков «Жемчужина Самарканда» (совместно с Н. Кабулом), повесть «Таинственные ступени» (1981), сборники повестей и рассказов «Тишина Афросиаба» (1983), «Каменный сокол» (1985), историческая повесть «Шердор» (1986).

За цикл рассказов, посвященных актуальным проблемам реставрации исторических памятников Самарканда, А. Дилмурадov удостоен премии Союза журналистов Узбекистана.

Издаലെка, из глублины узкой, полого спускающейсе книзу улочки они увидели на рыжем склоне одного из обжаренных солнцем холмов кем-то оброненное ожерелье из бирюзы. На его гранях играло солнце. А улочка уползала все вниз, вниз, и постепенно приходилось задираТЬ голову, чтобы не потерять из виду ожерелье, которое, как по волшебству, на глазах превращалось в череду голубых куполов. Лазурная цепочка древних усыпальниц, перекинувшись через оплывший гребень крепостного вала, опускалась к подножию холмов. Но вот кроны придорожных шелковиц, похोजие на огромные тучи, заслонили их. Слева и чуть поодаль, за приземистыми ветхими домами, виднелось поросшее травой взгорье; наверху, за решетчатой ржавой изгородью, серели надмогильные плиты старого кладбища, едва ли не тысяча лет было ему.

Девчата, увлекшись разговором и то и дело чему-то смеясь, шли впереди, а он приотстал. Он задыхался от жары, покрылся испариной, хотя шелковицы укрыли улицу зеленоватой прохладной тенью. Вспомнив о нем, девчата остановились.

— Шерали-ака, это правда, что в Шахи-Зинда похоронен двоюродный брат самого Мухаммеда?— спросила Дильбар.

— Нет, это всего лишь легенда. Придумали ее священнослужители, чтобы привлечь побольше правоверных на поклонение,— ответил Шерали как можно более спокойно, опасаясь, что по его виду они догадаются, как отвратительно он себя чувствует.

Вскоре деревья расступились, и перед ними предстал центральный портал мавзолея Шади Муль-ака со ступеньками, ведущими к резным, будто из кружева, воротам. Галя подошла к стене и с восхищением стала рассматривать причудливые орнаменты и мозаичный узор

из фигурных майоликовых плиток, прикасаясь к ним руками.

Сколько бы ни бывал здесь Шерали, всякий раз, когда он окидывал взглядом сверкающие под лучами солнца и переливающиеся радугой стены старинных зданий, устремившиеся ввысь купола, в груди у него возникало трепетное чувство. А сейчас, едва задрал голову, потемнело в глазах, пришлось ухватиться за стену, чтобы не упасть. К счастью, девчата, кажется, ничего не заметили. Дильбар что-то увлеченно рассказывала Гале, показывая рукой на покрытую разноцветными узорами стену.

— Тайна этих красок до сих пор полностью не раскрыта,— как сквозь вату доносился урывками ее голос.— Столько веков сжигает их солнце, омывают дожди, а они ничуть не поблекли...

Шерали положил на нижнюю ступеньку газеты и сел, чтобы перевести дух. Он с закрытыми глазами может пройти вдоль всего Шахи-Зинда, где ему знакомы каждый поворот, каждая ступень, полумрак и прохлада склепов. Но сегодня он, судя по всему, будет для девчат плохим экскурсоводом...

Шахи-Зинда... Поразительный комплекс архитектурных памятников. Ни одна из больших и малых гробниц, расположенных на склоне холма и соединенных друг с другом убегающими ввысь ступенями, ни в чем не повторяют друг друга. Здесь, под землей, под тяжелыми плитами, в безмолвной тишине спит множество прославленных и некогда высокопочтимых людей Востока. Имена большинства из них мало что говорят нашему современнику, хотя и выбиты тут в камне. Но эти удивительные памятники, вопреки разрушительным силам столетий и всяких стихий, служат надежным шитом духам предков. У порога этого святилища человек невольно отбрасывает прочь все черные мысли, оставляет их у себя за спиной, и переступает его просветленный... Может, поэтому Шахи-Зинда издревле считалось одним из наиболее почитаемых святых мест, куда совершали паломничество верующие из самых дальних стран. Однако еще недавно это прекрасное творение народного гения было окутано тайной. Вход в гробницы для иноверцев был под запретом. Только внешняя сторона покрытых глазурью зданий поражала глаз европейца, на пути которого стояли ревнивые и строгие стражи — муллы и шейхи. А сейчас подкатывают битком набитые туристами автобу-

сы, нескончаемым потоком идут сюда люди — чтобы вспомнить предков, восхититься их мастерством, усладить взор свой красками и орнаментом вечных стен, по сей день хранящих тепло сердец тех, кто их создавал.

Мимо Шерали шли люди, переговариваясь, шаркая ногами. Он не сразу заметил Дильбар, присевшую напротив него на корточки. Она коснулась его плеча рукой и, озабоченно вглядываясь в лицо, спросила:

— Шерали-ака, вам плохо, да?.. Извините... Если бы я знала... Я думала, вы уже совсем выздоровели...

— Ничего, ничего, Дильбар,— заставил он себя улыбнуться.— Я просто немножко устал...

— Конечно, вы бы Гале рассказали все лучше меня... Хотите, подождите нас здесь. Мы быстренько обежим вокруг и вернемся.

— Идите, идите, я потихоньку нагоню вас,— сказал он, медленно поднимаясь с места.

Вековые ступени ведут все вверх-вверх, все выше-выше. Они безмолвны, стертые и унылы, ступени Шахи-Зида... Шерали переступил порог высокой арки. Здесь было тихо и прохладно.

А девушки уже миновали верхнюю, вымощенную квадратным кирпичом площадку. Дильбар обернулась и помахала рукой. «А я еще немножко отдохну»,— подумал Шерали, улыбнувшись девушке, и опустил на скамейку. Его знобило. Что это с ним? Он и сам думал, что выздоровел. Может, перегрелся на солнце. Все-таки болезнь его сильно измотала. «Главное богатство — здоровье»,—недаром так часто повторял это Камал Нурбаевич. Конечно, слова эти придуманы не им, но когда они приходили в голову Шерали, то в ушах у него всегда звучал голос Нурбаева, его научного руководителя. Говоря это, он, разумеется, имел в виду не себя, а тех, чье здоровье они по долгу службы обязаны оберегать... Когда Шерали еще только пошел в школу, Нурбаев уже окончил Самаркандский медицинский институт. Несколько лет он проработал в институте эпидемиологии, а потом поехал в Ленинград и поступил в аспирантуру. Так он в Ленинграде и остался. Сейчас он широко известен в ученом мире как один из опытнейших паразитологов. Шерали здорово повезло, что его наставником стал такой человек, как Камал Нурбаевич. Нельзя не проникнуться к нему благодарностью, когда вспоминаешь его отзывчивость, готовность в любую минуту, день ли, ночь ли, прийти тебе на помощь. На всю жизнь запомнились

слова Нурбаева. «Смысл жизни — творить добро. Доброта необходима людям, как воздух и вода. Медики же нередко несут добро, подавляя в себе чувство жалости. Человек без доброты — что засохшее дерево...» Немало светлых вечеров, когда «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса», провел он в обществе своего учителя. Камал Нурбаевич живет на тихой старинной улице неподалеку от Невы. Широкая Нева особенно прекрасна на закате, когда огненно-красные лучи солнца скользят по рябщей поверхности реки, и кажется, не вода в ней плещется, а расплавленное золото. Раздвинув тюлевые шторы, они стояли у окна и любовались закатом. Жена Камала Нурбаевича приносила чайник с зеленым чаем и две пиалы, молча ставила на подоконник и тихо уходила. Учитель любил сам заваривать чай. Наполнив пиалу, сливал обратно в чайник, потом минуту-другую они ждали, пока чай осядет и заварится покрепче. Камал Нурбаевич наливал в пиалушку чуть-чуть, на донышко, и протягивал ученику, прижимая левую руку к груди. Любуясь вечерним городом, они услаждали себя чаем, и им сразу вспоминался родной Самарканд. Собственно, о Самарканде они чаще всего и говорили... Давно минули и все отдаляются и отдаляются те прекрасные дни, но воспоминания о них согревают и просветляют душу, как свет давно угасших звезд. Шерали соскучился по учителю, очень хотелось бы его увидеть. А что если взять да и махнуть в отпуск в Ленинград! «Ну, как?..» — спросит Камал Нурбаевич, и от его слегка прищуренных задорно блестящих глаз разбегутся лучики морщин. Именно таким вопросом он и встретит своего ученика. А что ответит Шерали? Пожмет плечами и уйдет от прямого разговора? Нечего Шерали сказать учителю, нечем похвастаться и порадовать. А ведь он столько времени потратил на Шерали. Нет, совестно предстать перед Нурбаевым, гм... «незащищенным». Все, с кем Шерали учился в аспирантуре, давно защитили диссертации. А он все никак... Отстал... Такое случается порой на беговой дорожке со спринтерами. Один из бегунов стремительно вырывается вперед, остается еще чуть-чуть, последнее усилие... но у самого финиша он подворачивает ногу, падает и финишную черту пересекает последним, хромя, со страдальческой grimасой на лице. Поначалу все у Шерали шло ровно-гладко. И он давно бы поставил в конце своей работы точку, не попадись ему случайно в руки эта тетрадь. И



то, что он из нее узнал, от начала до конца перечеркивало все, чему он посвятил несколько лет. Что и говорить, это были самые черные дни в жизни Шерали. Не раз приходили в голову недобрые мысли: «А что если скрыть? Ведь никто не знает про эту тетрадь. Не было ее! Не было — и все!» Но, видимо, не прошли даром уроки Камала Нурбаева. Не смог Шерали пойти против совести, а если бы смог, то дни его так и не стали бы светлыми до конца жизни...

В полусумеречном проходе появилась шумная толпа иностранцев. Что-то бурно обсуждая на своем языке, кажется, на немецком, они вышли на солнцепек и, окружив экскурсовода, остановились на площадке, с которой длинная, похожая на кирпичный эскалатор лестница уводила вверх, к мавзолею Кази-заде Руми.

Шерали медленно поднялся и, преодолев головокружение, слегка придерживаясь за осыпающуюся под рукой стену, обошел туристов, забросавших гада вопросами, и посмотрел вверх, где ступени сливались в сплошную желтую ленту. «Там, наверху, покоится великий ученый. Но об этом даже в Самарканде мало кто знает. До чего же странно устроен мир... Я поднимусь до мавзолея Руми, поклонюсь праху ученого и вернусь. Дальше не пойду...»

Шерали ступил на первую ступень знаменитой лестницы. Таинственной лестницы.

«Первая... Вторая... Третья...»

Поднялся на пять ступеней — всего на пять! — посумасшедшему забилося сердце. Перед глазами замелькали радужные, словно мыльные пузыри, круги, исчезая и вновь появляясь. Будто от чего-то кислого свело скулы, к горлу подступила тошнота. И он ощутил почти физическую боль от пронизавшей его мысли: «Неужели все опять сначала?.. Я же почти выздоровел... Наверное, рано еще было совершать столь дальнюю прогулку...» Он уже раскаивался, что принял приглашение девчат. Ноги сделались ватными, колени дрожали, вот-вот подогнутся. Не хватало еще растянуться тут на глазах у всех! Сидел бы дома и не казал никуда носа. Ему вспомнилась его малогабаритная однокомнатная квартира, тесная, но довольно уютная. Перед глазами так и стоял широкий мягкий диван, который он не покидал едва ли не два месяца. С каким бы наслаждением вытянулся он на нем сейчас, полежал, закрыв глаза, пока не пройдет это мерзкое головокружение, а расплывающиеся предме-

ты вновь примут четкие очертания. Нет, не ко времени принесла нелегкая этих девчат. Если бы не они, ни за что бы из дому не вышел...

Было начало десятого, а Шерали не хотелось вылезать из теплой постели. Он лежал скрючившись, подоткнув со всех сторон одеяло. В комнате было совсем не холодно — да и может ли быть нормальному человеку холодно, когда на улице по-летнему греет солнце и, накалив до оранжевого цвета коричневые портьеры на окнах, наполняет комнату осенне-золотистым теплом, но Шерали, хотя дело и пошло на поправку, все еще по ночам знобило, и он укрывался стеганым одеялом. Он опять уже начал, как в обволакивающую паутину, погружаться в сон, когда в прихожей пронзительно зазвенел звонок, заставив его вздрогнуть. Он медленно встал, сунул босые ноги в мягкие стоптанные тапочки, накинул тонкий стеганый чапан и пошел открывать, гадая: «Кого это так рано черт принес?..» Но едва открыл дверь, раздражение тотчас сменилось радостью. Перед ним, словно облитая золотом, стояла освещенная падающим на лестничную площадку солнечным лучом Дильбар. Она была в ханатласовом платье и расстегнутом красном жакете.

— Неужели мы вас разбудили?— удивилась Дильбар.— Ну и соня же вы! Мы на минутку.

Только теперь Шерали заметил стоявшую ступенькой ниже незнакомую блондинку в голубых джинсах и белой блузке.

— Прошу, прошу,— несколько смутившись, сказал Шерали и, пошире открыв дверь, отступил в сторону, придерживая полы халата, чтоб не распахнулись.

Девушки вошли.

— Это Галя, моя подруга,— сказала Дильбар.— Она приехала вчера.

— А я самоуверенно считал, что знаю всех ваших подруг...

— Галя живет в Москве. В будущем она — прославленный ученый...

— Не преувеличивай, пожалуйста,— поморщилась Галина.

— Ладно, ладно, пока что она учится в аспирантуре, но кому интересны эти мелкие подробности,— засмеялась Дильбар и, обернувшись к Шерали, пояснила:—

Отец у Галочки известный профессор, так что ее действительно ждет блестящее будущее.

— Если придерживаться твоей логики, то и тебе в не менее блестящее будущее широко раскрыты золотые врата. Мама твоя тоже профессор, и тоже известный,— подхватила шутку Галина.

— Ой, Галочка, мне бы твои способности — и я бы гордо вошла в эти ворота, не пригибая головы. Такой, как мне, посредством, предназначено купаться в лучах чужой славы,— с улыбкой сказала Дильбар и при этом скользнула взглядом по Шерали.— Кстати, Галя занимается паразитологией. Я ей рассказала о вас, и ее сразу очень заинтриговал ваш эксперимент.

Шерали слегка пожал плечами и кивком пригласил девушек в комнату.

— Дильбар, вскипятите, пожалуйста, чай, пока я приму душ.

— Никаких чаев!— сказала Галя.— У меня очень мало времени, и каждую минуту хочется использовать рационально. Я впервые в Самарканде, тут все так интересно...— Она прошла к столу и, выдвинув стул, села.— Мне Дильбар о вас столько рассказывала, что я не могла отказать себе в удовольствии познакомиться с вами...

— Думаю, Дильбар что-то преувеличила,— засмеялся Шерали.— Поверьте, тут немало гораздо более интересных достопримечательностей, достойных вашего внимания.

— Во всяком случае не станете же вы отрицать, что хорошо знаете историю Самарканда,— быстро проговорила Дильбар, заливаясь краской и с укором поглядев на Галину.— Не так уж много я и говорила тебе о Шерали-ака...

— Дильбарочка, учти, если девушка смущается, это говорит о многом.

— Тебе что, не о чем больше говорить?— рассердилась Дильбар, все еще краснея от смущения.— Когда мы шли сюда, тебя интересовало совсем другое.— Она подошла к окну и с шумом раздвинула шторы; чтобы сменить тему разговора, спросила неестественно громким голосом, выдавшим ее волнение:— Шерали-ака, мы хотим сегодня посмотреть Шахи-Зинда, не сможете ли вы пойти с нами?

Шерали машинально кивнул. Вопрос Дильбар застал его врасплох. Он уже столько времени не решался бы-

вать где-либо, кроме как в институте, и то в силу необходимости.

— Однако прежде всего чай,— сказал он.— В Узбекистане, Галочка, не принято, войдя в дом, не вкусить хлеба. Дильбархон, прошу вас...

И он скрылся в ванной. Вскоре оттуда послышался шум воды. Он вышел из ванной тщательно выбритый, с отглаженных брюках и белой сорочке в узкую голубую полоску. Заострившиеся скулы и ввалившиеся глаза выдавали, что он не совсем еще окреп после тяжелой болезни. Поймав на себе долгий пристальный взгляд Галины, он приветливо улыбнулся. Сидя в глубоком кресле у журнального столика, она механически пере листывала лежавший у нее на коленях журнал и, не поднимая голубых лучистых глаз, улыбнулась ему в ответ.

— Право, не знаю, чем вас развлечь,— развел он руками.— Хотите музыку? Что вы любите, классику или современное?..

Из кухни донесся голос Дильбар, которая, надев фартук, протирает вымытую посуду:

— Не утруждайте себя, мы вышли из дому с готовой программой. После Шахи-Зинда идем в театр, сегодня там выступает ансамбль «Бахор». Мама с трудом достала для нас два билета.

Галя, облокотясь о колени, сомкнула у подбородка длинные тонкие, как у пианистки, пальцы:

— Шерали... можно, я вас буду называть просто Шерали? А то «ака» для меня как-то непривычно,— сказала она и после его кивка продолжала:— Скажите, пожалуйста, как вы решились испытать на себе эту старую болезнь?

— Болезнь действительно старая. Но новая разновидность ее случайно обнаружена в одном из глухих районов. Правда, не мною и не сейчас. Но мой предшественник не успел довести свои исследования до конца...

— Господи, и вы сами себя заразили этой болезнью?

— История медицины знает немало случаев, когда врачи проводили на себе куда более опасные эксперименты. Помните у Вознесенского? «Нужны подвижники»!..

Дильбар принесла и поставила на стол две вазы, с местными конфетами парварда, похожими на кусочки засушенного теста, и печеньем.

— Прошу к столу.

Чтобы в незнакомом городе побольше увидеть, лучше ходить пешком. К тому же троллейбусы были набиты битком. Девушки прошли мимо остановки и, взявшись за руки, перебежали на другую сторону улицы, остановились, поджидая Шерали, ослепительными улыбками подстрекая его на рискованный бросок. Однако он знал свои возможности, даже подзадоривающие взгляды красивых девушек не могли прибавить ему сил; пропустив небольшой табун легковых автомобилей, он медленным шагом направился к противоположному тротуару, взял девушек под руку, и они направились к площади Регистан.

— А что означает «Регистан»?— спросила Галя.

— Если дословно: очаг познания,— отвечал Шерали.— На этой площади еще в глубокой древности были построены грандиозные медресе, куда съезжались учиться со всего мусульманского Востока. Тут зубрили не только суры корана, но изучали математику, геометрию, астрономию.

— Да, без этих наук вряд ли можно было бы возвести такие здания,— сказала Галя, окинув взглядом виднеющиеся поодаль, за зелеными газонами и клумбами, усаженными все еще ярко цветущими розами, подернутые голубоватой дымкой высокие, в разноцветных узорах, словно в коврах, стены, устремленные в небо минареты, приходилось щуриться от их ослепительного блеска.

Мчалось время, белую зиму сменяла яркая весна, приходило лето и торопливо уступало место осени, а эти величественные здания оставались неизменными — казалось, они только меняют сезонную одежду. Шерали более всего нравился их осенний наряд. Газоны по краям были обсажены айвовыми деревьями, не очень высокими, но с широкими, как зонтик, кронами. Среди редких пожухлых листьев висели налитые тяжелые плоды, похожие на массивные золотые серьги, особенно ярко выделяющиеся на фоне чистого безоблачного неба. На кустах роз листья были не свежезеленые, а с сероватым налетом, зато сами цветы радовали глаз свежестью.

Они пересекли площадь и по мраморным ступеням спустились в мощный старинным квадратным кирпичом обширный двор. Шерали рассказывал все, что знал о медресе Улугбека, Шер-Доре, Тилля-Кари. Галя остановилась посреди двора, и задрал голову, заслонив

ладонью глаза от солнца, оглядывалась по сторонам. Над бирюзовыми куполами и минаретами летали стаи голубей. Она залюбовалась сценой охоты, изображенной над полукруглой аркой входного портала медресе Шер-Дор: огромный полосатый тигр наступил на молодую лань.

— Нет, вы поистине можете гордиться своими предками,— прошептала Галя и сжала руку Дильбар.— Ты глянь на этот орнамент! А краски-то какие, краски!.. Ни ливни в течение веков их не смыли, ни под лучами солнца они не выцвели.

Взявшись за руки, девушки направились к Тилля-Кари, внутренние стены которого и потолки были сплошь украшены узорами из золота.

Шерали вдруг показалось, будто мощеный двор под ногами покачнулся, словно плот — надо ухватиться за что-нибудь или присесть, чтобы не упасть — но он лишь стиснул зубы, преодолевая головокружение, и когда последовал за подругами, те были уже довольно далеко. Дильбар обернулась и погрозила пальцем, мол, отстаете, товарищ гид!

Шерали десятки, если не сотни раз бывал здесь, и всегда, проходя через этот двор, испытывал трепет, любовался, восхищался всем, что видели тут его глаза. А сейчас вдруг веселые голоса девушек, их негромкий смех почему-то стали раздражать его, как если бы во время концерта кто-то разразился бы непрерывным кашлем. «Все от недомогания... Неужели эта чертова болезнь изменила даже мой характер?»

На лице Дильбар отобразилось беспокойство. Она пристально посмотрела ему в глаза. Заметила ли что-нибудь в глубине его зрачков, прочла мысли?

— Устали?

Он отвел глаза, отрицательно покачал головой. Кому из мужчин приятно признаваться женщине в своей слабости.

— Тогда быстренько осмотрим это медресе и пойдем в Шахи-Зида. Ладно?

Он кивнул. Но ему, как никогда, захотелось воспользоваться сейчас одним из благ цивилизации, транспортом, и он робко предложил:

— Может, автобусом?

— А это далеко?— поинтересовалась Галя.

— Если пешком, то всего полчаса пути,— сказала Дильбар.

— Тогда пешком.

Шерали вздохнул. Пешком так пешком. В конце концов нет худа без добра: подавление собственных слабостей воспитывает волю. Главное, взять себя в руки, не думать о том, что снова может закружиться голова, к горлу подступит тошнота, а ноги сделаются ватными... главное, не думать про это. Он улыбнулся и жестом пригласил девушек войти в широкую двухстворчатую дверь...

«Пять...— подумал Шерали, упершись рукой в шершавую стену, чувствуя, как сильно колотится сердце, готовое выскочить из груди. Во рту сделалось так сухо, что язык прилип к небу.— Пять... Шестая...» Он посмотрел вверх. Лестница со слегка наклонными, стертыми тысячами ног ступенями, показалась ему бесконечно длинной. Никогда раньше эти ступени не вызывали в нем страха, сомнения, что он не сможет их одолеть.

Мимо, шумно обсуждая что-то, прошли иностранцы, расцехляя фотоаппараты и кинокамеры.

«Кто только не бывал тут! Интересно было бы узнать обо всех, кто здесь проходил! Заставить бы эту лестницу заговорить, как магнитофонную ленту!» «Вы еще и фантазер!»— засмеялась бы Дильбар, скажи он ей об этом. А ведь мы до сих пор не имеем достоверных сведений о многих выдающихся исторических личностях. Историки нередко прибегают к домыслам... Как было бы здорово услышать сейчас голос мудрого Авиценны! Наши современники так мало о нем знают. Даже студентам медицинского института немного известно о его знаменитых трудах...

— Авиценна не пошел далее примитивного табибства.

Шерали поднял голову и увидел перед собой Дильбар и Галю. Что же это он — разговаривал сам с собой вслух?

— Да, Авиценна занимался простым знахарством, не сообразуясь с наукой,— продолжала Дильбар.

— Несправедливые утверждения!— с горячностью воскликнул Шерали.— Вы говорите прямо в унисон с американским историком Гарисоном... А можно ли требовать от людей того времени, работавших в одиночку, обширных научных исследований, которыми ныне занимаются целые институты? Они попросту собирали, накапливали опыт множества поколений! Но это ли не нау-

ка?.. Скажем, они знали, как излечиться от такой-то болезни, хотя объяснить механизм выздоровления и не могли. Но ведь у Авиценны немало собственных, весьма интересных наблюдений, которым не может дать объяснения даже наша сегодняшняя наука. К примеру, современная медицина до сих пор не может объяснить причину того или иного цвета катаракты. Но бесценными оказались для глазной хирургии указания Авиценны о трех цветах катаракты, именно эти разновидности ее почему-то поддаются лечению... Я могу привести еще массу примеров! Хотите?

Дильбар растерялась оттого, что вызвала у Шерали такую бурную реакцию, задела его за живое, и, моргая глазами, взглянула на Галину.

— Для того времени это, несомненно, была наука, и еще какая!— сказала та.— Благодаря таким подвижникам, какими были Авиценна и его последователи, существует и современная наука. Кстати сказать, в Москве, в ученом мире довольно часто упоминается имя вашего знаменитого Авиценны. Так что успойтесь оба...

— И неспроста!— подхватил Шерали.— Знаете, что писал Низами Арузи Самарканди спустя сто лет после смерти Авиценны?.. «Тому, кто постигнет первую книгу «Канона», не останется неизвестной ни одна из важных основ медицины, и если бы Гиппократ и Гален воскресли, им следовало бы отдать должное этому труду...»

— Сейчас стало очень модным слово «первый», «впервые». Ну, так вот, чтобы не отстать от моды, скажем, Авиценна — первый хирург Востока. Впервые в истории медицины он произвел операции брюшной полости, глаза, трепанацию черепа...— смеясь, заметила Галя, словно бальзам проливая на сердце Шерали.

— Да какую отрасль медицины ни возьми, везде Авиценна проводил свои исследования,— улыбнулся тот.— А мы, если работаем над диссертацией, занимаемся только одной темой, исследуем невероятно узкую область, и нас тоже называют учеными...

— Такого рода операции помогли Авиценне впервые в истории медицины описать болезнь «тяжелого нарушения сна», ныне называемую энцефалитом,— продолжала Галя, улыбаясь, глядя в глаза Шерали.— «Самая глубокая спячка,— пишет Авиценна в своем «Каноне»,— возникает при ранении тех желудочков мозга, которые вызывают столь же глубокую спячку при давлении на



них опухоли или воспаления». В Европе это научно было доказано лишь в 1918 году.

— А ну вас!— махнула рукой Дильбар.— На эту тему можно поговорить в любом другом месте. Идемте, хватит дискутировать!— Дильбар взяла Шерали под руку.— У Гали масса вопросов, а я ни в истории, ни в архитектуре ни бельмеса.

— Сейчас... Сейчас,— сказал Шерали, глядя себе под ноги. «Итак, шестая ступенька. Шестая...»— В школе нам сообщают, что микроб и вирус обнаружил француз Луи Пастер,— уже спокойно продолжал Шерали, хотя голос его все еще дрожал от волнения.— А ведь Авиценна еще пять веков тому назад, причем задолго до появления микроскопа, высказал догадку о том, что переносчиками заразных болезней являются не видимые глазу «живые существа!»

— Шерали-ака, вы можете переключиться?

— Попробую, хотя это не так-то просто,— виновато улыбнулся Шерали.

— Не скажете, чей вот этот мавзолей, с двумя куполами?

— По преданию, тут похоронен Казы-заде Руми. Пятнадцатый век.

Галина, отступив на несколько шагов и прижавшись к стене, не позволяющей ей отойти еще дальше, залюбовалась поливной терракотой и расписной майоликой в облицовке портала мавзолея, резной, словно кружевной дверью.

Пока Шерали отдыхал, девушки поднялись на следующую площадку, по обеим сторонам которой напротив друг друга располагались мавзолен Туглу-Текин и Эмир-заде. Оглянулись...

«Семь... Восемь...»

В висках сильные толчки, будто по ним бьют упругими резиновыми молотками. По лицу ручьями стекает пот. Еще шаг. Ну, что тебе стоит сделать еще один? Но нет сил. Хоть руками хватайся за ноги и переставляй их. «Ну, что вы стоите? Идите дальше, восторгайтесь, охайте-ахайте! А мне совсем от другого хочется охать...» Он сделал вид, что остановился получше рассмотреть резной деревянный фриз XI века в комплексе Кусамы Ибн Аббаса, мимо которого подруги прошли, не задерживаясь.

Нигде так не ощущаешь быстротечность времени, как здесь, в Шахи-Зинда. Интимность настроения, иллюзия погруженности в прошедшие века создаются не только

полной изоляцией всего ансамбля от современного города, его улиц, шумов, многоликой толпы, но и особой композицией, камерностью самих построек, неожиданных в изломах коридора-дорожки, замкнутых в небольшие крытые дворики. Тесно застроенный ломаный коридор как бы вторит узким средневековым улочкам феодального города.

«Восемь. Уже восемь... Девятая...»

Что о нем могут подумать? Тоже мне мужчина, который не может подняться вверх по нескольким десяткам ступенек?.. Нет-нет, он не подаст виду, что ему это в тягость. Вот только переждет приступ слабости и пойдет вперед. Будет идти, идти, без передышки, сколько хватит сил. А что если свалится, как отбившийся от матери ягненок?

Дильбар, улыбаясь, помахала рукой, поторапливая его. Отсюда снизу кажется, что она далеко-далеко, в поднебесье. «Интересно, сколько все-таки тут ступеней? На протяжении веков прибывающие издалека паломники считали их. И сейчас многие считают из любопытства. У всех получается разное число. У одних — сорок, у других — сорок одна, у третьих — сорок три... Говорят, только безгрешный, с незапятнанной совестью человек может сосчитать их правильно, определить точную цифру. Таинственные ступени. Словно заговоренные. Хорошо, если бы всегда и во всем отдавалось предпочтение самым совестливым. Увы... Во все времена гораздо легче жилось прохвостам. Так сколько же тут ступеней?..

«Девять...»

В горле саднило, он закашлялся. Небо почему-то поблекло, и на нем стали появляться и исчезать радужно переливающиеся, меняющие цвет круги, целая цепь, нет, сетка во все небо из разноцветных кругов. Может, небо затянула пелена пыли? Но почему же тогда померкли и узорчатые стены мавзолеев, и на них тоже стали загораться и гаснуть круги. Красные, оранжевые, желтые, зеленые. Заполнили весь мир. И вдруг этот мир показался ему чужим, лишенным людей, он почувствовал себя страшно одиноким, и неоткуда ждать ему помощи... Помощи? Не совестно ли просить кого-то помочь взойти на верхнюю площадку этой лестницы и вернуться назад? Это ведь так просто. Так просто... Надо лишь правильно рассчитать силы. «Не вступай в лабиринт, если выхода не знаешь», — гласит индийская поговорка. Выход-то он знает. Ему знаком в этих стенах каждый кирпич, ли-

ния, завиток узора. Он не знает себя. Не знает, хватит ли сил... Он загадал: одолеет подъем — значит, и другие трудности одолеет. Так сколько же тут ступеней?...

«Десять...»

— Ну, что вы отстааете, Шерали-ака?— послышался голос Дильбар.— Ступеньки считаете? Все равно ошибетесь!

— На меня не обра...— голос сорвался, он закашлялся, махнул рукой: идите, мол, идите.

«Одиннадцатая...»

Где ему за ними угнаться! Пока он доберется до верхней площадки, они успеют обойти весь Шахи-Зинда.

Держась за изгородь, он обернулся назад и заслонил ладонью глаза от солнца. Сквозь желтую пелену смутно прорисовывались очертания куполов нижней группы ансамбля. А идущие мимо люди думали, что он любуется ими, голубыми, сияющими на солнце куполами, сквозь майоликовую облицовку которых проросли там и тут пучки травы.

Неужели все начнется сначала? И проклятые ненасытные черви будут снова терзать его и он почти физически будет ощущать их, чувствовать, как они шевелятся у него внутри?.. Тьфу, и думать об этом противно! Лучше думать о том, что человек,— властелин вселенной, и ему ли бояться каких-то там одноклеточных?.. И все же — черт возьми!— меркнет перед глазами свет, будто день угасает раньше времени. Не будь эти одноклеточные столь опасны для человека, стоило ли вступать с ними в борьбу? Ты же затеял это, чтобы научиться их побеждать, а затем научить других. Вот когда ты их совсем одолеешь, тогда их можно будет не бояться. Никто не будет их бояться.

«А куда я тащусь из последних сил, задыхаясь и обливаясь потом?.. Ах, да, за Дильбар и Галей. Хочу поспеть за ними. Но разве может поспеть черепаха за птицей? Вон они как несутся, словно крылья у них за спиной... Так же время мчится вперед, никого не поджидая. И в ногу с ним идут только сильные. Слабые отстают. Многие выдыхаются на полпути. А время мчится без остановки, все отдаляется, отдаляется, и тому, кто выдохся, его уже не нагнать...»

— Дильбар! Дильбар, подожди!..— крикнул он, но голос вырвался из горла свистящим хрипом.

Позади девушек поднималась по ступеням шумная

группа туристов, она заслонила их, и Шерали потерял их из виду.

«Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать...»

Близко подступающие с обеих сторон кирпичные стены отражали звуки его шагов. Туристы исчезли за поворотом. И стало тихо. Он слышал гулкое биение собственного сердца. Зашуршал ветер, скользнув по поверхности древних стен. Откуда-то донеслось воркование горлинки, негромкое и нежное, как голос матери, убаюкивающей свое дитя. С полуобвалившегося карниза мавзолея свисала солома с налипшим пухом, тоненькие сучки, над которыми торчал маленький серый хвостик птицы. Еще одно свидетельство непрерывности жизни. Наверняка предки этой птицы селились здесь и много веков назад, люди и тогда слышали их нежное воркование...

Шерали остановился, тяжело дыша, будто пробежал огромное расстояние. Оглянулся — поднялся-то всего ничего. На тринадцать ступеней. А сил потратил сколько. Словно во сне бежишь изо всех сил — и ни с места. Будто опутан весь цепями и никак не можешь из них вырваться, кричишь, задыхаешься. А проснешься — сразу легче. И счастлив, что это всего-навсего сон... Сейчас же у него наяву такое чувство, будто руки и ноги закованы в тяжелые цепи. Избавься он от них, и дальше пойдет легко, в два счета догонит. Но где взять силы, чтобы разорвать эту цепь, вот в чем вопрос...

Люди издревле говорят: «Нет более тяжкого греха, чем наложить на себя руки». Может, он за грех свой теперь и мается? Как расценили бы его поступок старики? Ведь он вселил в самого себя нечистую силу, которая якобы препоручает душу человека самому Азраилу, ангелу смерти? Случись такое в старину, его перестали бы впускать в мечеть. А как же Авиценна проводил свои опыты? Ничто не могло утешить ученого. Ничто не могло утолить его жажды знаний, постижения тайн, познания того, чего человек до него не знал...

Шерали тоже взялся разгадать одну из множества загадок. Он занялся изучением такой разновидности аскаридоза, какой современной паразитологии был еще не известен. Но почему решение Шерали изучить течение этой болезни, подвергнув риску самого себя, вызвало в институте столько кривотолков, столько противоречивых суждений? Неужели так уж важно, как, каким образом отомкнет он ларчик с секретом?! Ведь если кому-то

удалось распутать сложный узел, глупо упрекать его в том, что он распутал его по-своему, а не как все.

Когда пришло к нему это решение? Идея-то родилась у него давно, когда он еще работал в филиале института. И далеко не случайно...

...Позади неказистого приземистого здания с облупленной штукатуркой и длинным рядом окон, делающим его похожим на барак, раскинулся обширный старый сад. Большинство деревьев в нем — яблоневые, грушевые, абрикосовые, алычовые — одичали и не ахти как плодоносили, зато под ними всегда было прохладно и влажно. По краям сада росли вековые платаны, сквозь их густые кроны и в самый солнечный день жгучие лучи не могли пробиться к земле, на которой ярко зеленела трава до самой глубокой осени.

В жаркий полдень, выйдя из душной столовой, Шерали любил приходить сюда. Он забирался в чашу, раздвигая гранатовые кусты, садился на потемневшую от времени скамью, у которой подгнили и покрылись пятнами мха и плесени ножки, откидывался на спинку, раскинув по ней руки и, расслабься, с удовольствием вдыхал удивительно свежий, профильтрованный растительностью воздух, ощущая, как к нему возвращается бодрость.

В саду между старыми деревьями росли и плодоносящие яблони, персики, черешня, разные сорта айвы. Эти деревья в свое время посадил Леонид Михайлович Исаев. По словам его учеников, это был человек, не знавший покоя. Того же он требовал от других. Тогда он возглавлял институт и в этом неказистом здании проводил свои исследования. А выдавался свободный час, сажал в саду деревья, холил их. Особенно, говорят, любил он айву. Его жена варила из нее варенье, и он одаривал им своих сотрудников, ставя непременно условие возвращать банки. Тогда не просто было раздобыть и простые стеклянные банки... И эту скамью в тихом укромном месте Леонид Михайлович сколотил сам. Любил на ней отдыхать. Но что значит — отдыхать для ученого? Сам он может оставаться какое-то время неподвижным, однако может ли он даже при желании остановить движение мысли? Наверняка немало ценных идей осенило Леонида Михайловича, когда он сживал здесь...

И, отдыхая в этом месте, Шерали всегда думал об

Исаеве, с благодарностью вспоминал его. Как все-таки немного людей, о которых потомки думают с благодарностью. Что для этого нужно?.. Леонид Михайлович Исаев всю свою жизнь посвятил охране здоровья человека...

В начале двадцатых годов на территории Средней Азии свирепствовали эпидемии, уносившие тысячи жизней. Пустели кишлаки, разрастались кладбища. Шейхи и муллы объясняли этот мор проявлением божьего гнева из-за того, что люди перестали блюсти установленные издревле законы, не почитают правителей, баев, зарятся на чужое добро, и то, что искони принадлежало одному избраннику аллаха, объявляют общим; шейхи и муллы сеяли среди народа смятение и страх...

Еще гремели в Туркестане выстрелы гражданской войны, а в Москве по указанию В. И. Ленина открылся первый в России Тропический институт. С фронтов были отозваны врачи, чтобы усовершенствовать свои знания.

Едва пала эмирская Бухара и на территории всего Туркестана утвердилась Советская власть, двое молодых врачей, Леонид Исаев и Николай Ходукин, приехали сюда, чтобы приступить к исследованию страшных болезней. Н. Ходукин возглавил малярийные станции в Мары и Ташкенте. А Леонид Исаев открыл в Самарканде первый в Средней Азии Тропический институт...

В то время в краю узбеков медицинское учреждение такого типа было единственным в своем роде. И оно сыграло огромную роль в окончательной ликвидации многих заразных болезней. Навсегда исчезли брюшной тиф, холера, малярия, чума. И теперь сотрудники института проводят исследования по борьбе с вирусами и микробами, развивающимися в основном в человеческом организме, изыскивают наиболее эффективные способы борьбы с вредными насекомыми — комарами, клопами, мухами, блохами, переносчиками заразных заболеваний.

...Однажды, копаясь в пыльных шкафах небогатой библиотеки филиала, куда редко заходили любознательные читатели, а если и заходили, то больше из праздного любопытства, чем надеясь найти что-нибудь интересное среди старых истрепанных книг и рукописей, Шерали обнаружил толстую тетрадь с пожелтевшей коленкоровой обложкой и помятыми осыпающимися краями. Он взял ее с полки и, прежде чем переложить в книжный шкаф, где лежали груды бумаги, которую не хотели выбрасывать, не просмотрев, а просмотреть ни у кого не хватало

времени, перелистал несколько страниц. Каково же было его удивление, когда неприметная, покрытая пылью тетрадь оказалась дневником Леонида Михайловича. В помещении было темновато. Шерали придвинул стул к окну, расположился поудобнее и стал осторожно перелистывать страницы. Не заметил, как пролетели часы. В самом конце тетради оказались записи, которые ученый сделал за несколько месяцев до смерти. Леонид Михайлович подробно описал, как в горах Ургута, в одном из самых глухих мест, обнаружил в земле однолетние яйца неизвестного вида аскариды. Решил проверить их живучесть и закопал в саду, принадлежавшем филиалу института. «Очень жаль, что возраст у меня уже преклонный. Ах, если можно было бы сбросить лет этак пятнадцать-двадцать, последовал бы, пожалуй, примеру Антуана Клода<sup>1</sup>. Уверен: только такой способ исследования дает исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы. Но для этого мало самоотверженности, нужна еще молодость и безукоризненное здоровье...» На этом запись обрывалась.

Шерали закрыл тетрадь и глубоко задумался. Странное волнение овладело им. За окном весело щебетали воробьи, перелетая с куста на куст, раскачивая гибкие ветви. Кроны деревьев были пропизаны яркими лучами, на зеленых газонах разбросаны золотые, большие и мелкие, осколки солнца. «Интересно, в каком месте Леонид Михайлович закопал свой необычный клад?.. Вряд ли он успел закончить эксперимент. Впрочем, это можно проверить».

Все последующие дни Шерали с утра до вечера не выходил из библиотеки. Перебрал книги во всех шкафах, на полках, заново перелистал уже знакомые ему авторефераты. Но прежде всего, не полагаясь на свою память, уже в который раз перечитал от начала до конца труды Леонида Михайловича. Нет, результаты последних его исследований нигде не были зафиксированы.

Та-ак, не закончил, наверное, Леонид Михайлович своего эксперимента. А ведь это было так важно. Видимо, как раз тех пятнадцати-двадцати лет и не хватило ему для этого. Что если продолжить начатое им дело?

Эта мысль так разволновала Шерали, что он не мог усидеть на месте. Встал и начал прохаживаться по залу.

---

<sup>1</sup> Антуан Клот — американский ученый, проверивший на себе действие яда кураре.

Под ногами поскрипывали старые облупленные половицы.

«Если начатое Леонидом Михайловичем исследование довести до конца, то, как сказали бы старики, душа отца паразитологов возрадовалась бы на том свете».

Шерали решительно направился к двери и, выйдя из библиотеки, напрямик направился в сад; миновал старую, вросшую в землю скамейку, раздвигая спутавшиеся кусты, пробрался в противоположный конец сада, самый глухой уголок, куда редко кто забирался. Земля под одичавшими деревьями заросла бурьяном. Интуиция подсказывала Шерали, что именно где-то здесь Леонид Михайлович упрятал свою опасную находку. В пригретой солнцем траве звенели цикады. Порхали в горячем воздухе бабочки. Шелестел, поигрывая листвой, ветерок. Взгляд Шерали метр за метром прошупывал весь участок сада. Жаль, что человек не обладает способностью видеть насквозь. Сколько времени пропадет зря, пока Шерали найдет то, что Леонид Михайлович спрятал более десяти лет назад?!

Шерали дрожащей рукой вынул из кармана пачку сигарет. Он сломал несколько спичек прежде чем смог прикурить.

Шерали прикинул глазом к окуляру микроскопа и напряженно разглядывал принесенную из сада землю: мелкие крупички ее увеличивались до размеров булыжников, а тонкая игла, которой он ворошил, перемешивал, казалась целым бревном. Ничего не найдя, Шерали осторожно сметал мягкой щеткой землю и из целлофанового мешочка насыпал другую щепотку. И снова прикинул глазом к окуляру. Иногда крупички земли теряли четкие очертания, сливались. Тогда он выпрямлялся, протирал ваткой окуляр, хотя и знал, что не в нем причина. Сейчас лучше всего немного прогуляться по воздуху и дать глазам отдохнуть. И спина уже ноет оттого, что часами сидит, согнувшись над микроскопом. Он крепко взялся руками за спинку стула и, откинувшись назад, подвигал плечами, разгоняя кровь.

Сидящий за соседним столом заведующий лабораторией Вали-ака посмотрел на него поверх очков, с сочувствием покачал головой, но промолчал. Никакие его доводы не помогали. Уж сколько раз пытался он убедить Шерали, что тот напрасно тратит время, бесполезно. Надеясь отвлечь его от этого занятия, Вали-ака давал



ему разные поручения. Но, покончив с ними, Шерали снова брался за свое, как одержимый. Сновал, подобно челноку, между лабораторией и садом. В разных местах брал землю, складывал в целлофановый мешок и затем часами просиживал над микроскопом. Никак не поймет, упрямец, что искать сейчас то, что было зарыто более десяти лет назад, все равно, что пытаться найти иголку в стоге сена. Ведь ни места точно не знает, ни глубины... «Эх,— с сочувствием вздохнул Вали-ака.— Молодежь пошла нынче такая, что не прислушивается к советам старых и мудрых людей». Он уже не мог придумать, что же такое еще поручить Шерали, чтобы занимался он полезным делом, а не тратил время попусту. Попросить, что ли, ответить на письма Бухарского и Андижанского филиалов их института, которые запрашивают об эффективности нового препарата в борьбе с ящуром? Они первые опробовали этот препарат и получили прекрасные результаты.

Дверь шумно отворилась, и в лабораторию вошли Дильбархон и Зияхан. Они были возбуждены и громко продолжали спор, который, видимо, затеяли где-то еще в пути. Девушка в сердцах швырнула на стол ключи от автомобиля с изящным брелком в виде миниатюрного Будды из слоновой кости, подаренным Зияханом, когда он вернулся из Индии. Неужели такую бурную реакцию у них вызвали какие-то проблемы паразитологии? Ничего подобного! По репликам Вали-ака уловил, что вчера они побывали на концерте какого-то заезжего столичного ансамбля. Зияхан души не чаял в одном из певцов, а Дильбархон, оказывается, терпеть его не могла.

Вали-ака, строго поглядев на них, с укоризной покачал головой, напоминая, что они не дома, а в солидном учреждении, и те смолкли. Оба надели белые халаты и заняли свои места за столами, уставленными мензурками, пробирками и прочими склянками. Мало того, что опоздали на работу, еще и ведут себя черт-те как. Во всяком случае виноватыми себя не чувствуют.

— Зияхан,— сказал Вали-ака, взглянув на свои ручные часы.— Если еще раз придете на работу не вовремя, не обижайтесь. Придется тогда писать объяснительную записку.

Дильбархон он не стал выговаривать, хотя слова его относились в большей степени к ней, нежели к Зияхану. Он не так-то часто и опаздывает, а она почти каждый день. Короче — тебе, дочка, говорю, а ты, невестка, на

усмотай. А если не наматает, и ей скажет. А что? Не посмотрит, что она директорская дочка.

Дильбархон поняла, в чей огород камешки, и лишь хмыкнула, расставляя пробирки.

В ответ на их приветствие Шерали буркнул «салам», но не обернулся.

— Ну, что?— глянул на него Зияхан.— Есть что-нибудь? Нашел драгоценные яйца?

Дильбархон прыснула.

Шерали отрицательно мотнул головой. Спросил:

— А известно ли вам, сколько тонн грунта можно перебрать и перемыть, чтобы найти крупницу золота? То-то же.

— Золото пусть ищут золотонскатели. Занялся бы и ты чем-нибудь более полезным, братец,— заметил Зияхан.

— Чем же? Стерилизацией пробирок?— обернулся к нему Шерали, и взглядом показал на пробирки, которые тот складывал в стерилизатор, чтобы кипятить.

— Ну... и этим кто-то должен заниматься,— пробурчал Зияхан, насупив брови.

— Разумеется. Каждому свое,— так же тихо буркнул Шерали, прилаживаясь глазом к окуляру.

В открытое окно влетел ветерок, заколебал зеленую штору на окне, наполнил комнату запахом прелых листьев; с куста сирени снялась стайка скворцов, готовящихся к отлету, перелетела на боярку, ветви которой были усыпаны переспелыми и полузасохшими ягодами.

— Кто знает... может, Шерали и прав,— подал голос Вали-ака и, сняв очки, положил на исписанный листок бумаги, потер двумя пальцами переносицу.— Знаете, о чем я иногда думаю?..

— О том, чтобы получить хорошую пенсию, иметь побольше внуков, сидеть дома и баловать их,— засмеялся Зияхан.

«Шутка бывает к месту только однажды. А когда ее повторяют, она вызывает противоположную реакцию,— подумал Шерали.— Что-то часто ты, братец, стал намекать на пенсионный возраст Вали-ака. Не считаешь ли себя главным претендентом на его место?.. Впрочем... Стоит Дильбар намекнуть матери — и все будет о'кей! Не это ли причина того, что ты столь ретиво взялся за ней ухаживать?..»

— Вы не правы,— сказал Вали-ака после некоторой паузы.— Я думаю о том, что многим из нас не хватает

одержимости. А ведь большинство открытий в мире сделано людьми одержимыми...

— ...Идеей фикс,— хохотнул Зияхан.— Некоторые так и делают. Не без определенной выгоды носятся со своей идеей всю жизнь и даже убеждают окружающих, что они занимаются чем-то очень важным. А на самом деле ищут философский камень. Шерали, ты не подумай, что это я о тебе, я говорю вообще.

— Вспомните Леонардо да Винчи,— сказал Вали-ака, откинувшись на спинку стула и продолжая потирать переносицу.— Ведь его проекты, исследования в области механики для того времени было просто фантастическими. И, наверное, в окружении его было немало таких, кто считал его фантазером. И скольким же поколениям пришлось передавать его идеи, скажем, одну из них, о летающих аппаратах, передавать из рук в руки, чтобы наконец в наше время мечта его осуществилась! Иногда не хватает целой жизни, чтобы сделать ту или иную идею реальной.

— Не все же — Леонардо да Винчи...

— Да. Многих на поприще науки постигают неудачи. Но те, кто лишен способности увлекаться чем-то до самозабвения, не сделали в своей жизни ни одного открытия.

— Очень авторитетное заявление,— хмыкнул Зияхан.

Шерали почувствовал, что за спиной у него кто-то стоит, и обернулся. Дильбар.

— Можно, я взгляну разок?— спросила она.

— Пока ничего интересного,— сказал Шерали, однако встал со стула и уступил ей место за микроскопом.

— Пока,— повторил Вали-ака.— Если ученый произносит это слово, значит, он не теряет уверенности в успехе. Ох, Шерали, Шерали, очень бы мне хотелось, чтобы мечты ваши сбылись...

— А когда многоопытный ученый-аксакал произносит фразу с такой интонацией, то он, очевидно, не вполне уверен в успехе своего коллеги, не правда ли?— не преминул заметить Зияхан и с усмешкой повернулся к Дильбар, внимательно разглядывающей что-то в микроскоп.— Однако, Дильбархон, не собираетесь ли вы перехватить лавры у нашего Шерали? Чем черт не шутит: вдруг не ему, а вам попадетя среди этого мусора золотое яичко!

— Я был бы этому очень рад,— сказал Шерали.—

Это значило бы, что фортуна решила преподнести мне подарок руками Дильбар.

Девушка оторвалась от микроскопа, внимательно посмотрела на Шерали и молча направилась к своему месту.

Миновала осень. Землю тонким слоем покрыл первый пушистый снежок, настолько легкий, что казалось, дунь — и он взлетит, закружится метелицей. Отправляясь в сад, Шерали взял с собой жесткий веник из гибких прутьев карагача. Сметал снег вместе с шуршащими листьями к основанию кустов, вытаскивал припрятанную в их чаще лопату и принимался копать. Снова наполнял целлофановые мешочки, дыханием отогревал покрасневшие от холода руки и спешил в лабораторию.

И так изо дня в день, изо дня в день. Одержимости, о которой говорил Вали-ака, сомневаясь в данном случае в ее целесообразности, у Шерали было с избытком. Однако к ней бы еще и запас хорошего настроения! Без него, как известно, работа с места особенно не сдвинется. Но какое может быть настроение, когда каждый день одно и то же, одно и то же. И никаких тебе признаков, что старания увенчаются успехом. Когда золотодобытчикам попадается полевой шпат, они знают, что рано или поздно найдут в этом месте золото. А тут... Если уж начистоту, то уверенность у Шерали давно улетучилась, осталась только надежда. Но с каждым днем и ее становилось все меньше. В последнее время его мучала бессонница, глаза ввалились, и в них с каждым днем все приметнее становилось отчаяние. Сотрудники института щадили его самолюбие, и, здороваясь, с ним, больше не расспрашивали о его делах. Однако ему было доподлинно известно, что кое-кто из них вслед ему посмеивался и даже выразительно вертел возле собственного виска указательным пальцем.

Не раз Вали-ака намекал Шерали, что руководство института недоволено им. Уже несколько месяцев он получает зарплату без всякой отдачи... И Шерали перестал ходить в столовую обедать, чтобы не встретиться ненароком с кем-нибудь из руководства.

И на работе задерживался до тех пор, пока не уходили все. Не хотелось никого видеть, ни тех, кто насмешничал, ни тех, кто искренне сочувствовал.

И однажды...

Рабочий день подходил к концу. Дни стояли пасмурные, темнело рано. Дильбархон включила свет. И в этот момент в ярком луче, отраженном зеркальцем микроскопа, он выхватил глазом среди серых, намозоливших глаза крупинок земли то, что искал.

Дильбар, направляясь к своему месту, вздрогнула и резко обернулась, а Вали-ака чуть не свалился со стула, когда Шерали вдруг не своим голосом закричал:

— На-ше-е-ел!.. Нашел! Е-е-есть!..

Он вскочил и, ошалев от радости, кинулся к Дильбар, схватил ее в охапку и закружил по комнате. При этом смеялся и приговаривал: «Нашел... Нашел...» А Вали-ака, опустив очки на самый кончик носа, смотрел на него исподлобья, в глазах его читалось явное беспокойство, уж не тронулся ли его младший научный сотрудник умом.

Шерали выпустил из объятий Дильбар, тотчас метнувшись к микроскопу, и подошел к Вали-ака.

— Не верите? Взгляните сами!

— И правда! Вали-ака, идите скорее сюда! — замахала рукой Дильбархон, не отрываясь от микроскопа. — Жаль, нет Зияхана. Лучшего случая доказать ему, что и он не всегда бывает прав, не будет.

— А он уверен в обратном? — спросил Вали-ака, медленно направляясь к столу Шерали и потирая поясницу, затекшую от долгого сидения.

Сегодня у Шерали не было необходимости дожидаться, пока все сотрудники покинут институт. В расстегнутом пальто размахисто шагал он по ведущей к воротам аллее, под ногами чавкал талый снег. Он ослабил обмотанный вокруг шеи шарф, и встречный ветерок приятно охлаждал грудь. Ему хотелось, чтобы все, кого ни встретит, останавливали его и расспрашивали о делах, но аллея, как нарочно была пустынна, желтоватый свет горящих на столбах трех-четырёх лампочек слабо рассеивался над ней. Сквозь голые кроны деревьев виднелись ярко освещенные окна основного двухэтажного здания. Приблизившись к столбу, под которым свет был поярче, Шерали взглянул на ручные часы. Добрых полчаса оставалось еще до конца рабочего дня. Но сегодня Шерали мог себе позволить уйти пораньше. Сегодня

он именинник. Вали-ака так и сказал, хлопнув его по плечу:

— Ну, братец Шерали, вы сегодня именинник! Будь я помоложе, заставил бы вас раскошелиться на мага-рыч!

— Согласен, Вали-ака! Идемте! Приглашаю вас сегодня в ресторан «Самарканд!» И вас тоже, Дильбархон!

— О, благодарю! Но меня ожидают мои внуки. А Дильбархон, думаю, вряд ли отважится принять ваше предложение в отсутствие Зияхана, — сказал Вали-ака, добродушно посмеиваясь.

Дильбархон, кажется, слова его задела за живое. Она покраснела, однако же, стараясь спрятать смущение за снисходительной улыбкой, сказала, кокетливо потряхнув ниспадающей на лоб волнистой челкой:

— По-моему, вы преувеличиваете, Вали-ака! — и протянула руку Шерали, а он, позабывший обо всем на свете, ничего не выдавший, кроме своего микроскопа, не сразу это заметил и, спохватясь, сжал ее маленькую ладошку обеими руками. — Поздравляю вас, Шерали-ака, — добавила она. — А предложение ваше я принимаю, только перенесем на другой раз, — и, обернувшись к Вали-ака, развела руками: — У меня же нет внуков!

— Будут, — сказал Вали-ака. — Ручаюсь, будут!

Вечерний прохладный воздух давно не казался Шерали таким сладостным, вдыхаешь полной грудью и никак не можешь насытиться, словно пересекший пустыню и изжаждавшийся путник, который никак не может утолить жажду, добравшись, наконец, до воды.

Шерали вышел за ворота. На автобусной остановке стояли три-четыре человека. Незнакомые. И Шерали проследовал мимо. Пройдется пешком. Чего ему торопиться? Никто не ждет его в малогабаритной однокомнатной квартире, наполненной тишиной. И вдруг его охватила гнетущая тоска, что нет у него близкого человека, к которому бы он спешил поделиться сегодняшней радостью. «Через два года стукнет тридцать, а я все еще один, как перст, — подумал он и вздохнул. — На уме только работа, работа... Были бы живы родители, наверняка позаботились бы, присмотрели невесту, засватали. А нет, мне бы самому без конца напоминать, что пора, дескать, радость им доставить, внучат подарить... Эх, как это, вероятно, здорово, когда дома тебя кто-нибудь ждет, ужинать без тебя не садится, в окно смот-

рит, как только к остановке подкатит автобус, не появишься ли ты...»

Подумал об этом и сразу почувствовал, что изрядно проголодался. Холодильник, кажется, пуст. В последнее время довольствовался одним только чаем да черствым хлебом. На работу уходил чуть свет, когда магазины были еще закрыты, возвращался поздно, когда они уже закрывались. А ехать в центр города в дежурный гастроном было неохота. Думал только о том, как бы скорее добраться до постели, лечь и забыться...

Вечерами эти окраинные улочки становились малолюдны. Несмотря на слякоть, прогуливались редкие парочки. Шерали свернул в переулок, который выходил к перекрестку Ташахура. Вспомнил, что там есть столовая и закрывается она довольно поздно. В буфете всегда имеется свежее пиво. Вечерами там собираются почти одни и те же лица. Подолгу сидят за металллическим столиками с пластиковым покрытием, услаждая себя пивом и жареными в золе с солью абрикосовыми косточками. В былые времена Шерали частенько ужинал там.

Переступив порог столовой, Шерали сразу окунулся в смрадный сигаретный дым, пахло соленой рыбой и прокисшим пивом. Остановился, отыскивая взглядом столик, к которому можно было бы приткнуться, и одновременно прикидывая, где бы он мог поужинать еще. Его кто-то окликнул. За столом у раскрытого настежь окна сидел Зияхан в компании нескольких щеголеватых парней. Он приподнялся и помахал рукой:

— Идите сюда, Шер!

Парни задвигали стульями, потеснились. Столик перед ними был сплошь заставлен кружками с льющимся через край пивом. Шерали поздоровался и, как принято, прикладывая правую руку к груди, у каждого в отдельности справился о самочувствии. Втиснули еще один стул, и он сел.

— Вид у вас неважнецкий. Устали?— спросил Зияхан.— Я сейчас...

Вскочил, ринулся к буфету и исчез в очереди. Через минуту вернулся с бифштексом, бутербродами с сыром и стаканом водки.

— Лучшее средство от усталости! Совсем себя не жалеете, ей богу! Ладно бы толк какой-нибудь был!..

Шерали залпом осушил стакан, надкусил бутерброд и, жуя, спросил:

— Какой «толк» вы имеете в виду?

— Ну... кто-нибудь спасибо бы сказал или оклад бы увеличили. Вы же днюете и ночуете в лаборатории. Я вам искренне сочувствую, поверьте!

— О, коллега, сегодня я заслуживаю не только сочувствия, но и поздравлений!

— Что?.. Неужели нашли?— округлил глаза Зияхан, не донеся до рта кружку с пивом.

Шерали кивнул, не в силах сдержать улыбки.

Зияхан вскочил, едва не опрокинув стул, и раскинул руки:

— Поздравляю, дружище! Птица счастья опустилась вам на плечо!

Шерали тоже встал, и они оглушительно хлопнули ладонью о ладонь.

— Пока что радоваться рано,— сказал Шерали, спеша опуститься на место, чтобы приняться за бифштекс.— Самое трудное, по-моему, только начинается...

— И самое интересное тоже!

— В этом вы, пожалуй, правы. Работы действительно непочатый край. И если вы искренни, давайте объединим наши усилия и продолжим исследования вместе.

— Зачем повару помощник, если плов почти готов?

— Готовы компоненты для плова. А варить еще предстоит.

Зияхан пожал плечами, глаза его беспокойно забегали; обдумывая ответ, он стал медленно пить пиво.

— Я бы с готовностью,— сказал он и почмокал губами.— Но, видите ли...

Шерали, не поднимая головы, продолжал орудовать вилкой, кивнул, давая понять, что слушает.

— Ваша работа в некотором роде противоречит воззрениям Каримы-апы...

— А разве ученому истина не дороже?

— Истина?— Зияхан пожал плечами.— На чьей она стороне еще надо доказать, ой-ей, сколько сломаешь копий, притупишь мечей. Но дело даже не в этом...

— А в чем?— Шерали перестал есть и взглянул в глаза коллеги.

Тот замаялся и невнятно пробубнил:

— Вы же знаете о наших отношениях с Дильбар... Она мне так же дорога, как истина. Я бы не хотел, чтобы из-за ее матери между нами пробежала черная кошка.

— Если вы считаете, что Дильбар не способна оценить Истину, то плохо вы ее знаете.



— Да, наверное, вы правы. Но она очень любит мать. И естественно, она проникнется неприязнью к человеку, доставившему ее матери лишние хлопоты и неприятности.

— Но если мы правы, то Карима-апа по долгу службы должна стать нашей союзницей. Ей не откажешь в здравом смысле...

— Но вы же пытаетесь опровергнуть все то, что она на протяжении многих лет талдычит на лекциях своим студентам,— рассмеялся Зияхан.

— Я не опровергаю. Я всего лишь дополняю. Ведь Карима-апа, разрабатывая свою тему, не знала о существовании того вида паразитов, которые были обнаружены Исаевым в Ургуте. Она должна радоваться...

— Радоваться? Наивный вы человек!— снова рассмеялся Зияхан и придвинул к Шерали кружку с пивом, на котором уже успела осесть пена.— Теоретически вы, конечно, правы. Но практически... Эх, дружище, где вы встречали женщин, действующих сообразно логике? А если дело касается, к тому же, их престижа и самолюбия, эге, что тут может разразиться...

— Бойтесь, значит?— усмехнулся Шерали.

— Я же вам сказал,— поморщился тот.— Если бы не Дильбар... К тому же, посудите сами, я почти уже заканчиваю диссертацию, стоит ли мне браться за другое. А то, за что взялись вы,— работа не одного года, верно?

— Можно ускорить.

— Каким образом?

— Скажем, провести эксперимент на себе. Так поступали многие ученые.

— Вы это всерьез?— округлил глаза Зияхан.

— Вполне. А что?

— Нет уж, увольте, в такие игры не играю.

Утром Шерали проснулся с жесточайшей головной болью. Солнце уже было высоко. Подвел будильник. Ложась, забыл, видимо, завести. Пора было выходить из дому, а он все никак не мог заставить себя встать. Может, заболел? Какое там! Головная боль, слабость, на душе противно оттого, что вчера засиделись с Зияханом в пивной, мешали пиво с водкой, курили. Во рту пересохло, хотелось пить. Шерали встал и босой прошлепал в кухню. Прямо из чайника выпил горькой холодной заварки. Немного полегчало...

На работу Шерали пришел с опозданием более, чем

на час. Вали-ака с недовольным видом кивнул в ответ на его приветствие. Привыкший, придя в лабораторию после ежеутренней летучки у директора, всегда заста- вать Шерали на месте, он был немало озадачен опозда- нием сотрудника, ждал объяснений.

Зияхан подмигнул Шерали и незаметно кивнул на заведующего: дескать, старик с утра не в духе.

Сегодня на летучке Вали-ака должен был доложить о том, что старания его сотрудника наконец увенчались успехом. Шерали, расставляя на своем столе необходи- мые приборы, некоторое время боролся с искушением спросить, как реагировали на его сообщение заведующие других отделов, но терпения его хватило ненадолго.

— Вы что-то не в настроении, Вали-ака? Считаете, что коллеги были скупы на дифирамбы, когда вы сообщ- или об успехах нашей лаборатории?

— Если вы имеете в виду свою находку, то еще нужно доказать, что вы обнаружили именно то, что в свое время упрятал в землю Леонид Михайлович Исаев. А это, как вы понимаете, непросто. Поэтому нам с вами радоваться пока что рано.

— Какие тут могут быть сомнения?— опешил Шера- ли и чуть не уронил мензурку со спиртом на пол.— Лео- нид Михайлович ясно описал, когда и в каком месте за- копал в грунте возбудителей аскаридоза.

— Гмм...— произнес Вали-ака; он сидел, несколько ссутулясь, положив вытянутые руки на стол, и, не под- нимая головы, постукивал пальцами.— Мне не повери- ли,— пробурчал он.— Мое сообщение даже вызвало кое у кого смех. И в самом деле трудно поверить... Трудно!

— Но глазам-то своим вы верите? Взгляните еще раз. Пожалуйста, вот микроскоп!

— Не буду я никуда смотреть!— Вали-ака обернул- ся и несколько секунд грустно смотрел на Шерали.— Вы хорошо знакомы с работой Каримы-апы?

— Еще бы! Она, как и некоторые другие паразито- логи, полагает, что возбудители аскаридоза предств- ляют опасность не более пяти-шести лет. Но в моем слу- чае речь идет о совершенно новой разновидности аска- ридоза...

— Карима-апа зачитала нам некоторые места из брошюры, полученной ею из ФРГ. Авторы этого пособия подтверждают ее выводы. Что вы на это скажете?

Манера заведующего задавать вопросы и не выслу-

шивать аргументов собеседника до конца раздражала Шерали. Уже почти не владея собой и лишь внешне оставаясь спокойным, он сказал:

— Подтверждают, говорите? Хорошо бы узнать, когда эта брошюра издана: до защиты Каримой-апой диссертации или после. Пройдет какое-то время и...

— «Пройдет какое-то время, и я всех их поправлю!»— хотите сказать? Так, что ли?— спросил заведующий лабораторией, не сводя с Шерали укоризненного взгляда.

Шерали выдержал его взгляд, думая о том, какая разительная перемена произошла с учителем; вчера поздравлял, радовался, а сегодня... Нет, в лице Вали-ака он себе союзника не найдет.

Дверь распахнулась, их весело и громко приветствовала Дильбар. Рассказывая, как встретила по пути на работу одноклассницу, с которой не виделась три года и какие у подружки чудные близнецы, Дильбар повесила на вешалку плащ, надела халат и, стуча каблучками, прошла к своему столу.

Зияхан не обернулся. Шерали заметил, как вдруг заострились его лопатки, он даже ниже пригнул голову, делая вид, что всецело поглощен работой. Но Дильбар, ослепительно улыбаясь, обратилась к нему:

— Я виновата перед вами, Зияхан-ака. Вчера так получилось, что я вас подвела. Надеюсь, вы нашли способ приятно провести время?

— Да, конечно,— буркнул тот.— Однако не стоило так стараться, доставать билеты...

— Вчера к маме пожаловали ее московские друзья, и мне пришлось помогать ей принимать гостей,— небрежно заметила Дильбар, приводя в порядок свой стол, и обернулась к Шерали:— Говорят, вы решились потрясти ученый мир своим неординарным методом исследования?

— То есть?— растерялся Шерали, задетый ее насмешливой интонацией.

— Пока я шла через институтский двор, у меня трое или четверо спросили, правда ли, что Шерали Халмуратов собирается заразить себя аскаридозом?..

Шерали посмотрел на Зияхана. Тот заерзал, словно спиной чувствуя его взгляд, однако не обернулся. Конечно, это он выболтал,— Шерали в порыве откровенности по-дружески поделился с ним вчера своими планами,— и, видимо, подал все в таком свете, что сейчас

ему стыдно даже обернуться, не говоря уже о том, чтобы взглянуть ему в глаза.

— Это уже что-то новое,— проговорил Вали-ака, принявшийся было что-то писать, он снова, сняв очки, повернулся вполборота к Шерали:— Час от часу не легче. Может, вы что-нибудь объясните?

Шерали вздохнул. Он не был подготовлен к такому разговору с заведующим. Но коли зашел об этом разговор, не идти же на попятную.

— Вали Тиллаевич, из года в год подобные эксперименты проводились на животных. Опыты эти чересчур продолжительны, а главное, не дают исчерпывающих ответов на все вопросы. Животные, увы, не могут говорить. И многие выводы оказываются лишь приближенными...

Вали-ака отложил ручку в сторону, пожалуй, с некоторым раздражением, он смотрел на своего сотрудника так, будто что-то искал на его лице.

— Ну?.. Что дальше?

Шерали пожал плечами:

— Дальше... то, о чем вам уже сообщила наша всеведущая Дильбар.

— Вы отдаете отчет своим словам?

— Вполне, Вали Тиллаевич.

— Впрочем, мне-то что?— Вали-ака махнул рукой, уселся поудобнее и продолжал писать. Однако тут же поднял голову и сказал с дрожью в голосе:— Если возбудители, о которых вы говорите, действительно одиннадцатилетней давности, они не вызовут у вас никакой болезни! Поэтому вы и хорохоритесь!

— Именно это, Вали Тиллаевич, я и хочу узнать: вызовут или не вызовут, а если все-таки вызовут, то как эта болезнь будет протекать. Для меня это очень важно.

Вали-ака положил ручку и повернулся к Шерали уже всем корпусом, глядя поверх очков:

— И все же я советую вам не торопиться, молодой человек, хорошенько обдумать все и взвесить. А то люди вашего возраста вечно спешат, не смотря себе под ноги и нередко, споткнувшись, разбивают лбы. Я постарше вас, каким-никаким опытом умудрен и считаю своим долгом предостеречь вас. Я знал многих, кто прямо из кожи вон лез, лишь бы выскочить, доказать, что они умнее других, и чем это для них кончалось?

Последствия, прямо скажем, оказывались плачевными. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю...

— Да, конечно.

— А по-моему, не очень.

— Карима Музаффаровна должна понять меня.

— Да дело же не только в том, поймет или не поймет!.. Вы только представьте себе, в каком свете я, человек, проработавший на этом месте...— он постучал по столу указательным пальцем — тридцать лет, выглядел сегодня перед ней, всеми уважаемым ученым,— произнося последние слова, он непроизвольно мельком глянул в сторону Дильбар...

— Вали Тиллаевич, я же...— начал было Шерали.

Но заведующий, выставив ладонь, перебил его:

— Дорогой, мой, перестаньте. Если вам не надоела ваша спокойная жизнь, то, ради бога, уgomонитесь.

— Я вас не понимаю,— Шерали разволновался так, что с лица его схлынула кровь.— Вы хотите, чтобы я прекратил исследование?

— Ну, вот, а говорите, не понимаете,— улыбнулся Вали Тиллаевич.— Вы все прекрасно понимаете, вам ума не занимать.

— Извините, в таком случае я буду вынужден ставить вопрос на Ученом совете.

— Вот как?

— Да, именно так!— Шерали вскочил, с шумом отодвинул стул, подошел к окну и распахнул форточку.

Вали-ака несколько секунд сверлил его спину взглядом, в котором смешались удивление, раздражение и какие-то крохи сочувствия. Его сухонькие загорелые руки с выступающими венами дрожали.

Воцарилась гнетущая тишина.

Первой подала голос Дильбар.

— Не знаю, Вали-ака, правильно ли понял вас Шерали, для меня же многое осталось неясным,— сказала она.— Не далее, как вчера, вы поздравляли его, намекали даже на магарыч, а сегодня...

— Что вам не ясно, милая Дильбархон? Вчера я поддался первому чувству...— виновато проговорил заведующий.

— Странная метаморфоза.

— А сегодня, поговорив с уважаемой Каримой Музаффаровной, пришел к выводу...

— Но у вас же есть и собственное мнение,— довольно бесцеремонно перебила заведующего Дильбар, она-

то могла себе это позволить.— Все это время, пока Шерали-ака таскал землю из сада и каждую крупницу рассматривал под микроскопом, мнение ваше было достаточно определенным, и мы вместе с вами сочувствовали ему, переживали, желали удачи. А теперь... Да вы просто обязаны теперь помочь Шерали-ака довести свои исследования до конца. Каков будет их результат, будет видно. Но раз работа начата, она должна быть закончена. Я так думаю. Зияхан, а почему вы молчите? Или я не права?

— Не зная всех тонкостей вопроса, я бы не взял на себя смелость вмешиваться в столь щепетильный спор.

— Вы всегда так... Как рыхлый дувал!— выпалила Дильбар.— Хочешь облокотиться, а он на глазах разваливается...

— Дильбархон, по-моему, тут не место для обмена любезностями по столь деликатному вопросу,— сказал Зияхан, густо покраснев.

— Если слова искренни, они всегда к месту,— сказала Дильбархон.— Если Шерали-ака не обратится в Ученый совет, то это сделаю я. В конце концов речь идет о престиже нашей лаборатории...

Шерали пересек помещение и, сняв с вешалки пальто, тихонько вышел. В голове гудело, будто не голова на плечах, а пчелиный улей. Лицо овеял прохладный ветерок, скользнул за ворот. Плавно покачивались голые ветви деревьев. На гранатовом кусте сидела стайка взъерошенных воробьев. Набросив пальто на плечи, Шерали ступил в сад, выглядевший в эту пору прозрачным, и узкой устланной сухими и мокрыми листьями дорожкой направился к излюбленному своему месту, к старой скамье под огромной чинарой. В ушах все еще звучал голос Вали-ака, а перед глазами оживали его жесты, мимика... Вот так долгое время находишься рядом с человеком и не знаешь его. И только в определенный момент неожиданно для себя обнаруживаешь в нем такие свойства характера, о которых ранее и не подозревал.

Почему Вали-ака так резко переменялся?.. Ведь знал, над чем он, Шерали, столько времени трудится. Казалось, даже сочувствовал ему, переживал за него. Пожалуй, искренне переживал. И вдруг... Нет, дело тут, конечно, не в Вали Тиллаевиче. Определенно, не в нем. Сам говорит, а глаза бегают, не знает, куда их девать.

Нелегко, наверное, дожив до такого возраста, не иметь собственного голоса.

И сразу же Шерали вообразил себе Кариму Музафаровну, несмотря на возраст, довольно еще привлекательную, с остатками былой красоты на лице, молодящуюся, оставил ее в просторном, полном солнечного света кабинете с четырьмя огромными, под самый потолок, окнами. В белой блузке, тесно облегающей высокую грудь, и темно-синем, сшитом по фигуре костюме сидит она за большим полированным столом и перелистывает кипу бумаг (когда одна — в очках, а в присутствии кого-либо — без них); то и дело поочередно трезвонят на ее столе телефоны. Голос у нее отрывистый, уверенный, какой и должен быть у человека, руководящего таким крупным институтом. Судя по всему, справляется она со своими обязанностями неплохо, большинство сотрудников ее уважают и за глаза просто называют «Апа». И вообще Шерали ни разу не слышал, чтобы кто-то отозвался о ней плохо. Многим она сделала что-то хорошее, чем-то помогла, повысила оклад, другому выхлопотала квартиру, для третьего добилась путевки в санаторий. Настоящая апа, заботливая старшая сестра...

Может, Шерали действительно в чем-то не прав? Надо было, наверно, посоветоваться с Апой. А он, выходит, не проявил должного уважения...

Вот и скамья, сырая, облепленная желтыми листьями. Он смел рукой с краешка мокрые листья и сел. Сквозь прозрачную сетку ветвей виднелись плывущие в небе облака.

В зарослях о чем-то заспорили воробьи, похоже, перессорились. Интересно, из-за чего? Им-то чего не хватает, что они не могут поделить? Неужели и вправду только в спорах отстаивается истина?.. «Но у вас, серые птахи, голос у всех одинаков, хотя и дерете горло, стараясь перекричать друг дружку. А попробовали бы вы, скажем, поспорить с сорокой!..— Шерали невольно усмехнулся собственным мыслям.— Но я же в конце концов не воробей!..»

\* \* \*

Ленивое осеннее солнце выглядывало время от времени из-за облаков и мягкими прикосновениями сметало пыль с голубых куполов, гробниц. Шерали приблизился к низкой кирпичной стене и облокотился, чувствуя

сквозь рукава рыхлость старой кладки. За оградой раскинулось огромное кладбище, сплошь заросшее янтасом, из которого там-сям торчали покосившиеся надмогильные плиты. Кое-где возвышались старые склепы, издавна напоминая неподвижные спины пасущихся коров, серели стены небольших полуобвалившихся худжр, небольших строений для индивидуальных молений. Воздух, растворивший в себе слабые проблески солнца и аромат прелых трав, словно застыл, ни малейшего движения. Стерлись на гробницах и надмогильных плитах надписи, и они хранят теперь вечное молчание. Скорбная тишина шелестит о том, что скрывает вечную тайну. Чей прах сокрыт под толщей этой земли? Что это были за люди? Старались ли поддержать под руки того, кто изнемог на пути постижения Истины? Или могли и последний посох отобрать у обессиленного странника?.. Во все века всякие жили люди. Время уравнило их. И ныне верующий старик, следуя мимо кладбища, пешком ли, верхом ли на осле, или в автомобиле, непременно проведет по седой бороде руками, молясь за всех, кто нашел тут успокоение, прося у всевышнего для них милосердия. Так что же, выходит, забыты добро и зло? Или это всепрощение торжествует свою победу над злопаятностью. Да, всегда доброта в человеке брала верх. А зло... Ну хоть бы раз оно устыдилось!..

Сверху донеслись голоса девушек, отражаемые высокими, облицованными майоликой стенами гробниц. Дильбар и Галя выйдя из узкой двери небольшой мечети, о чем-то громко споря.

— Как вам не стыдно, Шерали-ака! Мы столько успели обойти, а вы все на том же месте!— громко сказала Дильбар.— Знаете, кто не прилагает ни малейшего старания, чтобы не отстать от девушек?

— Кто же?— заставил себя улыбнуться Шерали.

Отраженное куполом солнце бьет прямо в глаза, и он с трудом различает в полутемном проходе фигурки девушек. Чудится ему, что не солнечный блик слепит его, а это от девушек разбегаются во все стороны золотистые лучи.

— Старики, вот кто!— смеется Дильбар.

Шерали вздохнул и легонько оттолкнулся от стены. Даже камень не вечен — осыпается от легкого прикосновения рук. Видно, и правда нет ничего не подвластного времени.

— Старик?.. Вы сказали «старик»?.. Да я же обеих



вас подхватчу сейчас на руки и взбегу до самого верха!..

Да, еще совсем недавно он смог бы сделать это без особого труда. А сейчас ноги дрожали. Сердце... Словно кто-то кувалдой бьет по груди.

«Двадцать четыре... Двадцать пять... Двадцать шесть...»

Он остановился, перевел дыхание. С площади донесся смех. «Хорошо вам смеяться,— с обидой подумал Шерали.— Чужому кроить чапан всегда легче. А когда своя одежда неудобная, тут уж не до смеху». Под ложечкой усиливалась режущая боль. Он продолжал улыбаться, а сам, преодолевая проклятую резь, морщился. Представил, как глупо, должно быть, выглядит. Дильбар права: он и вправду состарился. Ему сейчас каждый прожитый день кажется целым годом. Черт возьми, он ведь может гораздо быстрее положить всему этому конец! К его услугам сильные лекарства. Начать интенсивнее лечиться и — конец мучениям!.. Нет, надо еще потерпеть. Еще немного...

«Двадцать семь... Двадцать восемь...»

— Шерали-ака,— сказала Дильбар.— Рассудите нас... Галя считает, что постройки, подобные Шахи-Зинда, Регистану, Биби-Ханым были бы невозможны без достижений греческих мастеров, а я говорю...

— Я читала об этом,— пожалала та плечами.

— Некоторые буржуазные ученые и до сих пор так считают,— сказал Шерали, перевода дыхание едва ли не после каждого слова.— Но исследования наших ученых доказывают обратное. Многие философы, математики черпали свои знания на Востоке. Доказательства? Пожалуйста! Мухаммад Хорезми, живший в IX веке, основал алгебру как науку. От введенного им термина «алджабр» и происходит само слово «алгебра». Книгу его «Алгебра и алмукабала» перевели на латынь только в 1143 году. Она начиналась словами: «Алгоризми говорит...» Отсюда и термин современной математики — алгоритм. А в 1863 году французский ученый Жан Рейно доказал, что Алгоризми — не что иное, как ал-Хорезми... Книгу его изучали Коперник, Галилей, Кеплер, Паскаль, Декарт, Лейбниц, Бернулли, Эйлер, Ломоносов... А Авиценна, известный в Европе всего лишь как знаменитый эскулап древности?! Но ведь в математику, геометрию он внес не меньший вклад, чем в медицину!.. А знаменитый Омар Хайям! Многие знают на память его стихи, но мало кому известно, что Омар Хайям, вслед за Ави-

ценной, разрабатывал знаменитый постулат о пересекающихся параллельных линиях. Две тысячи лет этот постулат не давал покоя математикам, пытавшимся доказать его. Омар Хайям нашел самое лучшее доказательство для своего времени...

— Убедили!— рассмеялась Галина, но по глазам ее Шерали понял, что у нее полно контраргументов, просто сейчас она не желает спорить. Ибо не спорить они сюда пришли, а как можно больше увидеть. Поспорить можно и потом.

Девушки взяли за руки и снова исчезли в тени прохладного прохода.

Шерали усмехнулся. Иногда и доказанную истину бывает не просто отстоять... Перед глазами вновь замелькали желтые, розовые, сиреневые круги, потом они неожиданно превратились в лица Зияхана, Вали-ака, Каримы-апы, возникали и пропадали. «А удастся ли мне доказать им обратное тому, что они привыкли считать очевидным?..»

...Сидя на скамье, Шерали почувствовал, что его пробирает холод. Но уходить не спешил. Рядом сидел Леонид Михайлович. Он всегда приходил сюда, когда ему хотелось побыть наедине. Леонид Михайлович сидел, облокотясь о колени, сомкнув пальцы худых, но крепких рук, и задумчиво смотрел на одинокий пожухлый лист граната, чудом оставшийся на кусте. Как и Шерали, он набросил пальто поверх халата, помятая кепка низко надвинута на лоб, на впалых висках серебро седины. Сидел и будто ждал от Шерали каких-то слов.

«Как мне быть, Леонид Михайлович?..»— мысленно спросил Шерали.

«Думаешь, у меня не было трудностей? Ого-о, сколько их у меня было! И посложнее, чем твои!.. Главное — не падать духом. Если уверен, что прав,— заставь и других поверить в это».

«А если немало таких, которые знают, что ты прав, но, вопреки логике, доказывают обратное?»

«Таких — игнорировать. Таким нечего делать в науке».

Шерали повернулся к нему, чтобы спросить еще о чем-то. А его нет. Исчез, будто и не было.

Шерали вздохнул, поднялся.

В лаборатории он застал только Зияхана. Тот, стоя

у окна, переливал из колбочки в мензурку какую-то мутную жидкость, отсчитывая капли.

— Это ты, Шерали?— спросил он, не оборачиваясь.

Шерали кашлянул. Выдвинув из-за стола стул, сел.

Зияхан, взбалтывая мензурку, просматривал ее на свет.

— Зачем ты это сделал?— вздохнув, спросил Шерали.

— Что именно?

Зияхан не оборачивался, делая вид, что всецело поглощен своим занятием, добавляя по капле жидкость и снова изучал содержимое мензурки, однако по его подчеркнuto-спокойному голосу не трудно было определить, что он прекрасно понял, о чем говорит коллега.

— Не в моих правилах кричать «гоп», пока не перепрыгну через арык... А вчера... У меня было такое настроение, что захотелось поделиться с кем-то радостью, а ты...

Зияхан резко обернулся, поставил мензурку на подставку.

— Что особенного я сделал? Рассказал кое-кому о том, что ты решил повторить подвиг Антуана Клода! Я же не сказал о тебе ничего плохого? Чтобы твой авторитет в коллективе...

Шерали насупился, забарабанил по столу пальцами.

— Думай лучше о своем авторитете! О себе я как-нибудь сам позабочусь!

— Хочешь дружеский совет?— сощурил глаза Зияхан, и они почти скрылись в его припухлых веках.

У Шерали мелькнула мысль, стоит ли выслушивать дружеский совет от человека, которого после случившегося трудно считать другом; усмехнулся и махнул рукой:

— Валяй?

— Ты же знаешь, чего ждет от всех нас, и, в частности, от тебя, Карима-опа? Только не подумай, ради бога, что говорю это тебе из-за наших... гм, взаимоотношений с Дильбар...

— Нужно добывать только такие факты, которые подтверждают ее собственные выводы, не так ли?

— Вот именно! А у тебя что? Все наоборот. Доводил бы уж ты до конца свою прежнюю работу и жил бы себе спокойно.

— Истина дороже.

— Ну, кто же спорит с тобой? Конечно! Однако и она требует доказательств.

— Вот и я так считаю,— невольно рассмеялся Шерали.— Этим я и хочу заняться!

— Нет-нет!— запротестовал Зияхан и обеспокоенно глянул на дверь, за которой слышались чьи-то шаги.— Ты меня не так понял! Ты ничего не сможешь доказать! Извини меня за откровенность, но твоя версия антинаучна! Потому что она противоречит всему...— Зияхан умолк, прислушиваясь.

Шаги проследовали мимо. Он с облегчением вздохнул и опустил на стул, словно обессиленный. Достав из кармана платок, промокнул лоб.

«Подумал, что Дильбар идет?— усмехнулся Шерали.— Передаст матери, что Зияхан поддерживает идею Халмурадова — хлопот не оберется. Поди докажи потом, что его не так поняли!»

— А знаешь, приятель, ты меня, пожалуй, убедил,— задумчиво проговорил Шерали.— Еще вчера мне казалось, что истина говорит сама за себя и не нуждается в защите. Но ты, увы, прав: за нее надо драться.

— Всегда ли надо?— заметил Зияхан, постукивая ногтем о выпуклый бок колбы.— Если заранее знаешь, что будешь побит, не благоразумнее ли избежать драки?

— В науке сколько хочешь примеров великих открытий, когда исследователи действовали вопреки благоразумию.

— Что ж, поступай, как знаешь. Я считал своим долгом предостеречь тебя.

— Благодарю.

Не проходило дня, чтобы Шерали не предпринимал попытки убедить Вали Тиллаевича хоть мимоходом упомянуть о его находке и предполагаемом эксперименте в отчете, который заведующие лабораториями ежемесячно представляли Ученому совету. Вали-ака же понимал, что тогда Ученый совет попросит подробных комментариев. Именно на это и надеялся Шерали.

— Не сейчас. Еще не время,— уклонялся от прямого разговора с Шерали заведующий лабораторией.— Надо выждать удобный момент.

Шерали уговаривал, убеждал, что в конце концов вынужден будет сам довести это до сведения Ученого совета. Когда Шерали становился чересчур настойчив, Вали-ака, устав сопротивляться, просто вскакивал с места, делая вид, что о чем-то вспомнил, надевал пальто и уходил из лаборатории. Отсутствовал и час, и два,

а возвратясь, с порога предупреждал присутствующих: «Прошу не отвлекать, у меня срочная работа!»

Впоследствии он стал прибегать к другому приему, пожалуй, более действенному. Когда спор с Шерали достигал особого накала, он откидывался на спинку стула, хватался за сердце, закрывал глаза и принимался шумно и тяжело дышать. Дильбар кидалась к нему со стаканом воды. Шерали тотчас умолкал и потом уже долго не решался вернуться к этому разговору.

Однако недаром говорят, что капля камень долбит. Вали-ака в конце концов сдался. В один из дней, едва только Шерали затеял всегдашний разговор, Вали Тиллаевич, не скрывая раздражения, бросил:

— Хорошо! Напишите мне записку для отчета — о своем экспери-мен-те! — последнее слово он произнес с нескрываемой иронией.

У Шерали такая записка давно была готова. В ней он сначала подробно рассказал об опытах, которые начал проводить еще Леонид Михайлович Исаев, не успев завершить их; а потом вкратце описал, каким, по его мнению, идти путем, чтобы поиски эти продолжить.

Вынул записку из ящика стола и положил перед Вали Тиллаевичем.

Но тот, кажется, уже сожалел, что проявил слабость и уступил подчиненному. Ну и нахал этот Халмурадов, сбил-таки его с панталыку.

Чем меньше дней оставалось до заседания Ученого совета, тем более хмурым выглядел Вали-ака. За два дня до него он слег. Сообщил по телефону, что на работу не придет — сердце. А выступить с отчетом просит Шерали. Текст в его, Вали-ака, столе. Пусть Шерали заранее с ним ознакомится. Двух дней ему для этого достаточно.

В назначенный час не очень просторный актовый зал института заполнили младшие сотрудники, доценты, профессора. Карима Музаффаровна, как обычно, задерживалась, и в зале стоял гул. Но вот даже курившие в коридоре поспешно заняли свои места. Появилась Карима-апа. И сразу воцарилась тишина. Пока она шла по проходу через середину зала, Шерали не сводил с нее глаз и чувствовал, как от волнения сжимается сердце. Карима-апа была в темно-синем свободного покроя костюме, скрадывавшем полноту. Несмотря на свои сорок пять лет, выглядела она довольно привлекательно. Чер-

ные, без единой сединки, волосы гладко зачесаны назад и собраны на затылке в узел. Энергичный излом бровей, чуть сдвинутых у переносицы, как бы подчеркивает серьезность данного момента, хотя ее слегка тронутые помадой губы, кажется, готовы в следующий миг улыбнуться. Но нет, не улыбается. И Шерали при мысли о предстоящем выступлении пробирает озноб. Глядя на розовое гладкое лицо этой женщины, молодо блестящие глаза, можно подумать, что за свою жизнь она ни разу не сталкивалась с трудностями, каталась, как сыр в масле. Но это далеко не так, и Шерали об этом знает. Ого, сколько пришлось в свое время перенести ей...

Карима-апа прошла в президиум. Кое-кто из сидящих приподнялся, пропуская ее. Она села на всегдашнее свое место, которое даже в ее отсутствие никто не смел занимать. Облокотилась о застланный зеленой скатертью стол и обвела взглядом сидящих в зале, словно отыскивая того, кто отважится сейчас выступить. Сидящие за столом президиума, поправляя очки, уткнулись в свои бумаги, зашуршали, перелистывая. Она слегка наклонилась к сидевшему справа от нее заместителю, седому мужчине, и что-то сказала. Тот кивнул и поднялся. Прокашляв горло, открыл заседание и кому-то предоставил слово.

Шерали не вникал в то, что там делалось. Одним глазом он поглядывал на президиум, а другим на бумаги, которые держал на коленях. Как нарочно, в последний момент возникали какие-то новые мысли, которые, как ему казалось, были упущены, и он тут же карандашом делал вставки. Снова и снова перечитывал текст, стараясь хорошенько запомнить, чтобы пореже заглядывать в бумаги, и вполуха слушал выступления заведующих лабораториями и кафедрами. И все боялся, как бы не проморгать момент, когда ему предоставят слово.

И все-таки проморгал. По залу пробежал легкий шум. Сидящие впереди стали оглядываться. Сосед ткнул локтем:

— Вас...

— Шерали Халмурадов присутствует?— спросил председательствующий, взглядываясь в зал.

Шерали вскочил, едва не рассыпал бумаги, кое-как собрал их и стал пробираться к проходу. Пока дошел до сцены, взмок. Изю всех сил стараясь унять волнение, поднялся по ступенькам к трибуне. Минуту, а то и две собирался с мыслями. Сидящие в передних рядах смог-

рели на него с интересом. Лица многих были ему знакомы. В глазах у некоторых читалось: «Ну-ка, ну-ка, что собирался сказать этот паренек, у которого молоко на губах не обсохло...»

Карима-апа, подперев левой рукой щеку, смотрела в зал.

Шерали положил перед собой записи — так он чувствовал себя увереннее — и начал говорить. Однако от волнения голос сел, а в зале было шумновато, и он сам себя едва слышал. Попытался говорить громче, чтобы его могли услышать хотя бы те, кого заинтересует тема выступления, если, конечно, таковые здесь найдутся. Однако присутствующих, кажется, уже изрядно утомили предыдущие выступления, и появление на трибуне «неоперившегося птенца» воспринято было ими как кратковременная разрядка.

Но когда Шерали произнес имя Леонида Михайловича Исаева, шум в зале стал постепенно стихать. Взоры присутствующих обратились к трибуне. Вот наконец Шерали перешел к сути своего доклада — начал говорить о значении эксперимента, на проведение которого хотел бы получить разрешение Ученого совета. В зале послышались смешки, шушуканье.

Карима-апа постучала карандашом по графину.

— Тише, товарищи! — попросила она и обратилась к Шерали: — Простите, я не совсем расслышала. Если не затруднит, повторите, пожалуйста, последнюю фразу.

У Шерали екнуло сердце. «Вот и началось!.. Однако слушает она внимательно. Не ускользнуло от ее внимания то, что я сказал!..» Шерали отпил из стакана воды, выигрывая время, чтобы немного успокоиться, и, глядя на Кариму-апу, спокойно повторил:

— ...Обеспечить проведение опыта с живыми яйцами аскарид, пролежавшими в земле в течение десяти лет...

Брови Каримы-апы, слегка подведенные тушью, изумленно приподнялись:

— Не ослышалась ли я, товарищ Халмурадов? Вы сказали «в течение десяти лет»?

— Именно так, Карима Музаффаровна! Вы не ослышались.

— А разве вам не известно, что предмет ваших опытов сохраняет жизнедеятельность лишь в течение четырех-пяти лет?

Шерали сказал, что и сам до недавнего времени придерживался такой точки зрения. До тех пор, пока в руки

ему случайно не попались записи Леонида Михайловича. Он рассказывал о найденных им тетрадах, о длительных поисках, увенчавшихся в конце концов успехом, не подозревая того, что вытянул уже первую траурную нить из многих научных выводов, относящихся к этой проблеме. Жребий был брошен, и теперь он говорил громко и уверенно. Разве что чуть-чуть торопился, выдавая тем самым свое волнение.

В зале чувствовалось оживление. На многих лицах он заметил даже заинтересованность, на некоторых — иронию: гляньте-ка, мол, на кого замахнулся этот птенец! На саму Кариму Музаффаровну!

— Фантастика! — услышался голос из зала.

— Белиберда!

— А как вы все это собираетесь доказать?

Кто-то откровенно расхохотался.

Не успел Шерали собраться с мыслями, чтобы ответить на один вопрос, как их посыпался целый ворох. Со всех сторон. Шерали растерялся. Стоял и молчал, глядя в зал, на лица, светлые и темные, гладкие как свежий персик, и обрюзгшие, сморщенные, как печеное яблоко, веселые и возмущенные, удивленные и подбадривающие. Голоса слились в сплошной шум, и он ничего не мог разобрать.

На помощь пришла Карима-апа. Она медленно поднялась, машинально одернула жакет и, строго глядя в зал, негромко спросила:

— Что это такое? Вы на Ученом совете находитесь или в чайхане? Если есть к докладчику вопросы, задавайте по очереди!

— Тогда я!.. — вскинул руку и вскочил с места маленький и круглый, как сдобная пышка, мужчина с просвечивающей сквозь редкие волосы розовой макушкой. — По-моему, докладчик совершенно необоснованно возвращается к давно известному и подробно изученному вопросу. Вы же сами, Карима Музаффаровна, давным-давно поставили в этом деле все точки над «i»!..

Ни одна черточка не дрогнула на лице Каримы Музаффаровны. Однако еле приметная искра в ее глазах промелькнула, мелькнула и пропала, свидетельствуя о том, что реплика из зала пришлась ей по вкусу. И круглый человек это заметил. Воодушевленный, он вновь обратился к докладчику, тыча в его сторону пальцем.

— Товарищ Халмурадов! Известно ли вам, что на все



вопросы, поднятые вами, исчерпывающие ответы даны в работах нашей уважаемой Каримы Музаффаровны.

— Известно,— буркнул Шерали, перебирая дрожащими пальцами бумаги.

— До недавнего времени специалисты считали, что зараженная рассадниками аскаридоза местность опасна для здоровья в течение года или двух. Карима-апа в результате длительных исследований пришла к иным выводам. Она опровергла старые утверждения и доказала, что на зараженной местности необходимо соблюдать карантин в течение четырех-пяти лет; в таких местах нельзя пасти скот, который является основным переносчиком заболевания. В итоге случаи заболеваний аскаридозом сократились во много раз...

— Сократились, но ведь не исчезли совсем!— успел вставить Шерали, пока тот переводил дыхание.

— Ну, может быть, вы этого добьетесь?— ехидно осклабился ярый поклонник Каримы-апы.

— Карантин надо продлить до десяти и более лет!

— Ха-ха!.. По-вашему, из года в год живучесть паразита увеличивается?

— Дело не в этом!..

— Так в чем же? Вероятно, труды Каримы-апы кажутся вам недостаточно убедительными?

Шерали пытался растолковать свою мысль, однако ему никак не удавалось облечь в ясную форму, не только потому, что несколько растерялся оттого, что оказался под дальнобойным обстрелом настырного противника— пока он и сам толком не знал, в чем причина столь «длительной живучести паразита». Поэтому он перескакивал с одного на другое, ссылаясь на то, что в литературе, посвященной клинике аскаридоза, сравнительно мало отражено течение миграционной фазы этой болезни у человека и совсем не изучена ее клиническая картина после заражения яйцами аскарид, находившимися в почве продолжительное время...

Последовали вопросы: каким же способом он намерен это изучить? Все методы опробованы. Может, он придумал какой-то другой?

Видя реакцию зала, Шерали расхотелось раскрывать свои карты до конца, и он не решился сказать, что задумал провести эксперимент на себе. Поэтому речь его становилась все более невнятной, и он окончательно запутался.

И тогда поднялся с места седой мужчина, сидевший

рядом с Каримой Музаффаровной, ее заместитель Саттар Мукимович.

— На мой взгляд,— произнес он рокоchущим баритоном, постукивая о ладонь карандашом,— доводы ваши не имеют под собой никакой почвы, дорогой мой. И ежели мы будем с вами сейчас резковаты, не обижайтесь. Ибо собрались здесь все люди солидные, занятые, у которых каждая минута на вес золота. А вы, простите меня...— он взглянул на ручные часы,— вон, сколько времени отняли у нас... Допустим, что обнаруженные вами яйца аскаридов действительно десятилетние. Предположим даже, что они живые. Но вы же пока не можете утверждать, что они способны вызвать заболевание...

— Это потребует многочисленных опытов— заметил окончательно сбитый с толку Шерали.

— Опытов, говорите? А не будет ли это выбрасыванием на ветер средств, если наперед известны результаты подобного рода опытов? Знаете ли, мил человек, мы не настолько богаты, чтобы с этакой легкостью переводить государственные деньги.

Лицо Каримы-апы становилось все более серьезным и непроницаемым, она еле приметно кивала головой.

— Саттар Мукимович,— после короткой паузы произнес Шерали,— а можете ли вы взять на себя смелость с уверенностью утверждать, что найденные мной семена заразы не вызовут болезни? Пока никто не может этого утверждать с полным правом...

В зале стало тихо. Но Кариме-апе, кажется, не очень понравился проявляемый залом интерес, по лицу ее пробежала тень, а глаза выдавали, что она о чем-то лихорадочно думает. Может, прикидывает в уме, насколько может оказаться правым выступающий и насколько те, кто ему возражает. Беспокойный взгляд ее блуждал по залу, выхватывая из массы присутствующих знакомые лица. Лет пять-шесть назад она тоже видела их, когда с этой же трибуны докладывала о поразительных выводах, сделанных ею в результате длительных исследований, потрясала всех своими аргументами, сводившими на нет существовавшие до сих пор теории. Многие коллеги превозносили ее работу до небес, пели ей дифирамбы. Всего лишь каких-нибудь пять-шесть лет назад! Все это время она находилась в ореоле славы, стала даже привыкать к ней. И вдруг... В мире, конечно, рождалось немало блестящих идей, поражавших современников смелостью, новизной, которые, однако, затем состарились и были

преданы забвению. Но чтобы этакое произошло с ней... Нет, этот наглый мальчишка слишком много на себя берет!

А между тем до нее глухо, как сквозь толстый слой ваты, доносился взволнованный голос этого «мальчишки».

— Глубоко заблуждаются те, кому тема эта кажется устаревшей или полностью исчерпанной...

«Гляди-ка, и голос окреп?» — с ехидцей подумала Карима-апа.

А Шерали, уже не заглядывая в свои записи, продолжал:

— Да, мы должны безбоязненно вести дальнейшие исследования в этой области. Нам хорошо известны имена ученых, которые во имя достижения истины не щадили самих себя, своего здоровья. Мечников проверил на себе действие микробов холеры, Завьялов — эпизотии...

— Так то другой разговор, то был подвиг, — заметил Саттар Мукимович, махнув рукой, будто перед его носом вилась назойливая муха.

— Уж не собирается ли и наш Шералибай совершить такой же подвиг? — бросил кто-то из зала реплику.

— Теленка дорога — от кормушки до порога, — не унимался толстячок, он ерзал на своем стуле, будто сидел на репее. — Для такого подвига смелость нужна...

Шерали не сводил с него пронизывающего взгляда, несколько мгновений он делал над собой усилие, чтобы подавить всколыхнувшийся в нем гнев и говорить спокойно.

— Смелость присуща и хищному барсу, — сказал он. — Ни Мечников, ни Завьялов не собирались демонстрировать свою отвагу. Ими двигали гораздо более высокие чувства. Они думали о том, чтобы принести пользу человечеству. И грош цена тому, кто обладает лишь смелостью барса...

Карима-апа то облакачивалась о стол и, повернув голову смотрела на Шерали, то вновь откидывалась на мягкую спинку стула и с деланным равнодушием обзревала зал. Она нервничала. Ее обуревали противоречивые чувства. В красивых глазах ее, когда она смотрела на Шерали, зажигались яркие огоньки. Нет, не добрыми они были, эти огоньки.

А докладчик продолжал выкладывать перед аудиторией все то, о чем думал последнее время, нередко и ночи напролет. Слово решил: «А, будь, что будет!..»

Сидящие слушали, перешептываясь, пересмеиваясь, и с нетерпением ждали выступления директора. Никто не сомневался, что она очень быстро поставит на место этого задиристого петушка.

Отвстив еще на несколько вопросов, Шерали отправился на место, почувствовав вдруг, что ноги опять сделались ватными.

Вопреки ожиданию большинства присутствующих, Карима Музаффаровна никак не выразила своего отношения к выступлению аспиранта. Саттар Мукимович о чем-то пошептался с ней и объявил заседание закрытым.

Шерали проснулся около четырех и весь остаток ночи провел без сна. Вспоминал вчерашнее собрание. Не погорячился ли, не сказал ли чего лишнего? Он заново обдумывал свое выступление, взвешивал каждое слово. Эх, недаром сказано: «Язык мой — враг мой»... Лучше про это не думать. Поживем — увидим...

На работу он пришел раньше обычного. Сам взял у вахтера ключ и отпер лабораторию. Надев халат, сел за стол и начал готовить приборы, чтобы начать работу.

Пронзительно задребезжал внутренний телефон. По нему давно никто не звонил, и Шерали вздрогнул. Стрелки настенных часов показывали ровно восемь. Телефон продолжал трезвонить. Кому это так рано нейметесь? Шерали вскочил, резко отодвинув стул.

— Товарищ Халмурадов? — слышался приятный девичий голос. — Зайдите пожалуйста, к Кариме Музаффаровне! — и в трубке раздались короткие гудки.

Шерали еще несколько мгновений подержал ее в руках, затем медленно опустил на рычаги. «Кажется, и она с трудом дождалась утра, — усмехнулся он про себя. — Сейчас начнет прорабатывать... Что ж, знал, на что идешь. На попятный поздно. Теперь или сумеешь доказать, что прав, или... Нечего тебе делать в науке, ищи другое, более подходящее место!.. Вот так, товарищ Халмурадов!»

В приемной директора секретарь в ответ на его приветствие мило улыбнулась, и это несколько успокоило Шерали. Девушка кивнула на обитую черным дерматином дверь:

— Пожалуйста!

Карима-апа с утра была не в духе. Стоя у своего стола, она с недовольным видом перекладывала какие-то бумаги, что-то искала. Брови сведены на переносице, гу-

бы плотно сжаты. Она кивнула Шерали и улыбнулась краешком губ:

— Проходите, мой дорогой, садитесь. Как самочувствие?— голос директора прозвучал неожиданно ласково, может быть, потому, что Шерали подготовил себя к иному приему.

— Благодарю.

Шерали сел у узкого полированного стола, приставленного торцом к директорскому массивному письменному столу.

Она тоже опустилась в кресло.

— Вот о чем я хотела вас попросить... Нельзя ли мне взглянуть на ту тетрадь?

— Конечно, можно! Принести?

— Если вас не затруднит...

Шерали, будто на крыльях, полетел в лабораторию. Едва не сбив с ног раздевавшегося у двери Зияхана, бросился к своему столу, выдернул выдвижной ящик, чуть было не вывалив содержимое на пол. Достал из-под бумаг папку. Тесемки, вместо того, чтобы развязаться, спутались в узле. Рванул... Схватив тетрадь, псмчался обратно

Карима Музаффаровна положила тетрадь перед собой и стала осторожно переворачивать пожелтевшие страницы, осыпающиеся по краям, словно пересохшие осенние листья. Иногда рука ее, лежащая поверх страницы, замирала, затем острые коготки медленно скользили вниз, а ее полные, как спелая вишня, губы начинали шевелиться. Сосредоточенное лицо ее то светлело, будто обласканное заглянувшим в окно солнцем, то вновь омрачалось. Прошло немало долгих минут, пока она, наконец, вспомнила про Шерали. Не отрывая взгляда от вылинявших неразборчивых строк, написанных то фиолетовыми, то синими чернилами, она приподняла над столом руку и легонько махнула:

— Посидите, пожалуйста, посидите...

Время для Шерали исчезло, он и сам не знает, сколько просидел молча, то с надеждой, то с тревогой ловя малейшие изменения на лице Каримы-апы. Но вот, наконец, та откинулась на спинку кресла и, вздохнув, сказала:

— Да... ценная тетрадь. Очень интересные наблюдения... Я, право, и не знаю, как нам быть...

— Леонид Михайлович высказывает пока что гипоте-

зы. Большинство из них осталось непроверенными. Не успел... По-моему, мы могли бы это сделать...

Карима Музаффаровна, оттолкнувшись руками от подлокотников, резко встала. При этом скользнула взглядом по Шерали — словно обожгла. В ее глазах он успел прочесть: «Какой-то молокосос смеет меня учить!..» Она подошла к окну, распахнула его настежь. В кабинет ворвался пахнущий снегом воздух: Откуда-то сверху, из голы крон платана, проливалась трель оставшейся на зиму майны<sup>1</sup>.

— А вам не кажется, что Леонид Михайлович не «не успел», а попросту отказался от своих гипотез, решил, иначе говоря, не изобретать велосипеда? Не станете же вы возражать против того, что на большинство из этих вопросов ответы даны давным-давно,— сказала Карима Музаффаровна, глядя в окно.

Шерали счел, что ему не пристало сидеть, когда директор стоит, и тоже поднялся.

— Что касается велосипеда, конструкторы и по сей день ломают голову над его усовершенствованием,— улыбнулся Шерали, стараясь унять волнение.— А обследование обнаруженных в саду яиц свидетельствует о том, что...

— А мои обследования, хотите сказать, были ошибочными?—резко обернулась Карима-апа. Появившийся на щеках от морозного воздуха румянец придавал миловидность ее несколько увядшему лицу.

— Не ошибается тот, кто ничего не делает,— упавшим голосом произнес Шерали.

— Вы думаете, что говорите? Паразитологи всего мира заблуждались, а вы нет! Не слишком ли самоуверенно, молодой человек?

— У меня нет оснований не верить собственным глазам...

— Вы меня поражаете. Откуда у вас, спрашивается, такая уверенность в непогрешимости своих выводов?

— Как раз наоборот: у меня нет твердой уверенности. Именно поэтому я и хотел бы, с вашего разрешения, начать эксперименты.

Карима-апа на несколько секунд призадумалась, лицо ее сделалось сосредоточенно-строгим. Потом ее брови взлетели кверху, а губы дрогнули в улыбке:

---

<sup>1</sup> *Майна* — индийский скворец.

— Что ж, может, вы и правы. А я в свою очередь свяжусь со специалистами, которые ведут свои исследования параллельно с нами. Посмотрим, какие у них новости в этой области. Чем больше мы соберем данных, тем лучше, верно?

— Разумеется. Разрешите взять тетрадь?

— Если не возражаете, я на некоторое время оставлю ее у себя. Ознакомлюсь подробнее.

Шерали направился к двери.

— И все-таки хорошенько подумайте,— сухо бросила вслед ему Карима Музаффаровна.— Мне будет очень жаль, если потратите время свое впустую.

Шерали кивнул и вышел из кабинета.

Несколько дней Шерали был сам не свой. На сердце словно камень лежал, все валилось из рук. На работе ни с кем не заговаривал. Если кто-то обращался к нему, отвечал односложно, делая вид, что всецело погружен в работу, тогда как в голове был полнейший сумбур. Он не знал, как вести себя далее, ведь от директора института он не услышал ни твердого «да», ни решительного «нет». Приступать к эксперименту или нет?.. Казалось, сидит у него на плече дьявол и нашептывает: «Оставь, ты, парень, свою затею. Какая тебе разница, пять лет будет длиться карантин на зараженной аскаридозом местности или десять?.. Подумай лучше о себе. Глупо восстанавливать против себя столь авторитетных людей. Не сладить тебе, нет...» И бывали минуты, когда он готов был уже отказаться от своего намерения. Но это до тех пор, пока, идя по длинному институтскому коридору, не ловил на себе насмешливые взгляды некоторых коллег.

А однажды, когда Вали-ака и Дильбар ушли в буфет, к нему подошел Зияхан. Присел на краешек стола, что, видимо, надо было понять так: «Отвлескись, старик, давай потолкуем!..»

Шерали оторвался от микроскопа и, отведя назад руки, обхватил спинку стула и крепко прижался к ней ноющими лопатками, предельно развернув плечи, так, что хруст раздался.

— Ну, что?..— спросил Зияхан, поправив очки на крючковатом носе.— Не послушался меня... И видишь что получается...

— Что же?— нахмурился Шерали.

— Только между нами, старик. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь...— уменьшенные толстыми стеклами очков глаза Зияхана сверлили, словно гвоздики.— Вчера я был в гостях у Дильбар. Были еще двое профессоров, кто-то из обкома... За чаепитием разговор зашел о тебе...

— Что ты говоришь? Такой интерес к моей персоне?— губы Шерали скривила усмешка.

Зияхан сидел, болтая одной ногой.

— Все гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Каримапа недовольна тобой.

— Я знаю. Ну и что из этого?

— Занялся бы ты настоящим делом. Предыдущая работа шла у тебя довольно гладко...

— Да! Пока не подвернулась тетрадь Исаева. Не могу же я развивать свою теорию, когда факты говорят о другом...

— Во!— воскликнул Зияхан и ткнул длинным сухощавым пальцем чуть ли не в переносицу Шерали.— В кулуарах знаешь какие разговоры ведутся? Халмурадов, мол, на директора бочку катит! А если разобратся, ты ведешь огонь прежде всего по собственным позициям! Как бы ты себе не повредил...

Шерали резко вскинул голову и уставился на Зияхана. Ему вдруг показалось, что дьявол, сидевший на плече, назойливо нашептывает ему на ухо именно голосом Зияхана, и теперь, когда он обрел плоть, Шерали спихнул его с плеча и громко расхохотался.

— А ну тебя,— махнул рукой Зияхан.— С тобой нельзя говорить всерьез.

— Считай, что разговор между нами состоялся самый что ни на есть серьезный. Ты даже представить себе не можешь, насколько серьезный.

Шерали накинул поверх халата пальто и вышел.

Приемная директора института была полна солнечного света. В открытую форточку вливался свежий воздух. Секретарша поливала из графина цветы. Шерали попросил у нее лист бумаги, сел в низкое кресло у журнального столика и нервным почерком написал на имя Каримы Музаффаровны заявление, в котором просил официального разрешения заниматься дальнейшими исследованиями, используя подопытных животных, и в дальнейшем засчитать ему эту работу как основу его будущей диссертации. Поставил размашистую подпись.



Положил, прихлопнув ладонью, заявление на стол перед секретаршей и вышел вон.

Шерали заметил, что некоторые из коллег, отличавшиеся разговорчивостью и даже при мимолетных встречах во время перекуров не упускавшие случая рассказать веселый анекдот, вдруг сделались в его присутствии молчунами, пожалуй, едва ли не стали его сторониться. Кое-кто из заслуженных аксакалов теперь разговаривали с ним с подчеркнутым высокомерием. Были и такие, кто предпочитал колкости и насмешки, и Шерали не всегда находился с ответом... Неужели все они в самом деле считают, что он, Шерали, посягнул на приоритет всеми уважаемой Каримы-апы? Да пусть на него обрушатся небеса, если он уважает ее меньше, чем все они вместе взятые! Разве он не знает, как много она сделала для института?

Но ведь в институте работает и немало других солидных ученых. Неужели и они разучились быть объективными и не могут трезво оценить обстановку? Неужели и они расценили его выступление как посягательство на авторитет Каримы-апы? Но ведь речь идет о науке. А она не может существовать без того, чтобы кто-то не сомневался и принимал все как есть. Кто-то сказал: «Не сомневающийся не думает». Верно сказано. Почему же лица уважаемых ученых становятся каменными, когда на их пути попадает Шерали, и на приветствие его они отвечают сквозь зубы? Неужели прав Зияхан и некоторые другие коллеги, которые намекали на то, что сначала он должен был заручиться поддержкой тех, у кого уже есть имя в научном мире?

Спрашивается, зачем? Он же не нуждается в чихлибо благодеяниях. Стало быть, он должен за кем-то бегать в надежде завоевать симпатию, выслуживаться, чтобы получить возможность доказать свою правоту!

Если научная работа имеет цену, она не нуждается в покровительстве. Исследователь должен чувствовать себя легко и свободно, как птица. Именно, как птица! Иначе не поспеешь за быстротечным временем. А в душе у Шерали в последнее время свил гнездо страх: он почти физически осязал летящее время. Когда не занят ничем серьезным, особенно остро ощущается потеря времени. Сколько же можно ждать ответа на свое заявление?.. Может, кто-то надеется, что его надежды постепенно ис-

сохнут, как свежий побег, корень которого подтачивают черви?

Но, поверное, человеку небесполезно пройти и через такое. Лучше познаешь людей. Поистине, нет худа без добра. Именно в такой ситуации выясняется, кто тебе истинный друг. Шерали уже на личном опыте убедился, что есть люди, у которых успехи твои вызывают досаду, а неудачи доставляют радость, они чувствуют себя на седьмом небе, если чье-то доброе имя бывает опорочено, подливают масла в огонь, стараются еще более усугубить положение человека, и без того захлебывающегося в водовороте неудач, и в этом находят удовольствие.

Назло таким Шерали не сдастся! «Если мне будет отказано во всем необходимом для проведения эксперимента, я проведу его на себе, как и задумал с самого начала! В основу работы будут положены мои личные ощущения! Могут ли быть для науки сведения более ценные, чем эти?!»

Шерали вторично написал заявление. Теперь он адресовался к Ученому совету...

Через две недели Шерали пригласили в отдел медицинской гельминтологии. За круглым столом сидели трое почтенных профессоров. Встретили Шерали приветливо, каждый привстал со стула, отвечая на рукопожатие. Расспросили сначала о житье-бытье, о здоровье. Потом старший из них, постукивая пальцами о полированную поверхность стола, сказал:

— Мы тебя, братец, вот по какому поводу пригласили... Ознакомились мы с твоим заявлением. На наш взгляд, проведение подобных экспериментов в настоящее время не представляется целесообразным. Занимался бы ты спокойненько своим делом...

— А это, вы считаете, не мое дело?— усмехнулся Шерали.

— Я имею в виду... твою работу, на которую ты уже затратил столько времени, сил... Нельзя же бросать начатое дело на половине. И государственные средства надо пожалеть.

— Именно поэтому и я...— хотел было возразить Шерали, но профессор жестом руки остановил его и продолжал:

— Заранее знаю, что ты нам скажешь. Не надо. Держи это при себе. Если ты нас уважаешь и тебе безразлично наше мнение, то мы тебе его высказали.

— Конечно, не безразлично. Но, к сожалению, есть очевидные вещи, которые...

— Ну, знаешь ли!..— развел руками профессор.— Я от тебя таких слов не ожидал. Ты всегда казался мне исполнительным парнем.

Двое других, переглядываясь, качали головами.

— Профессор, мне хотелось бы попросить у вас искреннего совета. Как поступить у развилки почти умирающему от жажды путнику, если он знает, что одна тропа ведет в пустыню, а другая к источнику?

— Ого, да ты еще и поэт!.. А если путник только предполагает, что там источник, надеется на это, а на самом деле источник тот давным-давно высох?

— Нет, профессор, не высох...

— А я говорю, высох!

— И все-таки путник пойдет по той тропе, верно?

— Ну и иди, если ноги твои выдержат!— выпалил профессор и, побагровев, насупил брови.— С тобой говорят уважаемые люди, а ты ведешь себя непочтительно...

— Извините,— виновато потупился Шерали.

— Ну, ступай. И крепко подумай.

— Хорошо, профессор.

И опять несколько дней Шерали ходил, как в воду опущенный. В запущенном институтском саду цвели деревья, жужжали пчелы. Солнце пригревало землю... А его не покидало чувство, будто он потерял что-то очень дорогое. Однако на работе не подавал виду, старался, чтобы никто не заметил его угнетенного состояния. Поддерживал разговор только тогда, когда кто-то из коллег делился новостями или комментировал научные открытия, сообщения о которых поступали из различных точек земного шара. От Шерали да и от других тоже не укрылось, как изменилась в последнее время Дильбар, стала молчаливой и замкнутой. В глазах ее исчез былой задор. Разговаривая с Шерали, она отводила взгляд в сторону. А в конце дня уходила так тихо, что никто не замечал ее исчезновения.

Однажды Вали-ака обеспокоенно спросил:

— Доченька, как ты себя чувствуешь? Может, тебе нездоровится?

— Нет, нет, что вы,— смущенно улыбнулась Дильбар.— Просто я немного устала.

— Ну, так отдохнула бы,— посоветовал заведующий.— Возьми недельку без сохранения и поезжай в наш пансионат.

— Вот и я то же самое говорю!— подхватил Зияхан.

— Зову ее на воскресенье в горы, а ей все некогда: то гости из Москвы или Ленинграда, то стирка, то уборка... А в горах сейчас так хорошо! Кругом зелено, и тюльпаны цветут. Весна...

— Оставьте...—с раздражением сказала Дильбар и поморщилась.— Если вы так любите природу, ничто не должно вас останавливать.

— Позавчера я и поехал один — но лишь затем, чтобы привезти вам тюльпанов!

— Очень тронута. Благодарю.

Шерали усмехнулся про себя, вспомнив, как один аспирант, их общий знакомый, хвастался вчера в институтском холле в окружении приятелей: «Ну и погуляли мы с Зияханом! Природа, девочки, м-м-м...»— и поцеловал кончики пальцев, сложенных в щепотку.

Эти разговоры отвлекали Шерали от мрачных мыслей, но ненадолго. Прежде как-то удавалось забываться, погружаясь всецело в работу, а теперь нет. Попробуй тут забыться, если не уверен, что делаешь то, что нужно. Кто его знает что там происходит с Дильбар. Шерали и сам чувствовал себя по-настоящему больным. «Больным?.. В таком случае надо лечиться! Но от чего?» «... И крепко подумай»,— все еще звучал в ушах голос почтенного профессора. Последние дни Шерали только тем и занимается, что беспрестанно думает и думает. Но этого мало, надо действовать...

Шерали специально задержался после работы. Дождавшись, когда все ушли, позвонил в Ташкент — бывшему однокурснику, который работал ныне в Министерстве здравоохранения. Тот, к счастью, оказался дома. Не застань его Шерали, вряд ли решился бы позвонить еще раз. Товарищ внимательно выслушал и сказал:

— Знаешь, дружище, на расстоянии говорить о таких вещах трудно. Я тебя не совсем понимаю. Вопрос, на мой взгляд, серьезный, и по телефону мы его не решим. Приезжай-ка сюда. Может, мне удастся устроить тебе встречу с министром. Во всяком случае попытаюсь. Он когда-то работал с Леонидом Михайловичем Исаевым. Думаю, он тебя поймет...

Вот когда Шерали вспомнил о том, что ему положены три или четыре дня отгула — за дежурства в праздники. До сих пор он ни разу ими не пользовался. Если сложить его отгулы за несколько лет, ого, сколько наберется!..

На следующий день Шерали вылетел в Ташкент.

Министру было немногим более пятидесяти. Стройный, в ладно сидящем коричневом костюме, он встал с места, пожав Шерали руку, кивнул на стоящее напротив кресло. У него густые волнистые волосы с проседью и загорелое мужественное лицо, улыбочивые карие глаза. Однокурсник Шерали был просто влюблен в своего начальника и вчера весь вечер рассказывал о нем. Он родился в Самарканде, там и учился. После окончания медицинского института работал с Леонидом Михайловичем, вместе с ним искал защиту против страшных заболеваний, встречавшихся преимущественно в близлежащих к Самарканду районах.

Приятель предупредил Шерали — каждая минута у министра расписана, чтобы был предельно краток.

— Так,— произнес министр,— я вас слушаю.

Едва только Шерали, объясняя причину своего визита, упомянул имя Исаева, глаза министра засияли, лицо засветилось улыбкой.

— Гм... так-так, значит, говорите, эти эксперименты начал еще Исаев?.. Я хорошо знал его,— он разволновался, закурил, придвинул пачку с сигаретами к Шерали:— Пожалуйста... Да, много сил отдал Леонид Михайлович... науке. В то время... Да что и говорить, страшное было время. Кто сейчас поверит, что одна холера почти ежегодно уносила тысячи жизней. Исаев мужественно боролся и с холерой. Замечательный был человек...

Подперев щеку рукой, министр призадумался. Над забытой у края пепельницы сигаретой вился сизый дымок. Наверное, министру вспомнилось худощавое лицо его учителя, зеленоватые глаза, кустистые рыжеватые брови, широкий ясный лоб... Он был совсем еще юным пареньком, когда бродил вместе со своим учителем, «стариком Исаевым», как называли его за глаза близкие люди, по болотам, тугаям и полям, уничтожая комаров — переносчиков малярии... Кажется, совсем недавно это было, столько лет успело пробежать. Столько лет!..

— Леонида Михайловича я считаю своим наставником,— проговорил министр задумчиво.— Многому научился у него в свое время. Помню, он часто говаривал: «Науку двигает вперед неумная жажда открытий. То, что мы делаем сейчас, невозможно довести до конца одному поколению. Мы передадим эстафету тем, кто продолжит наше дело, а они в свою очередь передадут из

рук в руки своим ученикам. Благодаря этой неразрывной цепи и развивается наука...» Так он говорил. И найденная вами тетрадь — одно из звеньев этой цепи. То, что вы решили завершить начатую Леонидом Михайловичем работу, — это очень похвально. И благородно. Однако, прежде чем сказать вам что-либо определенное, мне необходимо посоветоваться со специалистами, — он взял из прибора шариковую ручку, быстро набросал что-то на обратной стороне откидного календаря. — Какое это будет иметь, на ваш взгляд, практическое значение?

— В нашей республике, как вы только что упомянули, начисто ликвидированы холера, оспа, малярия. И прежде всего потому, что удалось разгадать клинику этих страшных заболеваний. Аскаридозом же в отдельных районах нашей области и ныне болеют сплошь и рядом. Районы преимущественно скотоводческие. Выходит, болезнь эта упрятала свои секреты гораздо глубже. И тут, мне кажется, Леонид Михайлович прав: если на зараженных лугах, пастбищах продлить карантин лет до десяти, запретить там выпас скота, который, по сути, и является посредником между...

— И тогда мы полностью избавимся от этой заразы? Шерали кивнул.

— И вы, конечно, хотите подтвердить свое предположение опытами. Так я вас понял? — министр выпрямился и положил ладони на край стола, давая понять, что разговор окончен.

Шерали кивнул и поднялся.

— О нашем решении мы вас известим. Всего добро-го, — министр встал и пожал Шерали на прощанье руку...

Билет у Шерали был на вечерний рейс. До вылета самолета оставалось еще добрых три часа. Чтобы застраховать себя от каких-либо неожиданностей, он приехал с приятелем в аэропорт заранее. Остаток времени решили провести в ресторане. Есть не хотелось. Взяли фруктов и по рюмке коньяку. Приятель в шутливой форме пожурил Шерали за то, что он до сих пор ходит в холостяках.

— Дела делами, но и о личной жизни подумать надо. Не юноша уже, — сказал приятель, с хрустом откусывая яблоко.

— То одно, то другое... Некогда... — грустно улыбнулся Шерали.

— Все откладываешь на потом? Сначала хочется с

«главными делами» покончить, верно? Вот-вот, я и сам таким был — пока не окрутила меня моя благоверная! А теперь нисколько не жалею!.. Видал, какие у меня дети? Вот это и есть в жизни главное, запомни! — погрозил приятель пальцем. — И не заметишь, как облысеешь, растолстеешь, кто тогда за тебя пойдет, ну?..

— Вот закончу эту работу, тогда и... — Шерали рассмеялся. — Займусь поисками невесты!

— Похоже, на эту работу у тебя уйдет не один год.

Шерали сразу сделался серьезным, задумался.

— Если идти традиционным путем, то да, — сказал он, медленно вращая в руке хрустальную рюмку и следя за преломлением света в ней. — Однако все это можно значительно ускорить.

— Это как же?

— Экспериментировать... гм... на себе.

Перестав жевать яблоко, приятель несколько секунд не сводил с него взгляда, потом развел руками:

— Шутишь?

— Нет, нисколько. Мне только нужно, чтобы потом описанный мною материал я мог положить в основу кандидатской диссертации. За тем сюда и приехал...

— Ну и ну!.. — покачал головой приятель. — История медицины, конечно, знает немало таких примеров. Вспомнить хотя бы случай с онкологом Никитиным. Года три назад о нем писалось в газетах. Выясняя причину неожиданно появившихся болей в желудке, он обнаружил, что у него рак. Если бы сразу приступили к лечению, может, его и спасли бы. Но в Никитине возобладал дух исследователя. Вместо того, чтобы срочно принимать меры, он стал наблюдать течение болезни, скрупулезно фиксируя все изменения в организме. Таким образом ему удалось сделать немало новых открытий.

— Мой эксперимент гораздо менее опасен, — сказал Шерали.

Перед глазами Шерали вдруг возник лежащий на белых простынях исхудавший, желтый, как шафран, человек. Напрасно суетятся вокруг него ученики-медики, уже не в силах чем-либо помочь. Они измучены бессонницей, у них на лицах тревога, в глазах слезы. А потрескавшиеся губы профессора тронула еле приметная улыбка и с них слетает тихий, как дыхание, шепот: «Ну, что вы раскисли, как кисейные барышни? Берите-ка ручки и пишите! По прошествии семи дней появились новые симптомы. Первое...»

— Как бы ни было, за твои успехи!— приятель придвинул к нему рюмку. Закусывая яблоком, приятель с горечью заметил:— Знаешь, я тоже когда-то вознамерился защитить кандидатскую. Но не вышел из меня ученый. И слава богу. Согласись, в огромном мире науки настоящих ученых раз-два и обчелся! Так что, может, ты и прав, что собираешься последовать поговорке: «Наука требует жертв»,— и он, смеясь, хлопнул Шерали по плечу.— Имена истинных ученых остаются в истории!

Шерали хотел было возразить, сказав, что он абсолютно лишен тщеславия, но в это время объявили посадку на самолет.

Предполагали ли когда-нибудь Авиценна, Бируни или Омар Хайям, что из Таша, как в былые времена назывался Ташкент, в Самарканд можно будет попасть менее, чем за час? Вряд ли. Наверное, и нашему современнику, каким бы богатым воображением он ни обладал, трудно представить себе, какой будет жизнь на земле лет этак через сто-двести. Если, конечно, не будет войны.

Самолет накренился, описывая полукруг. За иллюминаторами в мутной синеве сумерек засверкали россыпи огней. Шерали прижался лбом к холодному стеклу, вглядываясь в ночной город, пытаюсь разглядеть высвеченные разноцветными лучами прожекторов старинные постройки Регистана, Биби-Ханым, различить знакомые улицы, но самолет плавно качнул крыльями и стал заходить на посадочную полосу. Через несколько минут шасси мягко коснулись бетона, взвыли моторы, гася скорость. И огромный лайнер, словно обыкновенный автобус, медленно подрулил к зданию аэропорта и замер. Пассажиры засуетились, готовясь к выходу.

У стоянки такси выстроилась длинная очередь. Машин было мало. Люди спорили, ссорились. Чтобы добраться домой, Шерали потребовалось больше времени, чем на полет. И уже не в первый раз ему подумалось, какое приятное чувство испытывают, наверное, те, кого дома кто-нибудь ждет. Возвращаясь издалека, они предпочитают не пользоваться ключом, а звонят в дверь, жадно прислушиваясь к звуку торопливых шагов в прихожей. А затем объятья, поцелуи... «Что-то я сегодня сентиментален»,— усмехнулся Шерали, отпирая дверь своей квартиры.



После полета — а может, застолья — слегка шумело в голове. Он заварил полный фарфоровый чайник зеленого чаю, осушил до дна и лег спать. Однако перед глазами мелькали эпизод за эпизодом, встречи, разговоры двух предыдущих дней. Даст ли ему что-нибудь эта поездка?.. Сердце не покидала тревога, словно он был накануне каких-то важных событий. Так он и не сомкнул глаз до самого рассвета. Нет, чтобы избавиться от угнетающих душу тревожных мыслей, надо поскорее чем-то заняться! Он вскочил с постели, принял холодный душ и, не позавтракав, отправился на работу.

Еще не повисли над городом пыль и дрожащее марево выхлопных газов, воздух был настолько прозрачен, что приблизил, как увеличительное стекло, горы, обступающие город полукружьем с юго-востока, ясно различались скалы, ущелья, заполнивший лощины снег, который застревал среди каменных складок до конца лета. Несмотря на ранний час, улицы были уже полны людей. Одни спешили с корзинами и мешками на базар, другие на работу. На остановках толпы. Автобусы грузно трогались с места, накренысь на один бок. Шерали пропустил два автобуса, прежде чем ему удалось поставить ногу на подножку и ухватиться одной рукой за поручень...

В проходной Шерали взял у заспанного вахтера ключ от лаборатории.

Во дворе института было тихо и безлюдно. Пряно пахли распусившие молодые клейкие листочки липы, тополя, простирающие свои зазеленевшие кроны над асфальтированной дорожкой, сплошь усыпанной золотыми монетками солнца. От главной аллеи убегала влево дорожка, ведущая к приземистому, похожему на барак зданию с отставшей на фасаде во многих местах штукатуркой. Шерали любил это непритязательное строенье, как свой дом. Тут он работал.

Отперев дверь, вошел.

Стены, потолок, столы — все было выкрашено в белый цвет, и другой цвет казался здесь неуместным. Пахло лекарствами и спиртом. Справа, в углу, за стеклом на полках, стояли различных размеров колбы и трубочки в специальных подставках. С вешалки свисали резиновые перчатки и шланг. На широкой тумбочке — четыре микроскопа и несколько луп. В простенке между окнами шкаф с книгами по паразитологии и гельминтологии. На стенах висят цветные схемы, фотографии увели-

ченных в тысячи раз паразитов, вызывающих различные заболевания... Трудно поверить, что отсюда, из этого тесного и полусумеречного невзрачного помещения, начинался путь в науку для многих ученых. И все они неизменно возвращались сюда. Исследовать, проводить анализы, изучать биологию собранных в тугаях, болотах, безлюдных оврагах, глубинах колодцев и рек микробов. Именно здесь им удалось разобраться во многих запутанных вопросах.

Солнце било в окна в упор, и в помещении стояла духота. Шерали пооткрывал все форточки. Надел халат и принялся за дело. Из стоявшего в углу массивного шкафа принес целлофановый мешочек с землей, положил на стол. Хромированной пластинкой зачерпнул из него щепотку грунта и насыпал под линзу микроскопа. Припав глазом к окуляру, стал наводить резкость...

Ему пришлось несколько раз поменять грунт, прежде чем он снова нашел то, что искал.

Скрипнула дверь. Появился Зияхан.

— Ого! Ты уже здесь? С приездом!

«Надо же, уже знает! Разве, уезжая, я обмолвился кому-нибудь хоть словом?.. Чудеса да и только».

— Благодарю.

Зияхан подошел и энергично тряхнул его ладонь.

— Ну и как?— спросил он, улыбаясь.

— Что «как»?— пожал плечами Шерали.

— Не притворяйся! Что тебе сказали в министерстве?

Шерали слегка растерялся.

— Послушай, откуда ты обо всем узнаешь?

Зияхан хохотнул.

— Земля слухами полнится!

— И все-таки?

— Лично мне сказала Дильбар,— признался Зияхан.— Вчера мы с ней навестили своих друзей. Они врачи. Откуда-то они о тебе слышали. Стали расспрашивать. Дильбар и сказала, что ты поехал в министерство жаловаться.

— Жаловаться? Так и сказала?

— Ну, что-то вроде этого... Что же тебе сказали, если не секрет?

— Не секрет. Ничего определенного. Пообещали помочь... если сочтут нужным. А пока придется набраться терпения и ждать.

— Терпи, терпи,— усмехнулся Зияхан.— Говорят, у терпения золотое дно.

— Хорошо бы.

— Но там-то сидят люди объективные, у тебя, слава богу, не будет оснований обвинять их в предвзятости.

— Хочешь взглянуть?— спросил Шерали, протерев байковой тряпицей окуляр микроскопа и все еще ломая голову, откуда же Дильбар стало обо всем известно.

— На твое драгоценное сокровище? Конечно!

— Прощу.

Не успел Зияхан наклониться над прибором, как резко распахнулась дверь. Вошла Карима Музаффаровна, за ней ее заместитель Саттар Мукимович и Дильбар. Девушка кивнула Шерали и направилась к своему месту, почему-то даже не взглянув в сторону Зияхана, вопреки своему обыкновению каждое утро одаривать его милой улыбкой.

Карима Музаффаровна приблизилась к Шерали.

— С возвращением,— сухо сказала она.— Полагаю, свои отгулы вы употребили с пользой?

— Совершенно верно,— кивнул Шерали.

— В добром ли здравии министр?

Шерали молчал, думая о том, что в министерстве, конечно же, у нее полно своих людей. Видимо, кто-то из них не преминул позвонить ей тотчас же, как только увидел ее сотрудника.

— Вы по-прежнему настаиваете, что обнаруженные вами яйца аскарид живые?— спросила Карима-апа, не сводя с Шерали строгого взгляда.

— Можете убедиться сами,— Шерали отступил в сторону, показав на микроскоп.

Карима Музаффаровна шагнула к столу и склонилась над окуляром.

Яйца аскарид не отличить от обыкновенных пылинок. Еще до защиты кандидатской диссертации она подолгу наблюдала за ними, не ленилась, не жалея времени, упорно изучая проблему живучести их в организме большого. Но впоследствии, начав руководить крупным научно-исследовательским институтом, отстранилась от лабораторных исследований и, с головой уйдя в административные хлопоты, в какой-то степени оторвалась от научной жизни. Однако большинство доцентов и профессоров, публикуя свои работы, считали неременным долгом поставить под статьей и ее фамилию, выказывая тем самым свое почтение к ней. А с другой стороны, имя Каримы Музаффаровны, поставленное под статьей, словно обладая магическими свойствами, зажигало зеленый

свет на пути к ее изданию. Карима-апа всегда находила время присутствовать на Ученых советах, в ее власти было кого-то покритиковать, а кого-то возвести на пьедестал. Она, как руководитель, всегда была на виду: время от времени выступала с докладами на конференциях. А если соглашалась выступить в качестве оппонента на чьей-нибудь защите, то будущий кандидат чувствовал себя на седьмом небе от счастья... В общем у нее не было причин быть недовольной своей жизнью, весьма благополучной, хотя, может, и несколько однообразной... Лишь иногда ей становилось грустно — когда она задумывалась о своей докторской диссертации, которую никак не могла завершить. В эти недолгие часы — чаще всего по ночам, во время бессонницы — весь мир казался ей погруженным во мрак. Но она гнала прочь мрачные мысли, относя их за счет хандры, стараясь убедить себя, что она уже добилась своего, о чем только может мечтать современная женщина. И все-таки тщеславие не давало ей покоя, и порой она с удовольствием мечтала о том, что когда-нибудь в ее жизни наступит тот самый «звездный час», когда она потрясет мир своим сенсационным открытием. И в то же время, все чаще она ловила себя на мысли, что постепенно забывает некоторые аспекты даже тех проблем, которыми занималась длительное время. И это, естественно, не могло не тревожить Кариму-апу. Вот и сейчас ей никак не удавалось среди тысяч во много раз увеличенных крупниц разглядеть то, что хотела. И в ней постепенно начала закипать досада. Заныла спина, в ногах появилась слабость. А ведь еще совсем, кажется, недавно она могла часами простаивать над микроскопом. Да, хочешь не хочешь, а годы дают себя знать. Она резко придвинула к себе стул и села. Облокотясь о стол, снова приникла к окуляру.

Заместитель сразу заметил, что Карима-апа раздражена, и забеспокоился. Ему хорошо было знакомо свойство этой женщины взрываться, если что-то было не по ней. Он мысленно проклинал своевольного аспиранта, которому неймется, из-за которого у директора столько хлопот. Гора свалилась с его плеч, когда Карима-апа, наконец, выпрямилась, усталым взглядом обвела присутствующих и сказала:

— Да, живые. Представьте себе, живые...

В помещении воцарилась тишина. Никто не решался первым подать голос, не зная, как реагировать на эти слова. Саттар Мукуминович и Зияхан обеспокоенно пере-

глянулись и молчали, будто уста им запечатали воском.

Дильбар стояла, чуть привалившись к своему столу и скрестив ноги. Встретившись взглядом с Шерали, улыбнулась. В белом халате и кокетливо сдвинутой набок медицинской шапочке она была очень привлекательна. Она вынула руки из карманов, тонкие пальцы nervно расстегивали и застегивали пуговицы на халате.

— Наверное, можно приступить к экспериментам на животных?— сказала она.

— Если наш исследователь не изобретет более действенного способа,— подал голос Зияхан и хмыкнул.

Карима Музаффаровна бросила на него быстрый взгляд, но промолчала. Лишь едва заметно нахмурилась, потирая кончиками пальцев висок. Каждый понимал: от того, что она сейчас скажет, многое будет зависеть в дальнейшем.

— У нас лишь один испытанный способ,— быстро проговорила она.— Подберите экземпляры для опытов!— порывисто встала и направилась к выходу.

Саттар Мукимович засеменил за нею.

Дильбар, глядя исподлобья на Шерали, улыбнулась.

— Поздравляю,— сказала она.

— Благодарю. Но, по-моему, поздравлять еще рано.

Дильбар, проходя мимо Зияхана, провела по его щеке ладонью и, простучав каблучками, выбежала из лаборатории.

Что означал этот ее жест? Просьбу не серчать на нее за какой-то проступок?

Зияхан усмехнулся, провожая Дильбар взглядом, и, как только дверь за нею закрылась, тихо произнес:

— А золотое дно вроде бы начинает проглядывать, а?.. Молодец, Дильбар! Недаром говорят: сказанное вовремя слово — золото! Вот и решились все твои проблемы.

— Если бы так,— Шерали вздохнул.

— То есть?.. Тебе же сказали, что можешь приступить к своим экспериментам! Что еще надо?

— Я думаю о том самом «более действенном способе», о котором ты не можешь говорить без иронии.

— Нет, по-моему, ты окончательно спятил!— хлопнул себя по бокам Зияхан.

— Спятил, так спятил! По-твоему, спятили в свое время и Коино, проведший подобный эксперимент в 1922 году, и Фогель, и Минних, двадцать лет спустя про-

делавшие то же самое. К сожалению, они не провели анализа крови и обошлись без рентгена легких...

— Но этот пробел ликвидировал Мустафа в Саудовской Аравии!— с горячностью возразил Зияхан.— Им подробно описаны вспышки сезонных заболеваний органов дыхания аскаридозной этиологии с характерными рентгенологическими и гематологическими проявлениями...

— Но никем из них не были использованы для эксперимента яйца, пролежавшие в земле столь длительное время, и которые, по сути, считались безопасными. Кто знает, а вдруг мы избавим человечество еще от одной болезни? Из-за этого стоит рискнуть.

— По-моему, ты ставишь на кон собственное здоровье, еще не зная, что в банке. Не забывай: здоровье не купишь ни за какие деньги.

— Ты прав, нет ничего на свете дороже здоровья. Но ведь мы как раз относимся к той категории людей, которые обязаны думать не только о себе...

— «О человечестве»— хочешь сказать? Что-то часто ты стал употреблять это слово. А это не очень хороший признак. Попахивает манией величия.

— Можешь расценивать это как угодно. Мне просто нужна абсолютная точность. Только в этом случае мы сможем ставить в дальнейшем безошибочные диагнозы.

— Диагнозы в будущем будут ставить ЭВМ.

— Ими все равно должны управлять люди.

— Ах, оставь. Врач очень скоро превратится в простого наблюдателя. Он будет руководствоваться указаниями электронных машин. Теперь уже нет необходимости в проведении столь умопрачительных экспериментов, как это, скажем, было несколько десятилетий назад.

— Но ведь машину не заставишь прочувствовать человеческую боль?

— А зачем? Задача машины не чувствовать, а определять. И благодаря этому врач сможет снимать любую боль...

— Ты сказал «любую». Значит, она бывает разная. И нужно уметь ее распознавать. И кроме того... тот, кто не умеет чувствовать, тот не может и сочувствовать. Горе пациенту, который попадет к такому врачу, лишенному этой способности...

Зияхан промолчал. Снял очки, протер стекла полой

халата и снова надея. Вынул из ящика стола справочник и стал в нем что-то искать.

— Единственная просьба к тебе, дружище,— сказал Шерали.— О нашем разговоре пока никому.

Уткнувшись в книгу, Зияхан кивнул: дескать, будь спокоен.

Шерали подсел к столу и, прикинув к микроскопу, тонкой иглой стал отделять мешающие ему частички пыли. Игла казалась целой оглоблей; а пылинки валунами. «Сколько полезного мог бы сделать для людей Ибн Сина, если бы в его время были такие приборы,— подумал Шерали.— И все-таки, объясняя причину некоторых заболеваний, он еще тогда высказывал предположение, что в организм человека каким-то путем попадают не видимые глазу «живые существа».

За спиной послышался голос Зияхана:

— Я на кафедре. Если кто позвонит, скажи, пожалуйста, что буду через часок.

Шерали кивнул.

Взявшись за ручку двери, Зияхан снова обернулся и назидательно проговорил:

— И все-таки не прогадаешь, если прибегнешь к давно испытанному способу.

Шерали не ответил. Скрипнула и закрылась дверь.

Шерали откинулся на спинку стула и несколько минут сидел неподвижно, закрыв глаза и массируя двумя пальцами переносицу.

«Рано или поздно все равно кто-то должен будет провести такой эксперимент... Само время и обстоятельства подводят к тому, что среди исследователей непременно отыскивается некто, кто берет на себя смелость рискнуть собственным здоровьем. Тогда почему не я?.. Только бы скорее пришел из министерства ответ. Кариме Музаффаровне, скорее всего, оттуда уже позвонили. Иначе как объяснишь ее сегодняшний визит. Нужна официальная бумага... А время-то идет! Может, прямо сейчас и начать подготовку к эксперименту?— Шерали порывисто встал, едва не опрокинув стул, взглянул на ручные часы.— Так. Сейчас перво-наперво сделать общий анализ крови. Потом рентгенограмму грудной клетки...»

Прошло несколько дней. А из министерства ни ответа, ни привета. Может, письмо поступило на имя директора, а она не считает нужным поставить его в извест-

ность? Он несколько раз справлялся у секретаря, на что та в первый раз ответила, что Карима Музаффаровна каждый день получает груды писем из различных министерств; во второй раз в голосе секретаря послышалось раздражение: «Почему я должна вам об этом докладывать?»; в третий раз девушка и вовсе рассердилась. «Не будьте назойливым! Карима-апа сама скажет вам, если будет нужно!» — отрезала она, подпиливая ноготки.

А Шерали с каждым днем чувствовал, как покидает его решимость. Такое с ним бывало в детстве. Когда они купались в озере центрального парка, мальчишки соревновались, кто нырнет с самой высокой ветки дерева. И стоило, вскарабкавшись на верхотуру, заколебаться пораздумывать минуту-другую, как приходилось с позором, под насмешливые выкрики и смех мальчишек спускаться на ветку пониже. Лучше было нырять сразу...

Вот и сейчас так: все чаще вспоминаются предостерегающие слова Зияхана. И Шерали начинал думать, что коллега его не так уж и неправ... Если это будет тянуться и дальше, то Шерали придется преодолевать еще и свои сомнения. Больше нельзя терять ни дня.

В час дня все шли в буфет обедать. Обычно первой спохватывалась Дильбар. Вымыв руки, бежала занимать на всех очередь. Шерали сегодня решил задержаться.

— А вы не идете? — спросил, уходя, Вали-ака.

— Мне надо кое-что закончить, — сказал Шерали.

Оставшись один, он около часа просидел у микроскопа, не разгибая спины. Затем соскреб из-под окуляра сероватый порошок грунта в две стерильные пробирки. Содержимое каждой пробирки ссыпал в два разных стакана с водой и тщательно размешал стеклянной палочкой.

— Неужто хотите это выпить? — услышал он голос стоявшей рядом Дильбар.

Шерали так увлекся, что не заметил, когда она пришла. Может, давно уже наблюдает за ним.

Девушка взяла один из стаканов и стала разглядывать на свет.

А Шерали чувствовал, как сердце его колотится все сильнее и сильнее...

Девушка повернулась к нему и свободной рукой поправила спадающую на лоб прядь волос, глаза ее озорно блеснули.

— А что, если, как это случается в романтических историях, нам выпить это вместе?



— Героев романтических историй чаще всего вынуждали прибегнуть к этому отчаянье, несчастная любовь... А у вас в этом смысле, кажется, все в порядке,— улыбнулся Шерали, немножко досадуя на нее за то, что вернулась раньше времени.

На лицо Дильбар набежала тень, брови сошлись на переносице, она обиженно поджала губы и сразу стала удивительно похожа на мать. Она со стуком опустила стакан на стол и тут же подняла вновь.

— Вы не совсем правы,— произнесла она, рассеянно глядя в сторону, но тут же перевела глаза на Шерали и улыбнулась:— А если во имя науки? Как вы?

— А не страшно?

— Вам же не страшно.

— Страшно,— признался он.

— Зачем же вы тогда?..— медленно спросила она, и голос ее почему-то задрожал.

— Мужчина обязан преодолевать страх.

Она подняла стакан повыше, ее пальцы, сжимавшие стекло, побелели.

— А хотите, докажу, что я не из трусливого десятка?

Шерали медленно встал, крепко взял ее за запястье и отобрал стакан. Часть влаги пролилась на пол.

— Вам не к лицу эти фокусы, Дильбар.

Ошеломленная бесцеремонностью Шерали, девушка попятилась и остановилась у своего стола. Она не сводила глаз с Шерали, фиксируя каждый его жест. В этот момент погас льющийся в окно яркий поток света: солнце, видимо, зашло за облако. Наступившая в комнате тишина, словно мельничный жернов, давила на плечи Шерали. Он отвернулся от девушки, стараясь не думать, что тут еще кто-то есть, и взял стакан. К горлу подступила тошнота. Почему-то вспомнилось трудное детство... Мутная вода в стакане плескалась мелкой зыбью — ага, дрожит рука. Выходит, боюсь. Боюсь!.. Эти паразиты станут во мне жить, размножаться, проникнут в печень, легкие... Зачем мне это? Никто ведь не заставляет. Наоборот!.. Тьфу, ну и что я за человек? Сперва решил, а теперь на попятный? Дрожу, как последний трус, и лоб покрылся испариной. Возьми же себя в руки! Дильбар смотрит. Глаз не сводит. И что уставилась?.. А в ухо словно кто-то нашептывает: «Не пей! Яд! Яд!..» Горло сдавили спазмы. Переводя дыхание, Шерали приподнял стакан на уровень глаз, разглядывая дрожащую в нем мутную влагу. Что это со мной? Нервы напряжены,

как натянутые струны, которые вот-вот лопнут. Неужели я такой трус? Да, именно трус! И не последователен... Начинаю одно дело, не завершив, бросаю, хватаюсь за другое, а потом и это довести до конца не хватает духу. Одним словом, недотепа, эх-х!.. — он, зажмурив глаза, поднес стакан к губам. Рот наполнился приторно-пресной водой, ледяной холод заполнил пищевод, распространился по всему телу... Вдруг он увидел улицы родного города. Все разом. Улицы, по которым ходил в детстве, падал, расшибая коленки; мать ставила на ноги, отряхивала на нем одежду. Тут каждый кирпич на тротуарах, каждая бороздка на коре старых деревьев были знакомы ему до боли... Сверкают на солнце в ореоле восхитительных красок древние медресе, гробницы. А он парит над городом и видит все это с высоты птичьего полета. И торопливо снующих по тротуарам людей в ярких одеждах, и бегущие по улицам, как разноцветные букашки, автомобили... В небе мельтешат белые голуби... На клумбах, похожих с высоты на ковер с причудливыми узорами, благоухают цветы. У фонтанов с серебристыми каскадами воды резвится звонкоголосая ребятня. Ах, как это здорово — парить! К сожалению, на такой высоте нельзя удержаться долго. Он устал, и крылья его вдруг лишились сил. И он камнем полетел вниз... Очнулся, открыл глаза и понял, что сидит на стуле, сжимая онемевшими пальцами пустой стакан...

\* \* \*

— Что с вами, Шерали-ака? Устали?

Голос доносится сверху, будто падает с ослепительно белых облаков, плывущих по ясно-голубому небу. К ним убегают, постепенно сужаясь, ступени. Желтая кирпичная стена слева, стена справа. Куда легче было бы сейчас повернуть назад и начать спускаться.

— Сейчас, Дильбар, сейчас.

«Тридцать три... Тридцать четыре...»

Дильбар медленно шла навстречу. В глазах недоумение, растерянность. Заметила, как ему плохо? Нехорошо, если заметила. Он же изо всех сил старается улыбаться. Мужчина не смеет выглядеть перед женщиной слабым. Но что поделаешь, сегодня, кажется, это ему не удастся. Дильбар остановилась, затем спустилась еще на три-четыре ступеньки ниже.

— Дайте руку.

Он повиновался.

— Благодарю.

«Тридцать пять... Тридцать шесть...»

— Наверное, вам следовало подождать нас внизу.

— Ничего. Я давно тут не был,— он остановился, переводя дух, и ухватился рукой за стену.

А вот и Галя. Он сначала увидел ее модные туфельки, обтянутые джинсами ноги и поднял голову.

— Извините, побеспокоили вас,— голос ее звучит виновато.— И от работы оторвали. Дописывали бы сейчас свою диссертацию...

«Работа... диссертация...— усмехнулся Шерали, чувствуя, как кто-то невидимый жесткими и холодными, как лед, пальцами сжимает ему горло; массируя шею, с трудом сделал глубокий вдох.— Работы, разумеется, хоть отбавляй. Но я ничего не делаю. Не знаю, за что браться. Только прислушиваюсь к самому себе, к тому, что творится во мне».

Шерали сел на ступеньку.

— Знаете, Галя... Диссертация, над которой я работал несколько лет, меня уже несколько не интересуется,— сказал он.

Галя удивленно округлила глаза.

— Да, это действительно так. Потому и работал столько лет, что работать, собственно, было не над чем. Может, иногда и можно кого-то обмануть, но зедь себя-то — невозможно. Диссертация — это научная работа. А научной работа может считаться только в том случае, если она хоть вот столько содержит чего-то нового,— Шерали показал кончик ногтя.— Такая работа может по-настоящему увлечь, превратиться в смысл жизни. То, над чем я корпел столько лет, не отвечает этим критериям. Я бы мог в лучшем случае просто подтвердить «открытия», сделанные задолго до меня.

— Да ладно вам,— Дильбар нахмурила брови и отвернулась, делая вид, что разглядывает сияющие на солнце купола.— Смотрите,— сказала она, пытаясь перевести разговор на другое:— В каждом куполе по солнцу, будто у каждой гробницы — свое небо. Недаром Тимурленг, увидев отстроенный по его повелению Гур-Эмир, восхищенно воскликнул: «Если небо обрушится на землю, то купол Гур-Эмира заменит его!»

Однако Шерали, задумавшись, кажется, не слышал ее слов.

— Я решил начисто забыть все, чем занимался до

этого,—произнес он и поднял глаза на Галю:—Хочу делать то, что действительно принесет какую-то пользу. Может, и вы считаете меня неправым?

— Ну, что вы,— улыбнулась девушка.— Если бы я думала иначе, то давно бы сама защитилась. Мой папа член ВАКа. Не хочу спешить.

— А спешить надо, ох как надо. Жизнь так коротка. Ведь столько времени уходит на одни лишь поиски главного...

Конечно, проще живется тем, кто не делает различия между главным и второстепенным, а только думает, как бы не упустить случая извлечь для себя выгоду. Про таких у узбеков говорят: подставит плечо под легкое, а тяжести пусть другим достаются. Но «даром» этим, увы, Шерали не обладал, напротив, в нем все восставало против подобных приспособленцев, которых было не так уж мало среди его знакомых. Им-то более всего и казалось странным поведение коллеги, отказавшегося от почти готовой диссертации и занявшегося черт-те чем.

И Вали-ака, как назло, болеет. Два дня работает, неделю на больничном. Вся лаборатория легла на плечи Шерали. Работы было невпроворот, то и дело поступали новые и новые задания. Анализы, обследования...

Зияхан целыми днями не появляется на работе. Никто не знает, где он пропадает, чем занимается. Даже Дильбар. А может, она слукавила, когда Шерали как-то спросил у нее:

— Где же это наш Зияхан, а, Дильбархон?

— Я пажем к нему не приставлена! Откуда мне знать?..— резко ответила она.

Шерали даже смутился.

Глядя на Дильбархон, сделавшуюся в последнее время замкнутой, молчаливой, можно было подумать, что между нею и Зияханом кошка пробежала. Но под вечер появлялся Зияхан и тотчас развеивал эти впечатления.

— Салют!— приветствовал он с порога Шерали. Вешая пальто на вешалку и упреждая его вопросы, объявлял:— Я по поручению директора проверял работу городской эпидстанции! А как тут вы?.. Вид у вас, как у сонных мух! Эх, где, спрашивается, справедливость? Одни в поте лица вкальвают, а другие сидят себе, стулья протирают!..— Сцепив пальцы и похрустывая ими, он направлялся к своему столу и мимоходом бросал Дильбар:— Здравствуй, радость моя! Карима Музаффаровна

просила напомнить тебе, что сегодня вы приглашены на день рождения к дяде.

Дильбар кивала, не оборачиваясь.

А чаще и вовсе ничего не говорила. Слово было так заята, что не могла отвлечься даже на секунду. Хотя незадолго до этого весело разговаривала с Шерали, смеялась, припоминая какие-нибудь веселые истории.

В эти трудные дни Дильбар стала для Шерали единственной опорой. Она день-деньской проводила в лаборатории, работала с ним наравне, и они не замечали, как проходит день и наступает вечер.

Как-то позвонила по внутреннему телефону секретарь, сказала Шерали, что его срочно вызывает Карима-апа.

Карима Музаффаровна кивнула ему на стул и какое-то время изучающе разглядывала его, прежде чем спросить:

— Говорят, вам даже пообедать некогда? Что, так много работы?

— Вы же знаете, у нас работы всегда хватает,— ответил Шерали неопределенно, думая о том, зачем все-таки его вызвали.

— Надо себя и пожалеть,— посочувствовала Карима Музаффаровна.— Хоть изредка выходить из лаборатории, подышать свежим воздухом. А то вон... зеленый совсем.

— Работы действительно много.

— Работа никогда не кончается. Взяли бы да съездили в Агалык. Горный воздух — что бальзам. В тамошнюю больницу в течение четырех последних дней поступило несколько больных с желудочно-кишечными расстройствами. Узнайте, насколько это серьезно. И установите, если удастся, причину.

— Карима Музаффаровна, в нашей лаборатории сейчас...— он принялся объяснять, что в настоящее время ему никак нельзя бросать лабораторию, но директор перебила его:

— Отвлечетесь немного. Это вам будет только на пользу...

В Агалыке Шерали управился за четыре дня...

К сожалению, поручение это оказалось не последним. Что ни день, ему приходилось куда-то уходить, куда-то уезжать, и всякий раз извиняться перед Дильбар и Зияханом, которым, конечно же, было не просто управлять-

ся без него. Хорошо еще, Зияхан в последнее время стал исключительно дисциплинированным. На работу приходил вовремя. И даже в конце дня, возвратясь с задания, Шерали нередко заставлял его в лаборатории. Наверное, понимал, что Дильбар одной пришлось бы совсем туго.

Однажды в конце рабочего дня Шерали буквально столкнулся с ними на пороге.

— Шерали-ака,— сказала Дильбар.— Пошли с нами в кино.

Зияхан нетерпеливо переминялся с ноги на ногу.

— Благодарю вас, Дильбархон. В другое время с удовольствием бы. А сейчас надо закончить то, что не успел днем.

— Ну, я прошу вас...— в голосе девушки было нечто такое, что Шерали стоило немалых усилий отказаться.— Надо же иногда и развлечься,— настаивала Дильбар.

— Дильбархон, мы опаздываем,— сказал недовольным голосом Зияхан, глянув на часы.

Дильбар подошла к Зияхану и демонстративно взяла его под руку. При этом он скользнул по Шерали острым, как бритва, взглядом и злорадно ухмыльнулся. Впрочем, может, Шерали это только показалось. Он замечал, что стал в последнее время раздражительным, подозревал некоторых сослуживцев в недоброжелательстве на том лишь основании, что, разговаривая с ним, они смотрели на него не так, как прежде, а как-то иначе, в каких-то словах он усматривал двойкий смысл, которого, быть может, и не было. «Нет, ты явно не в себе. Ты должен взять себя в руки!..»—подумал Шерали, вынув из ящика стола стопку бланков и раскладывая приборы.

Теперь, чтобы успевать делать свою основную работу, Шерали приходилось каждый день задерживаться на час-два, а утром приходиться пораньше.

Солнечный свет, с трудом просачиваясь сквозь белесую облачность, рассеивался по земле. Институтский двор был еще безлюден, и тишину в нем нарушали еле слышный шорох моросящего дождя и посвист индийского скворца, выглядывающего из дупла старой чинары. Шерали, войдя в лабораторию, включил свет. И тут же почти вслед за ним дверь открыл Зияхан, немало удивив Шерали своим столь ранним появлением. Пробурчав слова приветствия, он переоделся и напрямик направился к своему столу.

— Ну, как вчерашний фильм?— спросил Шерали,

рассматривая на свет лдямоугольные стеклышки с мутными пятнами.

— Отличный! Словно взяли кусок жизни и перенесли на экран: пожалуйста, смотрите и думайте! Думайте о том, что не всякий, кто представляется другом, на самом деле вам друг. О том, что коллега, с которым проработал не один год, тайно готовит тебе козни. И все лишь из-за того, что ему нравится та же девушка, что и тебе.

— Таких случаев сколько угодно,— усмехнулся Шерали.

— К сожалению,— вздохнул Зияхан.— Знаешь, смотрел я фильм и думал о тебе.

— С чего это вдруг?— искренне удивился Шерали и обернулся.— Чем же я этому обязан?

— Думаешь, не понимаю, почему ты отказался вчера пойти с нами в кино?

— Зато я тебя что-то не понимаю. Кажется, ты повернул не в ту степь.

— В ту. Именно в ту!.. Пока я отсутствовал по важным делам, ты, оказывается, тут время не терял. Дильбар...

— Зияхан, опомнись! Что ты несешь?

— Нет уж, ты меня выслушай. Известно ли тебе, что у нас с Дильбар все давно обговорено? И мать ее согласна на наш брак. Стоит мне только намекнуть ей, что ты во имя своих целей морочишь голову ее дочери, она... гм, она тебе этого никогда не простит.

— Не меряй всех на свой аршин!— разозлился Шерали.

Широкими шагами он пересек помещение и вышел, хлопнув дверью. День был испорчен, с таким настроением много не поработаешь.

Обычно Карима Музаффаровна со всеми отчетами ездила в Ташкент сама. На этот раз послала Шерали. Беседуя с ним, она дала понять, что такое ответственное задание — отвезти отчет о проделанной работе за десять месяцев — не каждому можно поручить, значит, этот шаг следовало воспринимать как знак ее особого расположения к нему и доверия.

Шерали возвратился из столицы ночным рейсом, перед рассветом. Утром встал с трудом. На работу пришел с небольшим опозданием, по пути успокаивал себя, что с утра у Каримы Музаффаровны всегда масса всяких неотложных дел и он зайдет к ней, чтобы отчитаться о

поездке, после обеда. Однако, едва он переступил порог лаборатории, Зияхан хмуро обронил:

— Тебе уже два раза звонили из приемной. Срочно к директору!

— С приездом,— улыбнулась Дильбар, полуобернувшись; она сидела у стола и что-то писала при включенной настольной лампе.

Шерали кивнул ей и вышел.

Карима-апа встретила его очень приветливо, расспросила о своих знакомых, которых ему довелось увидеть. Шерали передал ей приветы от каждого в отдельности. Директор на минуту призадумалась и, перекладывая перед собой какие-то бумаги, спросила:

— А в министерстве вам ничего не сказали?

— Что именно?

— Относительно вашей работы?

— Нет,— покачал головой Шерали.— А что они могут сказать?.. Работа еще только начата...

— Не о научной работе речь,— уточнила Карима-апа и кашлянула, прикрыв рот ладонью.— В таком случае мне причитается суюнчи. За приятную новость. Мы решили повысить вас в должности. Так что завтра вам снова придется лететь в Ташкент. За новым назначением.

— Я вас правильно понял,— смутился Шерали, чувствуя, как начинают гореть щеки.

— Нашему Бухарскому филиалу давно требовался толковый руководитель. Мы предложили вашу кандидатуру. Вы человек инициативный, ищущий, целенаправленный...

— Я, честно говоря, к этому не готов. Так неожиданно...

— Да, сюрприз,— улыбнулась она одними глазами.

— Ну какой из меня руководитель?..

— Не скромничайте. Каждого нашего работника мы достаточно хорошо знаем и сочли, что вы — наиболее достойный. Министерство уже утвердило вашу кандидатуру. Однако странно, что там вам ничего не сказали. Я позвоню, узнаю, в чем дело,— рука ее потянулась к белому телефонному аппарату.

— А что же будет с экспериментом, к которому я приступил?

— Разве вы еще не покончили с этой затеей?— холодно спросила Карима-апа.— А я отослала министру рапорт.

— Какой еще рапорт?..— Шерали даже привстал.



— О том, что опыт ваш не дал никаких результатов. Или не так?

— Как вы могли?..— проговорил Шерали дрожащим голосом, едва владея собой.— Вы же знаете, что этот эксперимент требует гораздо более длительного времени.

— Срочно запросили. Не помню, фигурирует ли там слово «пока»—«пока не дал никаких результатов». Не уверена,— она встала.— Все. У меня много дел. Извините.

Опершись о край стола руками, Шерали медленно поднялся. Он чувствовал себя страшно разбитым, больным.

— Наверное, все же можно было поинтересоваться у меня,— еле слышно проговорил он.

— Да-а?— округлила глаза директор.— Вот не знала, что должна по малейшему поводу советоваться с вами!

Шерали выдержал ее взгляд и, вставая, сказал негромко, но твердо:

— Я никуда не поеду...

Держась за гладкие полированные перила, Шерали спустился по широкой мраморной лестнице в фойе. Выходит, все насмарку? Зря старался? Я уже чувствую, как в моем организме начинается процесс. Нет, поезд уже набрал скорость и теперь его уже враз не остановишь...

У трюмо причесывался кто-то из женщин, в сторонке стояла группа мужчин, о чем-то громко беседуя, кто-то приветствовал Шерали, но он ничего не слышал; открыл массивную дверь и вышел на улицу; день был солнечный, от пригретой земли поднимался пар, терпко пахло прелыми листьями; Шерали повернул на дорожку, ведущую в сад, к его заветной скамье. Почему исход его эксперимента — его!— должен зависеть от кого-то другого? Хотя бы от той же Каримы-апы? Ладно, если она так настаивает, я поеду в Ташкент. Но лишь для того, чтобы еще раз встретиться с министром и сказать ему, что рапорт не соответствует истине, что его ввели в заблуждение. Ибо в противном случае я буду выглядеть в глазах министра обыкновенным болтуном. А я этого не хочу. Да дело собственно и не во мне. А в работе, которую я начал. Я должен довести ее до конца. Я еще не знаю, каков будет результат эксперимента. Но какой-то же будет...

Шерали долго сидел на теплой, нагретой солнцем

скамье. Птицы, кажется, и те привыкли к нему, порхали, чирикавая, над самой головой. Прохладный ветерок ласково обвевал лицо, шею.

Шерали стал неразговорчив, хмур. Целыми днями не вставал с места, погрузившись в работу.

— Шерали-ака, наверно, стал часто видеть дурные сны,— пошутила как-то Дильбар.

Шерали так и хотелось бросить ей в лицо, что он думает о ее матери, но усилием воли он заставлял себя молчать, подавляя в себе неприязнь и к девушке, впрочем, несправедливую по отношению к ней.

Однажды, когда Вали-ака и Зияхан ушли в буфет обедать, Дильбар подошла к Шерали и, коснувшись легонько плеча, участливо спросила.

— Вам нездоровится, Шерали-ака? Может, та гадость, которую вы в тот раз выпили...

— Не беспокойтесь, пока все идет по плану,— заставил он себя улыбнуться, хотя мысль эта и у самого постоянно сидела в голове, как заноза; едва кольнет чуть-чуть под ложечкой (что случалось и прежде, но чему не придавалось значения) или заболит голова, сразу, как ожог: «Вот и началось!..»

Дильбар не сводила с него испытующего взгляда:

— Если что... не скрывайте. Мы все-таки коллеги. Должны помогать друг другу.

— Вы очень любезны. Благодарю вас,— сухо сказал он.

— А вы не идете обедать?

— Там народу много.

— Не задерживайтесь. Я займу очередь.

В институте раздался звонок из министерства...

Карима-апа тотчас вызвала к себе Шерали...

— А я пребываю в полной уверенности, что вы в Ташкенте!— строго сказала она, едва он открыл дверь.— Ведь вас там ждут!

— Я же сказал...

— Но ведь и я вам кое-что сказала!— перебила Карима Музаффаровна, повысив голос, лицо ее побагровело, а красивые глаза сощурились:— Кто здесь директор, вы или я?

— Карима Музаффаровна, я просто по состоянию здоровья не могу никуда поехать.

— Отказываетесь, значит?— хлопнула она ладонями по столу.

— Пока не завершён эксперимент, я не могу.

— А мне не нужны сотрудники, которые не желают подчиняться! Пишите в таком случае заявление об уходе.

Шерали почувствовал, как тело его словно налилось свинцом, а руки и ноги ослабли, ему нестерпимо захотелось сесть, но он лишь взялся одной рукой за спинку стула и, проглотив комок, сдавленно произнес:

— Хорошо, я напишу.

— Ступайте. Но сначала подумайте. А завтра сообщите о своих намерениях.

Шерали до самого вечера бесцельно бродил по городу. Вот уже на улицах засветились фонари, а ему все не хотелось возвращаться домой, и он направился в парк, где журчали подсвеченные разноцветными огнями фонтаны. В аллеях было много гуляющих. Вокруг слышался смех, веселые крики детей. А что дома? Четыре голых стены. И он наедине со своими мыслями, которые, оказывается, могут иногда уподобляться своре волков. Порой он ощущает прямо-таки физическую боль, будто они терзают его, и все-таки от волков еще можно отбиться. А как справиться с мыслями, если одна мрачнее другой? Куда от них убежать? «Надо побольше бывать на людях. И еще музыка может отвлечь»,— подумал он, услышав доносящиеся издали звуки оркестра.

Шерали пересек по главной аллее парк и вышел на центральную улицу. Музыка доносилась из открытых окон ресторана. Он решил поужинать. Выбрал себе место за столиком в углу. На пятчке перед оркестром танцевало несколько пар. Вскоре официантка принесла заказ. Поев, он еще какое-то время посидел, наблюдая за танцующими.

Когда он перед самым закрытием покинул ресторан, зал был полупустой. В Самарканде после десяти очень трудно дожидаться общественного транспорта, тем более поймать свободное такси. И он отправился домой пешком. В ушах все еще звенела музыка, перед глазами мелькали танцующие, раскрасневшиеся потные лица, растрепанные девичьи волосы в джинсах. Он чувствовал себя таким усталым, будто весь день грузил или разгружал вагоны. Помнится, в бытность студентом, они нередко подрабатывали таким образом на перевалочной базе.

На свой этаж он поднимался медленно, держась за

перила лестницы, несколько раз останавливался и отдыхал, как старик.

В эту ночь ему приснилось, будто он в бескрайней пустыне. Заблудился. Не знает, куда идти. В небе полыхает солнце, и длинные языки пламени касаются волос; ноги вязнут в раскаленном песке, идти уже невозможно; сухой горячий воздух обжигает горло. Барханы неожиданно пришли в движение, песок струился с их гребней, откуда ни возьмись появились огромные страшные чудовища, стали надвигаться со всех сторон, беря Шерали в кольцо. Он хочет бежать — ноги не повинуются, хочет крикнуть — нет голоса. Рванулся Шерали...

И со стоном вскочил, чуть не свалился с кровати. Долго сидел, опустив ноги на прохладный пол. Влажная майка прилипла к телу. Во рту была горечь, поташнивало.

А за окном уже светало...

Шерали шел по двору института и чувствовал себя здесь чужим. Ему казалось, все уже знает о его разговоре с Каримой Музаффаровной. Кое-кто, может, и почувствует, но наверняка немало и злорадствующих. Хорошо бы никого не встретить: начнут охать да ахать, упрекать директора за необъективность, расспрашивать, как это произошло. Поди разберись, где искренность, а где притворство. Лучше избегать разговоров на эту тему.

Он поднялся по мраморной лестнице на второй этаж, прошел по коридору. Вот и приемная директора. Положил заявление об уходе на стол секретарю и, не сказав ни слова, удалился.

Чтобы взять свои личные вещи, пришлось зайти в лабораторию.

Зияхан сидел на краю стола, скрестив на груди руки, и что-то громко говорил Дильбар, которая, видимо, только что вошла; достав из шкафа белый халат, она еще держала его в руках. Судя по тому, что Зияхан растерянно заморгал и сразу умолк, они говорили о Шерали. Не меняя своей небрежной позы, Зияхан кивнул в ответ на его приветствие. А Дильбар, вдев руку в один рукав, обернулась и замерла. Вид у него, наверно, не самый лучший, если она с таким изумлением обзирает его. В глазах у девушки Шерали заметил испуг, сочувствие, тревогу.

— Что с вами? — наконец спросила она.

— Немного нездоровится. Посижу немного, пройдет,— ответил Шерали.

— Вот-вот, а я что говорил!— сказал Зияхан, обращаясь к Дильбар, и потряс указательным пальцем.— Пожалуйста! Результаты не замедлили сказаться! И это еще только начало. Где болит?

— Не болит. Просто слабость. То в жар, то в холод бросает.

— Теперь терпи. Не забудь завещание заранее написать.

— Оставьте свои неуместные шутки,— сказала Дильбар.

Губы Зияхана скривила усмешка, он пожал плечами:

— Ради того, чтобы вы хоть однажды за меня вступились, я тоже, пожалуй, подверг бы себя смертельной опасности.

Дильбар коротко рассмеялась:

— К сожалению, красноречивых у нас гораздо больше, чем способных на поступки, делающие честь мужчине.

— Вот как?— сквозь зубы произнес Зияхан, не сводя с нее взгляда.

— А разве не так?— нервными движениями застегивая халат, Дильбар прошла к столу, резко выдвинула стул и села, сжав ладонями виски.— Соловьями разливаются с трибун! В научных статьях сплошной треск, нужно процеживать сквозь сито, чтобы выудить хоть одну дельную мысль! И они же смеют что-то советовать!

— Нельзя ли конкретнее, Дильбар?— с раздражением в голосе сказал Зияхан.— Наверное, Шерали Халмуратов единственный мужчина в нашем институте, герой...

— Во всяком случае он пошел на риск. А это не всем по зубам.

— Но вы же не можете не понимать, почему наш уважаемый директор не одобряет подобного рода опыты. Некоторым экспериментаторам только дай волю — тут такое начнется! Все, кому не лень, начнут повторять «подвиги» своих предшественников!..

— Вы у нас самый здравомыслящий, вы на это не пойдете, это уж точно!— не оборачиваясь, сказала Дильбар.

Зияхан фыркнул, широкими шагами пересек помещение и вышел.

Воцарилась тишина. Было слышно, как в углу за шкафом жужжит муха, попавшая в паутину. Дильбар

выпрямилась, пригладила волосы и стала раскладывать на столе приборы.

«Что-то между ними опять произошло,— подумал Шерали; он сидел, облокотясь о стол и силясь преодолеть тошноту, перед глазами возникали и пропадали мелкие точки, словно кружился в танце целый рой мошек.— Ничего, как-нибудь разберутся. Мне сейчас не до них. Немного полегчает, и я уйду. Я теперь человек свободный».

Шерали не заметил, как к нему приблизилась Дильбар. На стол упал отсвет от ее халата, и он обернулся.

— Вам плохо,— сказала Дильбар.— Может, отвезти вас домой?

— Не стоит, спасибо...— он попытался улыбнуться, но лицо его скривила жалкая гримаса.

— Ну что вы, как барышня!— рассердилась Дильбар.— Вставайте, идемте!

Через какие-то четверть часа они вышли из «Жигулей» напротив пятиэтажного кирпичного дома.

— Идти можете?

— Ничего, доберусь.

Дильбар взяла его под руку. На каждой лестничной площадке приходилось останавливаться и отдыхать. На четвертый этаж они, кажется, поднимались дольше, чем ехали сюда.

Дильбар привыкла к роскоши. С самого детства. К коврам на полу и на стенах, к красивой мебели, дорогой посуде, редким изданиям книг, собранных когда-то еще отцом. Поэтому, когда Шерали открыл перед нею дверь, в первую секунду она была поражена убожеством его квартиры, и не сразу решилась переступить порог. С дивана сполз на пол край старого покрывала, обнажив дырявую обивку, из-под которой торчала пружина и сыпалась какая-то труха. Посреди комнаты стол, накрытый выдавшей вида, давно не стиранной скатертью. На замасленной газете кожура яиц, колбасы, куски засохшего хлеба. Шторы на окнах, выгоревшие на солнце, повисли, видимо, большая часть петель сорвана с крючков, а хозяину недосуг их пришить. На подоконнике стояла в глиняном горшке полузасохшая герань. Пол серый от пыли...

— Извините,— покраснев от смущения, сказал Шерали, заметив растерянность девушки.— Все некогда заняться уборкой... Ничего, теперь у меня будет масса времени,— чувствуя, как его прошиб от усталости пот,

он опустился на стул, убирая со стола газету с остатками еды.

Дильбар взяла пустой графин и направилась на кухню, чтобы набрать воды и полить цветок. Однако графин оказалось невозможно подставить под кран, ибо в раковине лежала целая гора немытой посуды. «Ну и ну, и что за люди—мужчины? Им, кажется, абсолютно все равно, как жить. На первом месте — работа, работа... А в свободное от работы время невесть где шатаются. Домой приходят только переночевать, да и то не всегда, наверное...»

Пустив из крана горячую струю, Дильбар быстренько перемыла всю посуду, ополоснула холодной водой пиалу, напилась, набрала в графин воды и, вернувшись в комнату, полила герань.

Шерали сидел, подперев щеку рукой и прикрыв глаза.

— Попросили бы хоть какую-нибудь девушку прибрать у вас.

— Какую еще девушку?..— медленно поднял голову Шерали.

— Разве у вас нет знакомых? Или тут...— Дильбар обвела глазами комнату, — девушки не бывают? Только не лгите, что у вас и на это не хватает времени.

— Тогда его должно было бы хватить на то, чтобы ликвидировать этот беспорядок, — улыбнулся Шерали.— Согласитесь, что любая девушка испугается такого бедлама.

— Скорее всего так, — засмеялась Дильбар.— Если позволите, я у вас немного приберу. Чтобы ваши девушки не пугались.

— Нет, нет, что вы, — растерялся Шерали и вскочил.— Вы же мой гость. Лучше присядьте. А я вас чаем угощу.

— Чаем? Прекрасно! Но чаевничать-то надо за чистым столом...

Дильбар решительно взяла со спинки стула, выдернув у него из-под руки, полотенце, повязала его, как фартук, набрала в таз воды и, заставив Шерали пересесть на диван и подобрать под себя ноги, принялась мыть пол. А он молча смотрел, как ловко она отжимает тряпку — там, где она ею проводила, пол блестел, как лакированный. Он и предположить не мог, что Дильбар умеет так ловко с этим справляться, он всегда считал ее белоручкой. Ему стало совестно сидеть, ничего не де-

лая, и он подумал, что надо бы пойти на кухню и, пока Дильбар наводит лоск тут, потрудиться там, но едва сделал попытку подняться, будто кто-то невидимый надавил на плечи так, что перед глазами вновь замелькали мошки.

Дильбар заметила проступившую на его лице бледность и, замерев с тряпкой в руке, вопросительно посмотрела на него.

— Ничего, все в порядке,—сказал он как можно бодрее.

Выпятив нижнюю губу, девушка дунула и, поправив выбившуюся из прически прядь, улыбнулась.

— Спасибо,—проговорил он, еле шевеля бледными губами.— Этот день запомнится мне надолго.

— Почему же?—спросила Дильбар, лукаво прищурив смеющиеся глаза.

— Потому что в эту комнату еще не ступала нога ни одной девушки.

— Оно и видно. Вот я и стараюсь ради нашего брата: чтобы вы знали — не так уж мы и плохи, чтобы не дружить с нами. И что-то в вашей жизни значим. Снимите занавески, их надо постирать.

Шерали все-таки пришлось превозмочь слабость и встать. Он придвинул к окну стул, взобрался на него и, переждав головокружение, стал снимать шторы. На них было столько пыли, что он расчихался, и Дильбар рассмеялась.

Из-за туч выглянуло солнце, и в окно хлынул поток яркого света. На противоположной стене четко обозначилась тень Шерали с поднятыми вверх руками. Дильбар подошла и провела по ней рукой.

\* \* \*

Домой Дильбар вернулась в сумерках. В саду между деревьями уже сгустился мрак, за ними слабо светилось окно матери. Значит, она уже дома.

В прихожей Дильбар надела мягкие, расшитые бисером тапочки. Тихо отворив дверь, она заглянула в комнату матери. Та сидела за письменным столом в своем бордовом китайском халате и что-то писала. Ярко белел перед нею освещенный настольной лампой лист бумаги. В руке поблескивала золотистая шариковая ручка, которую Дильбар подарила ей ко дню рождения.

— Добрый вечер, мама.



— Ты где задержалась?— спросила мать и, сняв очки, посмотрела в ее сторону.

— Так... Помогла кое в чем одному хорошему человеку.

— Хорошему, говоришь?..

— Ага.

Дильбар закрыла дверь и направилась к себе, упредив следующий вопрос: «И кто же этот человек?» Не хотелось сейчас Дильбар говорить с матерью о Шерали,— и ей настроение испортит, и сама расстроится. Не раз уж так бывало, когда между ними возникал разговор об их лаборатории, о сотрудниках, и непременно беседа их переходила в спор, стоило только упомянуть об эксперименте Халмурадова. Дильбар была почти убеждена, что Шерали стоит на пороге, пусть не сенсационного, но открытия. Мать же считала, что дочь заблуждается, и объясняла это ее молодостью, неопытностью, и еще больше досадовала на Халмурадова, считая, что он целенаправленно склоняет на свою сторону ее дочь. Поэтому Дильбар, особенно в последнее время, старалась не упоминать в разговоре имени Шерали. Вдобавок еще кто-то сказал матери, будто Шерали едва ли не ухаживает за ее дочерью. Надо же придумать...

Войдя в свою комнату, Дильбар подошла к пианино. Пробежала пальцами по клавиатуре и тотчас закрыла крышку. Играть не было сил, она с ног валилась от усталости. Сейчас нырнет в постель и сразу же уснет.

Однако уснуть быстро не удалось. Ей слышалась удивительная мелодия. И она воспринимала ее скорее сердцем, а не слухом. Совершенно новая, какую она еще ни разу не слышала...

Девушка долго ворочалась. Подушка казалась слишком горячей, а постель неудобной. А перед глазами то и дело возникала запущенная комната... Худое бледное лицо... Виноватый горячечный взгляд.

Утром, когда села на мягкий пуфик перед трельяжем, чтобы причесаться, Дильбар с трудом себя узнала. Она выглядела бледной, будто после болезни. Глаза запали, вокруг них темные круги. «Ну и ну, что это с тобой?» Она приблизила лицо к зеркалу, провела пальцами по бровям, по губам. Ей показалось, что брови недостаточно черны, бархатисты, а ресницы не столь длинны и пушисты, как ей бы хотелось, губы поблекли. Вздохнув, открыла коробочку с тушью. Подвела брови, ресницы, затем уложила волосы.

Мать вчера легла, видимо, поздно, она еще спала. Стараясь не шуметь, Дильбар подмела веранду, дорожки во дворе, собрала в кучу мусор и опавшие листья, побрызгала землю водой из ведра. Пропылесосила в прихожей дорожку. Наконец приготовила завтрак и стала дожидаться, когда выйдет из своей комнаты мать.

Они сели завтракать уже в десятом часу. Намазывая на хлеб масло, Карима-апа украдкой разглядывала дочь. Не заболела ли? За завтраком она обычно без умолку тараторила, смеялась и всегда выглядела свежей, как расцветающий по утрам цветок. А нынче помалкивает, и глаза грустные. Молча накрыла на стол, молча разлила чай.

— Ты здорова?— спросила мать.

Дильбар вздрогнула и поспешно кивнула.

— Что-то ты мне сегодня не нравишься, девочка. Если плохо себя чувствуешь, оставайся дома.

— Я не могу сейчас позволить себе не выйти на работу.

У Каримы-апы от удивления вытянулось лицо.

— Почему это?

— Вали-ака на больничном. Похоже, и Халмурадов заболел. Зияхан постоянно занят какими-то другими делами, в лаборатории он нечастый гость...

— Зияхану я разрешила приходить попозже. Пусть поскорее заканчивает свою диссертацию. Ты не поссорилась ли с ним?

— Почему ты так решила?

— С трудом достает билеты на оперу столичного театра, а ты отказываешься идти...

— Что... жаловался?— усмехнулась Дильбар.

— Да нет, просто пришлось к слову, он и сказал.

— У меня не было настроения. Ладно, мама, давай не будем о нем.

— А о ком бы тебе хотелось поговорить?

— Сейчас я бы предпочла помолчать.

— Скажи сегодня Зияхану, что я решила временно возложить на него обязанности заведующего лабораторией. Пока не найду подходящей кандидатуры...

— Через день-другой Халмурадов, наверное, выйдет...

— Он подал заявление об уходе.

— Как?..— Дильбар резче, чем надлежит, опустила на тарелку вилку и в упор взглянула на мать.

— Я думала, ты знаешь,— усмехнулась та.— Что ж, рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше.

— А как же... эксперимент?

Карима-апа отпила чай и поморщилась, будто обоглась:

— Какой там эксперимент?.. Мальчишество. Вместо серьезной полезной работы.

— И все-таки ты не права, мама. Не права!

— Вот как?— мать устремила на дочь пронзительный взгляд.— Это он сумел тебе внушить?

— Наверное, я и сама способна кое в чем разобраться.

— И когда ты успела это сделать? Пока везла его в своей машине?— спросила Карима-апа, надкусывая бутерброд.

Дильбар густо покраснела и опустила глаза. Надо же, успели донести. Ну, просто шагу Дильбар нельзя сделать, чтобы об этом в тот же день не стало известно матери. Ох, люди, только и ищут повода, чтобы зайти к директору и что-нибудь нашептать ей в надежде снискать ее расположение. Знали бы они, как мать отзывается о таких. Презирает. И все-таки почему-то не отказывается от их «услуг».

— Вчера Шерали-ака заболел,— тихо проговорила Дильбар.— Я отвезла его домой. Ты же сама учила меня быть доброй, отзывчивой.

— Прежде всего я учила тебя быть требовательной в выборе друзей.

— Шерали-ака заслуживает всяческого уважения, мама.

— Интересно, чем же?

— Хотя бы тем, что не в пример многим добросовестно относится к своей работе. Более того, работа для него — главное в жизни,— быстро проговорила Дильбар, теребя край скатерти.— И, подумай сама...— от волнения она не находила нужных слов.

Мать не сводила с нее внимательных глаз.

— Разве заурядный человек мог бы решиться на подобный эксперимент?

Карима-апа швырнула на стол салфетку и поднялась.

— Мы с тобой чересчур задержались. Едем!

«Жигули» молочного цвета плавно въехали во двор института и остановились напротив главного подъезда

под чинарой. Карима-апа и Дильбар одновременно вышли из машины, та и другая резко захлопнули дверцы и, не взглянув друг на друга, разошлись в разные стороны. Директор, придерживая под мышкой коричневую кожаную сумку, легко взбежала по широким ступеням. Вахтер, видимо, увидев ее в окно, предупредительно открыл перед ней массивную дверь. Дильбархон, закинув длинную ручку сумки на плечо, быстро направилась к приземистому зданию лаборатории. Со стороны без труда можно было догадаться, что мать и дочь по пути о чем-то крепко поспорили, и каждая осталась при своем мнении.

Зияхан был один. Поставив одну ногу на стул, он сидел на столе и листал журнал «Здоровье».

— Привет,— бросила ему Дильбар и, на ходу сорвав с вешалки халат, направилась к своему месту.

Подошел Зияхан и положил перед ней раскрытый журнал.

— Прочли эту статью?

Доставая из сумки зеркальце, платочек, Дильбар отрицательно мотнула головой.

— Любопытный материал. О трансплантации сердца.

Дильбар поблагодарила кивком за информацию и, облокотившись о стол, стала читать. Известный киевский профессор популярно рассказывал о достигнутых успехах и еще нерешенных проблемах, связанных с использованием сердца донора. В статье говорилось и о том, что параллельно ведутся исследования в области вживления искусственного сердца.

Закончив читать, Дильбар откинулась на спинку стула и задумалась.

— Ну как?— спросил Зияхан.

— Интересно. Но только...

— Что?

— Сможет ли человек с искусственным сердцем... скажем, полюбить.

Зияхан расхохотался так, что у него чуть не слетели очки.

— Чувства, Дильбархон, это из сферы идеального,— сказал он, водружая на место очки.— А мы, ученые, имеем дело только с материей. Тем более хирурги! Для них существует только то, что можно осязать.

«А страдания и боль?.. А сочувствие и ненависть?.. Разве это не осязаемо, хотя их и не пощупаешь руками? Их чувствуешь сердцем. И любовь тоже...»

Взглянув на часы, Зияхан проследовал к своему месту, недовольно ворча:

— Опаздывает Шерали! Полно работы, а он...

Дильбар глянула в его сторону, в ее глазах промелькнули холодные злые искры.

— Не сказать, чтобы вы здесь появлялись чаще, чем он!

— Да, я действительно был в бегах, но ведь с позволением вашей матушки.

— Вероятно, теперь тем же самым занимается Шерали. И будьте уверены, справится не хуже вас,— сказала Дильбар, а сама подумала: «А вдруг ему совсем плохо? И некому помочь: ни чаю вскипятить, ни лекарства подать...»

Весь день, за что бы она ни бралась, все у нее валилось из рук. Стоило кому-нибудь открыть дверь, она вздрагивала и оборачивалась. Кто только в течение дня не заходил в лабораторию. Только не он. Ближе к вечеру Дильбар поняла, что Шерали, конечно же, сегодня не придет. «Скрытный он какой, однако... Вчера и словом не обмолвился о том, что написал заявление. Может, я и уговорила бы его забрать заявление обратно...»

Заходили сотрудники, о чем-то разговаривали с Дильбар, что-то спрашивали. Она поддакивала, отвечала, думая совсем о другом, часто невпопад, и при этом улыбалась, а иногда даже смеялась. Она с трудом дождалась конца рабочего дня.

Ровно в шесть Дильбар отправилась к матери. Уже сгустились сумерки, и просторный кабинет был освещен люминесцентными лампами, ослепительные квадраты которых занимали почти треть площади потолка. На зеленом сукне стола сияли хрустальный графин и бокалы, сияли стекла шкафов, плотно заставленных старыми книгами, сияли модные очки Каримы-апы. Сняв их, она вопросительно посмотрела на дочь, пытаясь угадать, чем вызвано ее появление. И, кажется, не сразу поняла, что просто кончился рабочий день и дочь зашла за ней.

— А-а...— рассеянно произнесла она, опять уткнувшись в бумаги.— Поезжай одна. Я немного задержусь, надо закончить кое-какие дела.

Дильбар кивнула и вышла. Впереди у нее был свободный вечер. Что-то напевая, она сбежала, постукивая каблучками, по ступенькам, села в машину и рванула с места так, что колеса, пробуксовав, оставили запах горелой резины.

Вдоль улиц уже зажглись гирлянды огней. Вдали — точно поле в цветущих маках — мерцают красные точки фар. Тротуары полны людей. Одни еще только спешат с работы, другие успели приодеться и с наступлением прохлады вышли прогуляться.

Дильбар включила мигалку левого поворота, пропустила встречный поток машин и повернула на узкую неосвещенную улицу. Пришлось включить фары, чтобы узнать пятиэтажный дом с изображением на торцевой стене юноши и девушки в национальных одеждах, протягивающих на вытянутых руках восходящему солнцу раскрытые коробочки хлопка. Ага, вот он. Дильбар съехала на обочину, выключила зажигание. Приоткрыл дверцу, глянула вверх, стараясь отыскать среди десятков освещенных окон его окно. Горит ли у него свет? Интересно, что он сейчас делает? Небось и в мыслях нет, что она придет. Может, не стоило? Может, ему это вовсе и не нужно, а она... А вдруг он лежит с высокой температурой и мечется...

Дильбар захлопнула дверцу и вбежала в подъезд. Легко взлетела на четвертый этаж. И только занесла руку, чтобы нажать на кнопку звонка, как вдруг решимость ее покинула. «Что он подумает, увидев меня на своем пороге в столь позднее время?..» Впрочем, не так уж и поздно. Только-только закончился рабочий день. Другие сотрудники еще стоят, наверное, на остановке, дожидаясь троллейбуса или автобуса. А проведать больного никогда не считалось зазорным. Прихожая наполнилась пронзительным звонком. Через минуту щелкнул выключатель. Дверь приоткрылась.

— Дильбар? — удивился Шерали, глаза его радостно блеснули. — Прошу вас! — одной рукой он пошире открыл дверь, другой прижимал к животу полы распахивающегося чапана.

— Зашла узнать, как вы себя чувствуете.

— Спасибо, Дильбар, хорошо. А теперь и вовсе сразу пойду на поправку. Хотя все было задумано иначе.

Он улыбался сухими потрескавшимися губами, глаза у него ввалились и покраснели, шея вроде бы стала тоньше, а голубоватые вены на ней приметнее.

Дильбар сняла в прихожей бежевый плащ. Шерали взял его, повесил на вешалку и пригласил девушку в комнату. Над диваном светилось бра, на придвинутом к нему журнальном столике лежало несколько раскрытых медицинских журналов на английском и немецком

языках и вырезки из газет. На посланном у дивана коврике словари.

— Пытаюсь вот разобраться,— смущенно улынулся Шерали, проследив за взглядом девушки.

— Шерали-ака!

— Да... Чаю поставить?

— Как вы думаете?.. Может, и вправду уже дает себя знать то, что вы в тот раз приняли?..

Шерали пожал плечами:

— Трудно пока сказать. По правде, хотелось бы, чтобы это было именно так,— он грустно улыбнулся.

— Почему же вы тогда, не дожидаясь результата, подали заявление об уходе?

Шерали отвел глаза.

— Давайте лучше пить чай. Мне сегодня друзья принесли свежие лепешки и халву,— он направился в кухню, оттуда донесся шум воды, наливаемой в чайник.

Дильбар подошла к окну, провела ладонью по запотевшим стеклам. На противоположной стороне улицы смутно белела ее машина. Она забыла, оказывается, выключить габаритные огни. Услышав за спиной шаги, обернулась.

— И мне ничего не сказали вчера,— упрекнула она.

— О чем?

— О том, что решили уйти от нас. Как же так?

— Заявление я действительно написал. Но это не значит, что я решил уйти. Просто с некоторых пор я стал ощущать нехватку времени, большая часть его уходила на какую-то ерунду, бесполезную беготню по чужим делам. А сейчас тем более у меня начался такой период, когда я должен всерьез заниматься тем, что задумал.

— Наверное, надо было объяснить все это директору института,— робко заметила Дильбар, опустив глаза.

Шерали нервно ударил кулаком о ладонь.

— Не сердитесь на меня, Дильбар... Но мы с Каримой Музаффаровной никак не можем поладить. Не знаю, может, я излишне мнителен, но у меня создалось впечатление, что она делает все для того, чтобы мне помешать,— запальчиво проговорил Шерали.

— Ну, что вы, вам это кажется, поверьте мне. Она всегда так добра ко всем...

— Конечно же, именно переполняясь добротой ко мне, она решила отправить меня в Бухару!

— В Бухару?

— И, думаю, лишь потому, что не нашлось места подальше! Знаете, у меня постоянно такое ощущение, будто я путаюсь у нее под ногами, а она небрежно этак, носком туфли, старается отбросить меня в сторону, чтобы не мешал!

— Ну, вы это слишком, Шерали-ака!— повысила голос Дильбар.— Если вы не сумели доказать своей правоты, зачем же валить на других!

— Мою правоту могут подтвердить только результаты моего эксперимента!

— Тогда мне еще более непонятен ваш поступок. Не доведя до конца задуманного, писать заявление?

— Ради задуманного! Когда я опишу конкретный случай, трудно будет не заметить его или быть необъективным. Тем более, что есть немало специалистов — скажем, в Москве, Ленинграде, Киеве — которые, в случае спора, расставят точки над *i*.

— Вот какой ход вы придумали. И долго ломали голову?..

Шерали пожал плечами. Из кухни донеслось дребезжание крышки чайника, и он поспешил туда.

— По-моему, как стратег, вы не учли главного,— сказала Дильбар, когда он вернулся с фарфоровым чайником и пиалами.— Вам все же не обойтись без лаборатории.

— Чтобы наблюдать за самим собой, необязательно протирать штаны в лаборатории.

— А анализы?

— Думаю, в этом мне мои коллеги не откажут. И отсюда, из моего дома, мне гораздо ближе до них, чем из Бухары.

Несколько минут они молчали. Словно каждый обдумывал, насколько верны его доводы и позиция. Шерали принес в тарелке халву, они сели за стол, и Дильбар разлила чай. Она задумчиво проговорила:

— А что, если поговорить с Вали-ака? Пусть окажет на директора влияние. Мама его очень уважает.

— Разумеется, он достоин всяческого уважения. Добр, отзывчив и так далее... Но вряд ли из-за меня он захочет портить отношения с директором...

За столько лет работы Шерали, конечно же, привык и к институту и к людям, которые его ежедневно, ежедневно окружали. И еще плохо представлял себе, как будет жить без всего этого, замкнувшись в своей маленькой душной комнате, не будет ли он чувствовать себя



этаким червячком, загнанным в спичечный коробок и всеми позабытым? Да и просто — на что дальше жить?

Дильбар допила свой чай и поднялась.

— Ну, мне пора.

Шерали не стал ее удерживать даже ради приличия и тоже встал. Подал в прихожей пальто. Сейчас он опять останется один на один со своими гнетущими мыслями. Чтобы хоть немного проветриться, Шерали спустился вместе с Дильбар на улицу.

Было свежо. На ветках не шевелился ни единый листок, будто деревья дремали. Небо усыпано звездами. Издалека, с центральной улицы, доносился шум машин.

Перед тем как сесть в машину, Дильбар протянула Шерали руку.

— Дильбар,— произнес он, задержав на секунду ее ладонь, еле приметная дрожь в голосе выдавала его волнение.— Навещайте меня хоть изредка.

Девушка, не ответив, захлопнула дверцу. Шерали смотрел вслед машине, пока вдаль не растаяли красные огоньки.

Конечно же, от Каримы-апы не укрылось, что с ее дочерью творится что-то неладное. Работы у нее вроде не ахти сколько, а вид усталый. И пожелтела, как выгоревшая на солнце трава. Хотела было вызвать ее на откровенность — отвечает односложно, и в глаза при этом не глядит. Едут на работу — тоже ни слова.

— Что молчишь? Не в духе?— спросила как-то мать.

— Да нет. Просто, не люблю отвлекаться, когда за рулем.

— Прежде ты об этом не заговаривала.

Дильбар продолжала сосредоточенно смотреть вперед, и только усмешка чуть-чуть кривила ее губы. Машина, обогнув Абрамовский бульвар, выехала на Регистанскую улицу. Впереди сквозь утреннюю золотистую дымку выступили очертания древних построек медресе Улугбека, Шер-Досра. Опушенная с обеих сторон зеленью деревьев улица устремлялась прямо к ним, и они, по мере приближения, росли прямо на глазах, и вот уже подпирают небо, заслоняя белые облака. У площади Регистан поток машин, подчиняясь дорожным знакам, распался на два рукава и разбежался в разные стороны. Дильбар проскочила на красный свет и круто

повернула вправо. Кариму-апу качнуло в сторону, и она испуганно схватилась за ручку дверцы.

— И все-таки ты что-то от меня скрываешь,— сказала Карима-апа некоторое время спустя.

Ответа не последовало.

— Тебя никто не обидел?

— С чего ты взяла... кто меня может обидеть?

— С Зияханом не поссорилась, м-м?..

— При чем тут Зияхан!— не скрывая раздражения, воскликнула Дильбар.— Уж из-за него-то не стала бы переживать!

— Правильно,— улыбнулась Карима-апа и, протянув левую руку, ласково взъерошила волосы на загылке дочери.— В обиду себя не давай никому. Даже Зияхану. Но и сама его не обижай. А то он как-то говорил мне...

— Мама, можно у тебя о чем-то спросить?..— Дильбар всего мгновение изучающе смотрела на мать, но та успела уловить во взгляде дочери и затаенную тревогу, и настороженность, и даже неприязнь.

— Конечно. Ты с детства тем только и занимаешься, что спрашиваешь у меня о чем-то, а я отвечаю,— засмеялась Карима-апа.

Но Дильбар не настроена была шутить и нахмурила брови. До чего они похожи на материнские — тот же капризный излом и так же сходятся на переносице.

— Скажи откровенно,— Дильбар взглянула на мать,— Шерали-ака действительно сам подал заявление?

Теперь нахмурила брови Карима-апа.

— А какое это имеет значение?

— Ты не ответила.

— Во всяком случае его никто не неволил.

— А я слышала, что дело обстояло совсем не так...

— Зачем тебе вступать в это? У тебя других дел хватает.

— Дел у всех хватает. Все заняты по горло. И этим отлично можно прикрывать равнодушие к чьей-то судьбе, душевную черствость и глухоту...

— Ну, знаешь ли... Что-то прежде я не замечала у тебя склонности к такого рода философии,— сказала Карима-апа голосом, в котором прозвучал металл.

— Ты уверена, что обошлась с ним справедливо?

— Я всегда делаю только то, в чем уверена на сто процентов!— Лицо матери сделалось чужим, холодным,

в ее чуть сузившихся глазах мелькнули злые огоньки, которые, казалось, могли прожечь насквозь.— Любому, кто отказывается выполнять свои прямые обязанности, работу государственной важности, дорога не заказана! Так что пусть твой коллега Халмурадов отработает положенный срок и, как говорится, идет на все четыре стороны. Вот так!

— А что будут говорить в коллективе?

— В коллективе? Ха-ха!.. То, что говорю я! И тебе тоже не советую откалываться от коллектива, да-да!— Карима-апа побледнела, губы ее дрожали.

Она любила свою дочь... Все свое свободное время отдавала только ей, ее воспитанию. И вот пожалуйста—благодарность! Из-за какого-то мэнэса приходится выслушивать от нее упреки. И почему собственно она так уж заступает за него? Карима-апа снова внимательно посмотрела на дочь. Не первый и не последний человек уходит из института. Кому не нравится, пусть уходят. Почему-то ни об одном из них Дильбар и словом не обмолвилась. За этим определенно что-то кроется. Неспроста это. Неужели Зияхан правду говорил? Может, прохвост этот Халмурадов успел-таки заморочить бедной девочке голову?.. Кариме-апе вспомнилось вдруг, что она и сама несколько раз видела свою дочь прогуливающейся с Халмурадовым по аллее институтского сада, но, увы, в свое время она не придавала этому значения. Надо было этого авантюриста погнать еще тогда!.. А однажды она заметила их на улице из окошка машины. Помнится, еще подумала: «Надо бы поговорить с дочерью. Слишком уж вольно себя ведет, совсем не считается с Зияханом». Не поговорила тогда, так нужно сделать это теперь и как можно скорее, чтобы развеять свои сомнения. Машина, плавно подрулив к подъезду института, остановилась. Карима-апа, ни слова не сказав, вышла, медленно поднялась по ступеням, держась прямо, высоко неся голову, как и подобает руководителю солидного учреждения.

В приемной ее дожидалось несколько сотрудников. Они оживленно беседовали, смеялись. Кто-то шутил с секретаршей. По голосу она узнала Зияхана. С ее появлением все смолкли.

Проследовав в кабинет, Карима-апа устроилась в кресле и нажала на кнопку звонка. Тотчас появилась секретарша и положила перед ней целую пачку писем. Карима-апа жестом дала понять, что она свободна, и

когда та уже взялась за ручку двери, чтобы выйти, вслед ей бросила:

— Никого принимать сегодня не буду, у меня уйма дел.

— Хорошо... А... Зияхана-ака?..

— Сказала же, ни-ко-го!

Девушка кивнула и, поспешно выйдя, тихонько закрыла за собой дверь. Но пронзительный звонок снова заставил ее вернуться.

— Заварите, пожалуйста, крепкого зеленого чая!— попросила Карима-апа, едва в проеме показалась ее голова.

Доставая из шкафа фарфоровый чайник и коробку с чаем, секретарша обронила:

— Начальство сегодня не в духе.

Присутствующие тотчас, ступая на цыпочках, покинули приемную.

На самом деле никаких особо важных дел у директора не было. Даже писем распечатывать она не стала. Вздыхнув, поднялась с места и подошла к окну. Напротив подъезда стояли белые «Жигули». Она купила их дочери, когда та окончила институт. Поодаль, справа, за серыми стволами деревьев виднелось кирпичное здание барачного типа. Там лаборатории. «Почему Дильбар задала мне этот вопрос?.. Подозревает меня в чем-то? Может, чего доброго, думает, что я завидую этому выскочке?.. Нет-нет, надо взять себя в руки и успокоиться. Иначе ничего не смогу сделать и весь день пойдет насмарку. Поговорить с Дильбар время еще будет. А что, если сделать это прямо сейчас? Вызвать в кабинет и пропесочить как следует. Пусть не думает: если она моя дочь, то ей все позволено!..»

Карима-апа решительно вернулась к столу, чтобы позвонить по внутреннему телефону в лабораторию. Из писем, разбросанных по столу, внимание ее привлекло одно — из Ленинграда. Адрес был надписан знакомым почерком Камала Нурбаева, оппонента ее кандидатской диссертации. Ее всегда очень радовали его письма. Она надела очки и осторожно надорвала конверт.

Вошла секретарша. Принесла чайник с чаем и пиалу. Карима-апа поблагодарила ее кивком, не отрываясь от письма.

«Уважаемая Карима Музаффаровна!

Надеюсь, что Вы в полном здравии и рабочем настроении, хотя, признаться, мне не совсем понятно, поче-

му Вы так затянули работу над своей докторской. Надеюсь, нам еще представится случай подробно поговорить об этом. Не собираетесь ли в Ленинград?..

Уважаемая Каримахон (простите, что величаю Вас так по старой привычке), мы достаточно давно знаем друг друга, и Вам хорошо известно, как отношусь я к тем, кто не может обойтись без палочки-выручалочки и прибегает к связям и знакомствам, просит за своих близких. И пусть вас не удивит та неблагородная роль, в которой я ныне выступаю. Но сначала несколько слов о том, что предвосхитило это мое письмо.

Я прочитал присланную мне на апробацию статью вашего молодого сотрудника Ш. Халмурадова — моего бывшего ученика. Дельную и умную. Но у меня, как у специалиста, возникли некоторые вопросы, с которыми я к нему и обратился. Он подробно рассказал мне о своих дальнейших планах, и я подумал о том, что они вызовут определенные сложности, связанные с основным направлением деятельности Вашего института. Честно говоря, я в первую минуту растерялся. Очевидно, то же самое испытали и Вы. Я очень подробно ознакомился с присланными мне Халмурадовым материалами и вынужден был признать, что мы с Вами чуть-чуть поторопились с выводами. Я имею в виду Вашу кандидатскую диссертацию. В науке всякое случается, ошибки и просчеты неизбежны, и если кто-то берет на себя ответственность исправлять чьи-то ошибки, то это надо только приветствовать. И по возможности помогать...»

Карима-апа нервно рассмеялась и откинулась в кресле. Первым ее желанием было скомкать письмо и швырнуть его в корзину, не дочитав; бумага жалобно зашуршала, Карима-апа расправила листок и положила перед собой.

«...Премного буду Вам обязан, если время от времени Вы будете оповещать меня о результатах эксперимента, который крайне заинтересовал не только меня, но и других сотрудников нашей кафедры...»

Карима-апа резко встала и прошлась из конца в конец по кабинету, похрустывая пальцами. На глаза ей попались белеющие на столе чайник и пиала. Налила в пиалу не успевшего еще остыть чаю и отошла с ней к окну... Перед глазами возник Камал Нурбаев, широкоплечий, высокий и чуть сутуловатый от многолетнего сидения за лабораторным столом. В работе над диссертацией он оказал ей неоценимую помощь, не от-

казывал ей в поддержке и в самые критические моменты в ее жизни, давал мудрые советы, которым она неукоснительно следовала, а то и просто выручал... И ведь не кто иной, как он, Камал Нурбаев, всячески поддерживал в ней уверенность в том, что она на правильном пути. А что же теперь?..

Ах, да, Шерали Халмурадов тоже его ученик! Она совсем упустила это из виду. Ну и пройдоха этот Халмурадов, заручился-таки его поддержкой. Как же ей в этой ситуации поступить? Пренебречь мнением такого именитого ученого вряд ли будет разумно, даже ей, полноправной хозяйке института. Как же выйти достойно из создавшегося положения? Так, чтобы и шашлык поджарился, и вертел не сгорел?.. Пожалуй, сначала надо попытаться убедить Камала Нурбаева, что предприятие Шерали лишь с большой натяжкой можно назвать «экспериментом», это скорее похоже на игру в науку.

Она вернулась к столу, села в кресло, и, поближе придвинув его, достала из выдвижного ящика лист бумаги.

В это время дверь в кабинет приоткрылась, и показалась пышная шевелюра Зияхана.

— Простите, Карима Музаффаровна, я на одну минутку, если позволите...

Карима-апа отложила ручку и сняла очки. Губы ее были плотно сомкнуты, от них разбегалась сеточка морщин. В потемневших глазах проглядывало недовольство. Только тебя сейчас и не хватало — читалось в ее взгляде.

— Карима-апа, единственная просьба...— занскиваяще начал Зияхан, медленно приближаясь на пружинящих ногах и странно жестикулируя руками — будто мыл их под краном. Он был чем-то крайне взволнован.

— Я вас слушаю,— сухо сказала Карима Музаффаровна, оглядев Зияхана с головы до ног.

Его трясущаяся нижняя губа, растерянный взгляд чуть раскосых, но довольно симпатичных и, пожалуй, по-детски наивных глаз вызвали в ней сейчас не сочувствие, а раздражение. А ведь всегда питала к этому парню симпатию, считала его одним из самых исполнительных. Наверное, он и с крыши бы прыгнул, если бы она повселеда. Дильбар сможет им вертеть, как захочет.

— Мой оппонент Левиев шубу наизнанку выворачивает, чтобы на меня надеть!— сорвался на фальцет Зияхан.— Не знаю, чем я ему не угодил. Или кто-нибудь

насплетничал обо мне. А иначе зачем бы ему на мне зло срывать...

— С чего вы взяли, что он на вас зол?

— Он вернул мне работу. Сказал, сырая. Не может она быть сырой, я ее уже столько лет пеку. Вы и сами это знаете. И все мои эксперименты полностью подтверждают ваши выводы...

Услышав последние слова Карима Музаффаровна поморщилась и хлопнула о край стола ладонью:

— Конкретно! Чего вы хотите, конкретно?

— Скажите Левиеву, чтобы он соблюдал объективность.

Карима-апа вздохнула и после паузы произнесла:

— Сказать-то я могу... Однако, боюсь, чем объективнее он будет, тем труднее придется вам. Лучше посмотрите-ка свою работу еще раз. По-моему, в ней слишком много общих слов. Об этом говорилось еще на прошлом обсуждении.

— Да я бьюсь над своей темой три года! Три года!..

— Не вы один. И я изо дня в день делаю одно и то же, одно и то же!.. И конца этому не видно,— проговорила Карима-апа упавшим голосом и облокотилась о стол, закрыв ладонями лицо и массируя кончиками пальцев виски, в которых упруго пульсировала кровь.

Когда Карима-апа откинулась на спинку кресла и открыла лицо, Зияхана в кабинете уже не было. Она облегченно вздохнула. Что еще могла она сказать молодому аспиранту? Что диссертация его в сущности утратила смысл?.. В своей диссертации он вскользь упоминает об эхинококкозе... Придется посоветовать: пусть развивает именно эту линию. Работу так и можно будет назвать: «Внедрение в практику усовершенствованных методов борьбы с эхинококкозами человека». Увы, ему на это потребуется еще не один год. Хватит ли у него терпения?.. Как любил повторять Камал Нурбаевич: «Дорогу осилит идущий!..»

Снова представила она себе Камала Нурбаева, его улыбчивые зеленые глаза, пыливый взгляд из-под кустистых седых бровей. Вспомнила себя, какой была в то время... Молоденькая, совсем еще девушка, хоть и была замужем и имела школьницу-дочь. Камал-ака помог ей уверовать в свои силы... А когда после защиты диссертации робкая, неуверенная в себе, взволнованная, она пыталась найти слова, с помощью которых могла бы выразить свою благодарность, он задержал ее руку

в своей и сказал: «Помогать своим ученикам — долг каждого ученого, и все мы надеемся, что ученики наши пойдут дальше нас, и если к сделанному нами добавят они хотя бы крупицы нового — мы тоже будем испытывать чувство благодарности. И что еще очень важно — это всегда помнить о чувстве долга перед собой, временем и обществом». Хорошо запомнила эти его слова. До сих пор звучит в ушах его спокойный чуть хриловатый голос.

Карима Музаффаровна взяла ручку и стала писать.

*«Многоуважаемый Камал Нурбаевич!*

Только что получила Ваше письмо. Спешу сообщить, что повода для беспокойства относительно эксперимента Ш. Халмурадова у Вас не должно возникать. Его эксперимент пока в начальной стадии и, видимо, продлится не один месяц. В настоящий момент было бы опрометчиво делать какие-то прогнозы. За экспериментом прослежу сама. Буду держать Вас в курсе. Приятно было узнать, что наши ленинградские коллеги проявляют интерес к работе нашего института...»

Карима Музаффаровна справилась о здоровье своего наставника, полюбопытствовала, над какими проблемами он сейчас работает, попросила кланяться общим знакомым, перечислив их поименно. Надписав на конверте адрес, заклеила и вызвала, нажав кнопку, секретаршу.

— Отправьте это письмо сегодня же,— распорядилась она.

Карима-апа с облегчением вздохнула. Будто гора с плеч. Затем придвинула к себе откидной календарь, на котором было по пунктам записано все, что она должна была успеть сделать сегодня...

К вечеру погода переменилась, на небо набежали тучи, сделалось сумеречно, и в кабинете пришлось рано включить свет. По всему фасаду института из всех окон лились потоки света, не желая уступать зелень раскинувшегося напротив сада темноте. Но вот одно за другим окна стали гаснуть, чаще захлопала дверь парадного входа. Люди в одиночку и группами направлялись по главной аллее к воротам и спешили к автобусной остановке.

Карима-апа, с головой окунувшись в работу, не заметила, как настенные часы пробили шесть. Когда



стрелки переместились на четверть седьмого, на столе заверещал телефон. Она сняла трубку.

— Мама, ты еще посидишь? Или домой?..— раздался голос дочери.

— Ого!— сказала мать, глянув на часы.— Не заметила, как и день прошел! Поедем домой, дочка. Я сейчас спущусь.

Карима-апа позвонила сидящему в фойе вахтеру и велела передать шоферу, что сегодня она не нуждается в его услугах. Быстро привела в порядок стол, надела белое пальто, и, подойдя к овальному зеркалу, поправила на шее кремовый шелковый шарф. Оглядев еще раз кабинет, выключила свет и вышла. Редко у нее выдавались такие дни, как сегодня: никуда не вызывали, никто не нагрянул ни перенимать опыт, ни с какой-либо проверкой. Она успела сделать даже многое из того, до чего вот уже вторую неделю никак не доходили руки.

Дильбар уже сидела в машине и прогревала двигатель. Карима-апа заняла место рядом. Машина плавно тронулась, и они покатали по знакомым улицам, которые вечерами обретали почему-то праздничный вид. Иначе выглядели и бьющие высоко вверх фонтаны, и кроны деревьев, пронизанные светом круглых матовых фонарей, и фасады домов со светящимися окнами, и высокие стены древнего Регистана, ярко освещенные прожекторами.

Карима-апа ласково поглядывала на дочь, по сосредоточенному лицу которой иногда пробегала тень. Ей нравилось, что Дильбар сама водит машину. Любуясь дочерью, Карима-апа видела в ней себя, свое отражение. До семи лет Дильбар жила у бабушки, ее и мамой стала называть. А Карима-апа была поглощена учебой, сначала в институте, потом в аспирантуре. За дочь была спокойна, старики в ней души не чаяли. И Дильбар к ним сердцем прикипела. Потом с трудом привыкла к тому, что «мама»— это бабушка, а настоящая ее мать— молодая красивая женщина, часто привозившая ей подарки из Москвы и Ленинграда. Ее она называла апой — старшей сестрой.

В тот год, когда Дильбар поступила в институт, умер ее отец. Трудно передать, что пережила тогда Карима-апа. За одну неделю сделалась, как тростиночка, от ветра ее шатало. Эх, лучше не вспоминать!..

Дильбар уже двадцать четыре. А давно ли носила ее на руках? Течет время, как река, не остановить. И,

наверное, недалек — кто знает! — тот день, когда Карима-апа останется в большом доме одна. И ничего тут не поделаешь, ничего не изменишь. Недаром в старину говорили, что девушка — это камень пращи...

— Дильбар, — тихо сказала Карима-апа. — Утром ты не ответила на мой вопрос?

— На какой? — удивленно глянула на нее дочь, в самом деле успев позабыть, о чем у нее спрашивала мать утром.

— Не притворяйся. Мне бы хотелось узнать, почему у тебя кое из-за кого сердце болит? Может, ты... гм... влюбилась в него? — спросила она и чуть было — не успея она выставить перед собой руки — не ударилась лбом о переднее стекло.

Дильбар пришлось резко нажать на тормоз, чтобы не наскочить на едущую впереди машину.

— В кого это?

— Прекрасно знаешь, кого я имею в виду. Будь он неладен, этот возмутитель спокойствия...

Дильбар коротко рассмеялась и прибавила газу. Машина стремительно понеслась вперед, лавируя между «Жигулями», «Москвичами», грузовыми автомобилями. Мать умолкла, чтобы не отвлекать внимания дочери от дороги. Опять не получила ответа на свой вопрос. Неспроста это, ой, неспроста...

\* \* \*

«...Тридцать шесть... Тридцать семь... Уф-ф», — вздохнул Шерали, опершись левой рукой о стену, а правой достал из кармана платок и вытер потное лицо.

Зеркально-гладкие купола по-прежнему разбрызгивали во все стороны горячие лучи. Чтобы укрыться от них, как от разлетающихся рикошетом стрел, Шерали спешил к узкому промежутку между стенами, заполненному спасительной тенью. Рельефные узоры на стенах неожиданно опять стали расплываться. Опять поблекло небо, а сам он оказался в облаке густого тумана. Шерали машинально потер глаза.

Сверху донесся голос Дильбар:

— Шерали-ака! Все считаете?

— Да, Дильбар, считаю. Пока вы обойдете все гробницы, я поднимусь. А потом вместе спустимся вниз.

— И еще раз пересчитаем! — засмеялась Дильбар.

— Ни за что!

— Почему?

— Получится другое число.

— А так останется иллюзия, что вы правильно сосчитали, а значит, проникли в тайну этих ступеней?

Конечно, приятнее утешаться такой иллюзией, нежели признавать свое бессилие. А сколько в мире еще неразгаданных тайн!

— И, по-вашему, человечество не скоро еще их разгадает?

— Думаю, что да. И отчасти оттого, что человек расточителен. Обретает знания крохами, а теряет глыбами. Много секретов унесли с собой те, кто строил эти гробницы и сооружал лестницу, ведущую к ним.

— И каждая ступень ее приближает нас к вечности. У вас нет такого ощущения?

Шерали кивнул. И стал медленно подниматься. Вон она тень. Совсем близко. Скорее бы добраться до нее. «...Тридцать восемь... Тридцать девять...»

Наверное, ему все-таки не следовало выходить из дому. Надо было потерпеть еще. Набраться мужества и потерпеть. Сколько же недель он провел в одиночестве? Ко всему, вероятно, может человек привыкнуть, кроме одиночества. Особенно, когда угнетен тягостными, мрачнее мрачного мыслями и болезнью. И не вынести бы Шерали этого испытания, если бы не Дильбар.

Однажды Шерали заночевал с друзьями в горах. Еще до рассвета они поднялись на вершину, усталые, задыхающиеся, и оттуда наблюдали, как восходит солнце. Это было незабываемое зрелище...

Почему-то восход этот, переполнивший их восторгом и ощущением счастья, возникает перед глазами всякий раз, когда Шерали вспоминает тот день, когда в его убогое жилище впервые вошла Дильбар. Но он еще не говорил ей об этом. Может, и не скажет. И это тоже останется тайной. Его личной тайной.

...Оставив заявление об уходе в приемной директора, Шерали не появлялся на работе более недели. В институте с быстротой молнии распространились слухи о том, что Карима-апа вынудила его это сделать, что он безнадежно болен, и вообще дела его крайне плохи. Об этом ему рассказала Дильбар. Он собрался с духом и отправился в институт.

Многие при встрече с ним отводили глаза, некоторые, поздоровавшись, старались не задерживаться — не дай

бог их увидят вместе приближенные Каримы-апы, ведь сразу донесут, еще и от себя добавят с три короба. Лучше не давать директору повода думать, что ты с Шерали заодно, хотя в душе они ему и сочувствовали.

У Шерали, как и у всякого другого, в огромном коллективе института были, конечно, недоброжелатели. Если прежде они прятали свою неприязнь за вполне доброжелательной улыбкой, то сейчас это было излишне, теперь уже незачем было скрывать свое истинное отношение к нему, гораздо выгоднее было сейчас эту неприязнь подчеркивать. Проходя по коридору, Шерали слышал за спиной перешептывания о том, что «уважаемая Карима Музаффаровна прекрасно разбирается в людях, она и прежде не терпела выскочек».

Шерали застал в лаборатории Вали-ака. Встретились они тепло, старик долго тряс его руку, обхватив ее сухонькими узкими ладонями, расспрашивал о здоровье.

— Лучше скажите, как вы себя чувствуете, Вали-ака?— спросил Шерали, тронутый сердечностью заведующего.

— Эх, сынок, старое дерево скрипит да не ломается. А молодое бывает хрупкое. Так что берегите свое здоровье, пока оно у вас есть. Берегите!

И принялся корить Шерали за то, что он с такой поспешностью написал заявление. Мог ведь подождать его, чтобы посоветоваться, незачем было пороть горячку. Да и сейчас, если Шерали хочет, они пойдут вместе к директору, поговорят. Шерали только нужно отказаться от задуманного, вот и все. Всем известно великодушие Каримы-апы, она сама порвет его заявление, и все образуется. Ведь что ни говори, а совсем неплохо работалось им вместе, и ни на кого Вали-ака не мог положиться так, как на Шерали. Поистине Шерали был его правой рукой. А сейчас... Зияхан то и дело берет отгулы. Откуда они у него набрались, один аллах ведет. И устраняется от дел именно тогда, когда в особенности много работы. Вот и сегодня позвонил и уведомил, чтобы его не ждали. С Каримой-апой, видите ли, договорился, она разрешила.

— А Дильбар?— спросил Шерали.

— Она здесь. Я послал ее в рентгенкабинет за снимками. Спасибо ей, хоть она сочувствует мне, старику. Видит, как мне трудно,— Вали-ака отвернулся и, прикрыв ладонями рот, долго кашлял. Затем, утирая плат-

ком выступившие на глазах слезы, проговорил:— Мне бы денек-другой дома посидеть, но вот пришлось выйти. Может, все-таки сходим к директору, а? С руководством лучше все-таки не спорить, а стараться ладить. Иначе всегда рискуешь остаться в дураках. Так было, так будет. И ничего тут не подделаешь. Пойдем, сынок, к Қариме-апе!

Шерали покачал головой.

— Тебе, сынок, у Зияхана бы поучиться, его осторожности.

Видимо, Вали-ака не на шутку рассердился на Зияхана за то, что он то и дело его подводит. Стал в сердцах говорить о том, как третьего дня Зияхан разоткровенничался тут, что не поддался его, Шерали, уговорам вместе работать над новой темой. «Мужчина должен начатое дело доводить до конца!— говорил Зияхан.— Я старался убедить в этом Шерали. Но такой уж он человек; то за одно хватается, то за другое». Было ясно, для чьих ушей эти рассуждения предназначены. Но Дильбар никак не реагировала, делала вид, что поглощена работой и ничего не слышит. И тогда Зияхан обратился прямо к ней: «Представляете, Дильбархон, как разгневалась бы ваша мамаша, поддайся я его уговорам!..» А Дильбар стремительно пересекла помещение и вышла, оглушительно хлопнув дверью. Вали-ака это показалось очень странным. Потому что раньше отношения между Зияханом и девушкой были совсем другие. Он, Вали-ака, прожил долгую жизнь, и на такие вещи глаз у него наметан. А Шерали не замечал ничего такого, когда Вали-ака отсутствовал? При нем они не ссорились?

Нет, Шерали ничего такого не замечал.

Он вынул из ящика своего стола папку с бумагами и, распрощавшись с аксакалом, ушел.

Вали-ака тяжело, чувствуя, что колени не гнутся, опустил на стул, задумался...

Едва пришел Вали-ака позавчера на работу, посыпались на него новости одна хуже другой. Только миновал проходную, встретился ему профессор Махкамов. Остановился. Махкамов страдал одышкой. Ему нелегко было носить свое тучное тело, и он опирался на палку. Он начал рассказывать, делая большие паузы, о том, как разгневанная Қарима-апа указала на порог сотруднику лаборатории Халмурадову. Тут подошел еще кто-то из сотрудников, и Вали-ака поспешил откланяться.

Но не успел сделать и двадцати шагов, его окликнул доцент Эргашев. Пришлось опять остановиться. Тот приближался, заранее протягивая руку, и еще до рукопожатия сообщил: «Пришлось-таки вашему Халмурадову распрощаться с должностью!..»

Почти теми же словами встретил его и Зияхан. Потом уже, спохватясь, стал расспрашивать о здоровье.

И кто бы в этот день ни заговаривал с Вали-ака о Шерали Халмурадове, в их словах ему чудился укор, намек, что именно он привел в институт этого совсем еще зеленого юношу, взял к себе в лабораторию. И Карима-апа, наверное, хорошо это помнит.

Разве мог Вали-ака предполагать, что всегда спокойный и покладистый Халмурадов так его подведет. Если б знал, наверное, не взял бы! Поди теперь объясни это Кариме-апе. Теперь всякий раз при встрече с ней придется краснеть. Не избегать же ему из-за случившегося встреч с нею, хотя чем реже видишься с начальством, тем спокойнее живется. К тому же по возвращении из отпуска или после продолжительной болезни у них в институте принято первым делом заходить к директору, справляться о ее самочувствии, демонстрировать свое, тем самым как бы заверяя ее в том, что ты готов трудиться в полную силу. Вали-ака направился сначала к парадному входу главного здания, но, поразмыслив над своим незавидным положением, постепенно замедлил шаги и повернул к лаборатории. Не хватило решимости предстать перед директором. Наверняка она высказала бы ему свое недовольство. А если бы и нет, то все равно подумала бы... Это он прочел бы в ее взгляде, если бы она даже молчала.

«И Дильбар что-то задерживается со снимками,— с раздражением подумал Вали-ака.— А без них я не могу дать полного заключения. Там подождешь, здесь подождешь, так время и проходит». Он придвинул к себе внутренний телефон и позвонил в рентгенкабинет. Подождал, но трубку никто не взял. Позвонил в отдел эпидемиологии. Опять никого. Куда это они все запропастились? Сказать, что бегают по магазинам — институт вроде бы далеко от центра, где сосредоточены все главные магазины. Одни по часу курят в коридоре, другие просто точат лясы, перебивая косточки знакомым. Поди угадай, где Дильбар сейчас может быть.

Обычно по пути на работу Вали-ака покупал в киоске две-три газеты. В лабораторию он приходил раньше всех, когда большинство сотрудников института, наверное, еще только садилось за завтрак. Поэтому у него было достаточно времени полистать прессу и, если попадется что-нибудь интересное, почитать. Вооружившись очками, он подсаживался поближе к окну и разворачивал свежие, еще пахнувшие типографской краской, листы.

Страницы газет пестрели тревожными заголовками: «Землю от пожара уберечь», «Длинная дубинка» агрессивной политики», «Вопреки оптимистическим прогнозам». Это были сообщения о событиях в «горячих» точках планеты. Странно, однако, устроен мир: кто-то трудится, не щадя себя, над тем, чтобы оберегать людей от болезней, чтобы долголетие стало не исключением из правил, а обычным явлением,— Вали-ака был убежден, что рано или поздно наступит время, когда будет считаться противоестественным, если человек прожил менее ста лет,— а на другом конце планеты кто-то ломает голову над тем, как погубить этот мир.

В «Медицинской газете» с большой статьей выступал известный хирург, активный участник движения «Врачи — за разоружение».

Углубившись в чтение, Вали-ака не замечал, как бежит время. За окном слышались голоса. Солнечные лучи, пронизывая кроны деревьев, обстреливали окна, и в помещении постепенно становилось душно.

Вдруг дверь с шумом распахнулась. В лабораторию влетел Зияхан. Лицо распаренное, глаза выпучены, будто за ним кто-то гнался.

— Видали?— бросил он с порога, забыв даже поздороваться.— На служебной машине пожаловал!..

Вали-ака, наклонив голову, с недоуменном разглядывал его поверх очков, сползших на кончик носа.

— Во-первых, здравствуйте, дорогой коллега!..

— О-о, Вали-ака, сала-а-ам!— вытянув руки, Зияхан, просияв, бросился к нему и затряс маленькую сухую руку заведующего.— Рад вас видеть! Надеюсь, окончательно поправились?..

— Я тоже надеюсь... А кто там пожаловал? Комиссия, что ли, какая?

— Комиссия, ха-ха... Шерали! Представляете, на

директорской «Волге» прикатил. Говорят, сама Қарима-апа за ним своего шофера послала!

— Да что вы говорите?!— удивился Вали-ака, и газеты, соскользнув с его колен, упали на пол.

В то время, как в институте все еще кипели страсти, одни шушукались, другие громко спорили, третьи обвиняли Халмурадова, четвертые защищали его, вдруг произошло нечто странное, попросту невероятное. Никто и предположить не мог, что такое может произойти.

Ранним утром, едва придя на работу, Қарима-апа позвонила в гараж и велела срочно прислать машину. Вскоре шофер уже звонил от вахтера в приемную докладывая секретарю о том, что машина ждет у подъезда.

Всего через минуту те, кто, стоя у окон, уже гадали, куда это собралась Қарима-апа, увидели, что директорская голубая «Волга» стремительно выехала из институтского двора. Но Қаримы Музаффаровны в ней не было. И это, может быть, не показалось бы странным, если бы машина вскоре не вернулась... Кто-то в это время курил у открытой форточки, кто-то продолжал бесцельно смотреть в окно, а кто-то, самый внимательный, рядом с водителем, по правую его сторону увидел... Шерали. Когда он от растерянности тихим голосом сообщил об этом присутствующим, все прилипли к окнам, грозя выдавить стекла.

Из остановившейся напротив парадного подъезда голубой «Волги» в самом деле вышел Шерали. Когда он поднимался по ступенькам, предупредительный шофер обогнал его и открыл перед ним массивную дверь.

Шерали шел по коридору, ломая голову над причиной столь срочного вызова. Может, поступил приказ из министерства относительно его нового назначения?.. Не могут же они силой заставить его поехать.

Войдя в приемную, он машинально одернул пиджак, поправил галстук. Увидев его, секретарша, как всегда, занятая своими ногтями, кивнула на обитую коричневым дерматином дверь:

— Директор вас ждет.

Настроив себя по-боевому, Шерали вошел. Қарима-апа, что-то писавшая до этого, положила ручку. Кабинет ее на этот раз показался Шерали особенно огромным, длинным. Пока он приближался, директор не сводила с него глаз, словно пытаясь отыскать у него на лице какие-либо признаки болезни. И вдруг улыбнулась.



Она была приветлива. Поднялась с места, подала руку. Потом показала на стул.

Редко кому улыбалась Карима-апа в своем кабинете. Когда вела прием, была со всеми строга, ее черные брови почти никогда не разглаживались. Когда возникла необходимость идти к ней, чтобы решить какие-то неотложные вопросы, заведующие отделов оттягивали свой визит или посылали своих заместителей. Видимо, не без оснований поговаривали, что нужно иметь львиное сердце, чтобы войти к ней в кабинет, если ты не относишься к числу тех, к кому она питает личную симпатию. У нее редко когда хватало терпения выслушать посетителя до конца. «Понятно,— перебивала она говорящего.— Мы подумаем. Рассмотрим».

А сегодня Шерали готов был поклясться, что такое о директоре могут говорить только недоброжелатели. Лицо ее сияло, с губ не сходила улыбка. Она прямо излучала доброту. «Ба, да в том ли самом месте взошло сегодня солнце?»— ошеломленный подобным приемом, подумал Шерали, в ответ на ее расспросы о самочувствии машинально кивая и бормоча:

— Благодарю... благодарю...

«Лишь бы благополучно все это кончилось...»

— Я только вчера узнала от Дильбар, что вы себя неважно чувствуете. Как же так? Никого из сослуживцев не оповестили...

— О каких сослуживцах вы говорите, если я ушел с работы?— проговорил Шерали, мысленно усмехаясь.

— Вы подали заявление, да. Но приказа еще не было.

Шерали отвел в сторону взгляд и пожал плечами.

— Нехорошо, нехорошо,— мягко журила его Карима-апа.— Коллектив ценит вас как работника, и вы должны относиться к нему с большим уважением. Да, да. И со мной могли бы быть более откровенным.

— Недавно я был с вами куда как откровенным...

— Ну, ладно, я на вас не сержусь.

Карима Музаффаровна встала, обошла массивный письменный стол и остановилась рядом с ним.

— И все-таки я не могу назвать ваш поступок иначе, чем неосмотрительным. Необходимо, чтобы вас наблюдал врач. Постоянно. Выглядите вы неважно,— Карима Музаффаровна опять заняла свое место.— Однако почему вы не интересуетесь, зачем я вас вызвала?

— Да я уже ломал над этим голову,— усмехнулся Шерали.

— Вы в состоянии принять участие в небольшом совещании? Я думаю, оно продлится час, не более.

— Конечно, Карима Музаффаровна. Если вы меня вызвали, наверное, это нужно.

Карима Музаффаровна нажала на кнопку. В дверях появилась секретарша.

— Пригласите ко мне заведующих лабораториями и отделов.

Та кивнула и вышла.

Не прошло и десяти минут, а в директорском кабинете уже собрались ведущие специалисты института. Входили с улыбками во все лицо, раскланивались с директором. Шерали или вовсе не замечали, или ограничивались коротким кивком. Занимали места за длинным столом, приставленным торцом к директорскому, и каждый стремился оказаться поближе к Кариме-апе. Только Вали-ака подошел и пожал Шерали руку, пробормотав: «Ну, как вы себя чувствуете, братец?..»— и тут же, будто вспомнив, чем это чревато, быстро проследовал в угол кабинета, где оставались еще свободные стулья, и сел поодаль.

Карима Музаффаровна сидела, откинувшись на спинку кресла, и оглядывала присутствующих. Наконец нетерпеливо спросила:

— Ну, что, кажется, все?

Воцарилась тишина. Все уставились на Кариму Музаффаровну, спеша узнать, что же послужило поводом для столь экстренного совещания. И, разумеется, каждый объяснял это по-своему; кто-то в душе уже водружал надгробный камень на чьи-то научные изыскания или карьеру, а другой предполагал, что сегодня кто-нибудь — быть может, он!— будет превознесен до небес. Внимательный взгляд директора скользил по тем лицам, которые всегда оставались спокойными и бесстрастными, заходила ли речь о чьих-то успехах или провалах. Эти солидные мужи, в большинстве своем успевшие поседеть, а то и облысеть, привыкли к тому, что первой высказывала свое отношение к рассматриваемому вопросу сама Карима-апа. Сейчас они ожидали того же.

— Вали Тилласвич! Что вы можете сказать об эксперименте Шерали Халмурадовича?— неожиданно спросила Карима-апа.

Вали-ака вздрогнул, растерялся, он явно не знал, что ему сказать. «Ага, вот и началось!— промелькнуло у него в голове.— Заметила, что я с ним поздоровался. Лучше б я к нему не подходил». Он медленно поднялся и развел руками.

— Как вы относитесь к его инициативе?— повторила свой вопрос Карима Музаффаровна, не сводя с него глаз.

— Я только что после болезни, Карима Музаффаровна. И еще недостаточно осведомлен о том, что тут без меня делалось. Без меня, повторяю!— взволнованно заговорил Вали-ака.

— А разве до вашей болезни Халмурадов не говорил с вами о своих планах?— брови Каримы-апы грозно сдвинулись.

— Э-э, вел какие-то пустые разговоры о каком-то эксперименте. Кто же принимал его высказывания всерьез!..

— Тут что-то не так,— усмехнулась Карима-апа.— Сотрудник вашей лаборатории длительное время готовился к серьезному эксперименту, затем приступил к нему, а вы говорите об этом, как совершенно посторонний человек. Как это понимать?

— Я не раз его предупреждал, просил, наконец...— окончательно растерялся Вали-ака.

— О чем?

— Ну... чтобы не занимался ерундой.

— Это ваша точка зрения?

— Да...

— Подкрепите ее в таком случае какими-либо доводами.

Вали-ака, словно школьник, ждущий подсказки, оглядел присутствующих. Однако на непроницаемых лицах коллег трудно было что-либо прочесть. Одни, уткнувшись в блокнот, что-то писали, другие сидели, уставившись в пол, третьи изучали потолок.

— Не только я так считаю,— промямлил Вали-ака.

— По-вашему, это достаточно веский аргумент?

— По мнению опытных специалистов...

— Любое мнение должно на чем-то основываться,— перебила его Карима-апа.— У вас такие основания имеются?

— Какие тут могут быть основания, когда речь идет, собственно говоря, ни о чем. Утверждения Шерали Халмурадовича противоречат теории, проверенной и

перепроверенной многолетней практикой! И всему тому, о чем вы сами, Карима-апа, в своей работе о...

— Садитесь! С вами все ясно,— резко сказала Карима Музаффаровна и, поблескивая стеклами очков, обвела строгим взглядом собравшихся:— Товарищи! Молодой ученый нашего института стоит, можно сказать, на пороге нового открытия. А вам, умудренным опытом аксакалам, недосуг всерьез поинтересоваться, чем же наш молодой коллега на самом деле занят и не нуждается ли он в какой-то помощи. Если кто-то высказывает неожиданные мысли, непривычные для нашего слуха, это почему-то сразу нас отпугивает...

Ученые мужи заерзали на своих местах. Слова Каримы-апы сразу изменили ход их мыслей — будто на полном ходу карусель вдруг остановилась и давай крутиться в обратную сторону.

Едва Карима Музаффаровна умолкла и размахисто записала что-то на краешке откидного календаря, вскинул руку ее заместитель Саттар Мукимович.

И стал говорить о том, что, конечно же, Шерали Халмурадов, хоть молод, но бесспорно талантлив. А главное — настойчив в достижении своей цели. Не говоря уже о редком самообладании и мужестве.

«Я его привел в институт, я!..» — бормотал себе под нос Вали-ака, ожидая момента, когда Мукимов умолкнет, чтобы самому вставить слово. Он ослабил узел галстука и поглядывал то на сидящих справа, то на сидящих слева, ища их сочувствия, порываясь им что-то объяснить, и беспрестанно повторял: «О аллах, спаси от ее гнева! Не знаешь, что она выкинет через минуту...»

Карима-апа видела, как сидящие вблизи нее аксакалы, наклоняясь друг другу, обмениваются репликами, кивают, как бы подтверждая слова ее заместителя. Но ведь ей прекрасно известно мнение каждого из них об эксперименте Халмурадова. Впрочем, она и сама, руководитель такого крупного научно-исследовательского института, не лучше. Ведь и у нее до последнего момента было резко отрицательное отношение и к Халмурадову, и к затеянному им эксперименту. Имеет ли она теперь моральное право кого-то осуждать?

Взгляд Каримы-апы задержался на Шерали. Вспомнилось тесное помещение лаборатории, куда она заглядывала не слишком часто. В тот день зашла, будто случайно. А на самом деле хотелось поставить на мес-

то, как ей казалось, зарвавшегося молодого человека. Он же, вероятно, в тот момент как никогда нуждался в добрых напутственных словах, которые бы его окрылили. Но она буквально растоптала еще не успевший прорасти росток его надежд...

— Сколько времени прошло с того момента, как Шерали Халмурадович приступил к эксперименту?.. На это не может ответить даже заведующий лабораторией товарищ Тилляев!— продолжал хорошо поставленным голосом Саттар Мукимович.— Спасибо нашей уважаемой Кариме Музаффаровне. Это она, случайно узнав о том, что у Халмурадова появились первые признаки заболевания, срочно послала за ним человека. Ведь Халмурадов сознательно заразил себя аскаридозом, новой его разновидностью, чтобы скрупулезно исследовать течение этой опасной болезни. А всем нам, выходит, и дела нет до этого?

— Это действительно сенсация!— поддакнул кто-то.

Саттар Мукимович повернулся к Кариме Музаффаровне:

— Благодаря вам, Карима-апа, в нашем институте давно установилась традиция — помогать молодым инициативным ученым. Поможем и Халмурадову.

— Вот и давайте не нарушать наших традиций,— сказала Карима Музаффаровна.— Для того я вас и пригласила сегодня, чтобы еще раз напомнить об этом.

Шерали верил и не верил в происходящее... Когда совещание только началось, Шерали сидел ни жив ни мертв, у него было единственное желание — стать маленьким, неприметным и незаметно исчезнуть из кабинета... Потом, затаив дыхание, вслушивался в то, что говорила Карима-апа, и мучился из-за своей неспособности разгадать, что же за ее словами и внешней доброжелательностью кроется, и какой неожиданный оборот примет ее выступление в конце. Однако с каждой минутой становилось яснее, что на сей раз Карима Музаффаровна обойдется, кажется, без разноса. Что же произошло с ней, почему она так неожиданно сменила гнев на милость?.. У Шерали было ощущение, будто внутри у него, постепенно расслабляясь, распрямилась предельно сжатая пружина. Немного успокоившись, он стал рассматривать сидящих вокруг стола и вдоль стен профессоров, доцентов, старших научных сотрудников. На лицах некоторых читал он откровенное недоумение.

И Саттар Мукимович... Кому это он так приветливо улыбается и кивает? Неужели мне?.. Шерали на всякий случай тоже улыбнулся и кивнул в ответ.

Шерали вспомнил своего учителя и наставника Камала Нурбаева, который сравнивал таких людей с облаками. Облака не могут ни двигаться самостоятельно, ни обрести какую-либо форму. Так и эти люди лишены самостоятельности — ни шагу ступить, ни слово свое сказать. Словно бы они чужие тени...

Нурбаев любил повторять, что настоящий ученый, хоть и не может обойтись без дорог, проторенных другими, но в конце концов обязательно выходит на целину, где оставляет собственные следы, а по ним следуют другие, и спустя какой-то срок они тоже выйдут туда, куда еще не ступала ничья нога. Идти по бездорожью всегда трудно. И к этим трудностям надо готовить себя заранее.

Шерали окончательно успокоился. Собравшиеся продолжали переговариваться между собой, и поглядывали в его сторону. Одни с удивлением, другие с сочувствием. В глазах у Шерали временами темнело. Но ему не хотелось, чтобы кто-нибудь заметил, что ему плохо. Издалека доносился голос Саттара Мукимовича, а то и вовсе пропадал. Голова словно свинцом налита. Во рту пересохло. Шерали то и дело утыкался взглядом в хрустальный графин на столе. Рядом бокал. Нестерпимо хотелось пить.

Скорей бы уж кончилось это совещание. Однако хватит ли сил подняться?.. Уж как-нибудь... Лишь бы Карима-апа не попросила его выступить. Он сейчас и двух слов не свяжет.

В кабинете усилился гул голосов, задвигались стулья, все стали подниматься с места. Шерали не заметил, когда Карима Музаффаровна поблагодарила собравшихся и закрыла совещание. Кто-то дружески хлопнул его по плечу. Вали-ака. Лицо у него желтое. Видимо, не совсем еще оправился после болезни. Взгляд виноватый и улыбка тоже виноватая. Что-то говорит, но Шерали плохо понимает. И другие что-то говорят, жмут руку. Шерали улыбается, кивает. Кто-то берет его под руку. Вали-ака. Они вместе выходят из кабинета, идут по коридору, спускаются по широкой мраморной лестнице.

Во дворе прохладный ветерок овеивает лицо, и Шерали становится легче.

— Поздравляю вас, поздравляю. А помните, как вы в первый раз пришли к нам? Помните?

— Конечно, помню. Ведь это было не так давно, чтобы забыть.

— Если бы я не заболел, все было бы иначе! Я бы не дал вас в обиду,— говорил Вали-ака, шагая с ним рядом.— А то, что я хотел вас отговорить, так это... Мне было жалко, что вы столько сил потратили на предыдущую работу, и вдруг решили бросить. И столько времени пропало зря!

— Наверное, не зря все-таки. Иначе я не пришел бы к выводу, что надо начать все сначала.

Шерали открыл дверь и пропустил Вали-ака вперед, а сам остановился на пороге.

В лаборатории Дильбар была одна. Она обернулась и устремила на Шерали беспокойный взгляд.

— Здравствуй, Дильбар,— поздоровался с ней Вали-ака и, посмеиваясь, добавил:— Старого человека можно и не заметить, да?

— Ой, извините,— смутилась Дильбар.— Я забыла, что мы с вами сегодня еще не виделись.

— Ничего, ничего.

— Ну, как— спросила Дильбар, согнав с лица улыбку и опять устремив нетерпеливый взгляд на Шерали. В эту минуту она была удивительно похожа на мать.

— Велено продолжать эксперимент,— улыбнулся Шерали.— А кое-кого обязали не спускать с меня глаз, чуть ли не ежедневно подвергать обследованию. Так что у кого-то хлопот из-за меня прибавится.

Дильбар засмеялась, захлопала в ладоши и радостно спросила:

— У кого же, если не секрет?

— Шерали, наверное, хотелось бы, чтобы это были вы!— вставил Вали-ака, глядя на нее поверх очков.— Однако матушка ваша это дело доверила мне. А вы, если хотите, будете мне помогать. Для начала возьмите у него на анализ кровь.

Едва Дильбар успела справиться с этой процедурой, позвонили из рентгенкабинета:

— Можно Халмурадова?

— Да,— сказала Дильбар и передала ему трубку.

Его попросили срочно зайти и сделать снимки.

Он еще не успел одеться, как в кабинете раздался телефонный звонок. Трубку сняла медсестра.

— Да, у нас,— сказала она.— В кардиологический? Хорошо, передам.

Оказывается, его по всему институту разыскивал кардиолог.

Сделав Шерали кардиограмму, врач сказала, чтобы он зашел в соседний кабинет к терапевту.

Терапевт осматривала его долго и внимательно, постукивая ему твердыми пальцами ребра; выслушивала, прикладывая фонендоскоп к груди и спине, то велая глубоко дышать, то затанть дыхание; потом велела лечь на кушетку, подогнуть колени и стала старательно мять ему живот. Разрешив, наконец, одеться, несколько секунд она сочувственно смотрела на него серыми, увеличенными стеклами очков, глазами и, вздохнув, предупредила:

— Изрядно намучаетесь! Организму непросто бороться с аскаридозом. Конечно, если хотите, я вам выпишу лекарства...

— Не надо,— сказал Шерали.

Шерали знал, что самое трудное впереди. Состояние его будет день ото дня ухудшаться. Вечерами он будет записывать, скрупулезно припоминая, все свои дневные ощущения, а по утрам — как себя чувствовал ночью, какие мысли приходили в голову... И так, главное для него теперь — это прислушиваться к себе и своему организму, фиксировать малейшие отклонения от нормы, стараясь ничего не упустить.

...Он из последних сил поднимался в гору по крутому склону. Горячий встречный ветер, как кляп, забивал глотку и вызывал спазмы, не давая дышать, норовил столкнуть его назад, опрокинуть. Мокрая трава выскальзывала из-под ног. Шерали упал, покотился по камням вниз — и сорвался с обрыва... «А-а-а!» — вырвался глухой сдавленный крик. И он проснулся...

За окном серело утро. Хотелось пить. В холодильнике оставалась бутылка боржома, открытая накануне вечером перед тем, как лечь. Но будто какая-то страшная тяжесть придавила плечи, не давая ему встать. Он с трудом приподнял голову и ощутил в затылке острую боль, от которой потемнело в глазах. Долго лежал, не решаясь пошевелинуться, а когда опять открыл глаза, солнце заливало город горячим светом, прогоняя с улиц синюю прохладу, проникало в комна-



ту между раздвинутых штор и уже успело впечатать в противоположную стену еще одно окно.

Интересно, который час? По пути на работу мог зайти кто-нибудь из сотрудников. В последнее время они зачастили к нему. Шерали не любил, если кто-нибудь застал его в постели. Наверное, у него при этом был чересчур жалкий вид, ибо тут же начинались оханья да аханья.

Он радовался только приходу Дильбар. Он даже чувствовал тот момент, когда ее машина останавливалась у подъезда. Замерев, вслушивался, когда раздадутся на лестничной площадке шаги девушки, и спешил в прихожую открывать дверь...

— Что-нибудь ели?— спрашивала Дильбар с порога.

В считанные минуты она успевала вскипятить и заварить ему чай, приготовить бутерброды. Убедившись в том, что он сыт, уходила.

А он подходил к окну и смотрел, как она садится в машину и отъезжает.

Преодолев слабость и подступившую к горлу тошноту, Шерали медленно поднялся и нашарил ногами войлочные тапки. Облачился в чапан, перепоясался бельбагом и открыл форточку. Прохладным потоком в комнату хлынул свежий воздух. А вместе с ним и уличный шум: погромыханье проехавшего мимо грузовика, шарканье ног и говор торопящихся людей. Шерали прижался горячим лбом к стеклу. Нет, белых «Жигулей» не видно. Он стоял так и наслаждался прохладой, чувствуя, как в него вливается бодрость. Однако очень скоро он озяб и отошел от окна, так и не дождавшись ее машины.

На столе в беспорядке лежали пособия по паразитологии, эпидемиологии, гельминтологии. Он собрал их и поставил в шкаф. Поплелся на кухню. Приоткрыв крышку, заглянул в фарфоровый чайник — на дне темнела высохшая старая заварка. Надо бы заварить свежего чаю... И вдруг его пронзила острая боль под ложечкой — будто кто всадил нож по самую рукоять. Он схватился за живот, переломившись пополам. Чайник грохнулся на пол и разлетелся на куски. Ноги сделали ватными, пришлось ухватиться за край стола, чтобы не упасть. Шерали с трудом добрался до дивана и повалился на него, поджав колени. Его трясла дрожь. «Все!.. Все...— думал он.— Если через секунду не отпустит, то конец...» К его великой радости, боль постепен-

но стала ослабевать. Но даже когда она совсем прошла, он еще долго лежал неподвижно, боясь сделать хоть одно движение, чтобы не спровоцировать новый приступ. И впервые подумал: «Может, все-таки зря я это затеял?.. Наверное, права была Карима-апа, советуя прибегнуть к испытанному способу — экспериментировать на собаках. А я обрек себя на собачью жизнь... Вон в той аптечке целый арсенал всяких средств. Попринимаю три-четыре дня — и буду здоров.— Не отнимая от живота рук, он сел и спустил с дивана ноги.— А что скажет Дильбар? Ничего. Рассмеется только...— В ушах Шерали зазвенел ее смех, он увидел ее глаза, без веселых искорок, вместо них ironия и разочарование.— А Карима-апа? Уж она-то не преминет высказаться со всей откровенностью относительно Халмурадова и его неудавшегося опыта!.. А все остальные?.. Нет, на попятный идти поздно. Как говорится, взялся за гуж... Пока есть хоть капелька сил, надо держаться. Иначе и не стоило ничего затевать. Иначе недолго стать и посмешищем всего института...»

Шерали зашел в ванную. Стоя перед зеркалом, взбил кисточкой в пластмассовом стаканчике мыльную пену и стал бриться. Скулы у него выпирали, кожа сделалась бледной и сухой, как бумага. Он подмигнул своему отражению: «Ну, как, справимся, а?..— и заверил себя:— Справимся!» Затем поставил на плиту чайник и вынул из холодильника завернутую в пергаментную бумагу казы<sup>1</sup>. Купленная позавчера на базаре лепешка зачерствела — хоть о колено ломай. С хрустом надкусил ее. Хотелось пить. Аппетита не было, но сосало под ложечкой. Стоило проглотить хоть крошку, боль в животе унималась. Поэтому, уходя куда-нибудь из дому, ему приходилось класть в карман завернутый в бумагу бутерброд (уподобясь сердечникам, которые носят с собой валидол или нитроглицерин), а потом жевать, сидя в троллейбусе.

Сегодня он опять должен сдавать анализы. Скоро одиннадцать, пора выходить. Опять не успел прибрать в комнате. Даже посуду не помыл. Ладно, оставим это до вечера...

Воздух уже раскалился. В пыли купались воробьи. Говорят, это к дождю. Но на небе ни облачка. Дворник полил из ведра тротуар и медленно двигался навстречу

<sup>1</sup> Казы — колбаса из конины.

Шерали, махая вправо-влево длинной метлой. Шерали перешел на другую сторону улицы. Обогнав его, пробежала шумная ватага мальчишек в серой школьной форме с добротными ранцами и портфелями. Проводив их взглядом, Шерали подумал о своем детстве. Как он мечтал...— нет, не о мопедке и даже не о велосипеде!— об обыкновенном портфеле. Настоящем. До пятого класса он ходил в школу с тряпичной желтой, испятнанной чернилами, сумкой, которую ему сшила мать. А тот день, когда она купила ему клеенчатый портфель, с ремешком и крошечной пряжкой вместо металлического замка, запомнился на всю жизнь... Одежду ему мать шила сама. Это обходилось дешевле. Рубашки, брюки он носил до тех пор, пока они не начинали разлезаться. Мать зашивала, латала... Хоть бы что-нибудь сохранилось из тех вещей! Кроме единственной фотографии матери, с которой он сделал портрет и повесил над диваном, ничего не сохранилось.

Дойдя до перекрестка, Шерали подождал, когда загорится зеленый свет, и пересек центральную улицу. Троллейбуса, видимо, не было давно, и на остановке собралось много людей. Две женщины довольно громко обсуждали махаллинские новости: кто-то вернулся из армии и сватает соседскую дочь, а родители ее артачатся, хотя сама девушка вроде бы согласна; хорошо было в старые времена: если любят друг друга, а жених — настоящий джигит, не слюняй,— умыкнул любимую, и дело с концом; пусть тогда родители локти кусают, сами виноваты... Чувствительно задев Шерали, мимо него проследовала толстая старуха и, сняв с головы, опустила на землю огромное ведро, полное винограда.

Возле киоска тоже стояла очередь. Шерали пристроился в конце, купив газету, отошел в сторону и, прислонясь к дереву, стал читать. Никарагуа... Рейган... Ливан...

Толпа на остановке заволновалась, пришла в движение. Подкатил троллейбус. Шерали кинулся в гущу, пришлось изрядно поработать локтями, пока, наконец, ему удалось протиснуться к ступенькам, вот и для ноги отыскалось место. Дверь за спиной со скрежетом сомкнулась. Поехали! В глубине салона громко плакал ребенок, и кто-то с раздражением выговаривал матери, что она не может его унять.

Зажатый со всех сторон, Шерали взмок, пока доехал до института.

В лаборатории Вали-ака был один. Нахохлившись, сидел он на своем обычном месте и что-то записывал в журнал.

— Ну, как?— не меняя позы, спросил он после того, как ответил на приветствие.

— Ничего. Терпимо.

— Терпение — это, конечно, прекрасно, однако вы не из железа, не забывайте.

— Это уж точно.

— Значит, так,— заведующий, взял из стопки бланков чистый листок, что-то размашисто написал и протянул Шерали.— Сейчас сдайте анализы. А потом, коль уж вы явились, прошу изложить подробнейшим образом наиболее важные моменты вашего эксперимента за последнюю неделю.

В отличие от Вали-ака Шерали не любил лишней писанины. А может, для ученого это не такая уж плохая черта — все скрупулезно записывать? Но где взять такую массу времени? И когда Вали-ака успевает этим заниматься? Внешне он производит впечатление человека медлительного, бесстрастного ко всему происходящему. Даже когда среди коллег разгораются горячие споры, он помалкивает и лишь усмехается. А когда страсти поулягутся и спорящие исчерпают весь запас аргументов, вот тогда и он скажет свое слово. И, несмотря на свою трусоватость, нередко попадает в точку. Его любимую поговорку: «Хороший конь лишь перед самым финишем вырывается вперед», в институте знают все.

Шерали было неудобно отказывать старику. Появись, он, однако, сказал:

— Я же об этом дважды рассказывал на Ученых советах, Вали-ака.

Тот медленно обернулся и, наклонив голову набок, несколько секунд внимательно смотрел на него.

— Вы считаете, я обязан помнить каждое ваше слово, сказанное на совете?

— Существует стенографическая запись.

— Ладно. Если вам трудно, так и скажите. Обойдусь,— обиделся Вали-ака и отвернулся.

— Да нет, не трудно. Я каждый день веду записи, как вы учили. Хочу подготовить брошюру. Но все это у меня дома. Я привезу...

— Не утруждайте себя. Отчет я должен сдать сегодня.

Вали-ака выдвинул ящик стола и принялся ворошить

в нем бумаги. Положил какие-то исписанные листки в черную папку, аккуратно завязал тесемочки и, сунув папку под мышку, вышел из лаборатории.

Взгляд Шерали неожиданно уткнулся в новый плакат на стене: на ядовито-желтом фоне извивается, вылезая из яйца, огромный червь, вызывающий аскаридоз. Ну и мерзость! Лицо Шерали исказила болезненная гримаса. Он метнулся к окну, распахнул обе створки. После нескольких глубоких вздохов полегчало.

Наверное, Леонид Михайлович тоже часто стоял у этого окна и смотрел во двор, видел этот сад и убегающую в его глубь дорожку.

Во двор въехали белые «Жигули». Машина плавно проплыла за стволами деревьев, свернула к главному зданию и остановилась под платанами. «Дильбар!..— у Шерали сильно заколотилось сердце.— Сейчас она придет сюда!..» И вдруг он поймал себя на мысли, что ему не столь важно было сдать сегодня анализы (это можно было сделать и завтра), сколько хотелось увидеть Дильбар. Щелкнула, захлопнувшись, дверца автомобиля, и девушка бегом поднялась по ступенькам главного входа.

Шерали вышел из лаборатории и побрел в сад. Его скамьи почти не было видно за одичавшими гранатовыми кустами. С нее облезла вся краска, и только оставшиеся кое-где пятна выдавали, что некогда она была зеленой. Шерали смахнул рукой мусор и сел.

У него остался неприятный осадок из-за того, что, сам того не желая, обидел Вали-ака, тихого, скромного человека. Шерали не помнит, чтобы он когда-нибудь повывсил голос, утратил самообладание.

Вали-ака уже много лет работает над изучением болезней, разносчиками которых являются тараканы, и собрал такой богатый материал, которого хватило бы, наверное, на докторскую диссертацию. Но Вали-ака не торопился.

Однажды Шерали спросил: «Вали-ака, почему бы вам не защитить докторскую?»—«Эх, да разве это в жизни главное?»— ответил тот. «А что же, по-вашему, главное?»—«Главное— это в конце жизни сказать себе: «Я сделал все, на что был способен! А чего не успел— сделают другие...»

Услышав звук шагов, Шерали поднял голову и увидел приближающуюся по тропинке Дильбар. У нее новая прическа. Волнистые черные волосы зачесаны на один бок. На лице улыбка.

— Зашла к вам домой, а вас нет. В лаборатории тоже нет. На всякий случай решила заглянуть сюда.

— А я вас сегодня не дождался,— улыбнулся Шерали.

— У нас гостила мамна близкая знакомая, мне пришлось утром отвезти ее в аэропорт, а рейс задержали на целых два часа,— сказала Дильбар.

Шерали, заметив, что она хочет сесть, расстелил на скамейке платок. Девушка поблагодарила и села. Помолчав, спросила:

— Я вам не помешала?

Шерали вопросительно глянул на нее.

— Вашей беседе с Леонидом Михайловичем,— улыбнулась Дильбар.— Вы говорили, что приходите сюда советоваться с ним.

Шерали кивнул. Ему очень хотелось обнять девушку за плечи и привлечь к себе. Но он тут же отогнал эту мысль.

— Почти год минул с тех пор, как я нашел его тетрадь,— сказал он и вздохнул.— А все еще топчусь на месте.

— Это не так уж и много, если вспомнить слова Вали-ака: «Имена ученых с годами забываются. А их открытия живут вечно!» Помните?

— Но если вспомнить о том, что многим из ученых не хватило месяца, недели, а то и одного дня, чтобы сделать новое открытие, то год — это очень много.

— Шерали-ака, в вашем ли возрасте позволять себе такие мысли?

— Об этом, ей-богу, не грех думать почаще.

Дильбар прислонилась к спинке скамьи и устремила мечтательный взгляд к небу.

— Смотрите... Вон то облако похоже на белого журавля, правда?— сказала она после некоторой паузы; ей хотелось отвлечь Шерали от его невеселых мыслей.

— Который отстал от стаи.

— Он полон сил... И догонит свою стаю.

— Если его не настигнет зима.

— Не настигнет. Он будет лететь и лететь.

— А надолго ли у него хватит сил?..

— Временами он будет садиться и отдыхать.

Облако действительно было похоже на вытянувшегося в полете и распластавшего крылья журавля. Оно постепенно меняло очертания, таяло. «Сейчас и следа от него не останется,— подумал Шерали.— Так и чело-

век... Хотя... Не прав я, наверное, сравнивая жизнь человека с растаявшим облаком. Каждый человек оставляет в жизни след».

Дильбар зябко передернула плечами и поднялась.

— Год, о котором вы так сожалеете, складывается из минут, а мы их тут с вами вон уже сколько потеряли.

— Да, вы правы,— кивнул Шерали, не заметив в ее тоне иронии, и тоже поднялся.

У него закружилась голова, и он схватился за спинку скамьи. Дильбар взяла его под руку и сказала:

— Мужчины всегда подводит самоуверенность. Обойдитесь о мою руку.

Тропинка вывела на аллею. Шерали подумал, что их могут увидеть и это сегодня же станет известно Кариме-апе.

В лаборатории никого не было...

Дильбар надела халат, упрятала волосы под высокую белую шапочку. Пока она, привстав на цыпочки, доставала из шкафа колбу с широким горлышком, из которой торчало несколько стеклянных трубочек, Шерали сел возле ее стола и закатал рукав рубашки. Дильбар ветрянула пузырек, смочила вату, и в комнате сразу распространился запах спирта.

Вошел Зияхан и громко поприветствовал их с порога. Коричневая фетровая шляпа слегка придавила его вьющиеся волосы, и они казались еще длиннее, закрывали уши и почти касались плеч. Поставив на пол пузатый желтый портфель и сняв шляпу, он прошел к зеркалу и стал причесываться. Шумно потянув носом, деланно рассмеялся:

— Ого, уж не коньяк ли вы тут распивали? А меня в компанию примете?

— Увы, мы уже кончили провать!— ответила в тон ему Дильбар, сжимая палец Шерали, чтобы выдавить на стеклышко капельку крови.

Облачившись в халат, Зияхан приблизился к ним.

— Что-то я стал в последнее время кругом опаздывать. А при этом неизбежно возникает ощущение, что ты лишний. Как чувствуете себя, дружище?

— Почти на седьмом небе.

— Bravo! Я бы на вашем месте себя чувствовал точно так же,— сказал Зияхан и окинул Дильбар долгим взглядом.

— Каждый хорош на своем месте.

— Не сомневаюсь. Особенно если над ним уже вьется птица счастья!

— Да-а? Я еще не успел ее заметить.

Зияхан ухмыльнулся и снова задержал на Дильбар взгляд.

— Наверное, со зрением не все в порядке.

Дильбар взглянула на него из-под нахмуренных бровей:

— Что-то вы сегодня чересчур остроумны и веселы. Ухватили за хвост свою птицу счастья?

— Если бы так!— рассмеялся Зияхан, продолжая пронизывать ее взглядом.— Птица, к сожалению, всего одна...

— В таком случае, она наверняка выбирает самых достойных.

— К сожалению, птица счастья тоже может ошибаться,— вздохнул Зияхан и, опустившись на стул, закинул ногу на ногу.

— Может, хватит на сегодня острот!— процедил сквозь зубы Шерали, застегивая на манжете запонку.— Если есть желание, поговорим серьезно. А бросать камешки в чужой огород — занятие не самое достойное.

— Ну, что вы? Какие камешки?— сверкнул Зияхан золотыми зубами.— Я вас прекрасно понимаю, кто в наше время не жаждет славы!..

— Может, и так. Но одни добиваются ее трудом! А другие подбираются с черного входа!

— Вы слышите, Дильбархон?— закричал Зияхан.— Вы понимаете, на что он намекает? Он хочет сказать, что я вхож к Кариме-апе! Да-да! Вхож! Ну и что с того?— вскочил с места Зияхан и гневно засверкал глазами.— Карима-апа — настоящий ученый! И вам за всю вашу жизнь не сделать столько, сколько сделала для науки она! Хоть тонну этих червей съешьте!..

Шерали почувствовал, как снова к горлу подступила тошнота.

— Перестаньте, сейчас же!— крикнула Дильбар.— Как вам не стыдно?

Она сорвала с вешалки пальто и вышла...

\* \* \*

Пасмурные дни, наверное, на всех действуют одинаково — на душе становится тоскливо. Особенно, если ты болен и не в состоянии не только пойти куда-нибудь



разветья, но и прочесть несколько страниц даже из самой интересной книги. Шерали пытался что-то записать, но пальцы были столь слабы, что с трудом выводили буквы.

После полудня позвонил Вали-ака и сказал, что часам к пяти обещал подъехать известный специалист по легочным заболеваниям, которому Шерали обязательно надо показаться. Так что Шерали непременно надо было заехать сегодня в институт.

Пульмонолог задерживался. Шерали прохаживался по усыпанной желтыми листьями аллее и поглядывал время от времени на ворота, в которые с минуты на минуту должен был въехать уже знакомый ему зеленый «Москвич» с красным крестом.

День был уже на исходе. Последние лучи солнца, пронизав затянувшие горизонт тучи, веером рассыпались по небу. В поредевшей кроне чинары, разбросавшей по небу темные зигзаги ветвей, сидела пара майн и грустно перекикалась. Обычно в эту пору их сородичи откочевывают далеко на юг, а эти остались. Наверное, зима будет теплой.

Скрипнув пружинами, глухо стукнула дверь главного входа института. Шерали увидел спускающуюся по ступенькам Дильбар. Хотел свернуть в боковую аллею, но она успела его заметить. С тех пор, как она стала свидетельницей их неловкого разговора с Зияханом, он видел ее впервые. И в лабораторию-то не зашел, чтобы избежать с ней встречи.

— Вы домой?—спросила Дильбар, подав руку в белой тонкой перчатке.

— Нет. Жду пульмонолога.

— Да. Вали-ака говорил. А потом?

— Потом...— Шерали пожал плечами.

— Тогда я вас подожду.

— Но я не знаю, скоро ли освобожусь.

— Ничего, я не спешу.

Они прошлись несколько раз по аллее.

Из приземистого здания, где находился рентгенкабинет, выглянула медсестра и крикнула издали, судя по всему, раздосадованная, что ей приходится задерживаться:

— Шерали Халмурадович! Сколько же можно вас ждать?

— Меня?— удивился Шерали и вдруг увидел стоя-

щий неподалеку зеленый «Москвич» с надписью на борту «Медслужба».

Увлечшись разговором с Дильбар, он не заметил, когда машина въехала во двор. Извинившись перед девушкой, поспешил к неказистому зданию.

— Ну, так я вас жду!— крикнула вслед ему Дильбар.

В рентгенкабинете было темно. Сняв рубашку, Шерали втиснулся боком в аппарат.

— Спокойнее, пожалуйста. Спокойнее... Торопитесь куда-нибудь?— сказала рентгенолог, хрипловатым, как у всех курящих, голосом.

— Ваш аппарат может уловить и это?

— Не только. Даже то, что у вас в сердце,— засмеялась рентгенолог, поворачивая его и так и эдак.

— И что же в нем?

— Конечно, любовь. Что же еще?

Шерали тоже рассмеялся.

А рентгенолог все поворачивала его то в одну сторону, то в другую, заставляя глубоко вдыхать и выдыхать.

— Одевайтесь!— буркнула она наконец.

Включили свет. Пульмонолог окинула Шерали сквозь очки внимательным взглядом и, ни слова не сказав, стала записывать что-то в «историю болезни». Затем глянула на него через плечо и, нахмурив брови, обронила:

— Организм ваш — настоящее «Куликово поле».

— И ситуация на моем участке, кажется, неважнецкая?

— Да. Пожалуй, самое время запрашивать подкрепление. Если немедленно не приступить к лечению, последствия трудно предсказать.

— А как обстановка в лагере моего противника? Ведь чем он активнее, тем больше должно быть у меня разведанных.

Врач, сверкнув очками, еще раз окинула его внимательным взглядом.

— Разумеется, немало зависит и от того, долго ли еще продержится в вас этот оптимизм... Я тут подробно все пишу. Потом внимательно изучите. А разведка вам, во всяком случае, может рекомендовать одно: чем раньше вы закончите свой эксперимент, тем лучше будет для вас.

Шерали кивнул. А про себя подумал: «...И тем хуже для науки».

Дильбар дожидалась его в машине. Она сидела, открыв дверцу, и слушала транслируемый по радио концерт Батыра Закирова. Убавив звук, она спросила:

— Ну, как?

— Здоров, как кентавр!— сказал Шерали.— Мой организм выдержит еще не один эксперимент! Я, оказывается, прямо создан для этого.

— По вашему виду этого не скажешь,— проговорила Дильбар, разглядывая Шерали внимательнее, чем обычно.— На вас же лица нет...

— А что такое лицо? Это не главное. Если на вашем автомобиле отколупнулась эмаль, появилась где-то ржавчина, вы же не станете считать его не пригодным к эксплуатации,— заметил он, смеясь, и плюхнулся на заднее сиденье; и сразу же, едва успев прикрыть рот платком, закашлялся.

Машина легко тронулась. Выехав со двора, свернула вправо и помчалась по улице, по обе стороны которой за глинобитными изгородями белели аккуратные частные дома. На голубом фоне неба проглядывали легкими штрихами прозрачные кроны деревьев, похожих на старые метелки. Стекло слева от Дильбар было опущено, встречный ветер врывался в салон, трепал ее волосы. В зеркале заднего вида Шерали мог разглядеть сосредоточенные, чуть прищуренные глаза Дильбар. От девушки не укрылось, что он ее рассматривает, и она улыбнулась.

— А мама спрашивала о вас.

— Обо мне?

— Да.

— Мне кажется, скорее растают ледники на полюсах земного шара...— усмехнулся он.

— Напрасно вы так считаете,— насупила брови Дильбар.

— Неужели и правда спрашивала?

— Она знает, что я иногда помогаю вам. Потому и думает, что я более других осведомлена о ходе вашего эксперимента... Зашли бы сами как-нибудь к ней да рассказали.

— Во-первых, к начальству надо идти с готовыми данными, а у меня пока что ничего определенного...

— Ну, а во-вторых?..— спросила Дильбар, когда пауза затянулась.

— К Кариме Музаффаровне захожу только определенные лица, я же привык заходить в ее кабинет только по вызову...

Дильбар, сделав вид, что последние слова Шерали пропустила мимо ушей, сказала:

— Главное, что вы хотели уяснить для себя, уяснили. Вряд ли кто теперь станет оспаривать ваши доводы относительно того, что яйца аскаридов опасны для человека и по прошествии десяти лет...

— Да, но мне еще не известно,, как при этом протекает болезнь: так же или имеет какие-то особенности.

Их взгляды снова встретились в зеркале заднего вида.

— Как бы все наши старания не пошли прахом,— проговорила Дильбар.

— Почему это?

— Я бы сейчас охотнее отвезла вас не домой, а в больницу.

— Спасибо, Дильбархон, у вас доброе сердце... вы так много для меня делаете...

— По-моему, ровным счетом ничего.

— Вам, наверное, трудно себе представить, что вы для меня значите.

Дильбар мельком взглянула в зеркало. Губы ее дрогнули, словно она хотела о чем-то спросить, но лишь неопределенно повела плечами.

Впереди замелькали огни светофоров, как бы предупреждая, что машина приближается к главной магистрали.

Дильбар поставила ногу на тормоз и, как только вспыхнул зеленый свет, нажала газу, повернула баранку влево, и они влились в несущийся по главной улице поток автомашин.

Шерали, не привыкшему к чужому вниманию, было приятно думать, что Дильбар обеспокоена его здоровьем. После смерти матери он не помнит, чтобы кто-то пожалел его, проявил о нем заботу... Что и говорить, с малых лет не был обласкан жизнью. Отца совсем не помнит. Когда он ушел на войну, ему было всего несколько месяцев. Ушел и не вернулся.. Мать так и не дождалась от него ни единого письма. «Черное письмо» — извещение — пришло от его командира. А в доме не оказалось ни одной фотографии отца. Все хотели родители пойти сфотографироваться вместе, да так и не собрались. Хорошо, хоть мамина фотография осталась. Мама

умерла, когда он учился в шестом классе. Близких родственников у них не было, и Шерали остался в целом свете один. Потом — детдом. Любимым местом Шерали в детдоме была библиотека. Он с ранних лет пристрастился к чтению, а еще его просто тянуло к Марии Ивановне, библиотекарше, которая всегда была с ним ласкова, как мать. Эта пожилая добрая женщина приехала из Ленинграда, после того, как наши прорвали блокаду. Вернее сказать, ее привезли: она была так истощена, обессилена, что не могла двигаться. В блокаду она потеряла дочь и двоих внуков. Может, Шерали напоминал ей одного из них. Когда она гладила его по голове, он часто замечал в ее глазах слезы... Мария Ивановна сама подбирала ему интересные книжки...

Когда Шерали окончил десятый класс, Мария Ивановна уговорила его поступить в медицинский. Учился Шерали хорошо, получал повышенную стипендию. Жил в общежитии. Если выдавалось свободное время, покупал дешевых конфет, печенья и ехал проведать Марию Ивановну. Она всегда очень радовалась его приходу. Тут же принималась что-нибудь стряпать, чтобы его угостить.

На четвертом курсе лекции по эпидемиологии им читал Вали Тиллаевич. Тогда-то и приглянулся ему Шерали Халмурадов. Принимая у него зачет, Вали Тиллаевич сказал: «Сдается мне, молодой человек, вы прирожденный эпидемиолог. Прекрасно разбираетесь в предмете. У вас скоро практика. Проситесь к нам. Буду очень рад видеть вас у себя».

Вали-ака руководил его практикой. А позднее лично обратился к руководству медицинского института с просьбой направить Шерали Халмурадова работать в НИИ.

Вали-ака был человеком откровенным и не скрывал, если был работой Шерали недоволен, а когда подопечный того заслуживал, на похвалы, не скупился. Два года спустя он уговорил Шерали поехать учиться в аспирантуру. Получив его согласие, написал письмо в Ленинград Камалу Нурбаеву, с которым его связывала давняя дружба. По его словам, они «под одним одеялом выросли». Мальчишками жили по соседству — в махалле<sup>1</sup> Кукмачит, учились в одном классе, вместе озорвали...

---

<sup>1</sup> Махалля — квартал города.

Камал Нурбаев встретил Шерали приветливо. Вечером был накрыт стол, приглашены гости. А весь следующий воскресный день они посвятили осмотру города. Камал Нурбаевич водил Шерали по улицам, по площадям, названия которых он слышал с детства, рассказывал о декабристах, Пушкине, Мечникове, основавшем совместно с Гамалеей первую в России бактериологическую станцию. Когда они ехали в электричке в Петергоф, Камал Нурбаевич показал на полого бугрящиеся вдаль холмы, покрытые лесом, и сказал, что в этом месте проходила линия обороны, дальше которой фашисты не смогли сделать и шагу. Он ткнул в стекло пальцем: «Во-он на том холме и сейчас еще есть следы окопов. Время от времени бываю там. Вокруг цветут одуванчики, воздух напоен ароматом трав, птицы поют. А у меня в ушах грохот от рвущихся снарядов, пулеметных очередей, стоны раненых товарищей, и в горле спазмы от порохового дыма... Эх, не дай вам бог увидеть это даже во сне...»

В семнадцать лет ушел Камал Нурбаевич на фронт добровольцем, защищал Ленинград и был тяжело ранен. С поля боя его, полуживого, истекающего кровью, вынесла, рискуя собственной жизнью, совсем еще девчонка, санитарка Валя... После войны он поехал в Ленинград, разыскал Валу, и они поженились. С тех пор он и живет здесь. Теперь у них трое взрослых детей, два сына и дочь.

Готовясь к экзаменам, Шерали жил в общежитии. Какие бы ни возникали вопросы, он тут же звонил Камалу-домле<sup>1</sup> и получал разъяснения и добрые советы. Когда Шерали узнал о своем зачислении в аспирантуру, первый, кому он сообщил об этом, был его наставник. И Камал-домла обрадовался не меньше его самого. «После шести будьте дома, никуда не уходите»,— сказал он.

Вечером Камал Нурбаевич прислал за Шерали своего старшего сына Сафарали на машине. И, встретив его в прихожей, обнял.

— Ну-ка, Шералиджан, в честь такого дня приготовьте-ка нам плов по-самаркандски! Очень соскучился,— сказал он.

Поистине никто не может приготовить плов по-самаркандски лучше самаркандца. Вся семья помогала Шерали. Кто перебирал рис, кто нарезал морковь и лук,

---

<sup>1</sup> Домла — обращение к ученому человеку.

кто резал на куски баранину. Валентина не отходила от гостя, старалась запомнить, как и что он делает. «Хочу научиться,— говорила она.— А то, как ни стараюсь, муж говорит: «Это же обыкновенная каша!»»

Даже у настоящего ошпаза<sup>1</sup> плов получается не всегда одинаковый. У Шерали в тот раз вышел на славу.

Все торжественно расселись вокруг стола. Шерали водрузил на середину его керамическое блюдо с янтарной горкой плова, поверх которого лежала нарезанная кружочками казы.

Шерали заставили сесть на самом почетном месте, у торца стола.

— Сегодня у нас такой знаменательный день, что не грех и выпить,— сказал Камал Нурбаевич, доставая из бара бутылку полусухого марочного вина.— Выпьем по глотку за будущего ученого Халмурадова Шерали и за Самарканд!..

Валя улыбнулась и еле приметно кивнула.

Дети ждали, когда отец займет за столом свое место и первым отведаст плова.

— Эх, Валя, Валя!.. Ах, дети, дети! Не знаете вы Самарканд!— приговаривал хозяин, наливая в бокалы искрящееся вино.— Это сказочный город. Из тысячи и одной ночи! Нет на свете другого такого города. Будь у меня крылья, я бы каждую осень улетал туда вместе с птицами, а по весне прилетал обратно. Как же прекрасна там осень. На базарах горы душистых дынь, арбузы такие, что едва прикоснешься ножом — так и лопаются!.. А какой в эту пору виноград, м-м-м!.. А инжир!.. Поистине сказочный край!..

— Взяли бы да хоть раз и свозили нас туда!— заметила жена.

— Увы, там нет моря, без которого отпуск для вас не отпуск. Вот и приходится каждое лето уступать вас Крыму! Ну что ж! За Шерали из Самарканда! За Шерали из Самарканда! За его успехи!

— За вас, домла! Успехами своими я обязан вам!

— Нет, нет, за вас! А потом — за Самарканд!

Горка плова на блюде быстро таяла.

После второго бокала Камалу-домле взгрустнулось. Он подпер рукой щеку и хриловатым голосом затянул старинную узбекскую песню.

<sup>1</sup> Ошпаз — повар, готовящий национальные блюда.

Жена направилась в кухню заваривать зеленый чай, особенно приятный после плова. Сыновья и дочь тоже тихо встали из-за стола и разошлись по своим комнатам.

Камал-домла и Шерали, оставшись наедине, несколько минут сидели молча. Потом домла вздохнул и сказал:

— Знаете, чем старше становлюсь, тем сильнее тянет в родные места... Если я все-таки решу вернуться в Самарканд, найдется ли там для меня работа?

— Вы шутите, домла,— смутился Шерали.— Если не для вас, то для кого же?..

Но домла не шутил. Хотя и улыбался краешками губ, в глубине его глаз пряталась тоска.

— Ведь это моя родина... Человек не птица, он не должен покидать тех мест, где родился... Не знаю, поймете ли... я очень люблю Ленинград, но сейчас мне кажется, что нет на свете места лучше, чем махалля Кукмачит в Самарканде. Разве забудешь старые глинобитные дувалы, над которыми нависают ветки огромных урючин, яблонь, орешен, кривые узкие улочки, усыпанные по осени падающими с деревьев абрикосами, яблоками, грецкими орехами... Когда я вижу вас, Шералиджан, то вспоминаю свою молодость. Приходите к нам почаще...

Шерали видел, что домла говорил это не из вежливости и приличия. И действительно старался бывать почаще в доме у Камала Нурбаевича.

За три года учебы он так привязался к нему, что, вернувшись по окончании аспирантуры в Самарканд, очень скучал по домле.словно с родным отцом расстался... В первое время он часто писал письма, делился своими радостями, сообщал о неудачах, поверял ему свои дальнейшие планы. Позже писал ему все реже и реже...

«Сегодня же напишу домле письмо»,— подумал Шерали.

Машина съехала на обочину и остановилась. Дильбар обернулась к Шерали. Он сидел с закрытыми глазами и чему-то улыбался.

— Вы уснули?— спросила Дильбар, коснувшись его руки.

Он вздрогнул.

— Извините, задумался. Может, зайдем, выпьем чаю?



— Спасибо, Шерали-ака. Сегодня мы с мамой идем в театр.

Шерали вышел, осторожно закрыл дверцу и помахал Дильбар рукой. Она кивнула с улыбкой, машина фыркнула и, выбросив из-под колес щебенку, рванулась вперед, понеслась, не давая себя обогнать стремительно промчавшейся мимо Шерали «Волге». Он улыбнулся, подумав, что Дильбар из упрямства ни за что не уступит лихачу, считающему, как видно, унизительным ехать вслед за машиной, в которой за рулем женщина...

\* \* \*

Услышав голоса девушек, их переливчатый смех, Шерали поднял голову. Дильбар и Галина вышли на небольшую площадку и, отступив на несколько шагов, разглядывали фасад гробницы, с которого осыпалась почти вся цветная плитка и теперь лишь с трудом можно было вообразить, какими узорами некогда были украшены эти стены.

— Вот я вас почти и настиг.

— Возвращайтесь потихоньку. Зря вы вообще поднимались. Нам осталось осмотреть еще две-три гробницы и — обратно. Подождите нас внизу.

Девчата взялись за руки и, направившись по узкому проходу, исчезли за углом.

«Возвращаться?.. Когда осталось всего несколько ступеней до самой верхней площадки?.. Тридцать восемь... Тридцать девять...— Шерали устремил взор вверх, стараясь не думать про боль под ложечкой и в груди — будто кто-то стиснул его мертвой хваткой, не давая ни вдохнуть, ни выдохнуть. И ноги не повинуются, словно это протезы, а не ноги.— Тридцать девять...» Надо идти, пока не подогнутся колени, пока глаза различают ступени. Еще чуть-чуть отдохнет и снова пойдет. Ему казалось, что он поднимается очень быстро. Но вот его обогнали парень и девушка. И не сказать, чтобы они спешили. Парень оглянулся. Потом и девушка.

— Вам помочь?— спросил парень.

— Нет, нет, спасибо,— улыбнулся Шерали.— Я просто не спешу.

Парень с девушкой вступили под своды гробницы, откуда только что вышли Дильбар с Галиной. Может, отдохнуть, пока их не видно? А то как-то неловко выглядеть таким немощным, хотя Дильбар не раз уже ви-

дела его обессилевшим. За время его болезни они очень сблизилась, без нее он вряд ли пошел бы на поправку так быстро.

Чувствует он себя гораздо лучше, но в институте показывается все же редко, раз или два в неделю. Зато, когда появляется в лаборатории, он по лицу Дильбар видит, как она ему рада. Выдают ее глаза. В первые секунды он читает в них беспокойство. Если он выглядит хуже, на лицо ее набегают тень; если лучше, она, просясь, принимается докладывать ему о результатах предыдущих анализов.

Нередко Шерали заставлял девушку в лаборатории одну.

Они усаживались рядом на диван, и Шерали рассказывал, как жил последние несколько дней, что сделал, что прочитал.

Случалось, заглянув в лабораторию, их заставлял за беседой Зняхан. Пробурчав себе под нос что-то относительно того, что в то время, как совестливые люди трудятся в поте лица, некоторые пребывают в праздности, и, взяв какие-то бумаги из своего стола, он поспешно уходил.

— Опять маме наябедничает, — замечала со вздохом Дильбар, а глаза у самой смеялись.

Какое-то время спустя и вправду появлялась Карима Музаффаровна. Вид у нее был неприступный. Она была строга в обращении даже с дочерью. Выразительно глянув на нее, роняла, что Дильбар работа в лаборатории, кажется, наскучила, и придется, видимо, перевести ее в другой отдел. Затем принималась расспрашивать у Шерали о его самочувствии, будто за тем только и пришла.

Он нехотя рассказывал. Она слушала и отмечала про себя, что Шерали выглядит все хуже, глаза ввалились еще больше, движения вялы, хотя парень изо всех сил старается казаться бодрым, а сам то и дело кашляет.

Карима-апа задавала еще несколько вопросов, в который уже раз советовала не забывать фиксировать в своем дневнике даже мелочи, ничего не скрывать от врачей, под наблюдением которых он находится и, опять окинув внимательным взглядом, удалялась.

Карима-апа в последнее время все чаще думала о будущем дочери. Еще недавно ей казалось, что счастье улыбается Дильбар. В лице Зняхана она видела достой-

ного жениха. Конечно, не все в нем было ей по нраву, но он обладал поразительным умением устроиваться в жизни. А для мужчины, главы семьи — это качество едва ли не главное.

Дильбар же — ах, глупая девчонка! — своими руками сгоняет с плеча птицу счастья. Неужели она всерьез увлечена этим Халмурадовым?.. Не может того быть! Просто Зияхан настолько влюблен в нее, что любое ее слово, улыбка, взгляд, обращение к другому, вызывают в нем ревность. Кто не ревнует, когда любит! Дильбар, наверное, нарочно старается вызвать его ревность, из озорства. Как бы не переборщила: ведь нить, связывающая два сердца, чем наэлектризованнее, тем легче рвется...

А если Зияхан неспроста бьет тревогу? «Тоже мне мужчина: чуть что — бежит звонить, жаловаться на Дильбар. Какой же ты жених, если невеста совсем власти твоей не чувствует?!. Похоже, этот Халмурадов и впрямь одержит победу. В последнее время его имя просто не сходит с языка дочери. За ужином: «А Шерали-ака сегодня говорил, что...» За завтраком опять! «А Шерали-ака считает, что...» И при этом прямо расцветает на глазах. Веселая, разговорчивая. Но стоит матери сказать что-нибудь о нем нелестное и напомнить о Зияхане, таком элегантном, воспитанном, сыне обеспеченных и влиятельных родителей, что по нынешним временам имеет не последнее значение, как дочь тотчас умолкает, и в глазах ее гаснут искры. Потом за весь день из нее и слова не вытянешь. Может, бросит только: «Ты, мама, не права», — встанет из-за стола и уединится в своей комнате.

Карима-апа старалась гнать от себя беспокойные мысли, но это ей плохо удавалось, уже не одну долгую ночь провела она без сна, вздыхая и ворочаясь. Случалось, и плакала втихомолку. Воскрешала в памяти покойного мужа, советовалась с ним. Спрашивала: «Что же мне делать? Как помочь нашей девочке?» Но муж молчал. Он и при жизни-то всегда молчал. Предоставлял ей самой решать сложные житейские вопросы. Впрочем, если он даже что-то и советовал, она все равно поступала по-своему. И он всегда с ней соглашался. Но тогда она знала, как решается та или иная задача, а сейчас не знает. Нет, не знает...

Как-то попробовала поговорить с Дильбар откровенно.

— Что ты нашла в Халмурадове?

— Он — ученый, мама.

— А Зияхан, по-твоему, кто?

— Он такой, как большинство. А таких, как Шерали-ака, очень мало.

— А себя ты к какой категории относишь?— спросила Карима-апа, не скрывая досады.

Дильбар задумалась и, прежде чем ответить, долго молчала.

— Ты же знаешь, мама, что я занимаюсь научной работой, лишь благодаря тебе. Может, я и достигну в жизни чего-то, но опять же с твоей помощью. Но ученым мне никогда не стать. И ты сама это прекрасно понимаешь. Но коль скоро ты привела меня в науку, должна же я принести какую-то пользу. И мне думается, если я смогу хоть в чем-то помочь настоящему ученому, это и будет моей отдачей, помочь ближнему — разве это так уж плохо?— усмехнулась Дильбар.

— Да этот Халмурадов... Он просто заморочил тебе голову! Ты ему просто нужна в корыстных целях, он не остановится ни перед чем!..

— Нет,— грустно улыбнулась дочь.— Просто он ко мне хорошо относится. А я ему помогаю.

Ну, как объяснить ей, что Зияхан будет носить ее на руках, пылинки с нее сдувать! А Халмурадов этот упрямый, капризный, к тому же теперь еще и... больной. Ученый! А какая тебе от этого польза, если в голове у него только работа, работа и работа. Таким, как он, лучше оставаться холостыми! Поймет ли он тебя, заметит ли, какое у тебя нежное и ранимое сердце? Ведь такие упрямцы ни с кем не считаются, навязывают окружающим свои мысли, желания. Работа, идея у них всегда на первом плане. Для чувств, для любви у них просто нет в сердце места... Как ей это объяснить? Ведь она и слушать не хочет!

Недавно, за ужином, заметив, что дочь углубилась в какие-то свои мысли, Карима-апа спросила:

— О чем это ты?

Дильбар вздрогнула и, слегка смутившись, сказала.

— Сегодня спрашиваю у Шерали-ака: «Вы не согласны с нашими предками, которые оставили нам поговорку о том, что здоровье — главное богатство?»— «Согласен!»— отвечает. «А почему же ни в грош не ставите свое здоровье?»— «Именно потому, что согласен с предками! И во имя того, чтобы люди были здоровы!»—

отрезал он. В последнее время Шерали-ака стал такой раздражительный...

Кариме-апе так и хотелось закричать: «Глупая!.. Тебе не нужен Зияхан, который преклоняется перед тобой? Зато ты помнишь каждое слово этого выскочки. Неужто и вправду влюблена? Недаром же говорят: любовь слепа!..»

Несколько раз пыталась послать ее вместе с Зияханом с поручением — то в санэпидстанцию, то в мединститут — и намекала при этом: обратно можете не спешить. В кино бы пошли или в кафе-мороженое. Так нет. «Зияхан и сам с этим справится», — отвечала дочь. Так и не поехала. А с Халмурадовым готова торчать в лаборатории целыми днями, лишь бы слышать его голос, видеть его...

\* \* \*

Зияхан глянул на часы и объявил, что время обедать. Вали-ака с шумом отодвинулся от стола и встал.

— В нашем буфете самое вкусное достается тем, кто приходит первым! — сказал он.

Шерали и Дильбар попросили занять для них очередь, сказав, что им надо задержаться минут на пятнадцать, чтобы закончить начатый еще утром опыт, с помощью которого хотели определить степень воздействия теабендазола и карбонона на яйца аскарид. Настроение у обоих было прекрасное. Они весело болтали, смеялись.

Наконец, все было закончено, и Шерали мог поблагодарить Дильбар. Он приблизился к ней и взял ее за руку.

Не успел Шерали и слова сказать, как дверь резко отворилась, и в лабораторию вошла Карима-апа. Дильбар выдернула руку и, залившись краской, подняла глаза на мать.

Карима-апа побледнела, однако благоразумно сделал вид, что ничего не заметила.

По взгляду дочери поняла, что та не позволит ей и слова сказать этому Халмурадову. А ссориться с Дильбар ей совсем не хотелось. Ей хотелось понять собственную дочь.

— Мне нужен Вали Тиллаевич, — сказала Карима-апа тихо, однако еле приметная дрожь в голосе выдавала ее волнение.

— Обедать ушел, — сказал Шерали, подумав о том,

что в таких случаях обычно пользуются внутренним телефоном.

— А-а...— протянула Карима Музаффаровна и направилась к выходу, но, словно о чем-то вспомнив, обернулась:— Как вы себя чувствуете, Шерали Халмурадович?

— Неплохо, благодарю вас.

— А если серьезно?

Шерали развел руками.

Карима Музаффаровна подошла к его столу и из стопки исписанных бумаг взяла верхний листок. Читая про себя, она шевелила губами.

«...На главный вопрос можно дать однозначный ответ: яйца аскарид, пролежавшие в земле и на открытом воздухе в течение десяти лет, продолжают оставаться для человека опасными.

Предложения Леонида Михайловича Исаева полностью подтвердились...

Яйца аскарид, попав в организм человека или животного, в кратчайший срок перемещаются из желудка в кишечник. Их жизнедеятельности в желудке мешают кислоты.

Далее в кишечнике откладываются личинки, которые в свою очередь очень скоро проникают в кровь.

С потоком крови личинки попадают в легкие и очень скоро вызывают воспаление плевры. Отсюда и сильный кашель. На флюорографических снимках четко просматриваются темные пятна.

Температура: тридцать восемь и семь — тридцать восемь и девять...»

Карима-апа положила листок и пристально посмотрела на Шерали.

— Я хочу, чтобы вы правильно поняли, Шерали Халмурадович... Не подорвет ли ваш эксперимент самым серьезным образом ваше здоровье? Ведь последствия трудно предсказать. Может быть, пора уже и черту подвести? Тем более, что...— она кивнула на кипу исписанных бумаг,— на главный вопрос вы уже ответили.

— Согласен с вами. Но у меня родилась еще одна идея.

— Еще идея?— нахмурилась Карима-апа.

— Хочу продолжить дневники Леонида Михайловича, если уж взялся довести до конца то, что он не успел.

Карима-апа в задумчивости покивала головой, про-

изнесла неопределенное: «Ну-ну...» — и вышла из лаборатории.

Дильбар и Шерали успели в буфет перед самым его закрытием. Но им еще кое-что досталось, чтобы заморить червячка...

Когда они допивали компот, Дильбар сказала, что сейчас она должна что-то есть духу мчаться в СамГУ и выполнить сразу несколько поручений матери. Открыв сумочку, покопалась в ней, проверяя, не забыла ли ключи от зажигания в лаборатории.

День сегодня был пасмурный. Набежавшие облака напоминали разложенную для пошива стеганого одеяла вату. И там, где слой потоньше, временами проглядывало белое солнце.

Шерали решил немного проводить Дильбар, и они медленно шагали по аллее, в конце которой стояли белые «Жигули».

Из глубины сада влажный ветер приносил аромат базилика и прелой листвы. У институтского подъезда стояли несколько молодых сотрудников в белых халатах и курили. Дильбар кивнула в их сторону:

— Для них, наверное, все времена года — и весна, и лето, и осень, и зима — пахнут одинаково: табачным дымом.

— Повальная болезнь, которой пока не придают серьезного значения. А зря...

— И против которой мы пока бессильны, — засмеялась Дильбар.

— Слишком серьезный у нас соперник — реклама. Мы-то людей предупреждаем: «Курить вредно!.. Пить вредно!..» А посмотрите, в каких ярких упаковках предлагаются нам сигареты! А какие красочные этикетки на бутылках!

— Если с этим недугом бороться всерьез, то начинать надо с того, чтобы внешний вид и того и другого был самым непривлекательным.

— Вот-вот, я бы на этикетках рисовал череп и кости, — подхватил Шерали и рассмеялся.

— Зря вы смеетесь.

— У меня сегодня хорошее настроение, какого давно не было.

— Да? Наверное, есть и причина для этого?

— Конечно, — Шерали, подавшись слегка вперед, заглянул девушке в глаза. — Ваша матушка заметила,

что я держал вас за руку, и все еще не уволила меня с работы. Даже Бухарой не пригрозила...

— Ну, вот еще! Просто она знает...— проговорила девушка и осеклась.

— Что же она знает?

— Что в таком случае уйду и я!

Шерали опустил голову. Он проникся к ней благодарностью, нет, огромной нежностью, но проявить это в данную минуту никак не мог. Этого никто не должен видеть.

Но молчание Шерали сказало девушке гораздо больше, чем он смог бы выразить словами.

Дильбар открыла дверцу машины и обернулась.

— Завтра я проведу вас,— сказала она.

Шерали проснулся с ощущением сладостного волнения. Видимо, оно не покидало его и во сне. Сегодня придет Дильбар.

За окном едва начало светать, а уже доносятся шаги прохожих, их негромкий говор. Шурша шинами и поскрипывая, проехал автобус.

Шерали включил свет и перво-наперво привел в порядок комнату. Подмел пол, накрыл свежей скатертью стол, собрал валявшиеся где попало книги, журналы и положил на полку, вымыл на кухне плиту и раковину.

Затем заварил крепкого зеленого чая, налил в пиалу и вынул из целлофанового мешочка лепешку, присыпанную коноплей, разломил ее на куски.

Во время завтрака решил перечитать свои старые записи и вынул из ящика тумбочки общую тетрадь в коленкоровой обложке, исписанную до половины. На первой странице крупным шрифтом была выведена дата и в скобках: «Спустя девять лет, четыре месяца и семь дней с момента последней записи Леонида Михайловича Исаева».

Он намазал хлеб маслом и, прихлебывая чай, перелистывал страницы. Кое-где делал пометки, что-то вписывал, что-то вычеркивал. На краешке чистой страницы шариковой ручкой вывел сегодняшнее число, месяц, год, и задумался, припоминая подробности минувшего дня. Затем стал медленно писать.

«...По словам пульмонолога, в легких опасно увеличиваются темные пятна — он настаивает на немедленном лечении. Гораздо более серьезно заключение гене-



тика. По его мнению, в случае продления эксперимента у меня могут возникнуть изменения в генетическом коде. Черт возьми, не слишком ли дорогая цена? Если иметь в виду, что появится возможность искоренить аскаридоз полностью...

В организме больного происходит стремительный круговой процесс: в кишечнике из яиц вылупляются личинки: личинки превращаются в червей, они быстро растут и тоже откладывают множество яиц. Только что отложенные яйца выделяют токсин, который, попадая в кровь, отравляет весь организм. Прежде всего страдают печень, сердце, легкие, центральная нервная система...

Наличие в кишечнике десяти-пятнадцати аскарид можно считать чрезвычайно опасным для человека...

Яйца аскарид в организм животных попадают вместе с травой. В организм же человека — чаще всего с овощами.

Больные животные заражают места выпаса. И процесс этот может продолжаться беспрерывно, если в кратчайший срок не будут приняты самые решительные меры. А именно: на зараженные участки должен быть объявлен карантин не на пять-шесть лет, как было ранее, а не менее, чем на двенадцать лет. Только тогда мы избавимся от этой болезни...»

Шерали откинулся на спинку стула, потирая переносицу. Задумался. «Двенадцать и более лет плодородной земле не приносить пользу? Да выдержит ли это дехканин? Тем более, что земли эти, как правило, располагаются в непосредственной близости от его жилья. Да и в эти пять-шесть лет карантина вряд ли соблюдаются необходимые меры предосторожности. А подчас многим и неизвестно, что где-то нельзя пасти скот, а где-то сажать огурцы, помидоры. Потому и трудно бороться с этой болезнью, потому и затянулась война с нею... с древнейших времен приносившей человеку и земле страдания. Землю тоже надо лечить. Вот только как? Чтобы это выяснить, не один год и не одному ученому придется покорпеть...»

В прихожей раздался звонок.

Шерали ждал его и все же вздрогнул. Вскочил и кинулся к двери.

От свежего утреннего воздуха Дильбар разругнулась.

Шерали помог ей раздеться, повесил на вешалку пальто.

Пол комнаты ярко высветил солнечный луч.

Дильбар кивнула на горящую люстру и, смеясь, заметила:

— Вам, кажется, солнца мало?

— Решил немного поработать... и не заметил, как рассвело,— сказал Шерали и щелкнул выключателем.

— О-е, если уже такое рвение к работе, наверное, излишне справляться у вас о здоровье?

— Благодарю. До сегодняшнего дня я считал: чем хуже — тем лучше. А теперь... Наверное, очень скоро смогу сказать: «На здоровье не жалуюсь!»

Глаза Дильбар радостно блеснули.

— Ну вот и слава богу. А то все-таки было очень тревожно за вас,— девушка почему-то смутилась.

— А как вы?.. Хорошо ли себя чувствует Карима Музаффаровна?

— Вполне... Только вот...— Дильбар прищелкнула пальцами, подошла к дивану, села, положив ногу за ногу.— Если честно, то ваш эксперимент свел на нет добрую половину ее диссертации. И она очень переживает...

— Я же не преднамеренно, видит бог,— теперь смутился Шерали.— Пусть она на меня...

— Нет-нет, она на вас не сердится,— перебила его Дильбар.— Но согласитесь, есть из-за чего переживать.

— Да, не всегда сразу уяснишь, по правильному ли пути идешь. Главное, чтобы хватило мужества вернуться назад, если избрал ложный путь.

— И начать все сначала. Счастье ваше, что вы так молоды,— проговорила Дильбар, потупясь и перебирая пальцами складки платья; Шерали догадался, что она повторила слова матери; как бы подтверждая его мысли, Дильбар продолжила:— Маме придется пересмотреть некоторые положения своей диссертации.

Шерали прошелся взад-вперед по комнате, придерживая запахнутые полы легкого чапана. Потом спросил:

— Она велела передать мне это?

Дильбар отрицательно покачала головой.

— Велеть не велела, но знает, что скажу.

— Почему она в этом так уверена?

Дильбар подняла голову. В ее глазах он прочел: «Она знает, что я бываю у вас!..» Но произнесла другое:

— Мы очень дружны с мамой. Всегда во всем советуемся... У нас друг от друга нет секретов... Самое главное, пересматривая некоторые свои тезисы, она хочет сделать ссылку на вас. И ее беспокоит, дадите ли вы на это свое согласие...

— Для меня это большая честь!.. Ведь в обработке материалов принимает участие целый коллектив. Поэтому будет справедливее, если она сошлется не на меня, а на коллектив.

— Но основная работа все же проделана вами.

— Ну и что же?

— Согласны поделить славу со всеми?

Шерали сдвинул брови, делая вид, что озадачен вопросом, а в глазах у самого сверкали веселые смешливые искры.

— А мне вполне достаточно выглядеть героем в ваших глазах. Если это, конечно, возможно. Но об одном вас прошу — о славе не заводить никаких разговоров. И так уже кое-кто об этом только и твердит...

— Зияхана имеете в виду? Да он вам просто завидует.

— Не только это!

— А что еще? — насторожилась Дильбар.

— То, что он еще и ревнует кое-кого, — улыбнулся Шерали.

— Да ну вас, — отмахнулась Дильбар.

Шерали подумал о том, что сам, уже задним числом, ревнует Дильбар. В ушах то и дело звучал голос Зияхана, когда он не без гордости рассказывал о том, где они накануне побывали с Дильбар: посетили ли театр, ездили ли на пикник, побывали ли в гостях у кого-то из знаменитостей. Зияхан считал совершенно необходимым доводить это до сведения коллег, дабы те мотали себе на ус, как покровительствует ему Карима-апа, если он чуть ли не каждый вечер проводит с ее дочерью. Некоторые в институте заискивали перед Зияханом именно по этой причине. А Шерали так и подмывало иногда оборвать Зияхана, сказав ему какую-нибудь гадость. Молчал из-за Дильбар.

— Однако вы не пропускали ни одного нового фильма, — не удержался все-таки Шерали от упрека.

— Да что вы! Всего-то раза два или три были!

— А я не помню, когда в последний раз выбирался в кино.

— В общем-то и я тоже.

— А вы-то почему?

— Не получалось как-то,— Дильбар опустила голову и тихо, сдавленным голосом, прошептала:— Не хотела без вас...

Шерали боролся с желанием подойти к ней, обнять за плечи и крепко прижать к себе. С трудом сдержался. Но не в силах был отвести от нее глаз.

Почувствовав его взгляд, Дильбар медленно подняла голову. С минуту они смотрели друг на друга.

Поддавшись его зову, она медленно встала, приблизилась к нему почти вплотную и закрыла глаза, чувствуя на горящем своем лице его дыхание. Ее рот чуть приоткрыт.

У Шерали закружилась голова. В висках стучала кровь: «Люблю!.. Люблю!.. Люблю!..» И сердце билось так, что пришлось вздохнуть полной грудью. «Люблю!.. Люблю!..» А до сознания дошел собственный голос... Совсем недавно Шерали, выступая на ученом совете, говорил: «...А спустя два-три дня личинки по пищеводу поднимаются в полость рта, проникают в бронхи и легкие. Наблюдается обильное слюноотделение. Посредством слюны болезнь может легко передаваться другому...»

Руки Шерали непроизвольно коснулись плеч девушки. И тут же он резко отступил назад...

Дильбар открыла глаза и увидела, что Шерали, выскочив на кухню, ставит на конфорку полный чайник, расплескав воду, и чиркает спичками, ломая одну за другой.

Первым желанием девушки было кинуться в прихожую, одеться и броситься бегом из этого дома, чтобы больше никогда-никогда здесь не появляться. Но сделай она хоть шаг, у нее, наверное, подкосились бы ноги.

Неожиданно она ощутила в себе такую слабость, что подуи на нее ветерок, не устояла бы. Вернулась к дивану и, закрыв ладонями лицо, уткнулась в колени. Ее объял стыд. «О боже, что это со мной?!» Очнулась, почувствовав прикосновение к плечу. Вздрогнула и выпрямилась.

— Не прикасайтесь ко мне!— Дильбар резко сбросила с плеча руку Шерали.

— Дильбар,— произнес он спокойно, но голос его вдруг сорвался, будто кто-то сдавил ему горло, и она поняла, как трудно далось ему это спокойствие.— Простите меня... Вы мне очень дороги. Поэтому... Поэтому...

Она усмехнулась краешком рта и передернула плечом, точь-в-точь, как это делала ее мать, выражая относительно чего-то сомнение или недоверие.

— И даже больше...— продолжал Шерали.— Я не представляю, как в дальнейшем смогу жить без вас...

Дильбар отвернула лицо в сторону. А он мялся, искал незатертых слов, которые запали бы ей в душу, но все, что он мог сказать, не могло передать и малой толики того, что он сейчас испытывал. И Шерали замолчал.

Дильбар поднялась. Щеки ее еще горели.

— Зачем я, собственно, пришла?.. Ах, да, хотела приготовить вам поесть. Хотите, сварю что-нибудь?

— А вот для «что-нибудь» ничего и нет,

Дильбар засмеялась и прошла на кухню. Скрипнула дверца навесного шкафа. Задрезбезжал, включаясь, холодильник.

— Картошка есть!..— донесся голос Дильбар.— И немного колбасы... Вот если найду еще лук и масло — тогда держитесь!..

Перед глазами Шерали замелькали разноцветные майские шары, то раздуваясь до необъятных размеров, то уменьшаясь и исчезая, будто из них выпустили воздух. К горлу подступила тошнота. Он шагнул к дивану и сел, скрючившись, прижал к животу локти, стараясь дышать спокойно и глубоко. Иногда это помогало.

Хоть бы Дильбар не заметила! Хоть бы не заметила... А то опять в глазах ее появится жалость. Жалеют слабых, а ему надоело быть слабым. На жалости любовь не может держаться...

С кухни доносился звонкий голос Дильбар. О чем это она? Что-то говорит. И все мимо его ушей. Сколько времени просидел он так, пока отдышался?.. Все, теперь уже полегче. Можно даже улыбнуться.

Шерали подошел к окну, открыл форточку. Постоял, жадно вдыхая свежий воздух, пропитанный запахом древесной коры и палых листьев.

Дильбар внесла в комнату большое фарфоровое

блюдо с красными цветочками по краям. На нем красовалась подрумяненная картошка с кусочками жареной колбасы.

— Пожалуйста, жаркое!

Шерали ел через силу, чтобы не обидеть Дильбар. Жареная картошка буквально раздирала стенки воспаленного пищевода.

Немного погодя, спросил:

— А вы?

— Я завтракала,— Дильбар сидела напротив и, подперев ладонью щеку, смотрела, как он ест, и улыбалась, довольная, что ему понравилась приготовленная ею еда.

— Оказывается, и из ничего можно приготовить что-то вкусное. Представляю, какой вы делаете вкуснейший плов...

— Плов это плов. Как его ни приготовь, все одно вкусно.

— Не-ет, многое зависит от того, кто готовит. Два человека, стоя рядом, могут делать все совершенно одинаково, а вкус у плова разный... Талант нужен.

— Говорят, плов — монополия мужчин. У нас плов всегда готовил папа. Вот это был плов так плов!.. У нас с мамой такого не получается,— грустно вздохнула Дильбар.

— Один мой товарищ, когда учился в университете, слушал лекции вашего отца. Он всегда вспоминает о нем с уважением...

— Да, папа все силы отдавал работе. Врачи предупреждали... И внезапно... Инфаркт.

Шерали положил вилку на пустую тарелку. Вздохнув, сказал:

— Кто-то из ученых остроумно заметил, что инфаркт — это пуля, нацеленная в сердце двадцатого века. Кто знает, скоро ли родится гений, который сработает против этой пули щит...

— Увы,— усмехнулась Дильбар, и две горькие складки пролегли по углам ее рта.— В то же время немало «гениев» ломает головы над тем, чтобы создать еще более смертоносные пули, направленные опять же в сердце двадцатого века.

— Да... Если даже исключить войны, все равно настала пора подумать о том, как спасти человечество... Скажем, уровень гемоглобина, эритроцитов у нашего современника в три-четыре раза ниже, чем у тех, кто

жил полтора-два века назад. Сейчас это считается нормой! А дальше как?..

— Помню, папа сравнивал человеческую жизнь со вспышкой падающей звезды. Вспыхнула и растворилась в темной бездне вселенной.

— Именно так. Он был прав, ваш отец.

— Значит, вы тоже так считаете?

— Время летит, пожалуй, даже быстрее, чем звезда. Его ничем не восполнить.

— Да, не восполнить,— грустно повторила Дильбар, не сводя с него пронизывающих черных глаз.— Почему же вы тогда обрекли себя на эти мучения, вместо того, чтобы украсить чем-то свою жизнь, приумножить радости?

— А разве это не радость, когда достигаешь того, к чему стремился?..

— Шерали-ака! А вы способны думать о чем-нибудь другом, кроме своей работы?— спросила Дильбар, все так же не сводя с него глаз.

И он отвел взгляд, словно ослепленный черными, бьющими в упор лучами.

— Конечно,— пробормотал он.— Сейчас я как раз меньше всего думаю о своей работе.

— Ого, это уже интересно. Чем же заняты ваши мысли?

— Вами. Да-да, вами.

Дильбар вдруг стала похожа на растерянного ребенка. Ресницы затрепетали, губы задрожали, будто противясь набегающей на них улыбке.

Она не сводила с Шерали глаз, в них почему-то стояли слезы.

\* \* \*

Едва Шерали, войдя в лабораторию, успел бросить: «Добрый день», как Вали Тиллаевич живо вскочил с места.

— Идемте скорее к Кариме Музаффаровне! Велено, как только вы явитесь, немедленно доставить вас к ней!

Секретарша встретила их с улыбкой. Сказала, что Карима-апа ждет.

Карима-апа, держа чайник белой салфеткой, наливала в пналу чай. Покончив с этим, поздоровалась за руку с Вали-ака, с Шерали, затем велела секретарше принести еще две пналы.

— Ну, как самочувствие?— спросила она.— Стало полегче после того, как начали лечение?

— Благодарю. Действительно полегче.

— Рада за вас. Присаживайтесь. У нас сейчас гости из Ташкентского института паразитологии. Я решила провести с ними небольшую беседу. С вашим участием. Не возражаете?— Она взяла у секретарши пиалы, налила чаю, подала Вали-ака и Шерали; стоявшей в ожидании распоряжений секретарше сказала:— Пригласите товарищей.

Та кивнула и, почти неслышно ступая по ковровой дорожке, вышла.

Через несколько минут в приемной послышались голоса, тут же открылась высокая белая дверь кабинета, предупредительно предлагая друг другу переступить порог первым, вошли человек десять-двенадцать. Среди них было и несколько коллег Шерали, причастных в какой-то мере к его опыту. Двоих он встречал в Ташкенте, когда ездил туда. Остальные были незнакомы. Вошедшие раскланивались и занимали места.

Карима Музаффаровна представила Шерали гостям из Ташкента.

— Слышали о вашем эксперименте, очень интересно,— сказал один из них, подойдя к Шерали и пожимая ему руку.— Хотелось бы что-нибудь узнать о нем от вас самого.

Пока приглашенные рассаживались, обмениваясь негромкими фразами, Карима-апа сидела с равнодушным, ничего не выражающим лицом и перебирала на столе какие-то бумаги. По ее виду гости могли подумать, что подобные эксперименты проводятся в институте сплошь и рядом и давно перестали кого бы то ни было удивлять. Наконец Карима-апа нашла среди бумаг то, что искала, и сказала:

— Итак, уважаемые товарищи, все вы достаточно подробно знаете о том эксперименте, который провел на себе наш уважаемый Шерали Халмурадович. Сейчас этот эксперимент на стадии завершения. Сделаны необходимые наблюдения, определенные выводы. Пожалуйста, Шерали Халмурадович, поделитесь с присутствующими результатами эксперимента.

Шерали подробно рассказал о том, как протекала болезнь, обратив внимание коллег на самые серьезные, с его точки зрения, моменты.



Ученые внимательно слушали его и что-то записывали в блокнотах.

Шерали закончил выступление и сел. Никто из присутствующих не спешил высказаться.

Первой подала голос Карима Музаффаровна:

— Я рада за вас, Шерали Халмурадович,— сказала она бесцветным голосом.— Не забудьте написать заявление об отпуске. Путевкой в санаторий мы вас обеспечим. Вам необходимо отдохнуть.

— Спасибо,— сказал Шерали,— но в ближайшее время у меня вряд ли будет возможность для отдыха. По завершении этого опыта предстоит провести ряд других.

Кабинет наполнился гулом голосов, раздались смехи.

— Ваш оптимизм, Шерали Халмурадович, достоин восхищения,— с улыбкой сказала Карима Музаффаровна, постукиванием карандаша призывая присутствующих к тишине.— И что же это будут за опыты, надеюсь, вы не делаете из этого секрета?

— Не делаю. В чем заключался смысл проведенного эксперимента?— спросил Шерали, вставая с места, и сам ответил:— Выявить дееспособность находящихся в земле возбудителей болезни. Теперь мы должны в возможно более короткие сроки научиться обрабатывать зараженные участки земли, чтобы потом можно было пользоваться ими без страха.

— Что же вы предлагаете?— поинтересовалась Карима Музаффаровна, в глазах ее засветилось искреннее любопытство.

— По этому вопросу некоторые соображения оставил Леонид Михайлович. Зараженные участки он предлагает обрабатывать препаратами теабендазола и карбонона. Прежде всего нам необходимо проверить, сколь эффективно это средство. Если оно окажется малоэффективным, искать какие-то новые...

— Что ж, согласна. Но сначала вылечитесь,— сказала Карима-апа.— Работы впереди, действительно, непочатый край. А это требует хорошего здоровья.

— Да, Шерали Халмурадович провел чрезвычайно важное и сложное исследование,— негромко заметил заместитель директора Саттар Мукумович и посмотрел на Кариму Музаффаровну, чтобы по выражению ее лица определить, то ли он говорит, что надо, продолжать или нет; та сидела, уставившись на лист белой бумаги, во-

дила по нему карандашом. И он не решился развивать свою мысль.

А Вали Тиллаевич взял да и подхватил ее, кивая растерявшемуся заместителю Каримы-апы:

— Вы совершенно правы, Саттар Мукумович, этот смелый эксперимент молодого ученого поднимает авторитет нашего института.

— Ничего не скажешь, молодец, джигит!— сказал кто-то из ташкентцев.

— Вполне разделяю ваше мнение,— проговорила Карима-апа.— Мы им гордимся.

Шерали ответил на несколько заданных ему вопросов.

После чего Карима-апа объявила, что все могут быть свободны. Шерали она попросила задержаться. Когда они остались одни, она попросила его подсесть поближе и сказала:

— Обработка почвы препаратом теабендазола и карбонона... это обойдется нам в копейку, слишком дорого!

— Вы правы, Карима-апа. Пока у нас нет дешевых средств, придется использовать эти.

— Но у нас просто не хватит препарата для обработки больших площадей.

— Сейчас я еще только ищу, чем можно уничтожить эту заразу, не меняя структуры самой почвы, не нанося вреда другим живущим в ней организмам, траве. Что же касается того, чтобы препараты были не только действенными, но и дешевыми — это уже другой вопрос, и над этим тоже предстоит подумать.

— Да, Шерали Халмурадович... Работы у вас и впрямь непочатый край. Что ж, желаю вам не устать!— она поднялась и подала ему руку.

Шерали тоже встал. Рука у Каримы-апы была женственная и в то же время по-мужски сильная. Когда он взялся за медную, начищенную до блеска ручку двери, его настиг голос Каримы-апы:

— А заявление относительно путевки все-таки напишите!

Он кивнул и вышел.

\* \* \*

«...Сорок!.. Сорок одна... Уф-ф!.. Вот я и поднялся почти до самой верхней площадки! Дильбар, видишь?»

Я поднялся! Благодаря тебе, Дильбар! Это твое присутствие вливает в меня силы. Как хорошо сознавать, что ты рядом. Окликну — и тотчас появишься. А покинут меня силы — подставишь плечо, пусть хрупкое и слабое, но ведь мне не опереться надо, а только почувствовать твое плечо, плечо друга...»

Он услышал звонкий смех Дильбар. Почудилось? Нет, в самом деле. Девушки стояли в тени небольшого навеса, и Галина рассказывала подруге что-то занятное.

Шерали заразившись их весельем, тоже улыбнулся и подумал, что давно уже не смеялся так, чтобы ни о чем не думать, только смеяться. Почти разучился... А смех Дильбар, как искра, которой ничего не стоит воспламенить его окаменевшую душу, вернуть ей способность радоваться...

Скоро, скоро силы вернутся к нему, и закипит в жилах кровь. Только бы всегда была рядом Дильбар! Шерали представил себе, как, крепко держа за руку Дильбар, он взбирается с ней в гору по крутому зеленому откосу. Они то и дело спотыкаются, падают в траву, и лепестки тюльпанов разлетаются в разные стороны. Девушка покраснелась, глаза излучают свет, вместили в себя и небо с плывущими по нему облаками, и ослепительно сверкающие вершины гор.

Шерали не заметил, как вновь зашагал вверх по ступенькам.

— Ну, сколько, Шерали-ака?— спросила Дильбар, когда он ступил на верхнюю площадку.

— Сорок две!— выдохнул он.

— А я насчитала сорок одну!

— А я сорок три!— сказала Галина, отбрасывая со лба светлую прядь.

— Теперь обратно,— спросила Дильбар.

— Коли я все-таки одолел лестницу, то должен пойти поклониться духам предков и, попросить у них по старой традиции покровительства,— улыбнулся Шерали.

Посетителей уже было не так много. В узком, устланном квадратным жженным кирпичом проходе, сжатом с обеих сторон большими и малыми мавзолеями, тесными худжрами, шаги отдавались глухим эхом. Под сводами, полными мрака и прохлады, слышались негромкие голоса и шепот. Стены были сплошь покрыты разноцветной плиткой с замысловатыми узорами. В них

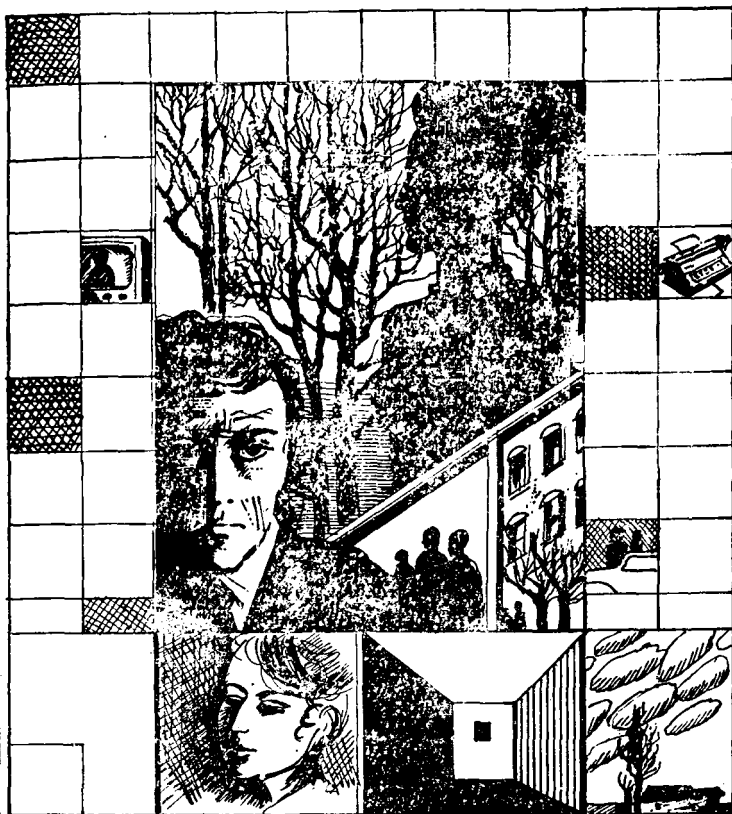
преобладал голубой цвет, который как-то успокаивал, помогал привести в порядок мысли. В какое бы ни вошел помещение, можно часами стоять и удивляться творению рук человеческих, ощущая в сердце музыку. Время здесь словно останавливалось.

Подошла Дильбар, взяла его под руку и, прижавшись к плечу щекой, тихо напомнила:

— Галя опоздает на поезд.

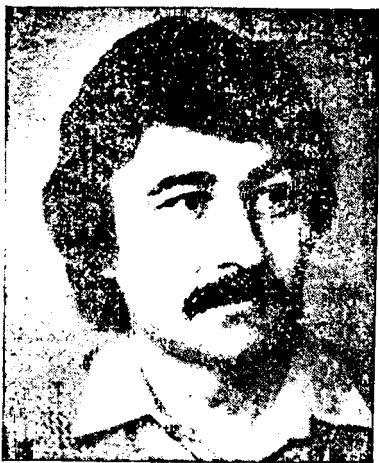
Самарканд купался в лучах вечернего солнца. Макушки деревьев, крыши домов впитывали цвет заката.

Вдали виднелись горы. Холодная синева, быстро сгущаясь, от подножий поднималась к вершинам, которые постепенно тонули в вечерних сумерках. Когда погас луч на самой высокой вершине, над городом вспыхнули гирлянды электрических огней...



*Мурад Мухаммад-Дост*

ОТСТАВНОЙ



Мурад Мухаммад-Дост родился в 1949 году.

В 1979 году окончил Литинститут им. А. М. Горького. Работал сельским учителем, на киностудии «Узбекфильм», в республиканском журнале.

М. Мухаммад-Дост — автор сборника рассказов «Где вы, звуки радости?» (1976), повестей «Мустафа», «Цена одного жеребенка» романа «Возвращение в Галатепе» (1983).

По его сценариям поставлены художественные фильмы «Пророк из Галатепе», «Уроки на завтра».

Эта история началась с того, что рано утром Бинафша-ханум, жена Эломонова, поэтесса и драматург, вся разодетая и раздурманенная, принесла из кухни маленький ковшик с тремя яйцами и поставила перед мужем. Эломонов осторожно потрогал ковшик — он был обжигающе горячим.

— Могли бы слегка обдать холодной водой, ханум, — сказал он с легкой укоризной.

— Я тороплюсь, — хмуро ответила Бинафша-ханум. Эломонов вынужден был пойти на кухню. Пустив струйку холодной воды в ковшик, он посмотрел на улицу. Там было пасмурно, деревья стояли совсем голые. Эломонов вспомнил свою дочь, студентку, месяц назад выехавшую с институтом на сбор хлопка. Бедной Хурсаной трудновато будет, подумал он, первый раз за все четыре курса поехала на хлопок, к работе еще непривычна, да и зима, судя по всему, обещает быть ранней.

Вернувшись в комнату, он застал жену на фигурном диванчике, будто она никуда и не спешила. Эломонов чуточку обиделся, но виду не показал, переложил яйца из ковшика на тарелку и пригласил жену:

— Пожалуйста к дастархану.

Бинафша-ханум покачала головой — отказалась. Достала из сумочки флакон с лаком, покрасила ногти, подула, пока лак не высох, затем нанесла второй слой, опять подула и полюбовалась маникюром — хорошо! Улыбнулась, но тут же посерьезнела, кажется, вспомнила, как минуту назад сидела хмурая, и стала поправлять волосы. Глядя на тонкие, длинные пальцы жены, быстро бегающие над ее высокой прической, Эломонов вспомнил знакомую парикмахершу, которая стригла его до недавнего времени, пока он не перешел на другую работу. И у той были такие же тонкие и проворные руки. Сидя в парикмахерском кресле, Эло-

монов часто засыпал от приятного прикосновения ее пальцев и просыпался от звонкого смеха: какой же вы, однако, смешной, товарищ Эломонов!..

Эломонов невольно улыбнулся своим воспоминаниям. Так он привык к той парикмахерше, что теперь иногда стыдливо просит жену слегка помассировать ему голову. Бинафша-ханум, если она в хорошем настроении, массирует. Но, увы, Эломонов не испытывает при этом того чувства сладостной истомы, которое приходило к нему в парикмахерском кресле. Не так же, ханум, бормочет он с досадой, надо по-другому... Бинафша-ханум настораживается и вкрадчиво спрашивает, а как же?.. Но Эломонов не поддается на хитрость. Я не знаю — как, постанывает он, голова раскалывается, ханум, боюсь, опять давление подскочило.

Правда, однажды он все-таки не поленился, показал жене, как надо массировать голову. Наука эта понравилась Бинафше-ханум. О, мой принц, воскликнула она, это же, оказывается, так прекрасно, я зря хожу к массажистке, когда у меня есть вы! Но потом, когда посмотрела на себя в зеркало, не на шутку рассердилась: что за медвежья замашки, вы мне всю прическу испортили!

Эломонов решил наконец заняться завтраком, выбрал яйцо покрупнее и разбил его о край ковшика. Оно оказалось недостаточно сваренным, и все содержимое стекло ему на пальцы. Второпях Эломонов облизал их, хотя салфетка лежала рядом с тарелкой, и краешком глаза увидел, как губы Бинафши-ханум скривились в презрительной усмешке.

— Ну мы, ханум, неотесанные... недаром из кишлака... — вымученно улыбнулся он. — Лучше не покупать яйца в магазине, фабричные куры не едят мел, вот и яйца у них такие хрупкие...

Бинафша-ханум не ответила. Она подошла к столу и, отломив кусочек булочки, бросила его в рот.

— Когда в рационе курицы достаточно кальция, то есть мела, — яйца бывают крепкими, — продолжал Эломонов. — Земля нашего Галатепе богата кальцием. Об этом мне говорил Нишон Саттаров, мой одноклассник. Сам он биолог в сельской школе, правда, говорили, будто собирался на пенсию по состоянию здоровья.

— Сами вы еще не собираетесь?

— Мне, пожалуй, еще рано, — ответил Эломонов,



будто не замечая маленькой издевки в голосе Бинафшаханум, затем, чуточку задумавшись, добавил со странной, как показалось жене, радостью: — Нишон на целых три года старше меня. В детстве часто болел, вот и в школу пошел намного позже положенного. Помню, как мы, Нишон, Бако, Сайдулло и я, собирали черепаший яйца и пекли их в золе. Это было лучшее время моей жизни!..

— Фу, какая гадость! — сморщила нос Бинафшаханум, не разделив восторга мужа.

— Тогда хлеба было мало, ханум. Потом... что же тут плохого? Вон аж в Париже, а не в Шоркудуке где-нибудь, говорят, лягушек едят.

— Неправда, — сказала Бинафшаханум. — Наша группа в Париже ничего подобного не видела.

— Вы гостями были, наверное, постеснялись вам подать, — предположил Эломонов. — Но вы, ханум, все-таки яйца сварили не так, как следует. Это делается очень просто, надо сразу же ставить на большой огонь, тогда белок быстро затвердеет, а желток останется мягким и нежным.

— Почему же тогда вам самому не готовить!

— Но вы не чужая мне, жена все-таки...

— К сожалению, — сказала Бинафшаханум.

— Вы бы чуточку пожалели меня, ханум, — болезненно улыбнулся Эломонов.

— А я привыкла говорить правду.

— Хорошо бы говорить только правду, ханум, но не всегда это удается. Лично я...

— Лично вы, разумеется, всегда лгали. — Бинафшаханум не дала мужу договорить. — И любовь ваша — ложь!

Эломонову стало как-то неловко от этих слов. Такое с ним случалось довольно часто. Говори Бинафшаханум чуть проще, ему все же было бы легче ответить, но такие, как сейчас, мудреные выпады сразу обезоруживали его. Эломонов с детства терялся от красивых слов и краснел, когда сам бывал вынужден произносить их.

— Я же... на вас по любви женился, ханум, — сказал он со смущением. — Ради вас в кишлаке невесту оставил...

— Что-о? — удивилась Бинафшаханум. — Невесту оставили? И вы еще смеее сообщать мне о такой подлости?

— Уймитесь, ханум, ведь я к ней был совершенно равнодушен. Просто тетя сама ее нашла, хотела, чтобы я женился... Боже, о чем говорить!.. — засмеялся Эломонов. — Столько времени прошло, я даже забыл об этом!

— Нет, не забыли, раз говорите, — сказала Бинафша-ханум. — И вам не было ее жаль?

— Я же сказал — тетя сосватала...

— Какая, однако, феодальщина! — воскликнула Бинафша-ханум. — И как вы могли стерпеть подобное насилие над своей личностью?

— Да при чем тут насилие, — ответил Эломонов с досадой. — Это же кишлак, там свои правила. Пожалуйста, не обижайтесь, ханум, можете мне поверить, я ту девушку даже в глаза не видел...

Бинафша-ханум не ответила; отошла к окну с тяжелыми бархатными портьерами, где она имела обыкновение стоять обиженной или в состоянии глубокой задумчивости. Эломонов подошел к ней, взял за локоть и повернул к себе. Бинафша-ханум отвернула лицо. Эломонов чуть нагнулся, чтобы поцеловать ей руку, но рука была тут же резко отдернута. Эломонов так и застыл — согнутый, с раскрытыми для поцелуя губами.

Когда он выпрямился, Бинафши-ханум в комнате уже не было. Голос ее донесся из передней:

— Эломонов!

Он молчал.

— Оглохли, что ли, Эломонов?

Эломонов вышел в переднюю. Бинафша-ханум сидела на низеньком табурете и пыталась натянуть сапоги. Увидев мужа, показала взглядом — мол, помогите.

Эломонов молча сел на корточки и успешно застегнул «молнию» левого сапога, а вот с правым у него ничего не получилось. Бинафша-ханум тяжело вздохнула.

— Ничего-то вы не умеете!

Эломонов виновато посмотрел на жену. Бинафша-ханум чуть смягчилась, чмокнула его в лоб, сама застегнула «молнию» и встала.

— Вчерашний наш уговор не забыли, Саид-ака? — спросила она, роясь в сумочке.

— Какой уговор? Книга, что ли?..

Бинафша-ханум вместо ответа нахмурила брови.

— Помню, — поспешно сказал Эломонов. — Я узнал, ханум, но за книгой надо ехать аж в Ободон.

— Бедный мой. Сабирджан, бедный мой сын, если бы он только. услышал вас! — воскликнула Бинафша-ханум. — Сын живет на чужбине, просит у него какую-то жалкую книгу, а он!..

— Я же обещал, ханум...

— Единственный мой сын!.. — в голосе Бинафша-ханум послышались слезы.

— И мой — тоже, — заметил Эломонов.

— Нет у вас любви к сыну!

— Есть, ханум, есть, — слабо защищался Эломонов. — Поймите только, до Ободона целых двести километров!

Бинафша-ханум уже совладала с собой, посмотрела на мужа ясно и презрительно:

— Вам бы бабой родиться, Эломонов!

— Двесги километров... — повторил Эломонов виноватым тоном. — Будь немного ближе, я бы мигом... Ханум... подождем до субботы, я непременно привезу вам эту книгу.

Бинафша-ханум не ответила. Сняла с вешалки норковую шапку и вышла из квартиры, сильно хлопнув дверью.

Эломонов вернулся в комнату и прилег на диване. За окном уже шел снег. Крупные белые хлопья прилипали к стеклу и быстро таяли. Эломонов невольно съежился, будто озяб. Опять вспомнил дочь. Целый месяц прошел, а они еще ни разу ее не навестили. Она никогда не отлучалась из дому надолго, а там холода начнутся, трудно ей будет, впрочем, не только ей, вон сколько народа сейчас днюет и ночует на полях, уборка опять затянется до самого декабря, это уж как пить дать, он и сам в хлопкоуборочной кампании принимал участие, знает — сперва выполняй, потом перевыполний, а там, глядишь, какой-нибудь очень хороший человек с призывом выступит, чтобы убрать все до последней коробочки — будь она неладна эта последняя коробочка под семью покровами снега!

Видать, мне самому надо ехать к дочери, решил Эломонов, на Бинафшу-ханум надеяться не приходится, дел у нее по горло, ходит вся нервная, издерганная, то ли подборку стихов вернули, то ли постановку пьесы отодвинули, ей сейчас не до родительских забот...

Желая хоть немного отвлечься от грустных мыслей,

Эломонов закрыл глаза. И в этот момент раздался бой часов. Эломонов насчитал девять ударов. Врут, подумал он, Бинафша-ханум ровно в восемь выходит из дома, еще не было случая, чтобы она опоздала на работу... Он хотел было перевести стрелки часов назад, но поленился вставать, лишь открыл глаза и продолжал лежать, разглядывая большую фотографию на противоположной стене, где была запечатлена Бинафша-ханум, еще просто Бинафша — молодая поэтесса, красивая, хрупкая, задумчиво глядящая куда-то в дальние дали, с высокой прической, с хорошо отточенным карандашом в руке... Лет двадцать назад такие прически в большой моде были, благодаря несравнений Касыме, дикторше телевидения. Ой, Бинафшахон, восклищали подружки жены в те далекие времена, ой, душечка, вы так похожи на дикторшу Касыму, ну как две капли воды, такая же красивая, такая же обаятельная, берегитесь, душечка, вас могут и перепутать с ней, ведь у нее столько поклонников!.. Признания подруг льстили Бинафше, но она делала обиженный вид — мол, не я, она похожа на меня. А подружки хохотали — им было приятно дружить с молодой поэтессой, да еще такой веселой и остроумной!

Боже, как летит время!

Где теперь те смешливые подружки жены? Где Касыма, мечта влюбленных? Разве теперь кто-нибудь узнает Касыму в солидной тетке, которая вечером появляется на экране, чтобы рассказать детям сказку. Глядя на эту женщину, заполнившую собой весь экран, Эломонов с тоской думает о другой Касыме, о двадцатилетней, о высокой ее прическе и двух завитках, змеившихся некогда у маленьких ушек красавицы, и испытывает такое чувство, будто его обокрали. Надо же, брат Эломонов, говорит он самому себе, ты же никакой не бабник, а ведь, если признаться, к ней был... неравнодушен!

Во времена их знакомства Эломонов был еще молодым, но уже довольно опытным руководителем. Рос быстро, чуть ли не каждый год — повышение, он уже тогда достиг того положения, когда нет-нет да и приглашают на телевидение — мол, надо хоть изредка показываться народу, дабы народ имел возможность поближе узнать лучших своих сыновей; и так до тех пор, пока эти выступления же войдут в привычку у растущего руководителя.

Беседы перед камерой очень нравились Эломонову, нравились своей неторопливостью и торжественностью. А еще тем, что его узнавали, на улице с ним часто раскланивались совершенно незнакомые люди, и эти приветствия были исполнены той особой почтительности, которая ничего общего не имеет с дешевыми восторгами поклонников какой-нибудь звезды эстрады.

Нравились молоденькая звонкоголосая дикторша Қасыма, в устах которой мгновенно оживали скучные цифры, касающиеся, скажем, роста сельского и городского населения данного региона, равно как и вытекающих отсюда перспектив комплексного развития всех отраслей производства, включая и местную промышленность, и конкретных указаний по поводу учета дальнейшего увеличения трудовых ресурсов. Обо всем этом она рассказывала и расспрашивала с неподдельным интересом и не забывала под конец поблагодарить Эломонова:

— От имени многочисленных наших зрителей, Саидмурад Замонович, большое спасибо за столь интересную беседу!

— И вам спасибо, Қасыма-ханум.

— Желаем новых успехов в вашей сложной и ответственной работе...

На этих словах прожектора угасали, и при тусклом будничном свете Қасыма, милая собеседница, опять становилась далекой и недоступной. Она быстро собирала листы текста, вкладывала в папку, сухо прощалась и уходила.

Однажды, после очередной такой беседы, Эломонов задержался на студии — редактор передачи пригласил его на пиалу чая. Когда он вышел из студии и направился к стоянке служебных машин, заметил под сенью большой чинары Қасыму. В черной шубке и в белом пуховом платке, она показала Эломонову еще красивее. Кажется, Қасыма была чем-то озабочена. Вдруг он понял, что она ждет именно его, Эломонова. Понял это и явственно услышал, как бешено заколотилось сердце. Везет же тебе, брат Эломонов, быстро пронеслось в мозгу, Қасыма тебя ждет... сама Қасыма! Да такая женщина не приснится и тем, кто поважнее тебя!...

И он забыл о Бинафше. Образ ее быстро растворился в черных глазах Қасымы, в ее жгучих локонах, растворился, растаял и вовсе исчез.

Только теперь он понял, как правы были подруги Бинафши — жена действительно чем-то походила на Касыму, но дикторша казалась более хрупкой, свежей, нежной. Оттого ли, что они были так похожи, Эломонов не почувствовал стыда. Мысленно он уже взял на себя грех, но дальше не переступил, не смог переступить, и может быть, то, что он не смог переступить, и осталось самым большим его грехом.

Касыма робко окликнула его. Пожалуйста, Касымаханум, идемте, пригласил он, пожалуйста, садитесь в машину. Касыма подошла, села. Может, поедем куда, предложил Эломонов, ресторан, кафе?.. Касыма не ответила, лишь улыбнулась. Эломонов положил руку на плечо водителя: поехали, Васяджан, отвези нас куда-нибудь. Вася весело кивнул, включил скорость и поехал. А сердце Эломонова билось все сильнее. Как бы инфаркт не хватил от радости, со страхом подумал он. Шутка сказать, сама Касыма сидит рядом, та самая красавица, на которую каждый вечер смотрят миллионы людей.

Вася быстро доставил их в маленький загородный ресторанчик. Эломонов вышел из машины и, не смея глядеть в глаза Касымы, тихо пригласил: пожалуйста, Касымаханум, на чашечку кофе... И столько робости было в его голосе, что Васе жалко стало своего шефа. Какой ты, однако, наивный человек, посмеялся он про себя над Эломоновым, посмеялся, но не осудил; и потом, спустя годы, когда они расстались и каждый пошел своей дорогой, Вася всегда хорошо отзывался о бывшем начальнике: было в том что-то от святого, бедняга даже лишней квартирki не имел, а ведь мог бы, стоило только пожелать!

Вася остался в машине. Эломонов и Касыма вошли в ресторан. Метрдотель, узнав Касыму, засуетился, почтительно повел гостей к столику подальше от оркестра, отдал распоряжение сразу двум официанткам. Пока те принимали заказ, лично сам принес вино. Марочное, большой выдержки, сказал он, вот, можете убедиться, нарочно пыль не вытер с бутылки. Эломонов, отдавая дань его предупредительности, пошутил: уж не джинн ли запрятан в столь древнем сосуде? О да, воскликнул метрдотель, он самый, добрый и веселый! Сказав это, он ловко вытер бутылку специально прихваченной мокрой салфеткой, затем протер сухой — нелых пять салфеток ушло на эту волшебную процедуру. Налив вино в хрус-

тальные фужеры, метрдотель пожелал приятной беседы и удалился.

Касыма осушила подряд два фужера. И Эломонов последовал ее примеру. Вино оказалось действительно превосходным, со слегка терпким букетом каттакургани и дарон, издревле славившихся сортов местного винограда. Касыма быстро опьянела и спросила, томно закатив огромные черные глаза, — дескать, можно ли сразу перейти к цели, товарищ Эломонов? Эломонову вдруг стало жарко, он ужасно покраснел и сказал: ну что вы, Касыма-ханум, цель никуда от вас не убежит, пожалуйста, забудьте обо всем, сейчас нам принесут что-нибудь вкусненькое, я давно не бывал в ресторане, все дела, заботы... Касыма не согласилась: нет товарищ Эломонов, мне необходимо высказаться, пока совсем не опьянела. Муж мой, которого я выбрала из тысячи молодцов, оказался просто тряпкой! Эломонов такого никак не ожидал, он даже стал заикаться от удивления: к-как это так, К-касыма-ханум, разве вы з-замужем!.. Да, ответила Касыма, уже два года, у нас ребенок, живем в маленькой комнатушке, к тому же золовка приехала, учится в институте, вот и живем все вместе, и это так тягостно, и мне, и бедному моему мужу, товарищ Эломонов!

Эломонов был охвачен приятным хмелем, поэтому не особенно вник в смысл признаний Касымы, он осушил очередной бокал, закусил не менее терпким, чем вино, пучком базилика и небрежно сказал: Касыма-ханум, я очень хорошо вас понимаю. Касыма ему не поверила. Она и в самом деле находилась в безвыходном положении, и слова Эломонова вызвали у нее лишь брезгливую досаду. Она решила идти напролом: товарищ Эломонов, из-за этой золовки мы не имеем возможности быть мужем и женой! А ведь мы еще совсем молодые!

Еще не было случая, чтобы женщина говорила с Эломоновым столь цинично. Эломонов растерялся, почувствовал себя виноватым, но все же сказал правду: то, что вы здесь со мной... разве это... хорошо? Касыма не выдержала упрека и со слезами на глазах спросила: что же мне еще делать, товарищ Эломонов, нет у меня иного выхода, кроме как... Эломонов расчувствовался, но не удержался от очередного нравоучения: я-то думал, Касыма-ханум, вы умнее. Касыма заплакала. Зачем вам мой ум, товарищ Эломонов, сказала она, посоветуйте!

туйте как мне быть, хотите, стану вашей любовницей?

Будьте моим другом, Касыма-ханум!

Так сказал тогда Эломонов Касыме, дикторше телевидения, первой красавице Оазиса. И до сих пор, стоит только вспомнить эти слова, ему становится стыдно. Ночью, за столиком укромного загородного ресторанчика, в обществе красивой женщины, за бутылкой чудесного вина... о какой дружбе могла идти речь!

Надо же, брат, удивляется по сей день Эломонов, какое оно коварное слово — «друг»!

Некая Хаснят, подруга Эломонова по школе, затем и по институту, подруга, которая обнадеживала его долгие годы, пока не вышла замуж за Сатымбека, грустно призналась ему: дорогой мой Саид, я вас очень и очень уважаю, поверьте, но сердцу разве прикажешь, давайте останемся друзьями на всю жизнь... А сама, пока не вышла замуж, страстно целовалась с этим самым другом: летом — в кишлаке у родничка, зимою — в городе, на берегу реки.

Вспомнив это, Эломонов усмехнулся, обозвал себя болваном. Но... отступать тогда было поздно, и он повторил: будьте моим другом.

Касыма опустила глаза и согласно кивнула: ладно, товарищ Эломонов, пусть будет по-вашему, лишь бы муж ничего не узнал.

Эломонову показалось, что он вот-вот сойдет с ума. Наверное, я очень глуп, Касыма-ханум, сказал он с отчаянием, иначе сумел бы выразиться понятнее, к черту дружбу, скажу проще — будьте мне сестрой, будьте мне хамширой!

Касыма недоверчиво посмотрела на него, нет ли тут подвоха. Эломонов еще больше смутился и объяснил суть нечаянно оброненного персидского слова: мол, ш и р — это молоко, х а м ш и р а — сестра, вскормленная с ним одной грудью, а материнское молоко — это самое чистое и святое на свете!..

Не говорил все это, а словно бы причитал — тоненьким, совершенно несолидным голосом.

Но и теперь Касыма не поверила искренности Эломонова. Даже тогда, когда он отвез ее домой, в другой конец города, она ему не поверила и спросила: мне самой позвонить, товарищ Эломонов?

Эломонов твердо отрезал: не смейте мне звонить!



Проехав одну остановку, он решил отпустить водителя: поезжай, Васяджан, я хочу пройтись.

Вася не согласился: нет, Саидмурад Замонович, вы немного выпили, вдруг встретятся знакомые...

Эломонов рассердился: поезжай и больше не смей меня учить, знакомые не съедят меня, ведь и мне дозволено ходить пешком!

Вася, простая душа, понял его по-своему: не горюйте, Саидмурад Замонович, подумаешь — дикторша! Не эта, так другая будет, есть и покрасивше, пускай уходит, и потом — вы же серьезный человек, Саидмурад Замонович, не по вас такое дело, заводить любовницу, это уж по нашей части, нам, трудягам, такое не возбраняется!

Эломонов, вне себя от ярости, заорал на водителя: поезжай, Вася, чтоб тебя с любовницей твоей!..

Вася не обиделся, уехал. Эломонов пешком вернулся домой. По дороге настроение у него мало-помалу улучшилось. Женщине надо помочь, подумал он, она красива, притягательна, если уж я чуть не соблазнился, то другой-то вряд ли станет ее жалеть, женщине с ребенком и мужем не подобает так позориться, ведь мне ничего не стоит ей помочь, подниму трубку и попрошу, чтобы повнимательней отнеслись к заявлению гражданки Суннатовой, а те, что ведают квартирами, редко бывают безгрешными, они не станут возражать, хотя бы потому, что такая просьба даст им возможность понадеяться на мою поддержку в трудный час. Касыме нужно помочь. Глупо, конечно, сравнивать, но ведь и мы сами когда-то опирались на чью-то помощь. Теперь редко кто вспомнит имя покойного Хушвакта Давлатова, но лет десять назад не было в Оазисе человека именитее его. И мне он помогал, и Шамси Тураеву, и Ашурбеку Джураеву. Многих он поддерживал в свое время, а теперь его самого нет, а ученики все в добром здравии, каждый занимает ответственный пост.

Через месяц после той встречи семья Касымы переселилась в новую квартиру, в центре города, с видом на телебашню. Она в тот же день позвонила Эломонову, поблагодарила и сказала, что теперь перед ним в вечном долгу, так что... Эломонов не дал ей договорить: я не беру взятки, товарищ Суннатов, и то, чем вы хотите меня одарить, я возвращаю вашему мужу.

Так он сказал Касыме и бросил трубку, хотя это и

стоило ему большого труда. Хотелось, чтобы этот зна-  
комый тысячам и тысячам звонкий голос, полный неж-  
ной благодарности и трепета, звучал до бесконечности.  
Но Эломонов осилил себя и бросил трубку. Потом он  
долгие месяцы ждал ее звонка. Ему звонили много кра-  
сивых женщин, но большей частью они были чьими-то  
секретаршами, Қасыма же больше не позвонила...

Встреча с Қасымой, если серьезно подумать, была  
не таким уж значительным событием в его жизни. Да  
какое там событие, просто случайность, но стоит об  
этом вспомнить, как на душе становится светло и не-  
волью думается: надо же, пощадил такую красавицу!  
Совість, значит, была!

Он боится дальнейших раздумий. При долгом обду-  
мывании ему начинает казаться, что это была не со-  
вість, а просто суеверный какой-то страх перед красивой  
женщиной, иначе тоска о несбывшемся не жила бы в  
нем по сей день.

Это он понял полгода назад, когда простудился и  
целую неделю просидел дома. Было скучно. При ны-  
нешней должности гостей у него заметно поубавилось.  
Поговорить с женой тоже не было возможности — она  
заперлась в кабинете и писала новую пьесу. Эломонову  
надоело слоняться по огромной квартире, и он пошел  
к Буюку Пулатову, соседу из третьего подъезда. Пула-  
тов тоже был драматургом и возглавлял один из мест-  
ных театров. Оказалось, он только что закончил новое  
произведение. Ради вас так старался, дорогой сосед,  
пошутил он, скоро поставим пьесу, и вы получите место  
в первом ряду партера. Эломонов поздравил его и по-  
интересовался, о чем пьеса. Как всегда, о хлопке, отве-  
тил Пулатов, интереснейший сюжет — девушка-хлопко-  
роб после уборки урожая едет в Москву в числе передо-  
виков сельского хозяйства, а там посещает выставку и  
влюбляется в одного молдаванина, словом, тема более  
чем актуальная, о любви, о дружбе... И молдаванин  
увезет девушку к себе? — спросил Эломонов. Несомнен-  
но, был ответ. Эломонову почему-то стало жалко героиню.  
Зачем вы бедную девушку отдаете чужому, сказал  
он, я очень уважаю молдаван, вот возьмем товарища  
Виеру, хороший работник, успешно руководит трестом,  
но вы, Буюкджан, ничего не сказали о профессии своего  
героя, может, это нехороший молдаванин? Профессия  
у него самая почетная, ответил Пулатов, парень из по-

томственных земледельцев, зовут его Василе, передовой виноградарь, и его, как и нашу героиню, наградили путевкой на выставку за лучшие показатели, надеюсь, теперь вы не будете возражать? Но Эломонову все равно было не по себе оттого, что Пулатов так легко распоряжается судьбой девушки. Поймите, Буюкджан, сказал он, мне жалко эту девушку, пускай она остается дома и продолжает собирать хлопок, наверно, и здесь нетрудно будет подыскать ей жениха из передовых виноградарей? Пулатов молча слушал его и вдруг засмеялся. Вот вам и сила искусства, Саидмурад Замонович, воскликнул он, ведь эта девушка есть всего лишь плод моего воображения, а вы сразу принялись ее ревновать! Каково?!

Эломонов устыдился своей недогадливости и согласился с тем, что Пулатов прав — действительно, смешно ревновать ту, что не существует на самом деле. Нет, девушка существует, возразил ему Пулатов, поскольку героиня — типизированный образ наших девушек-механизаторов. Такая у нас интересная работа, Саидмурад Замонович, добавил он, довольный произведенным эффектом, главное в ней — это возможность вариаций, где ты сам и за бога, и за пророка, не говоря уже о разнообразности паствы, стоит мне захотеть, ну, в данном случае — нам, и мы поменяем девушку-хлопкороба на парня-хлопкороба, и тогда уже не она, а он поедет в Москву на выставку и полюбит такую хорошую молдаванку, как, скажем, Суфия Ратору! Наверно, как София Ротару, поправил Эломонов соседа-драматурга, на что тот недовольно заметил: не это суть важно, главное заключается в том, что она является молдаванкой. Захочу, пьесу переделаю в фильм, заявил он уже без злости, но и тут необходимо показать трудовой процесс более опосредованным путем, поскольку само хлопковое поле в натуральном его виде почти непригодно для художественных съемок — пыль, жара, комарье проклятое, вонь от всяких пестицидов-гербицидов. А столица тем хороша, что есть где укрыться, климат умеренный, да и самим киношникам в Москве дышится легче, нежели на знойном полевом стане какой-нибудь бригады номер пять.

Эломонов уже заскучал от мудреных речей соседа, он перевел взгляд на телевизор, который работал в углу комнаты, прислушался... Вихрем кружившиеся танцовщицы исчезли с экрана. Вместо них появилась Касыма и, взяв в левую руку куклу с косичками, а в правую —

куклу в халате и тюбетейке, начала свой знаменитый зачин: было ль не было ль, наяву ли во сне ли, некогда, в незапамятные еще времена, когда волк был кухмистером, медведь — банщиком, сокол — стражником, ястреб — ябедой...

Зачин кончился, и Касыма стала излагать несчастливую судьбу маленькой русалочки.

— Ерунда все это, к тому же, вовсе не национально, — поморщился Пулатов. — Наши дети не знают русалочек. Причиной тому — отсутствие моря в данной местности. Аральское не в счет, оно давно уже не море, все мелеет и мелеет... Просто соленая лужа, где не то что русалочка, но даже обыкновенная рыба скоро перестанет водиться!..

— Но это же сказка, Буюкджан, — тихо возразил Эломонов. — При чем тут Аральское море? Андерсена даже я знаю, детям своим читал...

— А по-моему, детям лучше рассказывать про наших местных фей-пери. Согласитесь, Саидмурад Замонович, зачем нам эти русалочки?

— Нет, и чужие сказки нужны, — не согласился Эломонов. — Ведь вы сами недавно говорили о дружбе народов.

— Я говорил о фактической дружбе, Саидмурад Замонович. Сказки же, должен вам заметить, большей своей частью сочинены в старые времена, они не отличаются особой идейной последовательностью. Позвольте вас спросить, товарищ Эломонов, вот вы, что вы лично понимаете под дружбой народов?

Эломонов не ожидал такого вопроса — растерялся.

— Вот... была война... — сказал он чуть спустя. — Все мы сплотились, как братья... Или возьмем недавнее землетрясение, когда мы вместе отвратили беду.

— Правильно, — сказал Пулатов. — Вот это и есть настоящая дружба. Я именно об этом и написал.

— Нет, не согласен с вами, Буюкджан, — возразил Эломонов. — Мне кажется, для того, чтобы показать дружбу народов, не обязательно женить один народ на другом. И без этой женитьбы можно любить. А так получается, уж извините, спекуляция на теме.

— Вы что, товарищ Эломонов, против смешанных браков? — спросил Пулатов не без угрозы. — Удивляюсь, как вас держали столько лет на ответственных постах!

Упоминание о бывших постах сильно задело Эломонова, но он не выдал себя, а лишь грустно заметил:

— Ваши понятия о дружбе и любви несколько примитивны, дорогой Буюкджан.

— Не примитивнее ваших, однако! — разозлился Пулатов. — Я имею пять книг о любви. Написал семь пьес — все о любви. И вообще... Какое вы имеете право называть меня примитивным?

Эломонову почему-то стало смешно от гневной тирады соседа. Уж очень домашний был вид у Пулатова — в ярком халате из бекасама, с узорчатой пиалушкой в руке, из которой не забывал он отхлебывать чай даже тогда, когда злился. Чтобы не рассмеяться, Эломонов опять посмотрел на экран, на увядшее лицо Касымы и тяжело вздохнул. Ведь какая была красавица, подумал он с грустью, а что осталось? Казалось, она рассказывает не о бедной русалочке, которая превратилась в морскую пену, а о себе самой. И он не заметил, как у него вырвалось:

— Вот я, Буюкджан... я очень тоскую по ее молодости...

— О чем вы? — не понял Пулатов. — По чьей молодости?

— Тоскую, говорю, — повторил Эломонов и взглядом показал на изображение Касымы.

Пулатов удивленно посмотрел на Эломонова и расхохотался.

— Ну вы даете, товарищ Эломонов! — воскликнул он и ударил себя по колену. — Надо же, а? Тоскуете?.. По ее молодости? Ну и весельчак вы, я вам скажу! Вспомнили, вижу, бурное свое прошлое? Ну-ка, рассказывайте, сосед, что у вас с ней было, рассказывайте, товарищ Эломонов, не стесняйтесь!

Пулатов вплотную приблизился к нему, готовясь слушать.

— Нечего рассказывать, — сказал Эломонов. — Просто тоскую — и все.

— Нет, товарищ Эломонов, раз начали так рассказывать, — не унимался Пулатов. — С виду вы такой святой, ну прямо агнец! Но мы вас знаем, товарищ Эломонов, зна-а-ем, каким вы были проказником!..

— Зачем вы так? — обиделся Эломонов. — Вы же меня совсем не знаете.

Увидав, что Эломонов не склонен к шуткам, Пулатов сразу поостыл.

— Извините, Саидмурад Замонович, — сказал он. —

Я просто пошутил. Сказать по правде, вы тоскуете по идеалу, идеалу прекрасного! Мы, труженики пера, хорошо знаем эту великую тоску.

— Идеалу, говорите? — переспросил Эломонов. — Вы имеете в виду женскую красоту, Буюкджан?

— И не только ее, товарищ Эломонов...

— Объясните, Буюкджан.

Пулатов объяснил... Он протянул правую руку вперед и, опустив большой палец вниз, прочертил в воздухе изящный кружочек, равный примерно окружности стоявшей перед ним пилы.

— ...Прекрасное — это нечто такое... очень тонкое и нежное, что утверждается лишь при восприятии высокого, только так и никак иначе...

Но Эломонов, к стыду своему, ничего не понял. Ему опять стало грустно.

Пулатов встал и выключил телевизор.

— Не обижайтесь, сосед, — сказал он Эломонову. — Мне пора за работу.

Эломонов простился и вернулся к себе. Бинафша-ханум сидела на своем любимом фигурном диванчике в голубом шифоновом платье, распространяя вокруг аромат арабо-французских духов. Она одарила мужа лучезарной улыбкой, что бывало крайне редко, разве что по большим праздникам. Эломонов сказал: вижу, и вы закончили новую пьесу, ханум? О да, мой принц, ответила Бинафша-ханум счастливым голосом, из двух действий и одиннадцати картин. Когда ее примут, я завалю вас звонкой монетой!.. Эломонов не имел обыкновения тратить деньги жены, поэтому позволил себе снисходительно улыбнуться: благодарю вас, ханум, но лучше вы мне объясните, что такое прекрасное, а то вот наш сосед, хоть и написал семь пьес, не смог этого сделать.

Бинафша-ханум почему-то зарделась и кокетливо замахала рукой, о нет, мой принц, я уже давно не блещу красотой! Да я не о том, ханум, опрометчиво сказал Эломонов, я о красоте вообще. Такая бестактность, понятное дело, не могла не обидеть Бинафшу-ханум. Что вы морочите себе голову подобными вещами, сердито сказала она, зачем вам красота и все прочее, когда вы одеты и обуты? Зачем, когда вы ничего в ней не смыслите? Обойдетесь и без прекрасного, ведь не собираетесь же вы писать роман? Нет, не собираюсь, миролюбиво ответил Эломонов, не мое это дело. И правильно делаете, не преминула Бинафша-ханум еще раз уколоть

мужа, с вас хватит и одного заявления! Позвольте, ханум, вспылит и сам Эломонов, доколе могут продолжаться эти ваши упреки? Всю жизнь, заявила Бинафша-ханум и топнула ногой, если хотите, и на том свете!..

Эломонов понял, что назревает скандал, и предпочел за благо пройти в кабинет и запереться. Там он убрал со стола пишущую машинку Бинафши-ханум, положил перед собой чистый лист бумаги и начал его заполнять размашистыми подписями. Эта привычка помогала ему расслабиться, уйти от невеселых мыслей. Ее он перенял у своего друга Шамси Тураева, с которым работал бок о бок много лет, пока того не перевели в Бухару. Тураев был веселого нрава человек. Все шутил — мол, по пустякам не нервничайте, Саидмурад Замонович, забот в этом мире никогда не убавится, вы с одной покончите, вторая появится, давайте же оставим работы и тем, кто придет после нас, будьте выше всяких сплетен и склок, не горячитесь и не спорьте. Вот вам пример в пользу моих слов: жили на свете Дидро и д'Аламбер, оба французы, оба великие, всю жизнь только и делали, что спорили между собой, а кончилось тем, что оба померли, так что, Саидмурад Замонович, садитесь за стол и упражняйтесь в подписи, дело это не лишено практической пользы, это, если хотите, целое искусство, ведь подпись человека есть своего рода зеркало его души, стоит мне посмотреть на чью-нибудь подпись, и я мигом скажу, как он чувствовал себя в тот момент, когда водил пером, не дрожала ли при этом его рука, хорошо ли он сидит на своем месте. Так-то, Саидмурад Замонович, слушайте моего совета, закрепите свой росчерк — и никогда не пожалеете.

Эломонов, держа красный карандаш прямо, стал подписываться жирными, но одинаково изящными линиями. Затем, заполнив лист, выругался: к черту подпись, ежели она не имеет уже никакой силы... Сломал карандаш и бросил в угол. В это время из-за дверей донесся приглушенный голос жены:

— Не обижайтесь, Саид-ака, вы же не ребенок. Вот товарищ Суюмов выступает... тоже о красоте, о внутренней...

Эломонов через силу улыбнулся:

— О кишках, что ли?..

— Профессор говорит о душе, это вы о кишках думаете!..

Эломонов пожалел о глупой шутке и сказал:

— Простите меня, ханум, я, кажется, недостойн быть мужем поэтессы, да еще красавицы...

— Полно, Саид-ака, не подхалимничайте, я вас уже простила.

Так сказала Бинафша-ханум и тихонько постучала в дверь. И стук этот показался Эломонову игривым. Он смягчился, скомкал и выбросил в корзину бумагу с подписями и пошел открывать дверь. Бинафша-ханум была одета в другое уже платье, сиреневое, тоже из шифона, на шее — украшения, кои она надевала только тогда, когда писала стихи, вся такая нежная и нарядная, будто фея, отворившая в полночь двери спальни сказочного принца, она вошла, нет, вплыла... прямо в объятия мужа. Эломонову ничего другого не оставалось, как обнять ее. Не надо, Саид-ака, сказала Бинафша-ханум смущенно, разве так можно, ведь мы уже бабушка и дедушка... И голос ее, вкрадчивый и нежный, показался Эломонову несравненным, он чуть не задохнулся от нахлынувшего волнения. Закрыл глаза, но почему-то тут же представил в объятиях не жену, а Касыму, ту давнишнюю Касыму, двадцатилетнюю красавицу. Что-то больно резануло по сердцу. Эломонов застонал, сквозь щемящую боль и тоску опять подумал о жгучих завитках Касымы и пробормотал:

— А что, ханум, если... если вы сделаете себе завитки?

Бинафша-ханум резко отстранилась от мужа.

— Что-о?—гневно спросила она.—Завитки? Вы, Эломонов, хотите, чтобы я стала похожа на какую-нибудь кокотку?!

Эломонов покраснел — никогда не позволил бы он называть кокоткой несравненную Касыму двадцатилетней давности.

— Но ведь кокоткой можно быть и без всяких завитков, — попытался он возразить.

— Хотите сказать, что я уже кокотка?

— Нет, ханум, ничего не хочу сказать, только...

— Может, вспомнили какую-нибудь любовницу с завитками?

— Зачем вы так, ханум, — несмело говорил Эломонов. — Вы же знаете, у меня нет и никогда не было любовниц. Может, и случалось заглядываться на красивых женщин, но я ни на минуту не забывал о чести нашей семьи.



— Замолчите, Эломонов! Не хочу с вами разговаривать!

Бинафша-ханум отвернулась от мужа. Но Эломонов, однако, почувствовал, что последние слова жене понравились. Он взял ее за плечи и повернул к себе, Бинафша-ханум улыбнулась, убрала седую волосинку с лацкана его пиджака и тихо произнесла:

— Я знаю, Саид-ака. Простите, я немного погорячилась...

Саидмурад Эломонов, единственный сын галатепинского пастуха Замона Эломонова, несмотря на солидную должность в горисполкоме и тайную надежду о дальнейшем росте, был довольно неприметным и нерешительным человеком и долгое время оставался вне поля зрения прекрасного пола. Когда они познакомились с Бинафшой-ханум, ему было уже за тридцать. Случилось это в здании местного театра, на поэтическом вечере, организованном по его инициативе. Молодая, бойкая, Бинафша прочла тогда на одном дыхании целых пять стихотворений, тогда как другие поэты, смущаясь и робея, прочли лишь по одному, от силы по два... Зал ей щедро аплодировал. Лица юных студентов, заполнивших зал, светились доброй завистью к поэтессе. Запомните ее, товарищ Эломонов, шепнул ему Имам Ходжаев, лысый старик — поэт, который вел этот вечер, запомните Бинафшу, это и есть восходящая звезда нашей поэзии. Эломонов запомнил. И сразу же после вечера Имам Ходжаев привел Бинафшу к Эломонову и представил...

И они стали встречаться, сначала редко, а затем все чаще и чаще, чуть ли не ежедневно. Зима уже кончилась, и было приятно ходить по тихим аллеям, пахнущим свежей листвой. Бинафша читала ему свои новые стихи о звездах, о ветре, об утренней росе. Голос у нее был приятный, с едва заметной хрипотцой, как, впрочем, и у многих поэтесс ее поколения. От ее странноватых, но одинаково красивых слов, от ее нежного придыхания Эломонова охватывала незнакомая доселе дрожь, он чувствовал себя так, будто попал в Эдем, и думал: надо же, брат, а ведь ты мог прожить всю жизнь и так и не узнать всего этого...

Прошла весна, прошло лето, а осенью Эломонов решил открыться своим друзьям, как он сам тогда выразился, на предмет выбора — мол, не исключена воз-

можность законного брака с вышеназванной особой. Те долго не раздумывали и сказали: ты, Саидмурад, никакой не Юсуф Прекрасный, чтобы выбирать женщин, она молода и мила, одно только плохо, хрупка, но ты же не собираешься запрягать ее в арбу, женись, Саидмурад, пускай она народит тебе детей, не беда, что стишки пишет, может, еще и образумится.

Словом, друзья не возражали против его выбора. Но Эломонов еще целый год провел в размышлениях. Свою медлительность он объяснял финансовыми затруднениями, мол, денег, маловато для хорошей свадьбы. Назвать истинную причину своей нерешительности он просто не мог. Дело в том, что Бинафша однажды в пылу откровенности нечаянно призналась ему, что до него встречалась с одним из своих коллег, неким Османом Асимом. Поэт он, может, и неплохой, сказала она, но сам — подлец подлецом, вообще, все поэты таковы, один другого краше... Одумайтесь, Бинафша, сказал ей Эломонов, нельзя из-за одного нехорошего человека ругать всех поэтов, ведь вы сами поэты!.. Нет, я — поэтесса, гордо ответила Бинафша, поэтессы лучше поэтов, бог наделил их особой чуткостью и милосердием, хотя, по правде сказать, бог тоже большой подлец, иначе повернул бы он судьбу так, что встретились бы мы с вами намного раньше. Полно, Бинафша, полно, мой цветочек<sup>1</sup>, сказал Эломонов, как можно называть подлецом того, кто даже и не существует? Бинафша чуть смягчилась. Давайте забудем об этом, улыбнулась она, это я говорю о боге в смысле судьбы. Тогда можно, согласился Эломонов, в смысле судьбы еще можно...

Через некоторое время Бинафша опубликовала в толстом журнале большое стихотворение, которое называлось «Любовь» и имело посвящение: «Саидмураду Эломонову», что предало их отношения гласности и ускорило дальнейший ход событий. Эломонову позвонил тогдашний первый человек Оазиса, ныне покойный Хушвакт Давлатов, и поздравил, как он выразился, «со счастьем быть объектом внимания молодой поэтессы» и намекнул на то, что Эломонову, молодому ответственному работнику, тем более коммунисту, надлежит оправдать столь нежное доверие во избежание криво толков. Вы не думайте, Саиджан, что я вам навязываю вашу будущую жену как партийную нагрузку, пошутил

<sup>1</sup> Бинафша — фналка.

товарищ Давлатов, нет, скорее всего, это отеческий совет, поскольку я слышал о вашей нежной привязанности к молодой поэтессе, словом, я вас обоих люблю и буду рад вашему союзу.

Сыграли свадьбу... В первую же ночь у невесты, несмотря на все ее старания, обнаружился крохотный изъян, который в прежние времена привел бы как минимум к семейному недоразумению. Эломонов же, хотя как муж немного и обиделся, побоялся однако же разговоров и решил умолчать об этом изъяне, вознамерившись позже, как только появится другой, более или менее убедительный повод, развестись. Но Бинафша больше никакого повода не давала, ходила тихая, печальная, и весь ее вид говорил о том, что она не меньше мужа страдает из-за былой оплошности. Эломонов был человеком мягкосердечным, и ему ничего не оставалось, как пожалеть жену и забыть о своем недавнем решении.

Бинафша-ханум родила ему двоих детей — сына и дочь. Из сына сделали востоковеда, затем женили его и отправили на работу в одну из восточных стран. Теперь — черед дочери. Через год она окончит институт, а все без серьезных поклонников. Сам Эломонов, когда еще был при чине и почете, обратил внимание на двух молодых людей, работавших под его началом, парни были порядочные, умные, с хорошими перспективами, он даже приглашал их к себе домой, знакомил с дочерью... Но парни эти почему-то не понравились жене, и она забраквала их обоих: не годятся. Саид-ака, найдите жениха из хорошей семьи, а эти нам не ровня, у одного отец чабаном был, у другого — мать уборщицей в школе... Эломонов попытался образумить ее: вы чабана и уборщицу оставьте в покое, ханум, я сам родился и рос среди овечьего помета, а вроде ничего, на судьбу не жалуясь, вы посмотрите на них самих, ханум, это очень хорошие ребята, пожалеете потом!.. Но Бинафша-ханум была непреклонна: грош цена вашим кандидатам, если у них за спиной нет влиятельного человека! Эломонов рассердился: узко мыслите, ханум, вот у меня самого не было никаких благодетелей, сам всего добился, разве сейчас такое время, чтобы... Бинафшахон лишь посмеялась его наивности: то было раньше! День со днем не сходится, не дай бог, конечно, но вдруг с вами случится беда, посмотрим тогда, как вы будете плясать, ведь и у вас никого нет за спиной!..

Видать, худое тогда напророчила Бинафша-ханум. Настал такой час, когда на голову Эломонова посыпался град сплетен и насмешек. Кампанию вели широко, с размахом, недаром Эломонов стал чуть ли не самым известным человеком во всем Оазисе. Особенно замечательны были слухи о том, будто в квартире Эломонова нашли целый сундук золота, слиток на слитке, только без известного штампа, видимо, хозяин кустарей заставил поработать... Узнав это, Эломонов, переживавший черные дни, не удержался, от смеха — ведь у него не-то что слитка золота, даже золотых часов не было, а носил он старые, марки «Победа», те, что еще в студенческие годы подарил ему покойный дядя, подарил спьяну, но потом, протрезвев, постыдился обратно потребовать. Разумеется, Эломонов делал подарки жене и дочери по праздникам, но все их золото могло уместиться на одной ладони, только это вам не сундук золотых слитков, слава аллаху, женщинам еще не запретили носить украшения.

Словом, весь Оазис был полон слухов о богатствах Эломонова. Все смотрели на него, все говорили о нем, и в один прекрасный день он заметил, что даже Хурсаной, родная дочь, тоже косится с явным подозрением — мол, что ж ты, отец, неужели кормил свое дитя нечестным хлебом?..

Лет двадцать назад Раим Хайбаров, бывший раис галатепинского колхоза, имел кратковременную беседу с Эломоновым, о чем просила его тетка Эломонова. Саидмурадбай, проникновенно говорил председатель, тебе же самому лучше будет, если ты останешься при нынешнем скромном своем чине, жизнь — это все равно что полет птицы, да только птицы бывают разные, беркуту нужны высота и простор, а вот воробышку достаточно и того, что он может летать, не задевая макушек деревьев. Я не знаю пока, что ты за птица, но, видать, коготь у тебя не очень-то крепкий, твой отец Замонбай хоть и простой чабан, но был со сметкой, да только я что-то не вижу того же качества в его сыне; слов нет, Саидмурадбай, ты уже научился солидным повадкам, но этого еще мало, ты слишком мягок, чтобы быть большим начальником, когда достигнешь большего и будешь причастен к судьбам многих, когда тебе, такому значительному, перестанут говорить правду в глаза,

как же тогда станешь поступать, сможешь ли сам, своим умом, отличить хорошее от плохого?

Саидмурад Эломонов, молодой еще руководитель, полный надежд и энергии, хохотал тогда над словами Раима Хайбарова: вы просто спятили, почтенный, не мерьте всех на свой аршин, надо мыслить шире, на свете много добрых людей!..

Раим Хайбаров эти доводы нашел разумными и сказал: ты прав, Саидмурадбай, и хорошие люди есть, но упаси боже даже от одного плохого человека!

Саидмурад Эломонов опять захохотал. И глядя на старое сморщенное лицо Хайбарова, на его замусоленную тюбетейку, снисходительно ответил: ваши понятия сродни вашей личности, почтенный, то есть они очень устарели, и никто не давал вам права разговаривать со мной в таком духе.

Раим Хайбаров сказал: опять ты прав, Саидмурадбай, никто не давал мне такого права, да вот только твоя тетя, Карамат, попросила меня поговорить с племянником и понять — чего же он на самом деле стоит. Как я мог отказать доброй женщине!

Саидмурад Эломонов брезгливо поморщился и ответил: ваше мнение, почтенный, может, и имеет силу в Галатепе, но не за его пределами, со мной беседовали и другие люди, покрупнее и поумнее вас!

Раим Хайбаров на это ответил так: Саидмурадбай, те умные и крупные люди не сказали тебе всю правду, я прекрасно знаю, что мои слова уйдут на ветер, уж не ругай меня, если тебе не угодил, есть у меня четверо сыновей, если хоть один из них послушается отца — этого мне будет вполне достаточно, а теперь ты иди, Саидмурадбай, и впредь разговаривай только с теми крупными людьми!

Саидмураду Эломонову захотелось наговорить ему много резких слов, но он сдержался и молча вышел со двора Раима Хайбарова. Тот даже не встал его проводить, остался на высокой супе под старым тутовником, ветви которого были начисто обрублены для корма шелкопряда. Вернувшись к тете, Эломонов упрекнул ее за недоверие. Но она будто не слышала его, быстро расстелила дастархан, вынесла ему сладости и, потчует племянника, спросила: как, сынок, беседа твоя понравилась Хайбарову? У Эломонова не хватило смелости сказать правду, и он пробормотал нечто мудреное: тетя, вы же сами знаете, что он из тех, про кого сказано —

с коня свалили, а с седла не сняли. Тетя не заметила его досады, обрадовалась. Я знала, что ты ему понравилась, сказала она, дай бог теперь удачи в промысле твоём, сынок, пусть звезда твоя воссияет еще ярче, а твои враги пусть будут в дреме.

Раим Хайбаров был человеком гордым, со злой памятью, он не простил Эломонову нанесенной им обиды, перестал его замечать. Так было до самой смерти старика. Бывало, они виделись у кого-нибудь на свадьбе или похоронах, Эломонов первым приветствовал старика, но Хайбаров вместо ответного приветствия ехидно посмеивался: да возвыситесь вам еще выше, Саидмурадбай! Каких-то лет двадцать был Хайбаров главой маленького Галатепе, а возомнил — что всему свету голова. Да ладно, шут с ним, со стариком, его уже нельзя было переделать, но даже сыновья Хайбарова избегали разговоров с Эломоновым. Со старшим из них, Ташпулатом, Эломонов был немного знаком — видел на встречах земляков за пловом в чайхане, куда он регулярно ходил, пока занимал более скромные посты. Потом Ташпулат исчез из виду. У Ташпулата маленькая трагедия, рассказывал ему Мурад, земляк из соседнего Джама, его невзлюбили старшие коллеги и могут выжить из института. Почему же тогда ко мне не приходит, недоумевал Эломонов, может, что и посоветовал бы, если не ему, так тем большим ученым?.. По той же простой причине, объяснял Мурад из соседнего Джама, что и я, я ведь никогда не буду просить вас, скажем, помочь с квартирой, хотя лет пятнадцать живу по чужим углам. Тяжко быть чьим-то должником, Саидмурад Замонович, и лишиться нормального сна, а Хайбаров, насколько я его знаю, большой любитель поспать по-человечески. А вы подействуйте на него, сказал Эломонов Мураду из соседнего Джама, вдруг он передумает и придет? Поговорю, пообещал Мурад, но боюсь, ничего из этого не выйдет.

Долго ждал тогда Эломонов Ташпулата. А был он как раз в зените своей славы, его Оазис процветал, и ему ничегошеньки не стоило превратить маленькую трагедию Ташпулата в большой праздник, но тот так и не пришел... А предпринять что-либо самому в поддержку парня Эломонов не захотел — не позволило самолюбие.

Теперь, оглядываясь назад, Эломонов с горечью думает о покойном Хайбарове-старшем, не менее упря-

мом, чем его старший сын, и признает, что старик, при всей его вредности, все-таки был человеком прозорливым. Слова Раима Хайбарова сбылись полностью. Настал такой час, когда Эломонов действительно возвысился, и перестали люди говорить ему правду. Врагов еще можно понять, они из чувства мести не хотели сказать правду, но ведь друзья тоже молчали, уж они-то были людьми добрыми и могли бы смело заявить: открой глаза, Саидмурад, одной твоей честности мало, смотри в оба, дабы не надули тебя, простачка! Но они, странное дело, ничего не говорили. И те и другие любили хвалить Эломонова — это точно. Раз так, друзья, вполне резонно будет спросить: есть ли вообще разница между добрыми и недобрыми людьми?

Выходит, нет никакой разницы?

Правда, нашелся тогда один-единственный человек, чудаковатый тракторист из Хандалака, который осмелился сказать ему правду. Весь обросший, в замасленном комбинезоне, в грязных сапогах, он ворвался в кабинет Эломонова. Секретарше, преградившей было ему путь, пришлось отступить из-за боязни испачкаться. Вошедший держал в руках нечто тяжелое, обмотанное старой тряпкой. Безо всяких приветственных церемоний он стал перед хозяином кабинета и заявил:

— Механизатор я, приехал в гости в ваш город, за запчастями приехал, вот и думаю, дай-ка зайду и к Эломонову!

— Добро пожаловать, товарищ механизатор, — Эломонов встал и подал ему руку. Ему почему-то симпатичен был этот простоватый человек, нечаянно нарушивший казенную тишину его огромного кабинета. — Пожалуйста, садитесь.

— Времени нет, — отказался механизатор от приглашения. — Значит, Эломонов вы и будете?

— Я самый, — улыбнулся Эломонов и тоже продолжал стоять. — Ну, товарищ механизатор, как вы трудитесь на хлопковом поле?

— Тружусь хорошо, — ответил механизатор, — да вот дела совсем неважны.

Эломонов удивился:

— Интересно вы говорите, товарищ механизатор. Раз вы хорошо трудитесь, почему же дела неважные?

— Это хороши наши дела, живых людей, — с досадой ответил механизатор, — а вот у умерших совсем неважные.

— Не понял?..

— Сейчас поймете, товарищ Эломонов. Сто двадцать человек из нашего кишлака не вернулись с войны. Мы, живые, хотели обрадовать души погибших, собрали деньги на памятник, но его так и не построили.

— Жаль, что так случилось, — сказал Эломонов. — Мы вам непременно поможем. Откуда вы сами?

— Из Хандалака... — сказал механизатор, чуточку смущаясь. — Не думайте, что наш кишлак маленький, как хандалак<sup>1</sup>, нет, назвали так просто потому, что там эти дыньки слаще, чем где бы то ни было, земля у нас хорошая, товарищ Эломонов. А так кишлак наш большой, в последнее время и совсем разросся. Так вот, сто двадцать наших парней погибли на войне, думали, хоть маленький памятник им поставим, деньги собрали, но их «съел» ваш зам... этот... Кошшаев Худоёр...

— Вы бы поосторожней в выражениях, — сказал Эломонов, не веря своим ушам. — Такие слова не делают чести передовому механизатору. Сами подумайте, такой авторитетный товарищ, как Худоёр Кошшаев, как он мог оказаться в вашем... как его... Хандалаке?

— Кошшаев родом из Хандалака, — ответил механизатор. — Сперва он был такой же простой человек, как и я, потом пошел в гору, но и в Хандалаке поработал порядочно.

— Когда? Когда товарищ Кошшаев работал в вашем Хандалаке?

— Лет десять тому будет. Сначала учителем был, потом председателем стал, позже объявился здесь.

— А деньги когда он «съел»?

— И тому лет десять будет...

— Странный вы человек, товарищ механизатор, где же вы были десять лет назад, почему раньше не приходили?

— Другие молчали, а я... у меня не было времени, товарищ Эломонов. До вас же далеко. Сегодня вот поругался с механиком, подлец он такой, запчасти не дает, ни мне, ни Вафо из соседней бригады, вот и не вытерпели и вдвоем — айда!.. Вафо мне сказал, не шути с Кошшаевым — правой рукой Эломонова, они вдвоем могут посадить тебя за решетку! Но я его не послушался, пришел к вам. Товарищ Эломонов, если вам не ве-

---

<sup>1</sup> Хандалак — сорт маленьких скороспелых дынь.



рить, то кому вообще можно верить? Плохо делаете, что пригрели этого Худоёра. Он — змея, я вам скажу!..

Эломонов не знал, что ему делать. Спросил фамилию механизатора. Тот ответил вполне ясно: Самадов, Самадов Пулат. Спросил о плане колхоза — Самадов ответил, спросил про урожайность — опять-таки ответил. На пьяного вроде не похож, правда, говорит невпопад, но мысли вроде все ясные. Для серьезного разбора у Эломонова было мало времени — он должен еще завизировать некоторые бумаги, прежде чем отправить их в прокуратуру, отсидеть в президиуме на трех собраниях, потом надо идти в театр, Бинафша-ханум просила — сегодня состоится первая репетиция ее новой пьесы, словом, дел у него по горло... Пришлось взять бланк со своими титулами и написать несколько слов.

— Спасибо, что зашли, товарищ Самадов, — сказал он механизатору. — Берите эту бумагу и поезжайте в свой райисполком. Передайте председателю записку и мой личный привет, и он построит вам памятник.

— А Худоёр? — недоуменно спросил Самадов. — Деньги он не вернет, что ли? Это очень хорошие деньги, товарищ Эломонов, и не потому хорошие, что большие, а потому, что мы их собрали всем миром, у кого отец погиб, у кого сын, брат... Зачем нашему государству быть внакладе из-за Худоёра?

— Будьте уверены, товарищ Самадов, мы все уточним, — сказал Эломонов. — Если ваши слова подтвердятся, то Кошшаеву несдобровать. А вы продолжайте спокойно трудиться, доброго вам урожая.

Механизатор ушел от него довольный. Эломонов вышел из кабинета, поздоровался с очередью в приемной и открыл дверь в кабинет своего заместителя. Кошшаев говорил по телефону. Увидев Эломонова, он прервал разговор и поспешил ему навстречу:

— Слишком много чести для нас, Саидмурад Замонович, сказали бы секретарше, я бы сам зашел к вам...

Эломонов сел в кресло и спросил заместителя, глядя ему прямо в глаза.

— Вы в Хандалаке работали, товарищ Кошшаев?

— Да, — ответил Кошшаев, — Сперва учителем работал, затем короткое время был райсом... Потом перевели в район, пока не пригласили сюда.

— Приходил человек из Хандалака. Сказал, будто они собрали всем кишлаком деньги на строительство

памятника погибшим воинам, но средства эти «съел» якобы мой заместитель.

— Что, поклясться мне? — спросил Кошшаев, бледнея.

— Клятва — вещь чрезвычайная, — сказал Эломонов, — она может и повредить, ведь у вас жена, дети. Есть такое поверье у народа.

— Тогда скажите Облакулу Базаровичу, пускай заведет на преступника уголовное дело, — сказал Кошшаев обиженно. — Так за чем же дело стало, распорядитесь!

— Я еще не сказал, что вы совершили преступление, — смутился Эломонов. — Но сигнал остается сигналом. Пришел механизатор из Хандалака, Самадов его зовут.

— Самадов, говорите? — удивился Кошшаев. — Самадова я хорошо знаю. Это порядочный человек, зря говорить не станет. Похоже, дело серьезное, Саидмурад Замонович. Я не смею называть Самадова клеветником, но...

— Короче, вы эти деньги не присвоили, так?

Кошшаев не ответил. Достал из кармана пиджака бумажник и протянул Эломонову маленькую пожелтевшую фотографию.

— Это мой отец, Саидмурад Замонович, — глухо проговорил он. — Звали его Кошшабай-большевик. С войны не вернулся. Мать умерла в пятидесятом году. Трое детей остались сиротами, сами себя взрастили. Хорошо, что родились в наше время, иначе бы... Вы уж не обессудьте, Саидмурад Замонович, если я скажу, что старшим из трех сирот был я и что основная тяжесть выпала на мою долю. Говорят же, судьба старшего — всех женить, младшего — всех хоронить...

— Не надо, Худоёрджан, — взмолился Эломонов. — Я вам верю.

— Нет, теперь дайте и мне высказаться, Саидмурад Замонович, — сказал Кошшаев. — На той проклятой войне мы потеряли двадцать миллионов человек. Сто двадцать из них — из моего родного Хандалака. Сами подумайте, Саидмурад Замонович, неужто я способен посягнуть на последнюю долю погибших, на священное дело?!

Эломонов увидел полные слез глаза Кошшаева и отвел взгляд в сторону.

— Не надо, Худоёрджан, не расстраивайте меня, —

сказал он. — И сами не мучайтесь. А Самадова... стоит привлечь к ответственности. Как злостного клеветника.

— Пожалуйста, вы его не трогайте, — сказал Кошшаев. — Думаю, мысль эта принадлежит не ему. Помните, месяц назад, когда я был в Хандалаке, ко мне пришли почтенные старцы кишлака и пожаловались на своего нового председателя.

— Если председатель плох, так в чем ваша вина?

— Вы еще не знаете этих лукавых дехкан-земледельцев, — грустно улыбнулся Кошшаев. — Это с виду они такие простоватые. Они хотят, чтобы я вернулся в родной кишлак и вновь стал их председателем...

— О чем вы говорите, Худоёрджан, мы не можем вас отпустить!

— Я это и говорил им, но они ничего слушать не хотят. Теперь, как сами видите, клеветуют на меня... с добрым умыслом.

— Ну и ну! — удивленно воскликнул Эломонов. — Значит, все эти слова есть своего рода тактика?

— Угадали, — подтвердил Кошшаев. — Тактика, хотя и не очень чистая в смысле выбора средств. Они ждут, что меня из-за этого наговора уволят с нынешней работы. Вот тогда я и вернусь в родной кишлак председателем... Я понимаю, Саидмурад Замснович, намерения их добрые, разумеется, в масштабах маленького Хандалака. А с этим Самадовым, если признаться, мы учились в одной школе, он не лишен дара лицедейства, был первым среди членов местного драмкружка!

— Вот это да! — сказал Эломонов с умилением. — Чудесный у нас народ, Худоёрджан! И главное — с большим юмором! Надо же, а? Любят человека и клеветуют на него! Где еще такое можно увидеть, кроме как у нас в Оазисе? Поклеп во имя добрых намерений! Так вроде называется?..

— Вам лучше знать, Саидмурад Замснович, — скромно ответил Кошшаев. — И они по-своему правы, хотя я не могу похвастать, что мне так уж много удалось сделать для родного Хандалака, недолго там проработал, всего семь лет... А здесь, сами понимаете, надо думать шире и не об одном только Хандалаке, но в душе патриотом своего родного кишлака я все же остался.

— Вы правы, Худоёрджан, надо думать шире, — согласился Эломонов. — Но... при всей своей благожелательности, ваши односельчане поступают неправильно.

Мы не можем свои кадры раздаривать колхозам, им и здесь работы хватает. Потом, согласитесь, здесь гораздо больше возможностей, здесь вы принесете более ощутимую пользу обществу. У меня к вам просьба, Худоевджан, передайте своим односельчанам, чтобы впредь действовали поосторожней, добрые намерения добрыми намерениями, но все же некрасиво наговаривать на руководящих работников. Учреждение наше более чем солидное, и мы должны беречь как зеницу ока его честь и славу.

— Я учту,— пообещал Кошшаев.— Передам вашу просьбу, думаю, они поймут. Займусь и памятником. Деньги давно уже собраны, они находятся у одного надежного человека, надо поторопиться со строительством. Теперь другой вопрос, Саидмурад Замонович, который требует вашего мудрого совета... Что, если мы действительно поможем им заменить своего председателя?

— Неужто он так уж плох?

— Хуже некуда, Саидмурад Замонович. Народ им недоволен. Хотели обратиться к вам с коллективным заявлением, я еле отговорил.

— Тогда дела плохи, надо им порекомендовать хорошего человека,— сказал Эломонов.— Может, у вас есть кто на примете?

— Есть. Младший брат товарища Олджабаева, но дело не в родстве, сам он очень достойный человек.

— Порекорендуйте,— разрешил Эломонов.— Если он понравится людям, то мы не станем возражать.

— Сделаем так, чтобы он понравился,— улыбнулся Кошшаев.— Но вы, Саидмурад Замонович, пожалуйста, забудьте о неудачной шутке Самадова. А над тем, кто посягнет на святые деньги, будет висеть вечное проклятие погибших.

Эломонов так и запомнил на всю жизнь: вечное проклятие погибших. Но пока оно висело только над Кошшаевым — тот еще три года жил в свое удовольствие. За это время он сделал брата Олджабаева председателем колхоза в Хандалаке, а тамошнего кассира посадил в тюрьму, обвинив в хищении средств для постройки памятника. И много еще чего он успел сделать, о чем стало известно лишь позже, на судебном разбирательстве, которое длилось чуть ли не два месяца.

Эломонов помнит и второй приезд Самадова — механизатор заступился тогда за арестованного кассира, но

Эломонов, помня слова своего заместителя, опять-таки не поверил ему.

— Оставьте вы эти шуточки, товарищ Самадов,— поморщился Эломонов.— Мне докладывали, памятник погибшим воинам уже построен.

— Памятник построили,— подтвердил механизатор,— но построили-то его за счет государства.

— Главное, памятник уже есть,— сказал Эломонов, желая быстрее закончить разговор.— Виновные в хищении наказаны. Чего же еще?! Вы лучше скажите, как работает ваш новый председатель?

— Мы его работу толком еще не видели,— ответил Самадов.— Пока строит себе хоромы, как отстроится, тогда и посмотрим, на что способен. Но, товарищ Эломонов, кассир наш пострадал зря, детей у него много, сам он инвалид, без одной ноги, но главное-то — невиновен. А ваш зам мог бы помочь, да не хочет.

— И правильно делает,— сказал Эломонов.— Среди жертв войны, кому вы воздвигли памятник, есть и его отец,— Кошшабай-большевик.

— Как?— удивился Самадов.— Кошшабай-керосинщик умер в пятьдесят шестом году! Да и не был он на войне. Вы посмотрите метрику Худоёра, он же сорок третьего года рождения. Как он мог тогда родиться, если Кошшабай-керосинщик был на войне?..

— Надо знать меру, товарищ механизатор!— одернул его Эломонов, краснея от гнева.— Вы не клеветецте на товарища Кошшаева! Он уже один раз заступился за вас, а вы...

И он нажал на кнопку вызова. Вошла секретарша.

— Скажите, Хадича-апа, пускай войдет следующий!— велел ей Эломонов, затем обратился к Самадову:— Я думал, вы порядочный человек, товарищ Самадов, но, вижу, жестоко ошибался. Идите. И больше не приходите сюда с подобной чепухой!

— И я думал, что вы порядочный, товарищ Эломонов,— сказал Самадов, побледнев от обиды.— Но вы оказались не лучше Худоёра.

— Уходите! Грош цена вашему лицедейству!— закричал Эломонов.— Идите, мне вам нечего больше сказать!..

— Зато мне есть!— ответил ему Самадов.— Я еще вам доскажу, товарищ Эломонов, что о вас думаю, доскажу, только в другом месте!..

И действительно, через три года Самадов досказал

недосказанное и сделал это в совершенно другом месте — в кабинете прокурора Облакула Базарова, куда Эломонова пригласил следователь по особо важным делам, приехавший из Центра для расследования дела Кошшаева.

— Эломонов виноват не меньше Кошшаева,— заявил тогда Самадов следователю из Центра.— Я ему говорил, что за птица этот Худоёр, дважды говорил, но он выгнал меня из своего кабинета. Эломонов знал, что кассира несправедливо арестовали. Вон кассир наш сам здесь присутствует, скажите этим людям, разве вам не обидно было ни за что ни про что отсидеть два года за решеткой?

Самадов посмотрел в угол кабинета, где, поставив рядом костыли, сидел пожилой человек. Человек этот ничего не сказал, лишь слегка махнул рукой — жест эдакого богача, потерявшего одного барана из тысячной отары.

— Вот вы, товарищ прокурор,— обратился теперь Самадов к Облакулу Базарову,— спросите-ка товарища Эломонова, что он на это скажет?

Облакул Базаров, многолетний друг Эломонова, тяжело вздыхая, спросил:

— Самадов правду говорит, Саидмурад Замонович?

— Правду,— признался Эломонов.— Самадов говорит одну только правду.

— Значит, вы и раньше знали о проделках своего заместителя Худоёра Кошшаева?

— Нет, не знал,— ответил Эломонов.— То есть знал... Самадов говорил мне правду, но я ему не верил, думал, что шутит он.

Тут следователь из Центра не выдержал, громко постучал карандашом по столу:

— Будьте посерьезней, товарищ Эломонов!

— Я серьезно говорю,— сказал Эломонов.— Я действительно думал, что Самадов шутит.

— Люди добрые!— воскликнул Самадов, вскочив с места.— Подумайте сами, как я, простой механизатор, могу шутить с Эломоновым! Я шучу со своей ровней, но не с Эломоновым же! Что я, с ума сошел?!

Следователь из Центра опять посмотрел на Эломонова:

— Что вы на это скажете?

Эломонов не смог ответить.

Когда Самадов и пострадавший кассир ушли, в кабин-

нет ввели Кошшаева. Тот мельком взглянул на Эломонова и усмехнулся. Эломонов на какой-то миг потерял контроль над собой и закричал вне себя от ярости:

— Ты не человек, Кошшаев! Да накажет тебя бог за то, что ты осквернил память двадцати миллионов погибших!

Все посмотрели на него как на полоумного. Лишь один Кошшаев сохранил спокойствие.

— Что это вы о боге да о боге, Эломонов?— спросил он, усмехаясь.— Вы же убежденный атеист.

— Дьявол, вот кто ты!— застонал Эломонов.— Любой атеист станет верующим, если встретится с таким клятвопреступником, как ты!

— Я никакую клятву не преступал, Эломонов,— спокойно ответил Кошшаев.— Вы же сами просили, чтобы я не клялся. Помните, что вы сказали? Клятва — вещь чрезвычайная, может и повредить, есть в народе такое поверье...

Эломонов и рта не сумел раскрыть — почувствовал острую боль под левой лопаткой, весь скрючился и, покрываясь холодным липким потом, медленно опустился на устланный коврами пол...

Пришел в себя в маленькой комфортабельной больнице за чертой города и увидел над собой лица профессора Ахмеджана Касымова и своего лечащего врача. Дела ваши серьезны, Саидмурад Замонович, тихо сказал профессор, строгий постельный режим, никаких резких движений.

Эломонов целый месяц пролежал в больнице. При выписке ему вручили путевку в санаторий. Но он отказался от путевки, вышел на работу и в первый же день попросил ознакомить его с делом Кошшаева. В обвинительном акте, представленном прокуратурой, было указано, что Кошшаев имеет сразу два особняка. В тот же день Эломонову позвонил неизвестный человек и сообщил о третьем особняке Кошшаева. Поехали туда и увидели настоящий дворец, в котором насчитали двадцать две комнаты и еще четыре зала, олицетворяющие собой времена года. После суда этот дом был передан детсаду. Чтобы укомплектовать новый детсад из двадцати двух комнат, гороно потребовалось чуть ли не полгода. Примерно в то же время нашелся еще один дом, который был построен Кошшаевым специально для его младшего сына-третьеклассника. Тогда Эломонов уже не занимал свой прежний пост, но ему рассказали, что

его преемник дал указание: отдать дом кому-нибудь из представителей народа. Вскоре нашли такого представителя. Им оказался нуждающийся в жилье слесарь, который имел, помимо своей почетной профессии, девять сыновей и семь дочерей. Новый дом-особняк был оформлен на его имя. Потом по всему Оазису ходили слухи, будто слесарь прибежал к преемнику Эломонова и стал просить о выселении. Не могу, товарищи, взмолился он, боюсь я там жить, мне бы в панельный дом... ну, с этими обоями и тараканами, а тут всюду лепка, цветочки, зеркала, чем я стану расплачиваться, если дети разобьют все это, ведь их у меня шестнадцать!..

То лето было богато собраниями. Эломонову полагалось присутствовать на них. Он и присутствовал, сидел по-прежнему в президиуме, но чувствовал себя не так уютно, как прежде. Казалось, все в него тычут пальцем: вот он, покровитель Кошшаева! Шаткость его положения угадывалась во всем. Теперь при встрече с ним... даже самые близкие друзья отводили глаза.

Однажды, зайдя в сберкассу, он вдруг понял, что слухи о его «деяниях» дошли и сюда. Кассирша, обычно такая приветливая, даже не поздоровалась, долго щелкала счетами, и ту маленькую сумму, которую Эломонов просил, отдала с таким видом, будто оторвала от собственного сердца.

Эломонов не выдержал, позвонил прокурору. Облакул Назарович, сказал он, мы с вами давно знакомы, окажите такую милость, допросите уж и меня, а то эти подозрения и сплетни совсем меня доконали!

Прокурор был добрым человеком, он сразу понял состояние Эломонова, к тому же, такое дело намечалось в ближайшем будущем, поэтому он назавтра же прислал молоденького следователя, недавно окончившего университет. Было бы большим преувеличением сказать, что беседа со следователем является усладой для души, но Эломонов этого пытливого и энергичного паренька принял как родного сына. И тот церемониться не стал, сразу же и заявил: вы, Саидмурад Замонович, подозреваетесь в злоупотреблении служебным положением. Лично я к вам лояльно отношусь, и мой долг — выяснить истину.

Следователь понравился Эломонову. Глядя на его угловатую фигуру и более чем скромный наряд, Эломонов решил, что на паренька вполне можно положиться, видать, не из чьих-то сынков, и на учебу поступил по



собственному выбору и без чьей-либо помощи. Вызвав секретаршу и заказав ей крепкий чай, Эломонов обратился к пареньку: смелее, товарищ следователь, пусть вас не смущает этот кабинет и то, что я до сих пор сижу в нем, плюньте и на все прочее, спрашивайте, мне нечего от вас скрывать. Тут следователь немного смутился и признался, что это первый в его жизни самостоятельный допрос. Чувствую, улыбнулся Эломонов, товарищ Базаров послал вас на разведку, а там, если что всплывет, он пошлет другого, более опытного бойца, но вы не смущайтесь, я ведь на вашей стороне, надеюсь, мы тому матерому следователю никакой работы не оставим.

Они беседовали без малого пять часов. Следователь исписал целую стопку бумаги, дал подписать Эломонову. Вскоре после его ухода позвонил прокурор:

— Кошшаев надул нас всех, товарищ Эломонов!

— Что, из тюрьмы, что ли, сбежал?— спросил Эломонов.— Можете говорить попонятней?..

— Он брал взятки и от вашего имени,— сообщил прокурор упавшим голосом.— Я не должен был говорить об этом, но... Словом, сейчас мне принесли целую папку новых материалов.

Эломонов так растерялся, что уронил трубку из рук, затем торопливо поднял ее и сказал дрожащим голосом:

— Я никогда не брал взятки, товарищ Базаров...

— Знаю, знаю!..— резко сказал прокурор.— Мы арестовали самого шайтана, но друзей его оставили на свободе. Будет повторный суд. Дело я пошлю на исследование. Будьте начеку, не исключено, что он и вас причислит к сообщникам.

— Думаю, он не посмеет,— сказал Эломонов.— Надо быть бессовестным, чтобы...

— Эломонов, да о какой совести вы говорите?— нервно засмеялся прокурор.— Вы хоть осознаете, что все таки произошло? Вы ведь чуть не превратились в его хвост! Где были ваши глаза, на каком месте? Как вы его не раскусили раньше? Ведь он играл вами, как куклой! Кем вас еще можно назвать после всего этого? Дурак тот, кто поднял вас так высоко, с вас бы достаточно и какого-нибудь райисполкома, а вы вон где оказались! Первый человек Оазиса!

Эломонов молчал. Сидел не шевелясь, боялся — вдруг сердце вновь схватит.

— Что вы молчите?— с тревогой спросил прокурор.— Вам нездоровится?

— Ничего, товарищ Базаров, я вас слушаю.

— Поймите, мне нелегко, Саидмурад,— сказал прокурор сочувственно.— Я даже начал сомневаться, верить вам или нет. Скажите, что теперь делать?

— Я подам заявление,— тихо сказал Эломонов.

Придя вечером домой, Эломонов застал Бинафшуханум разгневанной. Видимо, она уже знала все — и о беседе со следователем, и о заявлении.

— Единственная дочь на выданье, вы о ней хоть подумали?— с ходу накинулась она на мужа.— Надо было просить о поддержке, товарищ Эломонов, поплакаться, наконец! Сколько лет работали, как вол, а теперь!..

— Вы очень точно сказали, ханум,— невесело улыбнулся Эломонов.— Работал, действительно, как вол, пахал, не разбираясь, где земля мягче, а где словно камень. Только теперь и понял, чью все-таки землю пахал, теперь, когда весь оброс паршой и двинуться с места не могу! Безмозглый вол пахал, а другие урожай собирали!..

Бинафше-ханум, хоть и была она поэтессой, метафоры мужа ничуть не понравились.

— Почему?— спросила она, топнув ногой.— Почему они сняли вас с работы?!

— Никто меня не снимал, ханум,— рассердился Эломонов.— Я сам подал заявление об уходе.

— Вы что, с ума сошли? Где это видано, чтобы человек сам подавал заявление, вы же не инженеришка какой-нибудь?!

— Поймите же, ханум, иначе я не мог, мне было стыдно!— воскликнул Эломонов.— Какая разница, сам подал заявление или попросили меня, результат-то один! Или надо было продолжать нагло сидеть после всего случившегося в том же кресле? Так, по-вашему, я должен поступить?

Бинафша-ханум совсем растерялась. Она поспешила в другую комнату — принять лекарство.

— Саид-ака,— спросила она, вернувшись,— вы сами-то хоть знаете свою вину?

— Кошшаев брал взятки.

— Кошшаев?!— воскликнула Бинафша-ханум.— Быть этого не может.

Она прекрасно знала об аресте Кошшаева, поэтому ее слова неприятно поразили Эломонова.

— Всех гуртом забрали,— сказал он со злорадством, которое никак не вязалось с теперешним его состоянием.— Олджабаев оказался его дядей, Неккадамов— сватом. С директором шелкомотальной фабрики они были неразлучными друзьями, имели одну любовницу. Этого вам достаточно? Или продолжить список?..

— Виновникам не избежать наказания,— изрекла Бинафша-ханум — но вы...

— Никаких «но»!— сказал Эломонов.— Все трое были моими работниками.

— Как?— не поняла Бинафша-ханум.— Двое же из них из другой организации?

— Разве дело в организации, ханум!— в сердцах ответил Эломонов.— Дурак я, без ножа меня зарезали! Вы хоть помните, что Кошшаев был первым моим заместителем?

— Такой человек!— ахнула Бинафша-ханум.— Ведь он наизусть знал всего Хайяма! Как он мог, Саид-ака!..

— Не человек, а скотина!— зло проговорил Эломонов.— Так-то, ханум, ваш бывший сокурсник оказался шкурой, взяточником!

— Упрекаете?— сказала Бинафша-ханум, бледнея.— Ну и что, если я порекомендовала его вам? Откуда мне было знать! Это вам надлежало хорошенько проверить его, вы же ему полностью доверяли!

— А как же иначе! Доверял, а он от моего имени брал взятки!

Бинафша-ханум этого никак не ожидала, она сразу сникла.

— Брал, но брал-то проклятый Кошшаев, при чем тут вы?— заплакала она.— Выходит, вас приравняют к взяточникам?!

— Что вы несете!— разозлился Эломонов.— Кошшаев в камере сидит, а я, слава аллаху...

— И вас уже допрашивали?!

— Допрашивали, но это не значит, что я уже в тюрьме. Думаю, вы знаете разницу между следствием и арестом?

— Нету никакой разницы!— сказала Бинафша-ханум, всхлипывая.— Останемся теперь на голом месте! Были бы вы хоть добытчиком, как другие!..

— Не говорите так!— одернул ее Эломонов.— Не к лицу вам подобные разговоры, вы же поэтесса, ханум, а поэзия...

— Да плевать я хотела на вашу поэзию!— перебила

его Бинафша-ханум, еще больше распаяясь.— Вы даже взятки брать не умеете, боитесь!

— Я ничего не боюсь...

— Боитесь! Если бы не боялись, я уверена, тоже брали бы!

Эломонов не поверил своим ушам — так легко было это сказано.

— Да я презираю такое!— закричал он.— Столько лет живу на белом свете, а ни разу не взял чужого рубля, все зарабатывал собственным горбом, все!.. Уж в чем в чем, но в этом вы не можете меня попрекнуть, ханум. Какой я, однако, дурак, что понадеялся на ваше сочувствие — жена ведь, как-никак, еще и стихи о любви пишете!..

Бинафша-ханум ничего не сказала, вышла из комнаты.

В ту ночь они легли порознь, Бинафша-ханум — в спальне, Эломонов — в кабинете. Включив настольную лампу с бумажным колпаком, которую суеверно хранил со студенческих еще времен, он долгое время сидел за столом молча и неподвижно, до онемения в суставах, затем лег, но лампы не выключил. Нестерпимо хотелось плакать. Он и всплакнул, когда в квартире все затихли. Однако Бинафша-ханум не спала, услышав всхлипывания мужа, она толкнула дверь...

— Заперто,— подал голос Эломонов.— Пожалуйста, оставьте меня одного.

— Ну что вы так убиваетесь, Саид-ака,— заботливо сказала жена.— Все еще образуется.

— Это вам показалось,— сказал Эломонов, уткнувшись лицом в подушку.— Простите, ханум, я, кажется, немного простыл...

Бинафша-ханум молча постояла за дверью, затем удалилась, шлепая задниками тапочек. Эломонов затих. Но вскоре он опять услышал шаги.

— Саид-ака...— робко позвала Бинафша-ханум.

— Да...

— Кажется, я что-то не так сказала... Пожалуйста, простите...

— О чем это вы?

— Да вот... насчет поэзии...

— Хотите, чтобы я забыл об этом? Так я вас понял?

— Я сгоряча, Саид-ака... Не дай бог, вдруг вы еще расскажете кому чужому!..

— Успокойтесь, ханум. Посудите сами, как я могу

другим рассказывать такое, честь-то у нас с вами одна.

— Простите, Саид-ака. Я знаю, вы благородный человек. Не обижайтесь на меня, я же не со зла...

— И вы не обижайтесь, ханум, за мое решение уйти с поста, иначе я не мог.

— Вы правильно поступили, Саид-ака, всякий соvestливый человек точно так же бы сделал.

— Спасибо, ханум.

— Просто вы немного поторопились, Саид-ака. Вы честный человек, поэтому мне до слез жалко вас, кому вас еще жалеть, если не мне, жене вашей?..

— Благодарю, Бинафша-ханум.

— Еще не поздно, Саид-ака, может, обратно возьмете свое заявление?.. Мало ли что мы делаем сгоряча, думаю, вас поймут...

Эломонов обеими руками схватился за голову. Хотелось кричать от тоски, но он удержался, стиснул зубы и молчал.

— Согласитесь, Саид-ака,— вкрадчиво продолжала Бинафша-ханум.— Я вам желаю только добра.

Эломонов не ответил.

— Подумайте, Саид-ака.

— Подумаю, ханум,— сказал Эломонов, желая скорей отвязаться от жены.

Бинафша-ханум отошла от двери. Через некоторое время из кухни донеслась пулеметная дробь пишущей машинки. Железная баба, подумал Эломонов, стихи пишет...

На сегодняшний день Эломонов служит редактором многотиражки строителей. Должность совсем маленькая, нулевая, как он ее называет про себя, в сравнении с прежним постом, но зато и забот здесь гораздо меньше. Всю работу делают трое его сотрудников, люди опытные, знающие. Хамракул, самый молодой из них, в полдень каждую пятницу приносит ему на подпись пахнущий свежей типографской краской листок. Эломонов подписывает. Осталась у него старая привычка — вздыхать, подписывая документы. Тогда он уставал от одних только подписей, так много было разных бумаг. Но Хамракул эту его безобидную привычку понимает по-своему, и каждый раз, когда Эломонов вздыхает, он спрашивает:

— Ну что, шеф, опять вспомнили?

— О чем я должен был вспомнить, Хамракулджан?— удивляется Эломонов.

— О чем же еще, конечно, о былых славных временах!— отвечает Хамракул.

— Когда вы наконец научитесь уважать других?— сердится Эломонов.— Вам еще расти и расти, милый мой, вы окончили журфак, самый что ни на есть гуманитарный факультет, а вы себя на шуточки растрчиваете.

— Не хочу я больше расти. Дома головой до потолка достаю — дальше некуда расти.

— Я же не виноват, что так строят,— говорит Эломонов. Он чувствует, что несет чушь, но никак удержаться не может.— Я о росте в другом смысле, Хамракулджан.

— Как не виноваты, когда виноваты?— не унимается Хамракул.— Вы же утверждали проекты?

Эломонов молчит. Получится еще больший абсурд, если он начнет объяснять, что проектами занимался его бывший заместитель по строительству.

— Чутьочку бы изменить характер, и вы стали бы чудесным человеком,— говорит он немного спустя.— Повторяю, вы еще совсем молоды, вам еще расти надо...

— Какой есть, такой и есть. Я не желаю большего, слишком это хлопотно, шеф,— улыбается Хамракул.— У меня к вам просьба. Это на тот случай, если я дам дуба раньше времени. Пожалуйста, не забудьте тогда поместить в газете некролог, мол, Хамракул Каршиев начал с того, что был нормальным человеком, а кончил тем, что стал корреспондентом еженедельного листка. Годится, шеф?

— Не стоит думать о смерти,— отвечает Эломонов как можно спокойней, хотя на душе у него кошки скребут.

Ему не хочется спорить с этим долговязым нахалом. Мысль Хамракула вполне понятна: мы работаем, как негры, а ты, подлец, даром зарплату получаешь!

Эломонов, который в свое время смело разговаривал со многими именитыми людьми, почему-то теряется сейчас перед обыкновенным корреспондентом. И всякий раз, как только Хамракул выходит из кабинета, его начинает разбирать злость, и он поднимает трубку. Товарищ Мухаммад-Шокиров, говорит Эломонов, моя просьба остается в силе, пусть меня отправят агрономом в самый захудалый колхоз, не могу я здесь работать! То-

варищ Мухаммад-Шокиров бесстрастно говорит: вы сперва объясните, товарищ Эломонов, почему это вы там не можете работать? Может, чем помочь? Да стыдно мне перед сотрудниками, товарищ Мухаммад-Шокиров, стыдно делить их честный хлеб! Но товарищ Мухаммад-Шокиров не хочет ему верить: бросьте вы это, товарищ Эломонов, вы же не девица, чтобы смущаться! Столько лет управляли Оазисом, неужто теперь не можете справиться с тремя сотрудниками? В голосе товарища Мухаммад-Шокирова слышится явная насмешка. Эломонов не выдерживает и кричит: да не с тремя, а с одним не могу поладить, остальные двое лучше, но этот один.. Тут товарищ Мухаммад-Шокиров непременно сердится, голос его становится сухим и строгим: вы что, товарищ Эломонов, издеваетесь надо мной? Где мы вам еще найдем такое место, где было бы двое хороших против одного плохого? Не будьте таким неблагодарным, товарищ Эломонов! Поработайте пока, а там, может быть, и придумаем что-нибудь вместе с товарищем Бакировым. Когда придумаете, спрашивает Эломонов, знайте, мне уже свет не мил, товарищ Мухаммад-Шокиров! Уберите меня отсюда, ведь я диплом имею, учился на агронома! К чему такой пессимизм, невозмутимо отвечает товарищ Мухаммад-Шокиров, наберитесь терпения, всему — свой час.

И каждый раз, после очередной пустой беседы, Эломонов проклиняет себя за малодушие, за то, что не послал товарища Мухаммад-Шокирова ко всем чертям. Это и есть последнее мое пристанище, думает он с грустью, дальше уже ничего не будет, и никакой надежды, иначе бы этот Мухаммад-Шокиров, третьестепенный функционер, не смел бы разговаривать со мной в таком тоне. И он вспоминает, как года два назад этот самый товарищ Мухаммад-Шокиров на цыпочках входил в его кабинет — олицетворение почтительности и скромности, с папкой документов, дожидаящихся его, товарища Эломонова, подписи, и сокрушенно качает головой: вот как оно бывает, ведь день-то с днем не сходится!..

Но постепенно он привык к своей новой работе. Переживал, конечно, по-прежнему сильно, но старался не подавать виду. Отношения с подчиненными заметно улучшились. Все трое были женаты, имели детей, жили мирно, работали на совесть. Со временем Эломонов привык и к ершистому нраву Хамракула. Знающие люди

тихо намекнули ему, что парень сам надеялся занять пост редактора многотиражки, а тут он, Эломонов, нагрнул... Узнав крохотную тайну, Эломонов долго не мог избавиться от чувства неловкости перед Хамракулом. Странно устроен мир, думалось ему, Хамракул мечтает об этом месте, а я не знаю, как от него избавиться!..

Правда, здесь его одолевала страшная скука. Особенно тяжело было в первое время. Привыкший к огромному кабинету с не менее огромной приемной, всегда полной народа, теперь он часами сидел в одиночестве, глядя на один-единственный телефонный аппарат на голой поверхности стола. Хоть бы кто позвонил! Нет, телефон молчал — ему уже не звонили. Не оттого ли он не сразу отпускает редких своих посетителей. Сам чувствует, что это глупо, но перебороть себя не может, хочется поговорить, и он задерживает человека чуть ли не силой. И между разговором, боясь, что посетитель станет проклинать его за попусту затраченное время, спрашивает: может, у вас заботы какие, товарищ? Посетитель, разумеется, поблагодарит его и скромно промолчит о собственных заботах. Но Эломонов опять наставляет: а вдруг, мало ли чего?.. Разве найдется в мире человек, кто избавлен от забот? Вот и приходится человеку называть свою заботу... Одному требуется тысяча штук кирпича, другому — кубометр древесины да боченок дефицитной краски, третий не знает, где бы запчастки к машине достать, еще кому-то нужно быстрее оформить пенсию, у четвертого большая мать, которую надо устроить в хорошую больницу... Хотя ни одна из этих проблем не входит в его компетенцию, Эломонов помогает посетителю как может. Ему нравится помогать людям, он весь цветет, когда ему удастся это сделать. Эломонову еще не смеют отказывать — механизм прежнего авторитета пока срабатывает по инерции. В таких случаях посетитель, минуту назад изнывавший от его нудной и нескончаемой любезности, принимается благодарить: спасибо, Саидмурад-ака, спасибо товарищ Эломонов, за вашу доброту и бескорыстную помощь! Эломонову лестно слышать такие слова, и он, смущенный, но очень довольный, отмахивается от похвал: незачем благодарить, ведь это такая ерунда, пожалуйста, заглядывайте почаще, посидим, поговорим...

Естественно, такие люди не могут не заходить к Эломонову хотя бы из чувства признательности. Они и



заходят, беседуют с ним, играют в шахматы, утешают и, сами того не замечая, начинают его любить.

Многотиражка принадлежит строительному объединению. Это, пожалуй, самая большая организация во всем Оазисе, насчитывающая в своем штате пятьдесят тысяч рабочих и служащих. Руководит объединением Чоршанбиев, молодой энергичный человек. Его любят за скромность. Дел у руководителя невпроворот, но и о газете он не забывает, помогает, чем может. Условия в редакции самые наилучшие. Однажды Бинафша-ханум пришла посмотреть новое место работы мужа. Увидев его довольно просторный кабинет, обставленный новой мебелью, с двумя мощными кондиционерами на двух широченных окнах, она была немало удивлена:

— Недурно,— сказала она.— Вроде и шторы новенькие.

— Совершенно новые,— подтвердил Эломонов.— Не хватает только приемной и секретарши. Но, с другой стороны, это даже к лучшему, не будете ревновать меня, ханум.

— Еще чего!— рассмеялась Бинафша-ханум.— Я вас никогда не ревновала.

— И правильно,— сказал Эломонов, хотя в душе немного и обиделся.

— А где же посетители?— спросила не без усмешки Бинафша-ханум.— Где теперь те люди, которые толпились перед вашей дверью? Подхалимничают перед другим?!

— Ханум,— возразил Эломонов,— здесь другой масштаб работы, очень узкий круг вопросов, потому и посещают меня не часто.

— При чем тут какие-то масштабы,— сказала Бинафша-ханум, морщась от досады.— Скажите проще: перевелась людская благодарность. В свое время вы мне все уши прожужжали — интересы масс, интересы народа!.. Где же ваш народ?

— Те, кто раньше толпился в моей приемной, они еще не народ, ханум, а всего лишь кучка... этих...— Эломонов никак не мог подобрать подходящее определение...— Ну, этих... блюдолизов!..

— Отшучиваетесь?— скривилась Бинафша-ханум.— Другой бы на вашем месте заплакал!

— Вполне может быть,— бодро ответил Эломонов и солиднее устроился в кресле, как в былые времена.— Но это другой бы, ханум... А я... Теперь уже поздно

жалеть о чем бы то ни было. Критика была правильной, я ее полностью признал и, слава богу, терпел, не умер еще... И дальше буду терпеть.

— У вас не осталось ни капельки гордости, Эломонов!

Эломонов ничуть не обиделся, продолжал улыбаться. Бинафша-ханум еще минут пять просидела сердитая, но разговор не клеился, и она удалилась — спешила на радио, читать свою новую поэму. Как только жена вышла из кабинета, Эломонов начал смеяться вслух. Такое случилось с ним впервые с тех пор, как он ушел с прежнего поста. И действительно, подумал он весело, будто сго это вовсе и не касалось, действительно, как еще можно попристойнее назвать тех бездельников, которые увивались вокруг меня в те времена, ведь они так нагло лезли, лизали, облизывались и при этом сладко жмурились! Где они теперь! Исчезли? Не-ет, их не истребишь! Они живучи! Эти лизоблюды теперь морочат голову другим, тем, кто пришел после тебя. Но как скажешь об этом, подумают еще — вот, мол, сукин сын, наскипидарили ему, а теперь он в отместку бог весть какую чепуху городит про честных людей!.. Если бы не это, можно было бы составить длинный список лизунов и вручить тем, чьи пятки нынче в большом почете! С другой стороны, нельзя винить тех, на кого молятся теперь бывшие друзья, ведь я и сам в свое время верил лишь официальным спискам, и мне никто не говорил истинного мнения о том или другом субъекте. Тысячу раз прав оказался Раим Хайбаров, я был всего лишь воробышком, а метил на орлиную высоту, да крылышки подвели!..

Месяца два назад Чоршанбиев, то ли кто сверху подсказал, то ли по собственному разумению, вызвал Эломонова и дал ему новую «Волгу». Эломонов прекрасно знал, что в объединении таких машин пруд пруди, минимум десяток автобаз имеется, но все-таки жест молодого начальника он расценил как оскорбление, он весь покраснел, хотел отказаться, отказаться резко, без обиняков, мол, не докатился я еще до того, чтобы при жалкой многотиражке разъезжать на персональной машине, но... не отказался, принял все же «Волгу». То ли побоялся обидеть своим отказом молодого начальника, который ему нравился, то ли захотелось улучшить отношения с женой — сам черт не поймет этих женщин, а вдруг Бинафша-ханум дуется из-за машины, которую у него

отобрали, ведь на машине-то большей частью разъезжала она по своим редакциям.

И вечером того дня он впервые за последний год вернулся домой на «Волге». Легкий ветерок приятно охлаждал лицо. Сидя на заднем сиденье, Эломонов весь расслабился и позабыл о недавней неловкости перед молодым начальником. Когда машина свернула на улицу, где он жил, Эломонов весело приказал шоферу:

— Посигнальте, Кулмухаммадбай, в нашей махалле много детей.

Кулмухаммад не заметил на улице никаких детей, но взрослые там были. Он понял своего начальника и весело воскликнул:

— Посигналим, Эломонов-ака, уж это-то мы как-никак умеем! Вот как мы посигналим!.. Теперь длиннее!.. А теперь еще длиннее-е-е! Прекрасно!.. Смотрите, Эломонов-ака, пешеходы рассыпались, словно курицы!..

И сам Эломонов — да простится ему такая слабость! — рассмеялся от души:

— Живите тысячу лет, Кулмухаммадбай.

К сожалению, Бинафша-ханум не увидела, как они лихо подкатили к подъезду. Эломонов отпустил шофера и поднялся на свой этаж. Желю застал в кабинете. Грызая карандашик, она обдумывала новое стихотворение.

— Что за шум несусветный? — сердито спросила она, не отрываясь от бумаг. — Что, не могли призвать таксиста к порядку? Или этот придурок не знает, что за люди живут на этой улице?

— Это был не таксист, — улыбнулся Эломонов. — Это Кулмухаммад, двадцать четыре — двадцать четыре.

Бинафша-ханум с интересом взглянула на мужа и чуть смягчилась:

— Вы на чьей машине приехали, Саид-ака? Номер вроде знакомый.

— На своей персональной, — ответил Эломонов. — На службе выделили.

— Скажите, какая щедрость! — не поверила Бинафша-ханум. — А служите вы где, все еще там или за день успели продвинуться?

— Служу там же, — сказал Эломонов. — Там и дали машину.

Бинафша-ханум почему-то не обрадовалась этой новости.

— Экая несправедливость! — сказала она, захлопнув

свою толстую тетрадь.— Нам, бедным, никто не выделяет машины.

— Зачем вы так?..— смущенно ответил Эломонов.— Ведь это все равно, что вам дали... Вместе будем разъезжать.

— Странно!..— сокрушенно покачала головой Бинафша-ханум.— Ведь и мы работаем не меньше вашего...

— Ну это, ханум, зависит от того, какой размах у каждой организации. У строителей иные условия, иные возможности. Думаю, ваши сравнения не совсем уместны.

— Не нравится?— вспылила Бинафша-ханум.— Я вам сказала правду. На казенных машинах разъезжают те, у кого вес и положение.

— Не знаю, как насчет положения,— шутливо возразил Эломонов,— но вес я свой сохранил прежний.

— Ладно уж,— улыбнулась Бинафша-ханум, сменив гнев на милость.— Раз дали, пользуйтесь на здоровье. Да и мне машина нужна будет.

— А не лучше ли вам ездить на «Жигулях»,— не выдержал Эломонов.— Уже два года, как перегнали к своей матери и поставили на прикол. Новая машина, даже смазка еще не сошла...

Бинафша-ханум на миг растерялась, но только на миг, и громко засмеялась:

— Вы что, Саид-ака, сердитесь?.. Ведь машина принадлежит Сабирджану. Вот вернется сын из-за границы, сам будет на ней ездить.

— Сабиру нетрудно будет купить собственную.

— Сама знаю,— сказала Бинафша-ханум.— Я думала дать «Жигули» в приданое дочери, только вы никому не рассказывайте, пока это тайна!..

— Вы сперва ей мужа найдите!

— Муж найдется,— ответила Бинафша-ханум.— Чем наша дочь хуже других? Красотой бог не обделил, умна, воспитанна, до диплома один шаг... И по-узбекски умеет говорить.

— А я, дурак, не знал, что знание родного языка стало достоинством!— съязвил Эломонов.— Но, ханум, произношение у вашей дочери просто дрянь.

— Можно подумать, что вы враг собственной дочери!— заметила Бинафша-ханум.

— А сами-то вы что за чепуху несете?— рассердился Эломонов.— Откуда у вас точные планы, приданое, машина?.. Вдруг жених уже имеет машину?

Бинафша-ханум рассмеялась.

— Какой же вы, однако, скупой, Эломонов!— воскликнула она.— Ладно, так и быть, машину мы себе оставим, сами будем разъезжать, хотя... Я уже закончила новую пьесу, «Капризная невеста» называется. «Невесту» отдам самаркандскому театру. А здесь наш сосед Пулатов собирается ставить мои «Струны сердца». Так что спокойная старость вам обеспечена, мой принц. Хотите, я вам куплю «Волгу»?

— Я не умею водить машину, ханум,— сказал Эломонов.— Если честно, нам следовало бы немного помогать близким. У меня родственников уже не осталось, у вас они есть. Отдайте часть своих гонораров братьям, двое из них еще не женаты, пускай на свадьбу потратят, дом себе обставят.

Бинафша-ханум задумалась.

— Тогда «Жигули» придется обратно взять,— сказала она.

— Делайте как хотите, тем более, они ею не пользуются. Но, ханум, еще раз повторяю, я совсем не умею водить машину.

— Это совсем не обязательно, наймете шофера.

— При теперешнем моем положении? Ведь смеяться будут, ханум!

— Какой вы, однако, щепетильный, Эломонов!— фыркнула Бинафша-ханум.— Ладно, я сама буду водить.

— Это еще можно,— облегченно вздохнул Эломонов.— Вы еще можете научиться, ханум, мне уже поздно, надо было в молодости...

— Действительно, вам уже поздно,— согласилась Бинафша-ханум.— Я еще успею. Ведь я моложе вас на десять лет.

Эломонов густо покраснел, заподозрив в словах жены скрытый намек. Так уж получилось, что он после всех скандальных историй, инфаркта и прочих неприятностей вот уже около года не прикасался к жене. Если подумать, он вроде и забыл об этой стороне супружеской жизни. Каждый вечер возвращается нервный, недовольный, усталый скорее от своей бездеятельности, нежели от работы. Наспех поужинав, садится перед телевизором, сидит до одурения, осталась давняя привычка следить за событиями, никак не может отучиться, хотя сознание собственной причастности к происходящему давно уже улетучилось. Остался от того сознания разве что легкий дымок. Досмотрев последний выпуск

новостей, он плетется в спальню, коснется головой подушки и тут же засыпает мертвецким сном. Благо, у Бинафши-ханум есть занятия поважнее, иногда она до рассвета засиживается в кабинете над своими стихами и пьесами, пишет, печатает... Надо бы бегом заняться, подумал Эломонов, вон Пулатов, сосед, каждое утро бежит за два квартала, зимою в проруби купается, здоров как бык, щеки красные, словно гребешок петуха, да и с женой у него отношения куда лучше...

Часы пробили одиннадцать. Эломонов все еще лежал в постели, думал. Наконец он пришел к выводу, что надо действовать, не к лицу ему засиживаться в редакции многотиражки, вот работать в сельхозуправлении — другое дело, как-никак, он ведь агроном. На товарища Мухаммад-Шокирова надеяться не приходится, лучше вручить заявление об уходе Чоршанбиеву и обратиться к Бакирову ему самому, минуя всяких там товарищей мухаммад-шокировых, небось, не откажет? Разумеется, попросить надо с достоинством, просто и прямо: мол, работа эта не по моей части, дайте другую, по специальности... Вообще, было бы неплохо вернуться навсегда в Галатепе. Но об этом можно лишь мечтать — Бинафша-ханум ни за что не согласится покинуть город. Будь она педагог или врач, легче бы нашлась работа в кишлаке, а так — поэтесса, драматург... Нет, Бинафшу-ханум не уговоришь, она не из тех женщин, кто за мужем и в огонь и в воду пойдет. Прошла молодость, угасла любовь, этот бесценный дар... Но если подумать, любовь оказалась нужнее в поздние лета. В молодости ты ни о чем не думаешь, ты любим, ты силен, мир так светел, а жизни конца-края нет, кругом одни цветочки, ни одной колючки, томные глаза, медоточивые уста... Кто ты, чей ты сын, с кем и куда идешь — эти вопросы, кои веками были основой основ человеческого бытия, никак не вяжутся с молодостью, они рождаются, когда ты почти прожил жизнь, когда уже отчужден от родного очага, отчего края. Теперь лишь тело твое принадлежит Галатепе — больше ничего. Настанет день, и то, что было тобой, односельчане повезут на родину, чтобы предать земле рядом с могилой отца. Это святой их долг...

Не получилось у нас семьи, подумал Эломонов с грустью, такой семьи, в которой я родился и какую видел в детстве у своих друзей, семью, где были одни интересы и одна честь для всех ее членов. Семья должна

читать единый закон, с двумя законами — это уже не семья, а некий сосуд, треснувший и побывавший в руках лудильщика, где заклепками — общая кровля, общий дастархан, общие доходы и общие дети... Кто-то да должен уступить другому. Раньше я хотел, чтобы все было по-моему, а где и уступал, то с видом этакой широкой натуры, теперь я уже во всем уступаю, но только не знаю, кому я уступаю, за какие заслуги, и вообще, кто она такая, Бинафша-ханум, с которой я прожил вместе целых двадцать пять лет, ведь я ее так и не раскусил до конца, видать, для того чтобы понять жену, мало знать, сколько родинок на ее теле!..

Часы пробили половину двенадцатого. Эломонов взял с тумбочки телефонный аппарат и прямо в постели набрал номер гаража.

— Мавлонбек, это вы?.. Как ваше здоровье, как дети, старики?.. Вас беспокоит Эломонов. Пожалуйста, выйдите ко мне Кулмухаммада.

Диспетчер, кажется, был не в духе и ответил недовольным голосом:

— Уже два часа, как ваш Кул<sup>1</sup> выехал из гаража. Наверное, левачит по дороге.

— Стыдно, Мавлонбек!— рассердился Эломонов.— Не смейте называть человека рабом! И я не рабовладелец, к вашему сведению!

— Что вы, товарищ Эломонов, это вас вовсе не касается,— прохрипел диспетчер.— Это мы любя так называем, длинное у него имя, вот и приходится сокращать... Наверно, гоняет по городу, на чай зарабатывает...

— Неужели?..— сказал Эломонов, затем, чуть подумав, решил защитить своего водителя.— Э, да я забыл, Мавлонбек, ведь вчера я сам разрешил ему отлучиться часа на два, кажется, у него какой-то родственник жепится. Память у меня неважная стала, Мавлонбек. Вы не знаете, бак у него хоть полный?

— Не могу знать,— ответил диспетчер, затем, перебросившись с кем-то несколькими фразами, сообщил:— Говорят, до горла подзаправился, Сандмурад Замонович. Что, дальняя поездка?

— Это я на всякий случай,— сказал Эломонов.— Ладно, будьте здоровы, Мавлонбек.

Он поставил аппарат на тумбочку. Решил при возможности слегка пожурить Кулмухаммада за опоздание,

---

<sup>1</sup> Игра слов: «кул» означает «раб».

но, чуть подумав, отказался от этой мысли: нет, нельзя его ругать, в семье у него целых одиннадцать душ, сам и жена не в счет, она дома с детьми занята, он весь день за рулем. У иных шоферов доходы куда лучше, у них план, рейсы, всякие там тонно-километры... Откуда взяться деньгам у персональных водителей, другое дело, если бы им давали премии за то, что возят жену начальника по базарам не один, а два раза в день.

Эломонов вскочил с постели, потянулся. Сделал несколько приседаний. В коленных чашечках проснулась легкая боль, которая тут же прошла. Затем он прошел в ванную и побрился. Увидев на груди несколько седых волосинок, загрустил. Быстро же бежит время, подумал Эломонов, будто вчера был юношей, будто вчера!.. Хотел было взять пинцет, который жена забыла на полочке, но удержался, протянутую руку положил на грудь и сильно помассировал — к черту, все равно назад возврата нет! Минут пять простоял под душем, надев на голову резиновый колпак. Шум воды действовал успокаивающе, грусть его отошла, и он начал тихонько мурлыкать, пока не перешел на старинный напев:

Айтгил, гўзал Санобар, қаер турар маконинг,  
Фарғона ё Тошкент, Қуқонми — ошёнинг?..<sup>1</sup>

Дважды он повторил этот бейт, пока, наконец, не воскликнул про себя: надо же, брат Эломонов, вон куда тебя занесло! Сколько бейтов знал, даже в школьной самодеятельности участвовал, до войны еще было, давно перестал петь... Жаль, что этот бейт не спел в свое время Бинафше-ханум, тогда я не знал ее настоящего имени, все ее звали Бинафша, Бинафшахон, Бинафша-ханум, и в печати она выступала как Бинафша, а звали-то ее на самом деле Санобар, узнал я это лишь в загсе, когда подали заявление. Мать ее зовет чуть по-другому — Санавар, но ей самой это имя не нравится, оказывается, Санобар созвучно с самоваром, наверняка так в школе ее и дразнили, и у нас в школе была Санобар, так ребята не давали девчонке покоя: «Санобар сидит у самовара, Санобар пьет из самова-

---

<sup>1</sup> Скажи, Санобар-красавица,  
ты родом откуда?  
Ты рождена в Фергане иль Ташкенте,  
иль, может быть, ты из Коканда?



ра...» А так имя очень древнее и хорошее, и смысла оно хорошего, санобар, сарв, кипарис, стройное имя, оно бы очень шло Бинафше-ханум. Тогда ее привел ко мне Имам Ходжаев, лысый поэт с лицом младенца, представил... Бинафша, сказала она и подала руку. Эломонов, представился я, и тоже подал руку. Мне очень понравилась ваша декламация, Бинафшахон, сказал я ей, вы хорошо читали, позвольте же теперь узнать, откуда вы родом? Она в ответ улыбнулась: скажите сперва вы, Саиджан-ака. Оказалось, она меня знала по имени. Я немного растерялся, хотел было назвать свой кишлак, но подумал про себя, откуда, мол, знать такой красивой девушке забытое богом Галатепе, оно ведь не было указано ни на одной карте, даже самой крупномасштабной. Это потом, когда я уже занимал посты, все разом заговорили о нем, вплоть до Мурада из соседнего Джама, который не смог доучиться на философа и утешился тем, что занялся описанием галатепинцев, часто путая их со своими односельчанами. Но тогда Галатепе не было столь известным, потому я назвал самый близкий к нему город: я родом из Каттакургана, Бинафшахон. О, тогда мы с вами земляки, Саиджан-ака, воскликнула девушка, мои Хатирчи совсем рядышком, странно, что мы до сих пор не встретились.

На душе Эломонова посветлело от воспоминаний. Боже, как здорово было в те годы, когда они катались на лодке по лунной глади озера, гуляли по берегу реки — опять при луне. Да и не только при луне, были и темные аллеи городских парков, где Бинафша читала ему свои стихи, читала долго и упоенно, прерывая чтение лишь на те мгновения, когда она позволяла Эломонову поцеловать ее, только в щечку...

Кажется, я сам стал мнительным после ухода с поста, подумал он, незачем сваливать всю вину на Бинафшу-ханум, ведь и у нее забот своих хватает, работа у нее действительно трудная, умственная. Раньше Эломонов как-то всерьез и не воспринимал писательское занятие, но теперь, изрядно прожив рядом с поэтессой, понял, что оно вконец изматывает душу. Бинафша-ханум часто жалуется на сердце. Эломонов призывает ее пожалеть себя — ну зачем так терзать себя, ханум, нельзя так много писать, оставьте и на завтра. Но Бинафша-ханум его не слушается, продолжает писать до тех пор, пока не падает на диван в полном изнеможении, схватившись за сердце.

Надо беречь друг друга, подумал Эломонов и решил впредь быть повнимательней. Исполненный этого благородного чувства, он поискал глазами, чем бы вытереться. Все полотенца лежали в корзине нестиранные. Но Эломонов не стал расстраиваться, опять оправдал жену вечной ее занятостью. Весь мокрый, он прошел в спальню, достал из шкафа чистую простыню, расстелил на тахте, затем лег и, ухватившись за краешек простыни, покатился на другой конец тахты и оказался обмотанным с ног до головы, словно запеленатый младенец. Эломонов засмеялся от удовольствия. Вот мы и вернулись в младенчество, брат Эломонов, сказал он вслух, ни рукой, ни ногой не двинуть, и как только ребенок терпит такое, хотя, если подумать, ребенку гораздо легче—ведь младенцу еще не ведома жизнь без пеленок, откуда ему знать цену свободы и движения!

Эломонову стало забавно от подобных мыслей, и он громко рассмеялся. Смеясь, покатился обратно и высвободился из «пеленки». Подобрал более сухой конец простыни и начал вытирать лицо.

Через полчаса он вышел на улицу. Снег усилился, бил косо, подгоняемый ветром, и Эломонов поднял воротник пальто. У дома он увидел соседа Буюка Пулатова, который разогревал мотор своей машины.

— Может, подбросите, сосед?— крикнул Эломонов.

— Э, товарищ Эломонов, как же иначе?— ответил Пулатов.— Вас и дожидаемся!..

— Кулмухаммад что-то опаздывает,— сказал Эломонов, подойдя к соседу.

— С таким шофером надо немедленно расстаться, товарищ Эломонов,— строго сказал Пулатов.— И часто он так?

— Нет, обычно он точен. Да и человек вроде неплохой...

— Я пока сам вожу свою служебную,— сказал Пулатов.— Трех водителей сменил, неважные оказались ребята. Теперь жду, может, четвертый окажется более или менее порядочным...

— Это вы зря, Буюкджан,— покачал головой Эломонов.— Теперь вам дадут «штрафника».

— Как?— не понял Пулатов.

— Очень просто. Вам не следовало так часто менять водителей. У них есть такой уговор, Буюкджан, тем, кто их часто меняет, они посылают самого упрямого и ле-

нивого водителя. Это как бы в наказание за вашу чрезмерную разборчивость.

— А я откажусь,— сердито сказал Пулатов.— Не нужен мне никакой «штрафник», я сам буду водить!..

— Не стоит самому, Буюкджан. Я попробую поговорить с директором автопарка.

— Вас он послушается?— недоверчиво спросил Пулатов.

— Думаю — да.

— Что мы стоим, товарищ Эломонов, садитесь,— засуетился Пулатов.— Сейчас мы мигом доставим вас на работу.

Эломонов сел в машину.

— Вижу, вы хорошо выспались, товарищ Эломонов,— сказал Пулатов, когда они выехали на большую дорогу.— Выглядите свежим. Вообще, бесподобная у вас работа, товарищ Эломонов, а не завалилась у вас еще одна штатная единица?

— Нет, Буюкджан, не стоит моя работа вашей мечты, уж очень скучно,— смеясь, ответил Эломонов.— Я вижу, вы и зимою ходите в тибетейке, Буюкджан, разве не холодно?

Пулатов, держа руль правой рукой, левой рукой снял тибетейку, положил ее рядом, почесал лысую макушку, затем водрузил тибетейку вновь на голову.

— Холод нас боится, товарищ Эломонов,— сказал он весело.— Даже в Сибирь на гастроли ездил в тибетейке, в самые январские морозы! Все артисты были в шапках, а я — в тибетейке! Тамошние люди рты разинули, особенно — женщины! Чуть не умерли от восхищения, все в один голос говорили: «Ну и темперамент у вас, Буюкджан!»

Эломонову не понравилось, что Пулатов в Сибирь ездил в тибетейке.

— Врите, Пулатов, но в меру,— сказал он.— Так уж вам и сказали — «акаджан»!

— Профессия у нас такая, товарищ Эломонов, не можем без гиперболы,— улыбнулся Пулатов.— Вообще-то, я в самом начале был юмористом. А юмор, как понимаете, не обходится без преувеличений. Никто не любит открытую критику. Писал юморески, разные миниатюры, рассказы... Потом, как вам уже известно, перешел целиком на пьесы.

— Наверно, это более спокойный жанр?— предположил Эломонов.

— Трудный жанр, товарищ Эломонов, хоть и спокойный, но очень трудный, особенно, когда дело касается артистов. Они — народ упрямый, своенравный, нужно иметь железные нервы, чтобы удерживать их в правильном русле. Много у них всякой отсебятины, а я никак не могу допустить подобное неуважение к искусству. Какой толк от того, что ты пишешь пьесы, если исполнители норовят порвать ожерелье из твоих слов, над которыми ты трудился бессонными ночами? Я очень строг, товарищ Эломонов, когда дело доходит до чистоты текста.

— Вы очень складно говорите, Буюкджан,— сказал Эломонов.— Жаль, что я не очень-то понимаю ваши заботы.

— Надо почаще ходить в театр,— заметил Пулатов.— Раньше вы ходили, теперь совсем перестали.

— То было по долгу службы, Буюкджан.

— Скоро поставим пьесу вашей супруги, непременно приходите.

— Если найду время, то обязательно...

— Было бы желание, товарищ Эломонов, а время всегда найдется. Кстати, тут разные слухи ходят, будто вас опять повесить собираются... Это правда?

— Ложь, разумеется,— ответил Эломонов с напускным безразличием.— Где вы только успели услышать такую чушь, Буюкджан?

— В театре, где же еще,— сказал Пулатов.— Только там и услышишь все новости.

— Хе!— скептически бросил Эломонов, а у самого по всему телу пробежала сладостно-щемящая волна.— Разве мертвые воскресают, Буюкджан!

— Ну это как понимать, товарищ Эломонов. Говорят же, один мертвый лев лучше тысячи живых мышей.

— Он же мертвый, Буюкджан.

— Откуда вы знаете,— улыбнулся Пулатов заговорщически,— может, он просто притворяется?

— Наверняка врут,— робко заметил Эломонов, боясь спугнуть шевельнувшуюся было надежду.

— В театре ничего зря не говорят, товарищ Эломонов.

Пулатов замолчал. Эломонов беспокойно ерзал на месте, словно его посадили на раскаленные угли. Хотелось порасспрашивать еще, но он не решился, а вдруг этот Пулатов вздумал подшутить над ним? Спокойней, сказал Эломонов себе самому, ты уже не юнец безусый,

испытал, как горек сей мед!.. Сказать это сказал, но успокоиться никак не мог. Он еще раз подозрительно взглянул на Пулатова: вид у того был вполне серьезный — ни тени усмешки. Конечно, он мне не очень по душе, рассудил Эломонов, но человек вроде совсем не вредный, уже лет двадцать сидит в директорском кресле, а не успел заразиться театральными замашками, ходит в тюбетейке, да и нрава вроде безупречного, во всяком случае, я еще не слышал, чтобы Пулатов имел любовницу...

Выходит, он сказал правду?

То ли от белизны свежего снега, то ли настроенне у него было к тому подходящее, улыцы показались Эломонову светлыми, праздничными. И люди красивы, особенно — женщины, в белых пуховых шالях, катившие детские коляски. Казалось, они не шли, а легко парили в воздухе. На них Эломонов смотрел с нежностью, глаза его увлажнились от умиления, и ему на миг показалось, что он видит наяву пухлых младенцев-мальчиков, укутанных в такие же теплые белые шали, какие были на головах их матерей. Почему именно мальчиков, он не смог бы ответить.

Когда они свернули к зданию строительного объединения, Пулатов опять заговорил:

— Теперь, если понадобится, и нам протянете руку помощи.

Эломонов ничего не ответил. В другое время он непременно одернул бы Пулатова, мол, что вы, друг мой, подмазываетесь? Но на этот раз промолчал. После услышанного Пулатов казался ему самым сведущим человеком в мире.

Машина остановилась у парадного подъезда объединения. Пулатов вылез из машины первым, помог выйти и Эломонову. У входа за маленьким столиком сидел старик-вахтер. При виде Эломонова он встал:

— Вас спрашивали, раис-бобо.

— Кто спрашивал?

— Не могу знать. Выпросил у меня ключ, теперь сидит в вашем кабинете. Я ему заварил чай. Говорит, по важному делу...

Эломонов ускорил шаги. Приближаясь к концу длинного коридора, где находилась редакция многотиражки, почувствовал, как бешено колотится сердце. Кто же ко мне мог прийти, думал он, вдруг это какой-нибудь ответственный товарищ с важной вестью?.. Он подошел к

своему кабинету, остановился, придал лицу беззаботный вид и решительно взялся за ручку. Открыл дверь и замер от удивления — в его кабинете, в легкой чалмесимаби, в тонком без подкладки халате поверх чего-то основательно теплого, в новых блестящих ичигах и галюшах, весь такой чистенький и благообразный... сидел Ибодулло Махсум! Сидел и чай пил. Когда дверь открылась, он спокойно повернулся.

— Ты что, окаменел, Саидбай?— спросил он.— Или не хочешь меня признавать?

— Здравствуйте, Махсум-ака,— сказал Эломонов, краснея.

Ибодулло Махсум встал и подошел к нему. Обнялись по-мужски крепко.

— Как твоё здоровье, Саидбай? Как дети? Все живы-здоровы?

— Спасибо, Махсум-ака. У меня все в порядке. Как вы сами-то, как в Галатепе?

— Что с нами делается! Почтенный Хуччи передает тебе привет.

— Спасибо ему, пусть еще сто лет проживет.

— Это он отправил меня послом, Саидбай, с добрыми полномочиями.

— Очень хорошо, что с добрыми полномочиями,— ответил Эломонов ему в тон.— Что вы стоите, садитесь, Махсум-ака.

Ибодулло Махсум сел. Эломонов снял пальто и шапку, спрятал их в шкаф, затем взял стул и уселся рядом с гостем.

— Не могли сразу ко мне домой приехать?— спросил он с легким упреком.

— Мог, да не смог,— ответил Ибодулло Махсум.— Ты, конечно, извини, но я жены твоей немного побаиваюсь.

Эломонов сделал вид, что не расслышал.

— Добро пожаловать,— сказал он, все еще улыбаясь.— Каковы же ваши добрые полномочия, может, дела какие?

— Ну вот, сразу о делах!— воскликнул Ибодулло Махсум.— Или государственные люди ни о чем другом не могут говорить?

— Это вы зря, Махсум-ака, в те дела мы уже не вмешиваемся,— сказал Эломонов.— Теперь вот здесь... Работа спокойная.

— Эту твою новую работу я бы сам не нашел,— за-

метил Ибодулло Махсум, оглядывая кабинет.— Ташпулат помог, дай бог ему счастья.

— Какой Ташпулат? Не Хайбарова ли сын?

— Он самый, старший сын Хайбарова. Сам он не согласился остаться, пришлось отпустить.

— Мог бы и остаться,— обиделся Эломонов,— давно мы с ним не виделись. Ташпулат, мне кажется, излишне упрямый парень, боюсь, как бы это ему не повредило.

— А ты не бойся, Саидбай. У них в роду все такие: упрямые, но справедливые. Мне показалось, Ташпулат не хочет тебя видеть. Может, ты чем обидел его? Глупость какую сказал?.. Ну, тогда, когда ты был еще наверху? Подумай, Саидбай. Как-никак, Назар Махмуд приходится тебе дальним родственником, такое вполне могло случиться!..

— Нашли с кем сравнивать,— шутливо отмахнулся Эломонов.— Что, нет у вас на примете другого хвастуна?

— Зачем далеко ходить, Саидбай,— не унимался Ибодулло Махсум.— Родня он тебе или нет? Ветви хоть и разные, но древо-то одно?

— Страшно вы рассуждаете, Махсум-ака. Давайте вернемся к Ташпулату, уж его-то я никогда не обижал.

— Не стоит грустить, Саидбай, всем мил не будешь. На. лучше чаю выпей.

Эломонов взял пиалу с чаем, хлебнул разок из приличия и поставил на краешек стола. Ибодулло Махсум с минуту внимательно разглядывал его, затем спросил:

— Ты что, Саидбай, решил разбогатеть? Смотрю, костюм твой вроде совсем обносился?

— Что вы, Махсум-ака,— ответил Эломонов, краснея.— Никогда за собой не замечал желания разбогатеть.

— Я вот сейчас подумал, ты и раньше, когда еще был на коне, лучше не одевался...

— Руководителю скромность не помешает,— смущенно объяснил Эломонов.— Ведь люди ему во многом подражают.

— К чему теперь излишняя скромность, когда тебя уже скинули с поста?— спросил Ибодулло Махсум.— Теперь-то ты можешь получше одеваться. Вон твоя жена, как она наряжается, каждую неделю видим ее по телевизору, учит наших дочерей, как подобает вести себя!..

— У женщин чуточку по-другому,—засмеялся Эломонов.

— Ладно, не оправдывайся, Саидбай,—махнул рукой Ибодулло Махсум.— Это я так, к слову... Значит, мы там, в Галатепе, готовим большой той. Потому-то я и здесь, приехал тебя пригласить.

— Поздравляю,—сказал Эломонов без особого энтузиазма, затем почувствовал, что нужно бы улыбнуться, и улыбнулся.— Поздравляю, Махсум-ака. Хорошее дело задумали. Раз вы готовите той, нам остается потуже подпоясаться и быть у вас на торжестве. Скажите, чем помочь?

— Нет, Саидбай, мы не собираемся прыгать выше головы. И заботы наши соответственные, такие, что стыдно взваливать на плечи других. Просто я приехал тебя пригласить. Вчера еще приехал, переночевал у Ташпулата, сам знаешь, отец его умер, надо было заполнить его согласие на наш той, поскольку он самый старший среди сыновей покойного.

— Так Хайбаров года три назад умер...

— Ты не понял, Саидбай,—сказал Ибодулло Махсум.— Такие люди, как покойный Раим, стоили того, чтобы по ним сто лет траур держали. Ты тут в своем городе не знаешь, сколько хороших людей не стало в Галатепе. Недавно пастух Хасан скончался...

— Жаль... Бедный Хасан-ака... Он так и не женился?

— Не женился. Саидбай. Никого он не оставил после себя. У младшего брата шестеро детей, слава богу, они хоть скрасили его последние дни. Скоро и мы уйдем, вот почему я приехал к тебе. Надо почаще бывать в Галатепе, а то молодежь может и не узнать тебя, когда нас не станет.

— Значит, почтенный Хуччи сперва приглашает тех, кто в трауре?

— Те, кто в кишлаке, они уже дали свое согласие на той. Остались двое — ты и Ташпулат. Тетя твоя хорошая была женщина, тебя вот вырастила...

— Я скоро приеду в кишлак, Махсум-ака. Надо справиться годовщину ее смерти. А вы пока скажите почтенному Хуччи, что Саидмурад всегда желал ему добра, пусть начнет и довершит той благополучно. Где жизнь, там и смерти не миновать, нельзя, чтобы доброе дело приостановилось из-за меня.

— Нет, Саидбай, так не годится,—запротестовал



Ибодулло Махсум.— В субботу сам приедешь с Ташпулатом на пиалу чая к почтенному Хуччи.

— Ладно,— согласился Эломонов. Согласился и тут же вспомнил, что обещал жене съездить вместе в Хатирчи, к ее родственникам, но почему-то не испытал особого желания ехать туда.— Ладно, Махсум-ака, непременно приедем. Ждите нас в субботу. Кстати, у самого у вас никаких просьб?

— Лишь бы ты сам был жив да здоров, этого мне достаточно, Саидбай.

— Пожалуйста, Махсум-ака, говорите смелее... Может, вы внукам своим дом строите? Могу помочь со стройматериалами, все по закону, по своей цене...

— Полно, Саидбай, не морочь себе голову такими пустяками,— сказал Ибодулло Махсум.— Мы уже постарели, если нам что и нужно, так только две крепких жерди для носилок, чтобы отправить в последний путь.

— Нет, Махсум-ака, нельзя говорить такое!— возразил Эломонов.— Вы еще долго будете жить. Не дай бог, конечно, но если вдруг заболите, то приезжайте прямоком ко мне, покажу самым лучшим врачам.

— Спасибо, Саидбай, на добром слове. Но и у нас хорошие доктора, все свои, галатепинские, и взятки они не берут.

Эломонов хотел было возразить, мол, и тут, в городе, никто не берет взятки, но не успел — в кабинет шумно ворвался Кулмухаммад.

— Мы уже здесь, Эломонов-ака!— крикнул он с порога.— Можете повелевать, как только душа ваша пожелает!..— вдруг он заметил гостя.— А-а, Махсум-бобо!— воскликнул он радостно, подошел к Ибодулло Махсуму и стал трясти его руку.— Хорошо выглядите, Махсум-бобо.

— Не жалуясь,— улыбнулся Ибодулло Махсум.— Есть в тебе что-то от Нурума Крикуна, часом не племянник?

— Зачем вам племянник Нурума Крикуна, когда перед вами родной его сын!— ответил Кулмухаммад и хлопнул по плечу Ибодулло Махсума.

— Не знаю, как с умом, но с силушкой у тебя все в порядке,— заметил Ибодулло Махсум смеясь.

Эломонову стало стыдно за выходку Кулмухаммада. Столько водителей он видел на своем веку, но такого еще не встречал — ни с кем не церемонится.

— Что вы так опаздываете, Кулмухаммад?— строго спросил он.— На чаевые потянуло?

— Нам чаевые не нужны, Эломонов-ака!— нахмурился Кулмухаммад.—Если человеку по пути, то берем, грех скрывать, но так, нарочно левачить — такого нам не надо.

— Ладно, ладно, оставим этот разговор, но больше не опаздывайте, Кулмухаммад,— смягчился Эломонов.— Мне было неудобно. Соврал диспетчеру, защищая вас.

— Ваша жена,— сказал Кулмухаммад,— наказала вчера заехать за ней рано утром. Я думал, вы знаете.

Эломонову неловко стало перед гостем, он украдкой взглянул на Ибодулло Махсума, но тот смотрел в окно, будто ничего и не слышал.

— Впредь советуйтесь со мной,— опять повысил голос Эломонов.— Машиной распоряжаюсь я, а не жена.

— Договорились,— кивнул Кулмухаммад.—Наше дело маленькое, Эломонов-ака. Сидим себе, крутим баранку, а колеса сами находят дорогу!

Эломонов ничего не сказал. Спрашивать, куда Бинафша-ханум поехала рано утром, было несколько неудобно, шофер еще подумает, что он не совсем доверяет жене. Кулмухаммад, будто угадав его мысли, объяснил:

— Значит, мы на базу поехали, Эломонов-ака. Там ваша жена купила уйму полотенец. Я спрашиваю, зачем вам столько, уж не на портянки ли товарищу Эломонову, а она давай сердиться и называть меня недотепой. Но за службу подарила одно полотенце, мировой класс, озеро на нем изображено, лебеди плавают! В машине оставил, хотите посмотреть, я мигом принесу?..

Эломонов готов был сквозь землю провалиться от стыда.

— Я лучше посмотрю те, которые жена домой увезла,— сказал он с раздражением.

— Они вам должны понравиться, хорошие полотенца, озеро такое, лебеди плавают!..

— Покороче, Кулмухаммад,— перебил его Эломонов.— Вы лучше скажите, как у вас с горючим.

— Полный бак, Эломонов-ака. Мы любим во всем порядок, за что диспетчера нас не любят. Поедем куда-нибудь?

— Пока еще неизвестно. Но будьте поблизости...

— Если вам не срочно, то я Махсума-бобо отвезу на автостанцию.

Эломонов посмотрел на Ибодулло Махсума:

— Надеюсь, мы вместе пообедаем, Махсум-ака?

— Нет, лучше я поеду, Саидбай,— сказал Ибодулло Махсум.

Эломонов вышел провожать гостя. Хотелось сказать ему что-то приятное, но он постеснялся Кулмухаммада, ехидно, как показалось Эломонову, улыбающегося в стороне.

— Ты обязательно приезжай, Саидбай!— наказал Ибодулло Махсум, садясь в машину.

Кулмухаммад завел мотор, машина резко рванула с места и понеслась. Эломонов загрустил. Старый уже Махсум-ака, а из такой дали прнехал, подумая он, все же они меня помнят, считают своим. Поеду, непременно поеду, нельзя допустить, чтобы нить родства оборвалась, ведь я все равно вернусь туда, непременно вернусь... Вдруг он представил себя мертвым. Представил, но почему-то не испугался. И увидел у своего изголовья не жену свою, не сына или дочь, а Ибодулло Махсума, плачущего...

Эломонов вернулся в свой кабинет в подавленном состоянии. Не успел еще сесть, как затрещал телефон. Он поднял трубку и услышал сиплый бас своего свата Остонова:

— Вы про нас совсем забыли, Саидмурад Замонович! Вот я и решил сам позвонить, надеюсь, не помешал? Как ваше самочувствие?

— Спасибо, хорошо,— сказал Эломонов без особого воодушевления.— Есть какие новости из-за границы?

— Есть, конечно!— радостно сообщил Остонов.— Вчера от зятя моего письмо получил. Слава богу, все они живы-здоровы, привет передают. А что новенького у вас?

— Все по-старому. Собираюсь съездить в кишлак, скоро годовщина смерти тети...

— Не забудьте и нам сообщить точную дату, Саидмурад Замонович. Может, нужна будет моя помощь?

— Спасибо, товарищ Остонов, ничего не надо.

— Саидмурад Замонович, дорогой сват,— сказал Остонов, чуть понизив голос,— у нас тут разные слухи ходят... Может, это правда?

— Я не знаю про ваши местные слухи,— кладно-кровно ответил Эломонов.

— Не может быть, чтобы вы не знали... уж от свата-то своего могли бы и не скрывать!..

— Пока ничего определенного. Мы с вами, товарищ Остонов, как говорится, люди мобильные, легки на подъем, раз сочтут нужным...

— Честно говоря, и у меня спрашивали.— Остонов перешел на громкий шепот.— Неделию назад спрашивали. Разумеется, мое мнение мало что решает, но все же... Я прямо так и заявил, что вы к подлецу Кошшаеву никакого отношения не имеете.

— Вот и зря, товарищ Остонов. Уж кто-кто, а я имел к нему самое прямое отношение. Я сам его на работу принимал, надеюсь, вы это понимаете?

— Такой грех есть у каждого из нас, Саидмурад Замонович. Я знаю вас как честного человека.

— Я бы охотно поверил, если бы вы назвали меня простачком, Остонов. После всего того, что произошло, даже я стал ученым, так что не обижайтесь, если позволю не поверить даже своему свату.

— Не скромничайте, Саидмурад Замонович!— засмеялся Остонов. В трубке зазвенело от его смеха.— При чем тут сват? Я, может, и не дотяну до звания соратника, но буду вправе называть себя вашим учеником. Думаю, я не одинок в своем уважении к вам, Саидмурад Замонович, поверьте, у вас много учеников...

— Ладно, товарищ Остонов,— сказал Эломонов, почувствовав внезапное раздражение.— Оставим этот разговор до лучших времен, может, вы зря стараетесь...

Он бросил трубку. Вот уже добрых полгода прошло, как сват не подавал никаких вестей, а сегодня вдруг позвонил сам, неужто он учуял что-то интересное?

Эломонова вновь охватило чувство тревожного ожидания.

Опять зазвонил телефон. Он поднял трубку и услышал вроде бы знакомый голос:

— Позвольте засвидетельствовать почтение, Саидмурад Замонович...

— Некому засвидетельствовать,—сказал Эломонов.— Он вышел в магазин, свежее пиво привезли.

— Товарищ Эломонов, вы же не пьете!..— отчаянно возразил голос.

— Пью, еще как пью!

Бросив трубку, Эломонов усмехнулся — ну, блюдолизы, оживились! Так, значит, есть доля истины в словах этого беса Пулатова? Сердце Эломонова сжалось

от волнения, в висках застучало. Он почувствовал, что ему нельзя оставаться одному, и поспешно нажал кнопку вызова. И стал ждать с нетерпением. Раньше мгновенно появлялась секретарша с ручкой и блокнотом. Однако здесь у него не было ни приемной, ни секретарши, а звонок был установлен в большой комнате напротив, где сидели трое его сотрудников.

Через несколько минут открылась дверь, и на пороге показался Хамракул.

— Слушаю вас, товарищ Эломонов!— ехидно сказал он и застыл в дверном проеме.

— Проходите, Хамракулджан, садитесь.

Когда сотрудник сел, Эломонов понял, что ему нечего сказать, и беспокойно заерзал на месте.

— Расскажите, Хамракулджан, какие у нас новости?— спросил он наконец.

— Новостей нет,— ответил Хамракул.

— Йе-йе!— пришлось удивиться Эломонову.— Почему же, Хамракулджан? Ведь у нас хоть и маленькая, но самостоятельная организация, как это так — никаких новостей?

— Это точно, что организация, но новостей — никаких. Весь номер мы уже сдали в набор, если удосужитесь, подпишите завтра, не позднее полудня.

— Вы бы почаще заходили ко мне, Хамракулджан,— искренне сказал Эломонов.— Поймите, мне тут скучно одному, скоро неделя будет, как мы с вами не виделись. Или вы гнушаетесь моим обществом?

— Ну вы как ребенок, товарищ Эломонов!— досадливо поморщился Хамракул.— С какой стати я буду к вам заходить, если нет никаких новостей!

Эломонов почувствовал тупую боль в груди, хотелось расслабиться, и он откинулся на спинку кресла. Вытер со лба выступивший холодный пот.

— Не смею вас задерживать, Хамракулджан,— тихо промолвил он.— Но только знайте, я не держу на вас зла. Если уж так жаждете занять это кресло, то потерпите, обещаю, скоро вы его получите...

Хамракул притих. Внимательно посмотрел на Эломонова и увидел, как тот изменился в лице, будто постарел на целых десять лет. Он испуганно засуетился.

— Вам нездоровится, Сандмурад-ака. Я воды принесу.

— Не утруждайтесь, Хамракулджан, сейчас придет...

Хамракул торопливо вышел, затем вернулся со стаканом воды.

— Спасибо, Хамракулджан,— сказал Эломонов, сделав маленький глоток.— Уже немного отпустило.

— Простите, Саидмурад-ака, я не думал...

— Пустяки, Хамракулджан,— слабо махнул рукой Эломонов — Ладно, вы идите работайте.

— Вижу, и вам нелегко, Саидмурад-ака,— сказал вдруг Хамракул с сочувствием.

Эломонов ухватился за подлокотники кресла и сел поудобней. Благодарно взглянул на сотрудника, а тот продолжал:

— Вам бы лучше отдохнуть. Мы сами справимся с делами. Езжайте домой, Саидмурад-ака, отдохните, завтра я привезу газету на подпись.

— Дома мне скучно, Хамракулджан,— признался Эломонов.— Жена на работе, дочка на хлопок уехала... Сын за границей работает...

— Если я понадобится, сразу позовите, Саидмурад-ака.

Хамракул вышел. Неплохой, вроде, парень, подумал о нем Эломонов, правда, несколько упрям, но сам он совсем неплохой, и нельзя вменять ему в вину мечту об этом кресле, ведь человек целых пять лет проучился, надеялся — ему даже не снилось, что на это место могут назначить другого.

В душе Эломонова опять затеплилась надежда, которую заронил сосед Пулатов. Чтобы не волноваться, он бросил таблетку под язык. Лекарство подействовало быстро. Напрягшиеся было мышцы вновь расслабились, биение сердца пришло в прежний ритм. Не торопись, брат Эломонов, сказал он себе, не торопись, если дела пойдут в гору, то Хамракула оставишь вместо себя, он лучше тебя справится...

Эломонову стало жаль, что у него нет родного брата или сестры, с кем бы он мог поделиться своими радостями и горестями, ничего не тая, не боясь, что засмеют. Он был единственным в семье сыном. Потом умерли родители, умерли их малочисленные родственники. До недавнего времени была в живых тетя, сестра отца, и вместе с ней — единственный повод, чтобы заезжать в родное Галатепе. Только теперь он понимает, как ему дорога была эта старая женщина, сыновья которой погибли на войне, и как он мало заботился о ней. Действительно, что он сделал для нее, если не считать те три-

четыре платка да несколько отрезов простого ситца, которые возил ей в подарок тайком от жены? Тетя радовалась, словно ей не платок поднесли, а целый тюк китайского шелка. И со слезами принималась благодарить: спасибо, сынок, но ты это зря, незачем было тратиться, ведь я пенсию получаю, много ли старушке надо, достаточно и того, что я вижу тебя целым-невредимым!..

Тетя была скромная женщина, и скромность ее порою смахивала на безвольную покорность. Все плакала от радости, хотя, в сущности, не было никакой радости. А ведь она была родной тетей Эломонова, вместо отца и матери, имела полное право просить, требовать. Думаешь теперь обо всем этом и самому кочется запдакать, видно, стоило не дешевым платком покрыть, а золотом осыпать ее седую голову.

Но Эломонов опоздал — тети уже нет в живых. Скоро годовщина ее смерти. Хорошо, что сегодня Ибодулло Махсум приехал напомнить. Надо ехать. Забот никогда не убавится. То о сыне думаешь, то о дочери, ради них готов и в огонь и в воду, оценят твои старания — хорошо, не оценят — бог с ними, поймут позже, когда самим придется все это испытать...

Эломонов смахнул две слезинки, выступившие на глазах. Ладно, сказал он со вздохом, пусть все будут живы-здоровы...

В это время позвонила Бинафша-ханум. Голос ее показался чрезмерно усталым:

— Вы на базар съездили, Санд-ака, ведь сегодня ваша очередь?

— Нет,— ответил Эломонов,— мне что-то нездоровится, ханум...

— Не врите, Эломонов!

— Я завтра схожу, ханум. Ведь в холодильнике кое-что есть, я вчера смотрел...

— А овощи?— недовольно спросила Бинафша-ханум.— Лентяй вы, Эломонов. Ладно, на базар можете не ходить, только не забудьте о просьбе Сабирджана.

— Не забуду,— пообещал Эломонов.— Кстати, маленькая новость, ханум. Утром я разговаривал с Пулатовым, не знаю, откуда он взял, но он... одним словом, похоже, меня опять будут приглашать...

— Правда?— спросила Бинафша-ханум.— Он так и сказал?

— Но это пока лишь предположение,— ответил Эло-

монов.— Ладно, ханум, позвоните попозже, может, что и выяснится.

— Вы будете у себя?— ласково спросила Бинафша-ханум.

— Да, конечно...

— Если вам нездоровится, может, за книгой пошлете кого-нибудь другого, ну, легкого на подъем?.. Ведь поездка дальняя.

— Нет, я сам съезжу,— ответил Эломонов.— Пока, ханум.

Эломонов отодвинул телефон подальше от себя. Оглядел свой кабинет. На этот раз вид кабинета не вызвал у него грусти. Кабинет как кабинет, подумал он, очень даже неплохой, как раз соответствует данному посту.

Поеду в Галатепе, решил он про себя, поеду, соберу народ, справлю годовщину смерти тети и скажу им, не обессудьте, дорогие, что я оказался вдали от вас, судьба, значит, у меня такая, но я никогда не забывал вас, не забуду и впредь, помогу, чем только можно, хотя от меня теперешнего будет не очень-то много проку... А ведь помогал раньше, вспомнил Эломонов. Когда занимал большой пост. Ни один галатепинец ни разу не упрекнул меня — мол, ты, Саидмурад, сын пастуха Замона, задрал нос, забыл своих земляков. И анекдотов про меня не сочиняли, уж на что галатепинцы мастера придумывать всякие каверзные байки, вон сколько историй гуляет по кишлаку про прокурора Хасанбека, сына Назара Махдума, а у того, считай, и вины-то особой нет. Только и всего, что он, недавний выпускник юридического, свеженький еще следователь, выпил лишнего на чьем-то пиршестве, а когда был избит родным дядей, пообещал: ну, вы смотрите, галатепинцы-праведники, всех выведу на чистую воду, всех пересажаю. Хасанбек весь в отца, недаром ведь говорят: выйдет богатырь из цыган, так он первым делом разрушит свою же кибитку.

Слава богу, отец у Эломонова был простым человеком, никогда не зазнавался, никому слова грубого не сказал, да и он сам, Саидбай Эломонов, никогда не кичился, даже тогда, когда занимал свой большой пост. Был в Галатепе над речкой плохонький мост, каждую весну уносило его селем, люди отстраивали его заново, до следующей весны, пока не накроет его первый же сель. Эломонов помог своим землякам построить другой,



огромный, на бетонных сваях, такой, что выдержит любой потоп. Когда здание старой школы начало оседать, он помог и со строительством нового трехэтажного здания. Эломонов помнит, как Кошшаев, подлец, выражал свои сомнения по поводу трехэтажной школы: уж не скажут ли, Саидмурад Замонович, что вы занимаетесь покровительством, пользуясь данной вам властью! И говорил об этом не раз и не два, будто его так сильно заботила репутация начальника. Потом он понял, на что намекал тогда заместитель — будь, дескать, поосторожней со мной, Эломонов, и мы знаем твои грешки! Когда пришло время, Кошшаев рассказал о трехэтажной школе на суде. И Эломонов подтвердил его слова, признал, что нет здесь никакой клеветы. Кошшаев прав, сказал он, средства, предназначенные для Шоркудука, я действительно отдал галатепинцам, в одном только Кошшаев не прав, ни копейки их этих денег я не присвоил, и мне ничуть не стыдно, что помог своим землякам, потому что в Галатепе живут семь тысяч человек, вдвое больше, чем в Шоркудуке, школа была им нужнее, да, я люблю свое Галатепе, свой отчий край. О нет, граждане, закричал Кошшаев, никакой это не патриотизм, это, если хотите, настоящий эмиризм, раньше так делали бухарские эмиры — будучи из племени кенагас, они не жалели средств на то, чтобы возвыситься над другими кенагасцев! Какой из меня эмир, горько рассмеялся Эломонов. Да, признаю, заступался я за своих земляков, пусть это будет моей виной, но ты, Кошшаев, не принес пользы даже родному своему кишлаку, ты обирал людей из Хандалака, обирал как только мог, обирал не только живых, но и мертвых, и на те деньги, которые ты «съел» и даже не поперхнулся, можно было благоустроить десять таких кишлаков, как мое Галатепе, но ты, Кошшаев, оказался чудовищем, и ничего у тебя на родине не зеленело, не цвело, все поглощала твоя утроба. А моя вина, Кошшаев, в том, что стал куклой в твоих руках, вот за это меня следует наказать! Вам легко, гражданин Эломонов, усмехнулся Кошшаев, ваша вина не подходит ни под какую статью! Но подумайте, не вы ли, гражданин Эломонов, сделали меня таким!

Судья призвал подсудимого к порядку, но Кошшаев уже ничего не слышал. Эломонов, крикнул он, ты сейчас спасаешь собственную шкуру и готов смешать меня с дерьмом, однако я тебя пожалею, не скажу про те гре-

хи, которые обеспечили бы тебе вышку!.. Это было сказано с такой уверенностью, что Эломонов растерялся, не в силах вымолвить ни слова. Тогда прокурор спросил у Кошшаева: что вы этим хотите сказать, подсудимый? Ничего особенного, нагло усмехнулся Кошшаев, вы уже обладаете достаточным количеством улик, чтобы посадить меня за решетку, гражданин прокурор, все остальное — наша с Эломоновым тайна, о которой никто не должен знать. Прокурор повторил свой вопрос. Но Кошшаев больше ни слова не сказал, продолжал усмехаться, глядя Эломонову в глаза. Поднялся легкий ропот в зале. Эломонов не выдержал и сам обратился к Кошшаеву: может, ты все-таки скажешь, что это за грехи, и мы разделим вину? Кошшаев не согласился: нет, ты это узнаешь потом, пока же запомни одно — сейчас я спасаю тебя!

Потом, в перерыве между судебными заседаниями, Эломонов добился встречи с Кошшаевым. Чуть ли не со слезами умолял его быть откровенным. А вы ни в чем не виноваты, Эломонов, сказал Кошшаев с улыбкой, я просто пытался оклеветать вас, буду и впредь это делать, придется вам потерпеть. А какую, спросил Эломонов, вы преследуете при этом цель? Цели никакой, небрежно ответил Кошшаев, такая вот душевная потребность — оклеветать вас. Я знаю, подлости вашей нет границ, сказал Эломонов, но подумайте, как вы сумеете убедить суд, ведь нужны доказательства? Вы очень наивны, засмеялся Кошшаев, я и не думаю ничего доказывать, я уже сделал свое дело, теперь вы должны доказывать свою невиновность, попробуйте, может, вам это и удастся!

Слава богу, суд оставил без внимания намеки Кошшаева. Но нашлись люди, которые с тех пор стали косо поглядывать на Эломонова. Кошшаев действительно добился своего — сумел-таки очернить Эломонова, бросить тень на его репутацию.

Только один Эломонов знает, как страдал он в те дни. К счастью, тогда позвонил ему Сабирджан из своей далекой восточной страны. До сих пор остается гадать, откуда он узнал про отцовские неприятности, но сын позвонил и поддержал Эломонова: держитесь, отец, все это преходяще, я знаю — вы честный человек. Эти-то слова и успокоили Эломонова. Благодарный сыну, он чуть не расплакался. Когда ты вернешься, Сабир, сказал он, мне трудно без тебя, было бы лучше, если бы

ты хоть эти дни был со мною рядом, я очень одинок, приезжай! Непременно приеду, обещал сын, ваш внук Алик все дедушку требует, да и жена соскучилась по вас, ей уже надоели все эти пустыни и газопроводы, даст бог, скоро увидимся, а вы мужайтесь, отец, не поддавайтесь грустным мыслям, не подавайте сгоряча какое-нибудь заявление, вы еще очень и очень пригодитесь нашему Оазису!..

Вот тогда Эломонов и понял, что Сабирджан уже не тот увлекающийся юнец, которого он так любил опекать и оберегать от жизненных невзгод. Это был мужчина, самостоятельный и довольно проницательный, иначе бы он не догадался, что отец собирается подать в отставку. Эломонов написал ему подробное письмо, объяснил свое положение, еще раз попросил поскорее приехать.

Но... не приехал. Потом написал матери, почему он не смог приехать: то ли контракт не кончился, то ли еще какая-то причина... А месяца два назад прислал сын еще одно письмо, опять на имя матери, попросил выслать старинную книгу бог весть какого века—для научной работы. Бинафша-ханум так и объяснила мужу: науку свою делает там, за границей, потом придет и сразу защитит диссертацию. Теперь у Эломонова новая забота — найти ту старинную книгу. Долго расспрашивал про нее, наконец ему сказали, где следует искать ту книгу, но это очень далеко, к тому же называли баснословную сумму, в которую ее оценивают. Бог с ней, с суммой, деньги всегда можно найти. Эломонов не знает старой письменности, вот и опасается, как бы не всучили ему совсем не то. Сперва надо уточнить, что именно предлагают. Иначе не будет жизни от Бинафши-ханум.

Эломонову по душе, что Сабирджан наконец-то решил всерьез заняться наукой. Теперь можно не беспокоиться за судьбу сына. А вот раньше были причины для такого беспокойства. Дело в том, что Сабирджан, вполне сносно учившийся на востоковеда, неожиданно заразился живописью. Эломонов сперва отнесся к занятиям сына довольно снисходительно. Ладно, думал он, ничего плохого в этом увлечении нет. Сам он не разбирался в тонкостях живописи, но рисунки Сабирджана нравились ему точностью изображаемого. Стены комнаты сына были увешаны бесчисленными портретами его преподавателей и сокурсниц... Однажды Сабирджан написал портрет Шамси Тураева, приехавшего в гости из

Бухары. Увидев свое изображение, Тураев был удивлен. Да, товарищ Эломонов, есть у вашего наследника несомненный талант, воскликнул он вполне искренне, и этому таланту надо помогать расти! Эломонов хорошо знал привычку своего приятеля всегда и все преувеличивать, поэтому на восторженный отзыв лишь слегка махнул рукой и сказал: по мне, лучше бы совершенствовал свой талант востоковеда, товарищ Тураев.

Вскоре Сабирджан закончил большой портрет Бинафши-ханум. Неизвестно, как там пронюхали, но буквально через неделю директор музея литературы пришел просить эту его работу. Эломонов понял, что дело принимает серьезный оборот, и решил с сыном объясниться. Знаешь, сказал он Сабирджану, я занимаю более чем ответственный пост, и если мы вручим портрет матери музею, могут сказать, что это сделано не без нажима с моей стороны, подумай, сын, может, стоит немного подождать? При чем тут ваш пост, засмеялся Сабирджан, при чем тут ваш престиж, отец? Эломонова так и подмывало сказать — а что у тебя есть, кроме отцовского престижа, но он промолчал, побоялся обидеть сына. Выразил он тогда сомнения и директору музея, но и тот не захотел его слушать. Вы зря сомневаетесь, Саидмурад Замонович, возразил директор, народ очень даже правильно нас поймет, ведь Бинафша-ханум, наряду с тем, что является супругой такой выдающейся личности, как вы, одновременно считается и самой известной поэтессой нашего благословенного Оазиса, наши певцы поют ее песни, наши театры ставят ее пьесы, и совсем недурно будет, если мы ее портрет выставим на самом видном месте в нашем музее, тогда все поклонники ее музыки смогут лицезреть любимую поэтессу, а женщины всего Оазиса будут стремиться повторить ее судьбу!

Словом, музей забрал портрет за щедрое вознаграждение. По случаю этого события Сабирджан созвал друзей и устроил маленький банкет. Эломонов был несколько удивлен, увидев среди ровесников сына и своего заместителя Қошшаева:

— Смотрите-ка, Худоёрджан, а мы и не знали, что вы человек искусства!

— Впрямь будете знать,— пошутил Қошшаев.— Нам, разумеется, далеко еще до людей искусства, но все же я имею к нему самое прямое отношение, ведь моя дочь тоже рисует. Это она привела меня сюда. Зовут ее Шо-

дия,— и он показал на девушку в зеленых джинсах.

— Вай, Худоёрджан, вы скрывали от нас такую красавицу!— воскликнула Бинафша-ханум, присутствовавшая при этом разговоре.— Какой вы, однако, нехороший! Так, значит, мы уже не друзья?

— Ну почему же, уважаемая Бинафша-ханум,— сказал Кошшаев.— Для меня быть вашим другом — большая честь.

— Ну признайтесь, Худоёрджан, почему вы скрывали ее от нас?— не унималась Бинафша-ханум.— Сколько раз мы были у вас в гостях, а дочку вашу ни разу не видели!

— Вы ее просто не заставляли дома, уважаемая Бинафша-ханум,— сказал Кошшаев.— Она училась в Москве, недавно вот окончила институт и вернулась. Теперь все зависит от вас...

Бинафша-ханум поняла его намек, хотела было сказать нечто приятное, но, взглянув в сторону мужа, увидела рядом с ним дочь Остонова — свою будущую невестку, и, желая выйти из неловкого положения, громко рассмеялась и переменила тему:

— Ой, Худоёрджан, ведь сын меня продал! Какому лысому человеку!

Кошшаев, чувствовалось, был осведомлен об истории ее портрета, он улыбнулся и спросил:

— А дорого хоть он вас продал?

— Очень дорого, Худоёрджан!— радостно сообщила Бинафша-ханум.— За семьсот рублей!

— Скряги! Так мало дали?!— скривился презрительно Кошшаев.

— Почему же? Разве плохо, когда за изображение столько платят?

— Ваше изображение бесценно, уважаемая Бинафша-ханум, а вы сами... Вы сами — целое состояние, сокровище, и счастлив товарищ Эломонов, который заполучил такое сокровище. Что вы на это скажете, Саидмурад Замонович, ведь я правду говорю?

— Искусство слова — не наш удел,— смутился Эломонов.— Помню, в школе по литературе одни «тройки» получал, вы лучше спросите меня про хлопок и кукурузу. Вот тут я буду красноречив!

— Не скромничайте, товарищ Эломонов. Сами подумайте, разве может искусство продвигаться вперед, если не будет черпать силы в реальной жизни, из этого же хлопка и кукурузы?

— Так-то оно так, но незнание искусства — большой для нас минус.

— Полно, Саидмурад Замонович, вы просто недооцениваете себя. Кто у нас руководит развитием нашего Оазиса? Вы ведь?..

— Вообще-то вы правы, но тут...

— Не возражайте, Саидмурад Замонович, я знаю, что прав. Так что, искусство наше находится в ваших руках, от вас зависит — тормозить сей механизм или дать ему зеленую дорогу.

— Вы несколько утрируете, товарищ Кошшаев, у нас есть отличные работники, которые в тысячу раз лучше меня разбираются в искусстве, я им полностью доверяю, во всяком случае, не мешаю работать...

— Ну что я вам говорил! А вы еще возражаете, Саидмурад Замонович! Раз не мешаете, значит, уже способствуете развитию! Выходит, я прав?

Эломонову надоели мудреные сентенции Кошшаева, он не стал дальше спорить, а лишь кивнул, как бы соглашаясь. Кошшаев на минуту оставил его, подошел к группе молодых художников, выпил с ними, затем вернулся к Эломонову, держа на блюдечке две рюмки коньяка.

— Пропустим по глоточку, Саидмурад Замонович?

— Мне нельзя, — отказался Эломонов. — Завтра нужно рано вставать. Поеду в Коксу, там совхоз «Прогресс» выполнил план по бахчевым.

— Значит, поздравлять едете?

— Какие могут быть поздравления? — не понял Эломонов. — На дворе только апрель, а у них уже дыни и арбузы поспели. Чудеса, да и только!

Кошшаев поставил блюдечко на столик:

— Думаете, приписки? — спросил он.

— А что же еще тут может быть?

— Коксу... Совхоз «Прогресс»... Случайно, там директором не товарищ Усманов?

— Он самый. Знаете, Худоёрджан, Усманов вначале был мне очень симпатичен, молодой, энергичный, хорошо говорит...

— Не сердитесь, Саидмурад Замонович, но он мне и по сей день симпатичен. Можете не ездить в «Прогресс». Усманов честно выполнил свой план. Помните, к нам в столовую еще в январе привезли свежие арбузы?

— Мне говорили, что они из хозяйства Тулкунова?

— От Тулкунова — тоже. Но добрую половину по-

ставил товарищ Усманов. Вы просто упустили из виду, что он построил у себя тепличное хозяйство площадью в целых пять гектаров.

— А я и не знал, мне об этом почему-то не докладывали...

— Ничего удивительного, товарищ Эломонов. Оазис наш большой, не за всеми уследишь. Так что в вашей поездке нет нужды.

— Тогда мы пошлем туда журналистов,— предложил Эломонов.— Пусть расскажут о прекрасной инициативе.

— Не стоит, Саидмурад Замонович. Не стоит баловать людей. Нет ничего выдающегося в том, что совхоз «Прогресс» среди зимы отправляет горожанам свежие дыни и арбузы. Выделять их ни к чему, такое у нас должно стать нормой. Будет лучше, если вы как-нибудь при случае устно отметите деловую хватку Усманова, тогда он будет еще энергичнее работать.

— Вы правы, Худоёрджан.

— Вот видите, Саидмурад Замонович,— улыбнулся Кошшаев,— я вас избавил от лишних хлопот с этой поездкой. Разумеется, Усманов будет меня проклинать до самого судебного дня, что я лишил его такой чести, но, может, и отпустит он мне грех, если мы сейчас выпьем по рюмочке за здоровье таких предприимчивых хозяйственников, как товарищ Усманов!

И они выпили тогда за здоровье Усманова. Выпили, закусили и надолго забыли об этом, до тех самых пор, пока Кошшаева не приговорили к пятнадцати годам и пока Эломонов, уже разжалованный, не узнал, что в Коксу не было никакого тепличного хозяйства, если не считать маленького парника площадью в двадцать квадратных метров на опытном участке местной школы, и что Кошшаев не был ни кумом, ни сватом Усманову, а лишь получил некое «вознаграждение» за срыв «опасной поездки Эломонова».

Но тогда до всего этого было далеко. Был мягкий апрельский вечер с открытыми настежь окнами, тихо и приятно звучала музыка, молодежь шутила, смеялась, и казалось, не было жизни конца. А Худоёр Кошшаев, высокий, стройный, с благородной сединой в висках, вкрадчиво говорил:

— У вашего сына точный глаз, Саидмурад Замонович. Я вот думаю, почему бы ему не заняться всерьез и скульптурой. Сейчас, сами понимаете, большой спрос на памятники...

— Я так не думаю, Худоёрджан,— возражал Эломонов.— Незачем разрываться на части, достаточно и того, что он занимается одним видом искусства. Ему еще надо стать и хорошим востоковедом.

— Вы — отец, вам решать... Кстати, мне необходим ваш совет, Саидмурад Замонович,— Кошшаев чуть понизил голос.— Приходили сватать нашу дочь, но мы с женой без вас ничего не можем предпринять.

— Что я могу посоветовать, Худоёрджан,— улыбнулся Эломонов.— Найдите ей ровню и выдайте замуж. Нечего тут раздумывать, сами понимаете, это такой товар, который не должен залеживаться.

— В том-то и дело, что нужна ровня,— пробормотал Кошшаев.— Я вот, Саидмурад Замонович, гадаю, что это за девушка стоит рядом с Сабирджаном?.. Из чьей она семьи?

Эломонов почувствовал в голосе своего заместителя явную неприязнь, и это ему не совсем понравилось.

— Дочь Остонова,— сказал он.— Зовут ее Ойджамал, очень умная и порядочная девушка.

— Какой еще Остонов?— спросил Кошшаев, недоумевая.— Уж не тот ли горилла из Кассана?

— Это вы зря, Худоёрджан. Оскорбляете ответственного товарища.

— Извините, Саидмурад Замонович... Но, согласитесь, ведь он вылитый мавр, у него даже на лопатках шерсть растет, я сам видел, в Ялте вместе отдыхали, женщины на пляже шарахались от него!..

— Ну вы даете, Худоёрджан!— засмеялся Эломонов.— Шарахались, но потом подходили, так ведь?

— Подходили,— признался Кошшаев.— Но это волосатое чудище их даже близко не подпускало.

— Вот видите, и это говорит в пользу товарища Остонова. Значит, он порядочный человек, хороший семьянин. Что до растительности на его теле, так это сушья ерунда, это даже украшает мужчину, если хотите знать. Вы лучше посмотрите на его дочь, Худоёрджан, на Ойджамал посмотрите, ей так подходит это имя, ведь она действительно луноликая!

— Глаза у нее больно уж выпученные.

— Ну это вы уж совсем напрасно, Худоёрджан, у девушки большие прекрасные глаза, красотой она в своих предков, ведь в ее жилах течет и арабская кровь. Хотим сосватать Ойджамал за нашего сына, если, разумеется, товарищ Остонов даст согласие...



— Согласится, куда денется!..— недовольно буркнул Кошшаев.— Но подумайте, Саидмурад Замонович, способен ли товарищ Остонов оценить по достоинству такого свата, как вы? Ведь это на всю жизнь, Саидмурад Замонович, такое родство-то!.. Простите меня за откровенность, но мы с женой тоже хотели бы видеть Сабирджана своим сыном, только и ждали, пока Шодия вернется из Москвы...

— Какая оказия!— сказал Эломонов, как бы сожалея.— Что же теперь делать, Худоёрджан? Честно говоря, мы уже обо всем договорились с товарищем Остоновым. Я ценю вас и вашу семью, но что теперь скажет Остонов, если я нарушу наш уговор, который, как вы знаете, дороже отца?

— Так-таки и нельзя нарушить?

— Нельзя, Худоёрджан, никак нельзя. Я сожалею, но уже не в силах что-либо изменить... Надеюсь, к вам еще придут более достойные сваты, дочь у вас хорошая, видная...

Эломонов говорил неправду. Не было никакого уговора с Остоновым. Просто он знал, что тот не прочь с ним породниться. Что касается дочери Кошшаева, то он опять-таки кривил душой — девушка ему ничуть не понравилась — показалась развязной. И еще он заметил, что Бинафша-ханум, напротив, — выделяет Шодию, и в душе у него зародилось подозрение, а не обработал ли Кошшаев уже его жену. И оказался прав — той же ночью, когда гости ушли, Бинафша-ханум заговорила о Шодие:

— Как вам дочь Худоёра, Саид-ака?— спросила она.— Мне девушка понравилась — высокая, статная, нам бы такую невестку!

— Ей-богу, смешная вы, ханум,— проворчал Эломонов.— Зачем вам ее высокий рост?

— И лицом она хороша, разве не заметили? Она же красавица!

— И еще в этих брючках, обтянутая так, что...

— Ну и консерватор вы, Саид-ака! Что же в этом плохого? Значит, есть что обтягивать.

Бинафша-ханум весело рассмеялась. Эломонов покраснел от смущения, затем, чуть подумав, нашел другой довод:

— И она, оказывается, рисует. Два художника в одной семье... не многовато ли!

— Стоит ей родить двух детей, сразу забудет про живопись.

— Не обманывайтесь, ханум, ведь вы сами не бросили писать стихи...

— Мой пример не столь типичен,— с достоинством ответила Бинафша-ханум.— И мать Шодии хорошая женщина, директором ювелирного работает, весь город ее знает. Месяц назад мы с ней коснулись этой темы... Она искренне надеется, что мы с ними породнимся. Думаю, они будут в справедливой обиде, если мы откажем, ведь вы с Кошшаевым работаете дверь в дверь, видите чуть ли не каждую минуту...

— Я не числюсь в должниках у Кошшаева,— сказал Эломонов.— Ничем ему не обязан.

— Но, Саид-ака, все же...

— Никаких «но»,— перебил ее Эломонов.— Я не собираюсь родниться с Кошшаевым, мне его дочь вовсе не нравится. Думаю, и сыну она не понравилась

— У вас есть другой вариант?

— Мой вариант вы прекрасно знаете, ханум, незачем притворяться.

Эломонову вдруг захотелось показать жене, насколько он тверд в своем решении. И он тут же, лежа в постели, взял телефонный аппарат с тумбочки, поставил его себе на живот и позвонил Остонову. Пожалуйста Шеймардан Аббасович, сказал он решительно, как бы давая указание, ускорьте свадьбу вашей дочери. Остонов спросонья ничего не понял, затем, когда до него дошло, радостно откликнулся: э-э, Саидмурал Замонович, за нами дело не станет, бараны уже откормлены, хоть сейчас под нож, приданое тоже готово... Так что, приглашайте на пиршество весь Оазис! Боюсь, вы все испортите своим бахвальством, одернул его Эломонов, оставьте эти байские замашки — весь Оазис! Свадьбу будем делать по средствам, с чувством меры, в каком-нибудь кафе, и чтобы все было скромно — человек сорок-пятьдесят самых близких... При этих словах Остонов совсем упал духом. Как же так, Саидмурал Замонович, запротестовал он, мы же дочь свою выдаем лишь один раз, сколько лет теляли, мечтали о ее свадьбе, и вдруг — пятьдесят человек! Мечтайте, но не фантазируйте, Остонов, строго сказал Эломонов, мы с вами ответственные работники, а не любители роскошных свадеб, и нам безразлично, какой пример мы подаем людям.

После этого Бинафша-ханум дней десять не разго-

варивала с мужем. Тем временем свадебные приготовления шли полным ходом, правда, без ее участия. И тут Бинафша-ханум поняла, что молчаньем делу не поможешь, и стала она всячески ублажать мужа, лишь бы уговорить его изменить решение. Но Эломонов твердо стоял на своем. Свадьба была сыграна в майские праздники. Первый раз за все время супружества Эломонов поступил так — самостоятельно провернул такое большое дело, не посоветовавшись с женой, и, как выяснилось впоследствии, поступил правильно.

Через год у них родился внук. К тому времени Сабирджан окончил университет, однако что-то не спешил устраиваться на работу. Изредка рисовал, все же остальное время был занят маленьким сыном.

Это обстоятельство сильно огорчило Эломонова. Конечно, это прекрасно, что Сабирджан оказался заботливым семьянином, но при этом Эломонов заметил, что в поступках сына проглядывало нечто ребяческое, незрелое. Даже на базар за покупками ему не хотелось идти, посылал или жену, или сестру, а сам сидел и дурачился с сынишкой, то корову бодливую изображает, то козу шkodливую... И Эломонов не выдержал, позвал его как-то вечером в кабинет и спросил: что дальше-то будем делать, сын, когда же ты, наконец, станешь сам зарабатывать свой хлеб, ведь ты мужчина, как-никак? Я не подозревал, что мы вам в тягость, обиделся Сабирджан, ладно, помогите с квартирой, будем жить отдельно. Ты глуп, сын, сказал ему Эломонов, дети никогда не будут в тягость родителям, живите здесь, места всем хватит, я лишь хочу, чтобы ты занялся своим делом, не зря же целых пять лет проучился! Я решил всерьез заняться живописью, отец, ответил Сабирджан, думаю, это и есть мое настоящее призвание, вы только согласитесь, отец, и я первым делом напишу ваш портрет...

Эломонов задумался. Сам он не мог решить этот вопрос. Нужен был совет дельного человека. И он назначил прием некоему Рафаилу Джабраилову, который слыл самым опытным искусствоведом во всем Оазисе. Когда искусствовед пришел к нему, Эломонов спросил:

— Вы, товарищ Джабраил, знаете художника по имени Сабирджан Эломонов?

— Знаю,— ответил тот.

— И как, хороший он художник?

— Разве ваш сын может быть плохим художником,

товарищ Эломонов!— воскликнул Джабраилов.— Думаю, со временем до академика дотянет, техника у него совсем недурная.

— Меня не академик, а мой сын интересуется, товарищ Джабраилов. Вы мне честно скажите, настоящий он художник или нет?

— Ваш сын, товарищ Эломонов...— замялся Джабраилов.— Думаю, ваш сын...

— Да, да, товарищ Джабраилов, именно так — мой сын,— рассердился Эломонов.— Мой сын, и потому я смею вас спросить — сможет ли он стать настоящим художником? От ваших слов зависит вся его дальнейшая судьба, товарищ Джабраилов. Подумайте и скажите правду, буду вам очень признателен.

— Пожалуй, живописью ему не стоит заниматься,— не без усилия произнес Джабраилов.— Не обижайтесь, товарищ Эломонов, но ваш сын просто дилетант, я не вижу его души. Будет лучше, если он...

Эломонов поблагодарил и отпустил Джабраилова, слегка озадаченного столь странным приемом.

Через месяц после этого разговора Сабирджан со своей маленькой семьей был отправлен в одну из восточных стран, в ту самую, чей язык он изучал в течение пяти лет учебы. Судя по письмам невестки, Сабирджан окончательно забросил живопись и решил заняться наукой. Теперь вот просит выслать ему старинную книгу, которую надлежит Эломонову достать хоть из-под земли...

Целый час просидел он в томительном ожидании. Телефон на столе время от времени звонил, но Эломонов не брал трубку, боялся — вдруг не та окажется весть... Так и сидел, пригвожденный к креслу, пока не вошел Хамракул.

— Почему вы трубку не поднимаете?— удивленно сказал он.— Начальник вызывает.

— Какой начальник?— спокойно спросил Эломонов.

— Наш начальник, какой же еще,— ответил Хамракул, не удержавшись от смеха.— Вообще-то, товарищ Эломонов, зря вас спустили к нам, здесь явно не те масштабы...

— Вы правы, Хамракулджан,— засмеялся и Эломонов,— мне тут нечего делать. Думаю, скоро уйду от вас...

— Оказывается, вас разыскивает товарищ Избосаров,— таинственно сообщил Хамракул.

— Кто же это?— спросил Эломонов деланно равнодушно.— Вы случайно не знаете его?

— Случайно знаю. Следовательно! То ли Изкуаров, то ли Избосаров!

— Эх-хо!— воскликнул Эломонов.— Следовательно, да еще Изкуаров! Надо же, Хамракулджан, какое чудесное совпадение!<sup>1</sup>

— Разве вы не знали?

— Имя его знал, а вот фамилию забыл,— соврал Эломонов.— Поверьте, Хамракулджан.

Хамракул не поверил. Они с минуту молча разглядывали друг друга.

— Оставим Избосарова, Хамракулджан,— начал Эломонов.— Я вот серьезно подумал и решил, что я тут — лишний. Плохой из меня газетчик, вернее, никакой не газетчик. Говорят же, даже воробья, и то должен резать мясник. Поговорка, может, и не совсем удачная, но, надеюсь, вы меня поняли...

— И куда же вы решили уйти?

— Пока не знаю,— ответил Эломонов.— Но я твердо решил уйти. Стыдно, что сижу тут этаким пугалом огородным.

— Правильно решили, Саидмурад-ака. Я давно хотел вам сказать об этом.

— Но не сказали же? Испугались?

— Нет, постеснялся, потому что...

— Потому что сами хотите занять мое место?

Хамракул не ответил, отвел глаза.

— Смелее,— подбодрил его Эломонов.— Все сказанное тут останется между нами.

— Ну как вам сказать... Ведь я этому учился...

— Молодец!— сказал Эломонов.

Хамракул не понял, что это может значить — одобрение или упрек. Он вымученно улыбнулся и проговорил:

— Не считите за наглость, Саидмурад-ака...

— Вижу, вы просто трус,— сказал Эломонов.— Хорошо держались, а под конец все же струсили. Я в вас разочаровался, Хамракулджан, вам не следовало идти на попятную.

— Ведь мы маленькие люди, Саидмурад-ака, какой с нас спрос...

— Вот это-то и плохо, Хамракулджан, очень плохо,

---

<sup>1</sup> Изкуар — сыщик, следопыт; Избосар — буквально: идущий следом.

я этого больше всего и боялся,— сказал Эломонов.— Вы мне уже неинтересны. Но не бойтесь, уговор есть уговор, свое место я оставлю именно вам. К тому же меня следователь разыскивает,— он кивнул на зазвонивший телефон.— Вам ужасно повезло, товарищ Каршиев...

Хамракул был в явном замешательстве. Когда Эломонов поднял трубку, он отвернулся, не желая якобы подслушивать чужой разговор.

— Слушаю,— сказал Эломонов.— Товарищ... Изкуаров?... Извините... Так и скажите — Избосаров... Очень уж схожие фамилии, немудрено и спутать... Я не нарочно, товарищ Избосаров... Да, да, я вас помню, только вот фамилию вашу подзабыл...— Эломонов выслушал собеседника и улыбнулся.— Вот именно, я на этот счет был совершенно спокоен, хотя вы...— он посмотрел на Хамракула.— У меня тут сидит еще один такой скептик, тоже не хочет ни во что верить... Да он еще молод, примерно вашего возраста, надеюсь, у него еще все впереди. Нет, вы попроще говорите, товарищ Избосаров.— Лицо Эломонова приняло серьезное выражение.— Я сам знаю свою вину. Суд тут ни при чем... Дело не в приговоре, товарищ Избосаров... Не надо, товарищ Избосаров, вы слишком сладкоречивы, а это вовсе не к лицу следователю... Это ваш долг, товарищ Избосаров, и вы правильно поступили... У меня прекрасная квартира, но это далеко не каменный дом стоимостью в сто тысяч. Имеем машину, она совсем еще новая, потому что никто на ней не ездит... Жена зарабатывает двести рублей в месяц плюс кое-какие гонорары, дочь получает стипендию, то ли пятьдесят, то ли шестьдесят, я сам, когда занимал пост, получал вдвое больше, чем они обе. Подсчетам поддается, товарищ Избосаров? Даже излишки будут? Нет, товарищ следователь, вы упустили из виду те две тысячи, что ушли на ремонт квартиры, помогали сыну с невесткой, ну и разные подарки... Ведь меня раньше часто приглашали в гости, не идти же с пустыми руками!.. Я очень рад, что внесена ясность, товарищ Избосаров... Благодарю вас за звонок. Заходите как-нибудь в гости, уж теперь-то я могу вас пригласить на ппалу чая... Желаю вам здоровья и удачи...

Закончив разговор, Эломонов помассировал себе грудь, словно силач после долгой борьбы, затем повернулся к Хамракулу:

— Избосаров хороший парень, у него мертвая хватка.

— Допрос уже кончился?— спросил Хамракул.

— Это не допрос, Хамракулджан,— ответил Эломонов.— Допросы давно кончились. Я и говорю, этот Избосаров довольно цепкий парень, но не успел еще избавиться от юношеской непосредственности.

— Наверно, еще не научился брать,— предположил Хамракул.

— Не будьте таким циником, Каршиев,— строго заметил Эломонов.— У нас много честных юристов. Я лишь сказал, что Избосаров показался мне несколько наивным. Он все допытывался, каковы источники того маленького состояния, которое я нажил за многие годы работы.

— Крепкий орешек,— улыбнулся Хамракул.— И как же вы от него отделались?

— Вы зря смеетесь, Хамракулджан. Если бы и вы покупали вещи за их настоящую стоимость, то и вашей зарплаты хватало бы на многое. А Избосаров не знает всего этого, мало у человека жизненного опыта.

— Да-а, престиж — это уже состояние,— задумчиво протянул Хамракул.

— Вижу, вы все поняли. Так-то, Хамракулджан, учитесь, пока я жив. Сегодня у меня хорошее настроение. Даже жену свою слегка пожурил. Вы жену свою ругаете?

— Да бывает,— сказал Хамракул.— Вообще-то, мы живем очень дружно.

— Счастливый человек. Однако стоит вам занять мало-мальски значительный пост, и вы уже не сможете пререкаться с женой.

— Не понял,— пробормотал Хамракул.— Неужто это так обязательно — ругаться с женой?

— Конечно, не обязательно, но иногда ведь так хочется возразить,— улыбнулся Эломонов.— Ну что, согласны вы на пост редактора? Могу рекомендовать!

Хамракул задумался на минуту.

— Я журфак кончал, Саидмурад Замонович... Думаю, редактором быть смогу...

— Это другой разговор,— сказал Эломонов.— Теперь мне можно спокойно уходить.

— Вы, Саидмурад Замонович, человек обиженный, хоть и виду не подаете,— сказал Хамракул, и вправду вдруг осмелел.— Если опять вернетесь к большой деятельности, сможете ли... без этой злости?

— Не бойтесь, Хамракулджан, я никому не буду

мстить. Ладно, теперь сходите в типографию, узнайте, как идут дела. Надеюсь, вы не возражаете, если и этот номер подпишу я?

Хамракул вышел из кабинета несколько ошарашенный. Эломонову даже стало его жаль, хотя, если признаться, жила в нем глубоко затаенная обида на парня за вечные его усмешки. Уж ты-то можешь быть и посмелей, продолжил мысленный с ним разговор Эломонов, тебе легче, а вот каково мне при теперешнем-то положении, с кем я могу еще спорить, кроме как с самим собой? Ты умен, Хамракул, ты опасаясь, как бы я не обозлился вконец. Но что же мне теперь делать — вечно кланяться всем в ноги? А вдруг мне еще повезет и вновь настанет время, когда станут кланяться мне? Разве такое исключено? Ведь ты, Хамракул, первый сломался, как только я сообщил о своем переходе на другую работу? Даже не спросил — куда? А ты еще не успел стать стремянным, Хамракул. И вообще, нужно ли это тебе, честному, прямому парню? У меня были такие стремянные, что могли совратить и самого бога! Помню, поехал я однажды в далекий горный кишлак, название которого оказалось несколько странным — Кампир-улди.<sup>1</sup> Вот и пошутил я тогда неосторожно — мол, в таком кишлаке, должно быть, страшновато пожилым женщинам. Через год узнал, что Кампир-улди успели переименовать в Замонобод. Я не стал спрашивать причину, она и так была ясна, но мне долго объясняли: Саидмурад Замонович, выполняя ваши мудрые пожелания, мы позаботились о том, чтобы наши старушки вовсе не умирали, а всласть пользовались всеми благами нашего светлого времени. А о том, что это светлое время означало имя моего покойного отца, не было сказано ни слова! Был еще случай — когда выехал я на нивы, увидел богатый хлеб и не смог сдержать радости: да возвысится вашему хирману, сказал я, добрый у вас нынче урожай, хлеб — всему голова, ничто, даже картошка, не заменит его. И мои стремянные позаботились о том, чтобы через неделю я мог увидеть над тем же током огромное алое полотнище: «Картофель не может заменить хлеба!» Слава богу, хоть не было внизу моего имени. Так в чем же моя вина? Ведь я такой же обыкновенный человек, как и все вокруг, никому и никогда не давал клятвы изрекать одни лишь мудрости!

---

<sup>1</sup> Буквально: старушка умерла.



Теперь я хоть могу над этим посмеяться, но тогда не мог, вот это-то и обидно сейчас. Смейся я тогда, меня бы сочли легкомысленным и перестали бы уважать, и потому ходил я весь такой серьезный, сосредоточенный, и походка у меня была иная, величественная, голос — с хрипотцой, тихий, но властный, а лицо — словно суровый фасад дома, к которому боязно даже подойти. Весь этот маскарад стоил мне долгих и мучительных усилий, годами учился я выглядеть именно таким — индюком надутым. Но настал день, когда мой внушительный фасад легко дал трещину вместе с моим сердцем, было стыдно и больно, но эта боль не помешала мне посмеяться над своей участью, я наконец прозрел и узнал всю силу смеха, да только это знание уже поздно было применять...

Сочиняя заявление в полстраницы, Эломонов вдруг заметил, что уже разучился писать: буквы мелкие, строчки кривые, как говорится — пьяный муравей прополз по бумаге... Лишь подпись внизу — плод долгих лет выучки! — получилась четкой, изящной, с завитушками.

Он взял заявление и поднялся наверх, к начальнику объединения. Запыхался, пока одолел четыре этажа, остановился у какого-то стенда и отдышался, делая вид, будто рассматривает фотографии.

В приемной сидели два молодых парня и пожилой управляющий трестом. Эломонов поздоровался с ними и присел в кресло поближе к двери кабинета. В углу комнаты девушка-машинистка печатала какой-то текст. Когда она посмотрела на Эломонова, ему стало неловко — вот уже около года секретарши больших начальников смотрели на него с некоторой жалостью. Наверно, и выгляжу жалким, подумал Эломонов, забился тут в угол с листком бумаги, этакий проситель, жаждущий, аудиенции, благо хоть эти двое парней не знают меня, а управляющий — скромный человек, года три назад был у меня на приеме, и фамилия у него созвучна с моей, то ли Омонов, то ли Омонкулов, ах да, Джомонкулов... А эта секретарша... как же ее зовут?..

Эломонов уже однажды спрашивал ее имя, но сейчас никак не мог вспомнить. Посмотрел на девушку: невзрачненькая, чем-то похожая на Хадичу-апу, бывшую его секретаршу, только эта еще совсем молодая. Хадича-апа родилась в год мыши, как и я, подумал Эломонов, значит, была она старше меня на двенадцать лет — на целый цикл. Вообще, все секретарши были старше

меня, не было ни одной молодой, боялся я, что ли?..

В это время дверь открылась, вышел какой-то старик, и тут же в кабинет устремились два молодых парня. Джомонкулов беспокойно заерзал, затем вынул из кармана флакон с белой жидкостью и, налив в маленькую пластмассовую ложечку, выпил.

— Желудок мучает, Саидмурад Замонович,— пожаловался он, облизывая ложечку.— Хочу взять отпуск и ехать в Ессентуки.

— Правильно делаете,— сказал Эломонов, чтобы как-то поддержать разговор.— Здоровье нужно беречь.

Джомонкулов спрятал в карман лекарство и ложечку.

— Вижу, и вы заявление написали?— он кивнул на бумагу, которую Эломонов держал в руке.— Тоже отпуск и на курорт?

— Я на курорт еду летом,— ответил Эломонов.— Это совсем другое заявление.

— Тогда прошу прощения,— смутился Джомонкулов.— Признаться, Саидмурад Замонович, я порядком устал, сами понимаете, у нас работа нервная, склочная. Строители, одним словом...

— Я по профессии агроном, товарищ Джомонкулов, мало разбираюсь в вашей области.

— Знаю, Саидмурад Замонович, но вы всегда помогали нам. Помните, я к вам приходил, когда заказчики затеяли с нами ненужную тяжбу?

— Кажется, вы тогда победили?— спросил Эломонов наугад, хотя он никакую такую тяжбу не помнил.

— С вашей помощью, Саидмурад Замонович,— улыбнулся Джомонкулов. Затем заботливо спросил:— Как ваши дела? Здоровье?.. Здоровье ваших родных?..

— Спасибо, товарищ Джомонкулов, все живы-здоровы.

— А мы слушаем песни вашей супруги. Слышал, что у нее новая книга вышла, да не знать усталости пишушим ее рукам!

— Да, книга вышла.

— Наверно, нелегкое это дело — писать стихи?— спросил Джомонкулов.— Я вот столько лет живу на свете, но даже заявление толком не могу написать, все не вяжется. А ведь это стихи!

— Зато вы хорошо строите, товарищ Джомонкулов, каждому — свое.

— Вы верите, товарищ Эломонов, в молодости я

целые поэмы наизусть знал, дед мой меня выучил, но как только запрягся в эту арбу, так даже книжки читать некогда,— сказал Джомонкулов, вздыхая.— Теперь вот собираюсь в отпуск, надо подлечиться... Годовой свой план мы выполнили на сто пять процентов, думаю, теперь и мы достойны курортов!

— Поздравляю, товарищ Джомонкулов.

— А когда же вас поздравлять будем, Саидмурад Замонович?— спросил Джомонкулов.— Надеюсь, скоро?

— В газетном деле нет особо твердого плана,— ответил Эломонов.— Сами знаете, тут точный график — и никаких перевыполнений.

— Вы меня не поняли,— вроде как обиделся Джомонкулов.— Газета — это одно, а я о другом спрашиваю.

— Даст бог, все будет...— неопределенно ответил Эломонов и внимательно посмотрел на Джомонкулова: с чего он вдруг затеял этот разговор, знает что-нибудь или просто издевается? Но на широком загорелом лице Джомонкулова не было и тени насмешки, глаза его смотрели прямо и искренне. Эломонов немного успокоился.

Молодые люди тем временем вышли из кабинета и передали секретарше какие-то бумаги.

— Будем считать, что вы уже в отпуске,— с улыбкой обратилась секретарша к Джомонкулову.— Посидите немного, пусть сперва зайдет Саидмурад Замонович...

— Право, мне неудобно,— смутился Эломонов.

— Что же тут неудобного, Саидмурад Замонович,— поддержал секретаршу Джомонкулов.— Правильно говорит дочка, мне совсем не к спеху.

— Благодарю вас, товарищ Джомонкулов,— сказал Эломонов.

При виде входящего Эломонова Чоршанбиев торопливо встал и вышел из-за стола.

— Рад вас видеть, Саидмурад Замонович. Пожалуйста, садитесь.

— Да нет, мне сидеть некогда,— отказался Эломонов.— Говорят, вы меня разыскивали?

— Да, спрашивал... Но вы садитесь, Саидмурад Замонович... Хотел поздравить с тем, что избавились наконец вы от этого Избосарова. Не сглазить бы, но вы прекрасно выглядите!

Значит, выгляжу неважно, подумал Эломонов, а вроде бы так хорошо выспался, разволновался — вот и

результат, всему виной — этот бес Пулатов, его недавние слова.

— Да вы садитесь, Саидмурад-ака,— повторил просьбу Чоршанбиев.

В ответ Эломонов молча протянул начальнику заявление. Чоршанбиев быстро пробежал его глазами.

— Что это?— удивленно спросил он.— Или мы провинились в чем?

— Вы тут ни при чем,— ответил Эломонов.— Если честно, то эта работа не по мне, Насырджан. Такое чувство, будто ем чужой хлеб. Вот и решил уйти, пока совесть окончательно не уснула, чего доброго, еще привыкну.

Чоршанбиев посерьезнел.

— Думаю, надо подождать, товарищ Эломонов, и потом, что это значит — уволиться по собственному желанию? Не мне вам объяснять, что существуют и другие формулировки, скажем, перевод на другую работу и так далее. Может, еще чуточку подождем? Ведь никогда не поздно подписать подобную бумагу?

Эломонов в душе согласился с Чоршанбиевым, понял, что поторопился с заявлением, но отступить было поздно, а то еще подумает Чоршанбиев, что все это было несерьезно, что Эломонов решил просто-напросто испытать, чего он вообще стоит, его начальник.

— Да нет уж, Насырджан, увольняйте меня по собственному желанию.

— Я так не могу, товарищ Эломонов,— заволновался Чоршанбиев.— Не могу так легко отпустить, за это меня по головке не погладят. Как-никак, вы все еще значитесь в номенклатуре.

При этих словах Эломонову стало обидно до слез. Как ты еще наивен, подумал он с горечью, давно уже все переместилось в той номенклатуре, где раньше я числился в первых рядах... И как непросто все это тебе сказать, хотя бы потому, что ты еще совсем молод, ты еще нигде не спотыкался, следовательно, можешь и не понять.

— Прошу вас, Насырджан. Оформите увольнение по собственному желанию. За все остальное отвечу сам. Ведь и у меня могут быть свои желанья. Считайте, что именно этого я больше всего хочу — уволиться по собственному желанию. Вы говорите о номенклатуре? Пусть я вылечу из нее ко всем чертям, но дальше так не могу, буду нужен, так вновь занесут в номенклатурные спис-

ки, сами знаете, я не воровал, не развратничал, правда, был глуп, доверял всем без разбору, но за это уже наказан достаточно...

Чоршанбиев больше не настаивал, молча взял заявление и наложил резолюцию.

— Если не возражаете, я сдам дела Каршиеву,— сказал Эломонов.— Инициативный молодой человек, энергичный, хорошо знает газетное дело.

— Я согласен,— кивнул Чоршанбиев.— Только предупредите его, пусть не надеется на персональную машину.

Эломонова будто током ударило, он быстро взглянул на Чоршанбиева, но обиду проглотил... Что он мог ему сказать, если уже однажды молча принял милостыню в виде новенькой «Волги»?

— Машину сегодня не могу сдать,— сказал он чуть спустя.— Есть кое-какие дела, надо поездить...

— Еще целую неделю машина будет в вашем распоряжении,— сказал Чоршанбиев.— Можете спокойно пользоваться. Думаю, вас без машины не оставят, Саидмурад Замонович...

Последняя фраза озадачила Эломонова. Лицо Чоршанбиева было по-прежнему бесстрастным. Хитрит, подумал Эломонов, не может быть, чтобы слухи обошли его, наверняка что-нибудь да знает, а вот виду не подает.

Чоршанбиев проводил его до дверей приемной. Эломонов и в этом увидел некий добрый знак.

Он спустился вниз и открыл дверь большой комнаты, где сидели его сотрудники. Увидев Эломонова, все трое встали.

— Я уволился, товарищи,— сообщил Эломонов.

Сотрудники уставились на него: двое с удивлением, а третий, Хамракул,— с тревогой и волнением. Кажется, он даже немного побледнел.

— У меня маленькая просьба,— сказал ему Эломонов.— Отнесите мое заявление в отдел кадров, пускай оформят приказом.

Хамракул взял заявление.

— Так быстро, товарищ Эломонов?..— выдавил он из себя.

— А чего ждать?— бодро ответил Эломонов.— Мне было приятно с вами работать, товарищи. Думаю, наше сотрудничество на этом не кончится...

Сотрудники вежливо заулыбались. Видимо, они не первый раз слышали эти дежурные слова. От каждого уволившегося редактора, подумал Эломонов, я это, конечно, зря, надо было попроще...

— Ключ я оставляю в дверях, Хамракулджан, — сказал он. — С товарищем Чоршанбиевым мы уже договорились. Можете сегодня же приступить к работе. Правда, машины у вас не будет. Сами понимаете, она была придана мне исключительно в лечебных целях, — тут Эломонов заставил себя улыбнуться. — Не стали приглашать постороннего человека, вы — из своих кадров, хорошо знаете коллектив, так что, остается вам только дерзать...

Хамракул опустил глаза. Эломонов улыбнулся и тем двоим, слегка наклонил голову, мол, и вам очень признателен, и вышел.

В своем кабинете, правда, уже бывшем, снимая с вешалки пальто и шапку, он рассудил, что Ибодулло Махсум все-таки был прав — одежда совсем износилась, от шапки из голубой смушки осталось одно только название, не стоит огорчаться, лишь бы голова была цела, а шапка всегда найдется. Он взял лежавший на столе толстый кожаный портфель, подошел к двери, остановился, чтобы последний раз обозреть свой кабинет — просторный, с высоким потолком, с удобной мебелью, двойные окна, новые шторы... И на какой-то миг ему стало жалко, что он оставляет его навсегда. Прощайте, сказал он вслух, да умножится добро на свете!..

Закрыв дверь на ключ и бодро зашагал по коридору. Звуки шагов гулко отдавались в тишине. Удивился, вспомнив, как недавно запыхался, поднимаясь на четвертый этаж, нет, Эломонов, есть еще силы, есть, значит, и жизнь...

Увидев в коридоре молодого человека лет тридцати пяти, он обрадовался, будто встретил отца родного:

— Здравствуйте, Нуриллоджан! Как вы поживаете? Давно вас не видел! Слышал, что перешли в исполком, и обрадовался, ведь рост наших кадров есть и наш собственный рост!..

Молодой человек не понял его радости.

— Товарищ Эломонов? — удивленно спросил он. — Значит, вы здесь?

Эломонов хотел было сказать, что уходит отсюда, но небрежный тон молодого человека быстро остудил его

пыл. В это время открылась дверь слева и оттуда позвали: «Сюда, Нурилло Набиевич!..» Молодой человек скрылся за дверью, даже не попрощавшись. Эломонов один остался в длинном пустом коридоре. Вот как меняются люди, подумал он с горькой обидой, а был такой любезный, чуть что — советоваться прибегал, а теперь, выходит, большим человеком стал! Я, дурак, еще обрадовался ему! Спасибо, хоть узнали вы меня, Нурилло Набиевич! Зря вы только думаете, что Эломонов больше не воскреснет. Нет, Нурилло Набиевич, Эломонов еще не умер, мы с вами еще встретимся!..

Эломонов и сам испугался такой мысли. Уймись, Сандмурад, сказал он самому себе, надо быть выше, такие, как Нурилло, были всегда, будут и впредь, но не позволяй себе уподобиться им, иначе Хамракул окажется прав, озлобишься и начнешь мстить...

Кулмухаммад сидел в проходной и распивал чай со стариком-вахтером. При виде Эломонова он залпом осушил пиалу и встал.

— Хозяин идет, отец,— сказал он вахтеру.— Дальше вы сами... Что, Эломонов-ака, в поездку?

— Пока отставим поездку,— ответил Эломонов.— Есть кое-какие дела в городе.

— Я к вашим услугам, Эломонов-ака, с ветерком доставлю!

— Меня радует ваша постоянная готовность, Кулмухаммад,— улыбнулся Эломонов.— Но сегодня не следует особо гнать — на улице гололедица...

Они вышли на улицу. И сразу холодный ветер ударил в лицо. Эломонов застегнул пуговицы пальто, поднял воротник. И увидел, как на обочине дороги затормозил красный «Москвич».

— Жена ваша приехала, Эломонов-ака,— сообщил Кулмухаммад.— Как раз вовремя успела, а то могли уехать...

И действительно, в эту секунду открылась дверца и из машины вышла Бинафша-ханум. Порывшись в сумочке, она рассчиталась с шофером и направилась к мужу. Эломонов поспешил ей навстречу и увидел, что она явно не в духе.

— Я как раз собрался на поиски той книги, ханум,— солгал он жене.— Вы зря беспокоитесь, я ничего не забыл.

Бинафша-ханум зло посмотрела на него, но промолчала.

— Чтонибудь случилось?— забеспокоился Эломонов.

— Он еще спрашивает!— усмехнулась Бинафша-ханум.— Пошли!

Она схватила мужа за руку и потащила к белой «Волге», где уже сидел Кулмухаммад.

— В издательство,— бросил Эломонов водителю.

— Нет, в театр,— перебила его Бинафша-ханум.— Вы знаете, где находится театр муздрамы?

Эломонов удивленно посмотрел на нее:

— Разве вам не на работу?

— Сперва надо в театр... Вы когда говорили с Пулатовым?

— Утром... Где-то около одиннадцати, нет, пожалуй около двенадцати... Почему вы спрашиваете, ханум, что-нибудь случилось?

— О святая простота!— сокрушенно покачала головой Бинафша-ханум.— От кого вы узнали про те слухи? От Пулатова?

— От него,— ответил Эломонов, чувствуя, как холодеет сердце.— Потом... вроде и наш сват Остонов намекнул на это...

— Я звонила Пулатову. Говорит, что пошутил, чтоб ему перевернуться!

— Как это так, ханум, я ведь ему поверил и... Нет, ханум, не может быть, ведь он вроде неплохой человек, не станет же обманывать!..

— Сейчас проверим, я устрою вам очную ставку!

Эломонову вдруг стало плохо, он откинулся на спинку сиденья.

— Не надо,— взмолился он.— Я вас очень прошу, ханум, не делать этого, пусть пропадает все пропадом! Стыдно ведь...

— А вот и поедем!— твердо заявила Бинафша-ханум.

Кулмухаммад, молчавший до сих пор, вмешался в разговор:

— Не надо так дергать мужа, Бинафша-апа. Вообще-то, это факт, что ходят слухи о его повышении.

— А вас не спрашивают!— резко оборвала его Бинафша-ханум.

— Полно, ханум,— сказал Эломонов.— Нельзя так разговаривать с человеком, он же за рулем!..

— Спасибо, Эломонов-ака, но вы за меня не волнуйтесь!— сказал Кулмухаммад.— Рука у нашего брата крепкая. Такая вот работа, мало ли кто на нервы дей-



ствуем, но аварию делать мне никак нельзя — за спиной у меня детей одиннадцать душ. Что, по-прежнему едем в театр?

— Нет,— сказал Эломонов.— Подбросим Бинафшаханум в издательство.

Бинафша-ханум молчала.

— Если Пулатов и обманул, ханум,— сказал Эломонов, повернувшись к жене,— бог с ним, с шутником... Ничего страшного не случилось, мы же не останемся на голом месте...

Бинафша-ханум метнула на него взгляд, полный презрения.

— Не пойму,— сказала она,— не пойму, как могли столько лет держать вас на посту... такого болвана...

— Да уймитесь вы, наконец!— вспыхнул Эломонов, задетый за живое.— Сколько можно меня пилить? Не скажу, что был хорошим, но ведь и мошенником не был! Раньше вы со мной так не обращались, да, да, раньше просто не осмеливались! И Пулатов раньше не отважился бы так подшутить надо мной!

— Вот как вы заговорили!— удивилась Бинафша-ханум.— Если вы это так хорошо понимаете, зачем же заявление подали? Никто у вас пост не отбирал, вы сами, добровольно отказались от него. Терпите, еще не то будет!..

— Я-то терплю, но, вижу, вы не можете...

— О-хо-хо!..— картинно воздела очи к небу Бинафша-ханум.— Надо же, а? Гнев-то какой праведный! Да мне, если хотите знать, все до лампочки! Слава богу, есть у меня свое место в жизни, на судьбу не жалуясь!..

Кажется, разговор супругов надоел Кулмухаммаду, он резко затормозил.

— Я выйду, Эломонов-ака,— сказал он.— Поговорите одни, потом позовете.

— Не будьте столь щепетильны, Кулмухаммад,— сказал ему Эломонов.— Поехали, мне нечего от вас скрывать.

Кулмухаммад ничего не сказал и сразу дал большой газ, видимо, он уже позабыл, что за спиной у него все одиннадцать детей.

— Самое страшное, вы научились врать, Эломонов,— Бинафша-ханум обновила тему разговора.— Сколько уже обещаете съездить за книгой для сына?!

— Ради бога, ханум!— взмолился Эломонов.— Я действительно собираюсь съездить за ней, но дело в том,

что не знаю старой письменности... а вдруг привезу не гу книгу.

— Пока я слышу одни разговоры!— в сердцах сказала Бинафша-ханум.— О такой ли участи я мечтала? Что ж, придется смириться, вы уже конченный человек, Эломонов, теперь вся моя надежда на сына. Пусть это будет моя последняя просьба, сделайте такое одолжение, найдите книгу.

Эломонов не ответил. И вправду конченный человек, подумал он о себе, раз поверил Пулатову и лишился и этой маленькой должности, значит, песенка моя спета. Хорошо, хоть жена еще не знает.

— Прихватите с собой кого-нибудь знающего,— преврала его мысли Бинафша-ханум.— Пусть прочтет и определит — та ли вещь. Есть у вас на примете кто-нибудь, умеющий читать древние тексты?

— Знаю только Ташпулата Хайбарова,— сказал Эломонов.— Но не уверен, окажет ли он мне эту услугу.

— Вот еще новости!— воскликнула Бинафша-ханум.— Кто он такой, этот ваш Хайбаров, чтобы важничать? Старьевщик, книжная мышь!.. Короче, вы найдете его и привезете мне книгу. Адрес его знаете?

— Не знаю, студентом он вроде жил в общежитии...

— Вы в своем уме?! Он уже давно не студент. Спросите у Мурада. Кажется, они дружат. Оба они лоботрясы, только и делают, что коптят небо. Кто сказал, что зарежет барана и устроит большой пир, если я перестану писать стихи? Это сказал тот самый ваш Мурад, запомните! Вы еще общаетесь с таким змеенышем! Сам писать не может и другим не дает!..

— Да он вроде и сам пишет...— несмело возразил Эломонов.

— Не пишет, а над людьми измывается!— сказала Бинафша-ханум.— Сколько раз ставили ему на вид, и не унимается! Плохо он кончит, так ему и передайте!..

— Не могу, ханум, пускай живет, как знает...

— Бойтесь? Значит, все могут насмеяться над вашей женой, и вы будете молчать! Знайте, он и вас ни в грош не ставит, этот Мурад!

— Полно, ханум,— рассердился Эломонов.— Разве так можно обо всем и обо всех... Надо же знать меру!

— Остановитесь здесь!— вдруг приказала Бинафша-ханум водителю.

— Ведь еще далеко до вашей работы!— сказал Кулмухаммад с раздражением.

— Остановите!..

Кулмухаммад остановил машину. Бинафша-ханум вышла и со злостью хлопнула дверцей. Пошла прочь, даже не обернувшись. На тротуаре, у газетного киоска, она обнялась с какой-то полной женщиной. Послышались их возгласы, веселый смех. Эломонов смотрел им вслед, пока они не исчезли за дверьми здания напротив.

— Я не очень понимаю вашу жену, Эломонов-ака,— недовольно проворчал Кулмухаммад.— То ей в театр надо, то на работу, а теперь...

— Здесь — поликлиника,— объяснил Эломонов.— У нее давление.

— Поликлиника, говорите?— удивился Кулмухаммад.— Почему нет вывески?

— Это вовсе не обязательно, Кулмухаммад. Те, кто сюда приходит, знают, что здесь поликлиника.

— Кажется, вы сами сюда не ходите?

— Я стесняюсь, сюда ходить.

— Как? Тут это... по женской, что ли, части?

— Нет, мужчин тоже принимают. Я раньше ходил сюда, потом перешел в поликлинику наших строителей. Жена осталась здесь. Я бы тоже мог остаться, но не захотел, подумают еще, что это благодаря жене, в качестве члена ее семьи.

— Вообще, вы правильно поступили, Эломонов-ака. Уважать себя тоже надо.

— Ладно, поехали за книгой, отложить поездку уже не удастся, сами видите...

Но Кулмухаммад не торопился ехать. Он достал из ящичка сигарету и закурил. Эломонов не знал, что водитель его курит, потому и был неприятно удивлен: раньше, значит, хоть немного стеснялся меня, теперь считает, что в том нет надобности, все он слышал, можно и закурить, не церемониться. Кулмухаммад чуточку опустил стекло и выдохнул дым наружу. Эломонов съжился от холода и поднял воротник пальто.

— Вы не обидитесь, Эломонов-ака, если я вам скажу одну вещь?— спросил Кулмухаммад, бросив сигарету.

— Говорите,— сказал Эломонов.— Теперь я ни на кого не обижаюсь.

— Ладно, скажу... Вообще-то, вы зря взяли себе эту жену, Эломонов-ака. Надо было чуть попроще, из своих, галатепинских...

— Почему?— спросил Эломонов, хотя он прекрасно понял своего водителя. Обида на жену еще не прошла,

и ему хотелось с кем-то ее разделить.— Ну, так почему так считаете, Кулмухаммад?

— Э! Не пара она вам...— ответил Кулмухаммад.— Вы ради нее все делаете, бегаєте, унижаетесь. Если бы мы так старались для наших жен, они бы носили нас на руках, да они бы просто...

— Но Бинафша-ханум не желает мне зла,— смутился Эломонов.— Сердится, так это из-за сына... Ему нужна очень редкая книга, для научной работы. А тут еще дочь на выданье. И все эти хлопоты на плечах жены.

— Лучше бы она дома сидела и хозяйство вела,— гневно сказал Кулмухаммад.— Вы говорите — сын, дочь, ладно, мы это понимаем, и у нас есть дети, сын — это ваш сын, дочь — это ваша дочь, надо их поддержать, но ведь душа-то, она тоже ваша. Пожалейте вы хоть душу-то свою! Вот вы бегаєте из-за них, высунув язык, а они вам, это... спасибо-то хоть скажут?!

— Ну, это вы хватили через край,— сказал Эломонов.— Хотя, признаюсь, жить они привыкли широко, вот и скучают по тем временам, когда я был на коне.

— Скажите, пусть потерпят, пока сами не достигнут высокого места.

— Правильно вы говорите, Кулмухаммад, но...

— Какое еще может быть «но»?— шофер не дал Эломонову договорить.— Почему вы так дрожите перед женой? Проучите ее хорошенько... Даже дурак понимает ваше положение. Вот когда Чоршанбиев выделил вам эту машину, никто ведь не захотел на ней шоферить. Другое дело, если бы вы занимали большую должность, тут бы они облепили вас, как мухи!

— А вы?— спросил Эломонов с горькой обидой.— Почему же вы согласились?

— Мы не чужие вам, Эломонов-ака! Вы из Галатепе, я из Шоркудука — рукой ведь подать! В хорошие дни все пригожи, а в черный день — только свои!

— Спасибо, Кулмухаммад, за сочувствие. Но, пожалуйста, хватит об этом, не мучайте меня дальше, поехали!

— Нет, сперва вы меня дослушайте,— упрямо сказал Кулмухаммад.— Если вы умный человек и у вас осталась хоть капелька гордости, уйдите от такой жены. Еще не поздно...

— Как вы смеете меня учить!— рассердился Эломонов.— Вы хоть думайте, прежде чем говорить. И потом... не всегда же она была такой... такой нервной, много у

нас было хорошего, как же я теперь откажусь от нее? Ведь ей совсем нелегко, работает, и дома не знает покоя, к тому же стихи сочиняет...

— Стихи сочиняет!— усмехнулся Кулмухаммад.— Когда женщина довольна мужем, не станет она никакие стихи сочинять, будет дома сидеть, ухаживать за мужем, за детьми, вкусно готовить, встречать гостей, родственников!.. Вот моя жена... почему она стихи не сочиняет?

— У вас же большая семья,— улыбнулся Эломонов наивности Кулмухаммада.— Целых одиннадцать душ детей...

— Так и вам надо народить не меньше.

— Ну это было бы уж слишком... Да и времени у нас не было,— работа, ответственность...

— Бросьте вы все это, Эломонов-ака!— разочарованно махнул рукой Кулмухаммад.— Вижу, с вами не столкнешься! Зря я старался, хотя, может, и я не прав, у вас, у начальников, своя жизнь, может, мы чего-то недопонимаем. Поехали, Эломонов-ака! Скажите адрес вашего Мурада!

Машина тронулась. Теперь все будут говорить со мной вот в таком тоне, подумал он, потерял и то немногое, что имел,— написал заявление, и никто не водил моей рукой, все сделал сам, опять сам... Так он подумал, но не обнаружил в душе никакого сожаления, и даже удивился — так легко ему теперь дышалось, легко и свободно, никакой ноши, никакой боязни, будто все вдруг стало на свои места, без нервов, без суматохи — хоть снова начинай свою жизнь!

Мурад охотно объяснил, где живет его приятель Ташпулат Хайбаров, даже начертил на бумаге план. Эломонов эту бумагу вручил Кулмухаммаду и велел сперва заехать на базар за покупками.

Хайбаров жил на окраине города, в пятиэтажном доме в дальнем конце улицы, торец дома выходил к кукурузному полю. Кулмухаммад остался внизу. Эломонов взял пакет с подарками и поднялся на третий этаж. Дверь открыла молодая миловидная женщина.

— Проходите, пожалуйста,— сказала она.— Ташпулат-ака в кабинете с гостем. Вот туда, в самый конец коридора...

Эломонов вошел, снял пальто и направился в дальнюю комнату. Открыв дверь, он закашлялся от табачно-

го дыма. В комнате сидели Ташпулат и незнакомый молодой человек, они о чем-то оживленно говорили.

— Вы?— спросил Хайбаров, не веря своим глазам, и поспешно встал.— Саид-ака! Какой же добрый ветер занес вас сюда?

— Дела, Ташпулатджан, — улыбнулся Эломонов. — Зачем душой кривить, дела привели...

— Садитесь, Саид-ака. Вы уж извините, у нас не очень-то прибрано. Не ждали гостей, а что до нашего друга, так он свой человек.

— Э, странно говорите, Ташпулатджан, никакой я не гость...

— Раз пришли в мой дом, значит, гость, Саид-ака, сколько лет не виделись, страшно даже подумать! В кишлаке часто спрашивают о вас, а мне приходится врать, будто мы каждый день видимся...

Хайбаров подал ему стул, а сам пошел открывать форточку.

— Пускай проветрится... Кстати, я вас еще не познакомил, это мой друг Эркин, молодой хирург.

— Докторов я уважаю, — сказал Эломонов и подал руку молодому человеку.

— Это Саидмурад-ака Эломонов, мой односельчанин, — представил его Хайбаров. — Вчера приходил Махсум-бобо. Он вас дождался, Саид-ака?

— Да, мы с ним виделись, — ответил Эломонов. — Хорошее дело они задумали, Ташпулатджан. В субботу приеду на машине и целый день буду в вашем распоряжении.

Хайбаров сел рядом с Эломоновым. В комнату вошла женщина, открывшая Эломонову дверь.

— Пожалуйста, Замира, приготовьте что-нибудь, — сказал ей Хайбаров. — Товарищ Эломонов пришел к нам.

— Добро пожаловать, — сказала женщина, заметно оживившись. — Мурад-ака часто говорит о вас.

— Вы, Саид-ака, вроде бы мой односельчанин, а водитесь с чужаком Мурадом, — пошутил Хайбаров.

— Мы же с вами старые приятели, — сказал Эломонов, смутившись. — Потом, он никакой не чужак, всего пять оврагов отделяют его Джам от нашего Галатепе.

Замира улыбнулась гостю и вышла из комнаты.

Из-за дверей послышался плач ребенка. Эломонов, улыбувшись, спросил:

— Кто это кричит, Ташпулатджан, наследник?

— Сын, — ответил Хайбаров. — Голосистый, можно подумать, мечтает заменить Насима Хашимова<sup>1</sup>.

— У меня двое взрослых, — сказал Эломонов. — Сын работает за границей, женат, внука имеем... Он собирается всерьез заняться наукой, как и вы, Ташпулатджан.

— Похвально, — отозвался Хайбаров. — Я слышал, что он востоковед?

— Да, собирается совершенствоваться...

— Значит, мы с ним почти коллеги.

— Вижу, число твоих коллег все увеличивается, Хайбаров, — заметил Эркин. — Что, хорошо платят?

— По-разному. Вообще, восточный факультет считается престижным, хотя, думаю, не всем интересно там учиться. Надеюсь, сын ваш сам выбрал эту специальность, Саид-ака?

— Нет, — ответил Эломонов. — Жена так захотела. Я мечтал, чтобы он стал агрономом.

— Это и понятно, вы же сами агроном, — улыбнулся Хайбаров. — Жена ваша, надеюсь, тоже востоковед, а поэзия, так сказать, второе призвание?

— Нет, она по образованию тоже литератор.

— А невестка ваша уж наверняка востоковед?

— Угадали!

— Тут, Саид-ака, нечего угадывать. Вот Эркин говорит, будто в последнее время слишком много развелось востоковедов, а по-моему, их пока мало.

— Разве прием ограничен? — спросил Эркин.

— Нет, прием не ограничен. Но большую половину студентов составляют невесты.

— Интересно говорите, Ташпулатджан, — улыбнулся Эломонов, — по-моему, все студентки потенциальные невесты, и нельзя их винить в этом.

— Я и не виню. Но многие из них поступают туда не ради востоковедения, а ради будущего востоковеда, с твердым наказом родителей подыскать себе жениха в течение пяти лет. Факультет-то престижный, там учатся сыновья больших людей!..

— А разве исключений не бывает?

— Бывают и исключения, Саид-ака. Года два назад ко мне приехала сестра с больным сыном, думала, брат ее тут самый важный человек и все мигом устроит. А я, как понимаете, оказался совсем несолидный. Эркина

<sup>1</sup> Оперный певец, народный артист Узбекистана.

беспокоить было совестно, у него и без того мало времени...

— Уж для тебя время нашлось бы, Хайбаров,— недовольно сказал Эркин.— Подлец ты, никакой не друг.

— Не перебивай,— заметил ему Хайбаров.— Но мне тогда все-таки удалось устроить племянника в больницу. Оперировала его знаменитая женщина хирург, профессор, заслуженная и все такое... Сестра была благодарна ей, в лепешку была готова расшибиться, лишь бы угодить! Слава аллаху, обошлось без подарков и прочих унижительных процедур. Женщина оказалась достойной, она сразу заявила, что высшая награда для нее — здоровье больного. И думаете, на этом все кончилось? Конечно, нет... Год назад сижу я, значит, на подоконнике в коридоре факультета,— поскольку я приглашенный и читаю студентам только историю ислама, то и не имею привычки заходить в преподавательскую комнату, чтобы лишний раз не нервировать людей,— так, значит, сижу я на подоконнике, а ко мне подходит та самая женщина-профессор, уже не гордая, а какая-то сникшая вся, и просит... провалить ее дочь на выпускных экзаменах!

— Почему? — удивился Эломонов.

— Да потому, что дочь ее оказалась хорошей студенткой, старательно училась в течение пяти лет и не нашла времени подыскать себе жениха.

— Надеюсь, ты ее провалил? — спросил Эркин.

— Зачем же ее проваливать? — засмеялся Хайбаров.— Вот она-то и станет хорошим востоковедом. Хотя, если признаться, мне до сих пор стыдно перед ее матерью, уж больно хорошая женщина, умная, добрая, и прислала-то такую малость.

— Тебя не поймешь, Хайбаров, — сказал Эркин, — издеваешься или...

— Считаю, и то и другое... Случай вроде анекдотический, а все равно обидно, женщина-то действительно достойная. Может, ее муж так захотел. Помню, как-то меня, еще тогда совсем юнца, пригласил к себе один академик. Я сперва не понял, зачем я ему такой понадобился. Оказалось, у него была дочь, красивая, но очень стеснительная, а мать не в пример ей бойкая, она так начала расхваливать дочку, что даже такой дурак, как я, вмиг обо всем догадался. Дочь не выдержала, выбежала из комнаты. Но мне больше всего было жаль



самого академика, он весь покраснел, не лицо у него стало, а прямо-таки переспелый арбуз в разрезе, все ерзал, не находил себе места... Тогда я и полюбил и его, и его дочку. Она, слава богу, вскоре вышла замуж за одного циркача, но академика я до сих пор продолжаю любить — за то, что он умеет краснеть, такой вот несовременный человек. Вообще, Саид-ака, жены — большая сила. Вот у меня родился сын, еще двух лет ему не исполнилось, а Замира хочет, чтобы он непременно стал археологом. Но я постараюсь, чтобы он им не стал, хотя и очень уважаю археологов, работа у них тяжелая, грязная.

— Что, он у тебя белоручкой будет, боишься грязи? — усмехнулся Эркин.

— Нет, натруженные руки я уважаю. Но нельзя навязывать детям свою волю. Нельзя! Надо дать им возможность жить своей жизнью! Мой отец не учил меня, как жить, а показывал. Разницу улавливаешь? Не обижайтесь, Саид-ака, но боюсь, ваш сын не будет настоящим знатоком Востока, потому что не сам решил им стать, а жена ваша так захотела.

— Слушай, Хайбаров, надо иметь совесть! — запротестовал Эркин. — Человек пришел в гости, а ты ему одни гадости...

— Ничего, Эркинджан, — пробормотал Эломонов, — мы ведь свои люди, отчасти он и прав...

— Если не на все сто процентов, — сказал Хайбаров. Думаю, теперь ваш сын если не востоковедом хорошим, то кандидатом-то уж обязательно станет.

Эломонов молча проглотил и эту колкость. За дверью опять заплакал ребенок. Трудно им, подумал Эломонов, и Сабирджан был таким же плаксивым, но мы няньку нанимали...

— Извините, чаем придется самому заняться, — сказал Хайбаров, вставая. — Маленький человек свободы требует, симфония разума, так вроде называется...

Когда вышел, Эломонов осмотрел комнату: кругом стеллажи с книгами, какие-то фотографии. Один шкаф был набит осколками древних сосудов, на верхней полке шкафа белели человеческие черепа. Какое кощунство, подумал Эломонов, даже мертвым покоя не дают.

— Это не ради красоты, — объяснил Эркин, словно угадав его мысли. — Жена Хайбарова антропологией занимается.

Хайбаров принес чай и свежие лепешки.

— Сегодня у меня отгул, Санд-ака, — сказал он. — Вот Эркин позвал, чтобы не скучать одному.

— А Эркинджан где работает? — спросил Эломонов.

— В областной больнице, — ответил Эркин. — Но уже три месяца, как сижу дома.

— Навыки теряет, — пошутил Хайбаров. — Тоже заразился кандидатской болезнью. Зачем тебе диссертация, Эркин, ты же хирург божьей милостью, так, во всяком случае, говорят.

— Хочу больше получать, — ответил Эркин. — Детей надо кормить.

— У вас их много? — поинтересовался Эломонов.

— Пока шестеро. Бог даст, еще будут. Стране нужны рабочие руки. Вот и сижу дома, детей выпекаю и заодно забочусь о том, как бы в дальнейшем их прокормить. Полная диалектика.

— Мне нравится ход ваших мыслей, ведь и я намерен впредь домоседом стать, только вот до детей еще не додумался, — захихикал Эломонов. И в тот же миг возненавидел себя за этот смешок, хотя и понимал, что много выхода у него нет и не будет, главное сейчас — понравиться этим молодым людям, которые годились ему в сыновья.

— Вы вроде работаете, Саид-ака? — спросил Хайбаров.

— Работал, если то, чем занимался, можно назвать работой, — сказал Эломонов, краснея. — Вот и подал заявление об уходе. Теперь наверняка буду сидеть дома...

— Спасибо, что пришли, Санд-ака, — сказал Хайбаров, не вдаваясь в подробности. — В субботу обязательно поедем в Галатепе.

— Но пока я пришел с просьбой, — смущенно сказал Эломонов. — Сын просит одну книгу, я вроде разыскал ее, двести рублей запросили...

— Видать, книга действительно ценная, — рассудил Хайбаров. — Может, вы назовете ее?

— Название у меня в кармане, — сказал Эломонов. — Внизу нас машина ждет. Я совсем не знаю эту вашу арабскую вязь, вы бы не могли со мной поехать, посмотреть — та ли это книга?

— Наверно, сегодня не смогу, — задумался Хайба-

ров. — Завтра — пожалуйста, но сегодня просто нет возможности.

— Я вас очень прошу, Ташпулатджан, да стану я вашей жертвой, сегодня нужно книгу привезти.

— Неужели обязательно именно сегодня? — спросил Хайбаров и посмотрел на Эркина.

— Очень даже обязательно, — торопливо сказал Эломонов, боясь, вдруг Эркин отговорит Хайбарова от поездки. — Туда ехать — всего три часа. Пожалуйста, Ташпулатджан, сделайте одолжение, вы умеете читать старинные книги, не чужие ведь мы, куда мне еще идти за помощью!

— Хайбаров не может поехать, — покачал головой Эркин.

Сам Хайбаров все еще был в нерешительности.

— Завтра поедем, Саид-ака, согласитесь — один день ничего не меняет.

— Вы же знаете мою жену, Ташпулатджан, — взмолился Эломонов. — Если я не привезу сегодня эту книгу, дома будет страшный скандал.

Хайбаров его понял.

— Ладно, Саид-ака, — сказал он. — Ехать так ехать. А где же вы разыскали книгу?

— Есть такой кишлак. Ободон называется.

— Не Ободон, а Букабулак, — возразил вдруг Эркин. — Потом, это уже не кишлак, а город. Два года, как его зачислили в города.

— Это старое название — Букабулак, — сказал Эломонов.

— Чудесно! — воскликнул Хайбаров. — Значит, книга ваша находится на родине нашего Эркина. Ведь ты оттуда, Эркин, может, вместе и поедем?

— А свадьба? Мы же сегодня приглашены на свадьбу?

— Ничего страшного. Может, и в Ободоне попадем на чью-нибудь свадьбу.

— Не в Ободоне, а в Букабулаке, — поправил его Эркин. — Впрочем, мысль твоя не столь абсурдна. Меня Асадулла приглашает на завтрашний той.

— Асадулла? Он же из Ободона! — оживился Эломонов.

— Асадулла из Букабулака, — Эркин упрямо гнул свое. — Асадулла Халимов. Вы его знаете?

— Да ведь этот Халимов из наших кадров! — гордо сказал Эломонов. — Как видите, всем нам по пути.

Именно Халимов и предлагал переименовать Букабулак в Ободон!

— Это у него от чрезмерной глупости,— сказал Эркин. — Ободонов у нас тысячи, а Букабулак был только один. Какое название вы уничтожили, разве такое найдешь, в другом месте?<sup>1</sup> И все-таки, поедем туда завтра. И книгу я достану вам бесплатно, не может быть, чтобы у нас в Букабулаке были такие жмоты, наверняка вас посредники решили надуть. Ты, Хайбаров, уговори своего земляка, завтра и поедем.

Хайбаров посмотрел на Эломонова.

— Может, вы позвоните своей жене, Саид-ака. Надеюсь, она поймет. Тут у нас друг женится. Обидится, если не придем на свадьбу... А завтра непременно поедем.

— Завтра будет поздно, Ташпулатджан. Ладно, завтра я приеду к вам, еще раз съездим в Букабулак вместе. Но книгу я должен купить сегодня.

— Сперва хоть назовите ее, Саид-ака! Можно подумать, вы собираетесь приобрести чуть ли не первый список Навои! Кто автор этой вашей книги?

— Автор у меня записан, — сказал Эломонов. — Фамилия его, кажется, Термези...

— Какой из них? — оживился вдруг Хайбаров. — Авторов из Термеза сразу и не сосчитаешь... Есть Ходжа Самандар Термези, который является автором книги «Дастур-ул-улум». Ее у меня нет, но можно найти в библиотеке, недавно ее издавали в новом шрифте. Еще два-три Термези есть у меня...

Эломонов торопливо вынул из бумажника клочок бумаги. Надел очки.

— Термези, — прочел он. — «Китобулум»...

Хайбаров молча встал с места, пошел к стеллажам, взял оттуда старую потрепанную книгу и, смахнув с нее пыль рукавом, положил перед Эломоновым:

— Вот ваша книга, Саид-ака. «Китоб-ал-улум». Термези. Полностью его имя и титулы звучат так — Мухаммад бинни Исо ат-Термези.

Эломонов, все еще не веря своим глазам, нерешительно потрогал книгу

— Ташпулатджан... — сказал он дрожащим голосом. — Тут... внутри... тоже Термези?

Хайбаров расхохотался. Не удержался от смеха и

---

<sup>1</sup> Букабулак — бычий родник.

Эркин. Глядя на них, и сам Эломонов заулыбался.

— Видать, здорово напугала вас жена! — сказал Хайбаров. — Не бойтесь, мы торгуем настоящим товаром!

От радости Эломонов едва не прослезился. Хотел достать кошелек, но вовремя удержался, заметив, как нахмурилось лицо Хайбарова.

— Я в вечном долгу перед вами, Ташпулатджан, — сказал он. — Вы мне сделали добро, я не из тех, кто это забывает...

— Оставьте, Саид-ака, — отмахнулся Хайбаров. — Ерунда все это. Но уговор остается уговором, завтра вы повезете Эркина на той к другу в Букабулак.

— С великим моим удовольствием! — сказал Эломонов. Затем обратился к Эркину: — Вы знаете, отец Ташпулатджана был мудрым человеком, жаль, что я не смог оценить его по-настоящему...

— Я вижу, Хайбаров, мы стали свидетелями большого события, — пошутил Эркин. — Может, стоит его отметить?

Хайбаров улыбнулся и крикнул:

— Замира! Нет ли чего-нибудь более интересного?

Замира словно того и ждала, через минуту занесла в комнату вазу с красными яблоками, бутылку вина.

— Только не увлекайтесь, — сказала она мужу. — Еще на свадьбу надо идти.

— Да мы только символически, — сказал Эркин, взяв бутылку в руки. — Что-то жена твоя становится скупой, Хайбаров. Тебе надо взяться за ее воспитание. В моем доме, во избежание подобных недоразумений, всегда наготове охапка гибких ивовых прутьев!

Замира улыбнулась. Видимо, она уже привыкла к подобным шуточкам друга семьи. Эркин открыл бутылку и разлил вино в фужеры. Из открытой двери слышался плач ребенка.

— Я пойду, — забеспокоилась Замира.

— Замирахон! — неожиданно обратился к ней Эломонов. — Пожалуйста, покажите мне сына.

Замира остановилась на пороге и посмотрела на мужа.

— Покажи, — улыбнулся Хайбаров. — Надеюсь, Саид-ака не сглазит.

— Да нет у меня никакого сглаза! — воскликнул Эломонов. — Покажите его, Замирахон!

Замира вышла из комнаты и через некоторое время

вернулась, держа на руках малыша с удивительно живыми глазами. Эломонов вытащил бумажник и сунул одну двадцатипятирублевку в ручку ребенка.

— Зря вы так делаете, — сказала Замира, почувствовав неловкость.

— Это не мной придумано, Замирахон, — сказал Эломонов. — Подарок, так сказать, за погляденье ребенка.

— Ладно, — сказал Хайбаров. — Ничего страшного. У Саида-ака честные деньги.

— Этак ваш сын капиталистом станет, — возразила Замира. — Вчера и Махсум-бобо десятку ему дал.

— Не бойтесь, из галатепинцев никогда не выйдут капиталисты, — отшутился Хайбаров. — Что ты скажешь, сын?

Ребенок несколько мгновений слушал, как шуршит бумажка в его маленькой ручке, затем потерял к ней интерес и бросил на пол.

— Что я говорил! — засмеялся Хайбаров. — Деньги его не интересуют, весь в деда.

И тут Эломонов пришел в умиление и взял младенца из рук матери. Давно не держал он на руках малышей, у него даже голова закружилась от запаха материнского молока, осторожно прижал он к груди крохотный теплый комочек.

— Да здравствует маленький Хайбаров! — сказал он сквозь слезы нежности. Ребенок перестал капризничать, более того — засмеялся. — Ведь это вылитый галатепинец! — воскликнул Эломонов. — Своего сразу признал! Дай бог ему счастливой жизни, пусть на земле воцарится вечный мир, чтобы рождались и рождались такие вот младенцы.

Замира взяла сына из его рук. Эломонов еще минуту стоял так, задыхаясь от волнения, с протянутыми руками, будто не замечая, что они у него уже опустели... Пришел в себя, когда Эркин слегка дернул его за рукав. Нехотя сел. Сел и увидел перед собой прозрачный фужер, полный янтарного вина. Сам не заметил, как взял его и осушил залпом — холодная влага обожгла ему горло. Все произошло так быстро, что он не успел даже вспомнить про свое разбитое сердце, посмотрел на тамаду, желая принести ему запоздалые извинения, но увидел, что тот опять наливает. Эломонову хотелось отказаться, махнуть руками, но руки уже не слушались его, по всему телу разлилось прият-

ное тепло, и ему подумалось, что он наконец-то обрел долгожданный покой, почти райскую благодать, а что до сердца, так оно выдержит, должно выдержать, если уж оно не выдержит столь радостных минут, то лучше бы его и вовсе не было!..

— За вашего наследника, Ташпулатджан! — сказал Эломонов, поднимая фужер. — Назовите его имя, надо знать, за кого пьем.

— У него очень простое имя — Урунбай, — сказал Хайбаров.

— За Урунбая! — Эломонов выпил. — Теперь вы его должны почаще возить в Галатепе. Мои вот дети не знают Галатепе, и мне обидно... Дети должны знать родину отца.

— А Урунбай родился в Галатепе, Саид-ака. Тогда я был в экспедиции, а Замира жила в кишлаке.

— Вот у меня дочка растет, Ташпулатджан, — разоткровенничался Эломонов. — И я хочу, чтобы внуки мои были галатепицами. Вы можете посмеяться надо мной, но будь вы холостяком, я бы выдал дочь за вас, Ташпулатджан! Вы мне нравитесь.

— Саид-ака, — смущенно улыбнулся Хайбаров, — давайте оставим эти разговоры. Право, мне как-то неудобно.

— Нет, вижу, вы меня не поймете, Ташпулатджан, — сказал Эломонов упавшим голосом. — Я ведь действительно этого хочу, когда вы постареете, вы тоже поймете, что такое родная земля, отчий дом... А у меня нет уже отчего дома, Ташпулатджан, снесли его, дорогу там проложили, я сам разрешил...

— Кишлак-то наш остался, Саид-ака, — тихо возразил ему Хайбаров. — Нетрудно там построить маленький летний домик, думаю, вам разрешат.

— Дачу, что ли? Нет, Ташпулатджан, не хочу я дачу! Не знаю, чего именно я хочу, но боль в душе никак не проходит. Так и быть, Ташпулатджан, хоть смейтесь надо мной, хоть не смейтесь, а судьбу дочери я вручаю вам, подыщите ей жениха из Галатепе!

— Ну задали вы мне задачку, Саид-ака... — развел руками Хайбаров. — Ведь это просто так не решается, да и мало кого я знаю из молодых парней. Может, лучше Мурада об этом попросите?

— И его попрошу, — кивнул Эломонов. — В Галатепе много молодых людей, неужели я не достоин быть тестем одного из них?

— Да и здесь они есть, если подумать, наши студенты — галатепинцы, — сказал Хайбаров. — Умные есть ребята, видные, добрые... Но полюбит ли их ваша дочь?

— Полюбит, — уверенно ответил Эломонов. — Доброго она полюбит.

— И в Букабулаке есть хорошие ребята, — неожиданно вмешался Эркин. — У меня самого трое братьев.

— Нет, из Букабулака не годится, — запротестовал теперь Хайбаров. — Нам нужны свои, галатепинцы!

— Местничеством занимаетесь, товарищи! — покачал головой Эркин.

— Называй как хочешь! Мы же тут не посты какие-нибудь раздаем, не так ли, Саид-ака?

— Ваша правда, Ташпулатджан, — радостно кивнул Эломонов. — Даст бог, подрастет ваш сын, и тогда я сам подыщу ему невесту из Галатепе!

— Ну, вы совсем помешались на своем Галатепе! — воскликнул Эркин. — Давайте о чем-нибудь другом, а?

— Что с нас возьмешь, Эркин, — засмеялся Хайбаров. — Галатепинцы — это, одним словом...

— Опять за свое!

— Ей-богу, я вам подыщу в невестки самую красивую девушку из Галатепе! — повторил Эломонов свое обещание. — Пусть у вас будет еще десять сыновей, Ташпулатджан, я всем им подыщу невест.

— Давайте, Саид-ака, выпьем за вас! — радостно откликнулся Ташпулат.

— Не-ет, только за вас! — горячо возразил Эломонов.

— За вас, Саид-ака, я сказал первый!

— У меня право старшего, Ташпулатджан!

Эркин, следивший за их забавным диалогом, разом разрешил спор:

— Давайте, галатепинцы, выпьем за меня — скромного букабулакца!

И они выпили. Эломонов протянул руку к вазе с красными яблоками, но разрезать их пожалел — уж больно красивы они были! — и закусил ломтиком лепешки. Эркин не стал даже закусывать, он лишь удовлетворенно крякнул и опустевшую бутылку пододвинул к Хайбарову. Тот опять позвал Замиру...

Домой Эломонов вернулся поздно. Несметря на протесты, Кулмухаммад довел его, держа под руки, до



самого лифта, помог зайти в кабину, нажал кнопку нужного этажа и помахал на прощанье. Двери лифта плавно сошлись, и он стал подниматься. Эломонов закрыл глаза, прислонился к стенке и вдруг почувствовал, что лифт замер.

— Что случилось? — раздался голос из микрофончика за его спиной.

— Извините... — пробормотал Эломонов, отпрянув от стенки. — Кажется, я нечаянно задел тут кнопку...

— Болван! — был ответ. — Уж полночь, а ты с лифтом играть вздумал. Меньше надо было пить!

— Да я самую малость...

— Отключить на часок?

— Пожалуйста, не надо...

— Кто такой будешь?

— Я — Эломонов...

— Э, простите, Саидмурад Замонович, — сказал голос, сразу смягчившись. — Я подумал, это кто-то из тех, кто шастает по ночам...

Эломонов нажал кнопку пятого этажа. Лифт с гулом устремился вверх.

Квартиру свою он открыть не смог — дверь оказалась закрытой на цепочку. Позвонил и долго стоял в ожидании. Наконец в щели заблестели очки Бинафшаханум.

— Простите, помешал вам работать...

Бинафшаханум сняла цепочку и молча отошла. Эломонов вошел и закрыл дверь на ключ. Снимая туфли, он нечаяно ударился головой о стену.

— Вы что, пьяны, Эломонов? — спросила Бинафшаханум, стоя на пороге кабинета.

Эломонов промолчал. Повесил пальто на вешалку, затем вытащил из кармана подаренную Хайбаровым книгу и протянул жене. Бинафшаханум взяла книгу, полистала...

— И это все? — сказала она разочарованно. — Такая тонюсенькая?

— Все, что есть. Я деньги предлагал, но Ташпулат их не взял.

— Смотри, какой капризный! — воскликнула Бинафшаханум. — Жалкий посредник, а еще нос воротит! Может, ему мало показалось? Сколько вы ему предлагали, десятку?

— Вы сперва хоть выслушайте, ханум, прежде чем осудить человека! — рассердился Эломонов. — Книга

эта принадлежит ему самому, но он не взял ни копейки, так отдал!

Бинафша-ханум была слегка сконфужена, но все же не сдалась:

— Так бы сразу и сказали!

— Но вы же не даете мне сказать!..

Эломонов в сердцах махнул рукой и прошел в спальню. Лег и вытянулся на кровати. Из комнаты до него донесся голос Бинафши-ханум:

— Есть вчерашний плов, согреть вам?

— Я сыт, если нетрудно, поставьте чай.

Минут через пять Бинафша-ханум вошла в комнату и присела на краешек постели.

— Выпили! — сказала она с упреком. — Умрете же, Эломонов!

Эломонов вздрогнул.

— Я бы с удовольствием, — сказал он. — Я бы умер, да боюсь, вы не станете меня оплакивать как следует.

— Напился, и еще какие-то претензии предъявляет! — проворчала Бинафша-ханум и отвернулась.

Эломонов взял ее за руку и повернул лицом к себе.

— Что мне делать? Скажите, ханум, что мне делать, чтобы вам угодить, черт возьми!

— Хоть бы постыдились!

— Кого стыдиться? Вас?

— Не меня, так людей! Да вас никто в грош не ставит, над вами издевается даже этот Пулатов. А ваш Кулмухаммад прямо как бог, на шофера не похож, вертит вами, как только хочет! Другой давно бы отказался от такого наглеца.

Эломонов резко сел на кровати.

— Довольно, ханум. С завтрашнего дня Кулмухаммад не будет приезжать. И вообще никто больше не будет сюда приезжать!

— И не надо вскакивать! Я вам не желаю зла.

— Оставьте меня в покое.

— Ого! — засмеялась Бинафша-ханум. — Знайте, Эломонов, я никогда не висела у вас на шее, в любую минуту можем развестись!

— Я согласен, дети теперь взрослые...

— Я догадывалась, что вы только этого и ждете! — закричала Бинафша-ханум. — Думали, дети подрастут и алименты можно будет не платить!

— Не бойтесь, ханум. Я вам буду выплачивать

алименты, пока детям не исполнится по сорок лет.

— Какой ужас! — взвилась Бинафша-ханум пуще прежнего. — Дура я, жизнь свою пустила на ветер! Из-за кого, спрашивается? Из-за вас, неверный вы человек!

— Не надо, — сказал Эломонов. — Пожалуйста, не превращайте дом в театр.

Бинафша-ханум зыркнула на него со злостью, но все же посерьезнела.

— Вам не удастся от меня легко отделаться, Эломонов! — заявила она. — Я знаю, куда обращаться, на вас быстро найдут управу!

— Не выйдет, — засмеялся вдруг Эломонов, почувствовав собственное превосходство. — Теперь у меня нечего отбирать, ханум. Подал заявление и уволился.

— Вот и прекрасно! Значит, есть правда на земле!

— И я считаю, что получилось прекрасно. Теперь я — агроном. Если даже дадут какой-нибудь пост, так только по этой части.

— Вот вам теперь дадут пост! — Бинафша-ханум показала ему кукиш.

— Поближе, ханум, — хрипло сказал Эломонов. — Что вы стесняетесь, могли бы сразу под нос, чего церемониться!

— Ссаид-а-ака... — голос Бинафши-ханум задрожал. — Я... нечаянно... Обидно ведь...:

Она не договорила — упала на пол от сильной пощечины. Придя в себя, увидела над собой разъяренное лицо мужа и тут же вся сжалась, ожидая пинка. Эломонову стало жаль ее. Бинафша-ханум, кажется, убедилась, что дело дальше одной пощечины не пойдет, перестала хныкать и закричала во весь голос:

— Бейте! Еще бейте! Чего меня жалеть, бейте! Злодей! На женщину руку поднял! Ведь и тебя женщина родила! Несчастный феодал, узурпатор!

— Вставай, попугай, хватит валяться, — Эломонов впервые в жизни назвал жену на «ты». — Да будет проклят день, когда судьба свела меня с тобой!

Он перешагнул через распластанное тело жены и сел на стул. Боязливо потрогал грудь — нет, вроде бы ничего, боли нет...

— Бессердечный!.. — опять запричитала Бинафша-ханум. — Вы меня не любили, никогда не любили!

Эломонов не ответил. Опять прислушался к сердцу

— оно по-прежнему билось сильно, учащенно, но... не болело.

— Как я несчастна! Вы всю жизнь обманывали меня! Прожила жизнь, так и не познав настоящей любви! Вы меня никогда не любили! Никогда!

Эломонову показалось, что голос жены доносится откуда-то из далекой дали. И сама Бинафша-ханум виделась вроде как уменьшенной во сто крат, будто была она куклой и будто вся эта комната представляла собой некий игрушечный ящик, в котором некто невидимый задумал странную игру...

— Любовь вам чужда! — продекламировала Бинафша-ханум. — Будем разводиться! Надо было это сделать раньше, пока была молодой, пока не растратила на вас все силы, красоту!

— Еще не поздно, — сказал Эломонов. — Ведь вы моложе меня на целых десять лет.

— Жалкий чинуша! — голос Бинафши-ханум обрел прежнюю твердость. — Раньше вы думали о своей карьере, потому и молчали! Теперь вам легче, теперь вы способны отказаться от собственных детей! Вы просто-напросто предатель! Вы никогда не были мне верны!

— Полно, ханум, я всегда был верен только вам, — ответил Эломонов. — Теперь мне обидно, что это было так.

— Ого! — рассмеялась Бинафша-ханум. — Кто же та женщина, обделенная вашей любовью, позвольте узнать? Может, я еще попрошу у нее прощения? Вы бы хоть сейчас не ввали, Эломонов! Если найдется на всем белом свете хоть одна женщина, которая полюбит вас, я назову себя другим именем!

— А вы давно уже назвали себя другим именем, Бинафша-ханум, — съязвил Эломонов. — Кажется, вас раньше звали Санобар?

Бинафша-ханум пропустила эту колкость мимо ушей.

— Ну а женщина... находилась в свое время. Сама Касымахон была ко мне равнодушна!

Жена его аж зашлась от ехидного хохота.

— Посмотрите на него, на такого... Касымахон...

Самоуверенность жены бесила Эломонова. А что, подумалось ему, если взять да поколотить ее по-настоящему. Испытание было столь велико, что он поторопился выйти из спальни. В ванной ополоснул лицо холодной водой, хотел вытереться, но, увидев новые поло-

тенца с изображением лебедей, усмехнулся — вспомнилась слова Кулмухаммада. Эломонов достал из кармана чистый платок и вытер им лицо. Сквозь шум льющейся из крана воды послышался ему истерический смех Бинафши-ханум:

— Мне-то что! Меня никто не станет винить! И дети будут на моей стороне! А вы уходите! Ступайте, навертывайте упущенное. Вот будет потеха на весь Оазис!..

Эломонов не спеша завинтил кран, прошел в кабинет. Плотно закрыв дверь, он включил свою старую лампу с бумажным колпаком и лег на низенькую кушетку рядом с письменным столом. Некрасиво получилось, подумал он, зря я приплел сюда еще и Касыму, всего-то и было, что виделись с ней один-единственный раз, лет двадцать назад, а то и больше, и кто тянул меня за язык? Нет ничего пакостней, чем развод под старость. А с другой стороны, может, это лучше, чем жить вот так, как мы, — вместе, да порознь. И потом... она права по-своему, люди наверняка скажут, что я трус — пока занимал посты, боялся разводиться. Вот бы сейчас иметь самый что ни на есть большой пост да отказаться от него вместе с женой в придачу! Ведь эта женщина ничуть не уважает меня, она так убеждена в моей ничтожности, что даже не допускает мысли, что я могу её изменить!

Эломонов вынул из кармана лекарство и бросил таблетку под язык. Его мысли опять вернулись к Касыме. А что, если бы я женился на ней? Тогда при желании я мог это сделать, тем более, что она недвусмысленно предлагала себя, ну взял бы ее такую, отрубил бы потом кое-какие концы и узаконил бы положение штампом о новом браке, этот поступок облагородил бы нас, обоих... И получился бы эдакий романтический Эломонов, который не побоялся (при его-то чине!) порвать с предрассудком, именуемым нелюбимой женой, обрел свободу и любовь, воспарил, как молодой орел, в безоблачные выси счастья!

Что до мужа Касымы, то о нем он даже не думал. Если о ком и думал, так о детях. Еще не стерлось из памяти, как быстро он позабыл тогда о собственной жене, будто та растворилась в образе Касымы, ведь они в чем-то были даже схожи... Осмелюсь тогда Эломонов на какой-либо серьезный шаг, наверняка победила бы Касыма, она была моложе, красивее... Эломонов сейчас очень верил, что получилось бы именно так, и вера эта,

подкрепленная обидой на жену, усиливалась с каждой минутой...

И вдруг он вспомнил, как Джабраилов, лучший искусствовед Оазиса, развелся с женой и женился на молоденькой художнице. Тогда его бывшая жена приходила жаловаться к Эломонову. И он пожалел несчастную женщину, пригласил к себе Джабраилова, был с ним весьма строг. Кто вам позволил издеваться над женой, жестко спросил искусствоведа, как вы посмели выгонять достойную женщину и жениться на молоденькой? Джабраилов, обычно такой кроткий, не выдержал, взорвался: а вам кто позволил лезть мне в душу, товарищ Эломонов, тем более, что я не имею партбилета? Если вам так жаль эту женщину, пожалуйста, отдаю ее вам, попробуйте пожить с ней хотя бы недельку! Эломонов удивился, неужто она такая плохая, чтобы не прожить с ней и одну недельку? Джабраилов горько усмехнулся: почему же, ведь я прожил с ней целых двадцать лет! Эломонов чуть смягчился: хорошо, вы с ней развелись, не смогли поладить, но как объясните то обстоятельство, что вы, будучи в возрасте, женились на невинной девушке? Джабраилов ответил: вы чуть преувеличиваете, товарищ Эломонов, не такая уж она девушка, успела побывать замужем, будьте же великодушны, позвольте мне с ней пожить, вдруг повезет, и я буду хоть немного счастлив, может, она и есть та самая женщина, которая предназначена мне судьбой!

Эломонов тяжело вздохнул. Все же плохо тогда обошлись с Джабраиловым, вlepили бедному выговор, но, слава богу, с ним ничего не случилось, все стерпел со стойкостью старого мерина (именно так и окрестила его тогда одна начальствующая особа) и живет себе спокойно со второй женой и тремя сыновьями. Теперь он ничуть не похож на того загнанного человека, художника, как жердь, обросшего, неряшливого, который был доставлен к Эломонову на прием, он раздобыл, живые глаза смотрят прямо и смело... Выходит, он нашел женщину, предназначенную ему судьбой?!

Открылась дверь кабинета. Эломонов услышал нежный аромат духов. Повернувшись, увидел жену в ночной рубашке с кружевами, с распущенными по плечам волосами. Она подошла и присела на краешек кушетки.

— Оставьте меня, — сказал Эломонов. — Завтра поговорим.

Но Бинафша-ханум и не собиралась уходить.

— У меня есть одно предложение, Саид-ака, — мягко сказала она. — Вижу, теперь нам не миновать развода. Хорошо, давайте разводиться, но не слишком афишируя все это, сами понимаете, разные есть люди...

Эломонов не ответил. Он понял, что это только, так сказать, затравка, главное же, видимо, последует за ним...

— Пусть эта комната остается за вами, — продолжала ворковать Бинафша-ханум. — Будете жить здесь. Думаю, и стол у нас будет общий. Разумеется, до того момента, пока Хурсаной замуж не выдадим. Я предлагаю пока не спешить с подачей заявления. Что вы на это скажете?

Эломонов опять не ответил.

— Если уйдете из дома, вам же самому хуже будет, — настаивала Бинафша-ханум. — Да сейчас вам и идти-то некуда. Нужен минимум год, чтобы привести в порядок домик, который вы унаследовали от тети.

— Его уже нет, — ответил Эломонов, — на его месте дорогу проложили... Вы просто долго не были в Галатепе, потому и не знаете...

— Вот видите, у вас просто нет другого выхода. И потом... я думаю, не к лицу вам возвращаться в Галатепе... Получается, что вы все потеряли — и работу, и семью, и дом. Понимаете, не с чем вам туда возвращаться! Подумайте, Эломонов... Почему вы молчите? Говорите же! Я... я не могу разводиться просто так, без веской причины! У меня свой авторитет, что обо мне подумают в народе?

Народ о тебе и не подумает, сказал про себя Эломонов, у народа есть заботы и поважнее тебя. Видишь ли, у нее авторитет, пускай авторитет и будет твоим мужем, а с меня довольно!

Бинафша-ханум с новым энтузиазмом принялась уговаривать, убеждать. Эломонов даже не шелохнулся, продолжал лежать молча, прислушиваясь к собственному сердцу. Лишь бы оно не сдало... Потерпи, молли он, не бейся так сильно, не стоит, потерпи, придут еще хорошие дни, может, и пригодишься!

— Неверный! Ведь я вас так сильно любила!

Эломонов, позабыв о сердце, удивленно посмотрел на жену. Та не выдержала, отвела глаза. Эломонов заметил, что губы ее ярко накрашены...

Он почувствовал, как сильно устал. Ушла бы поско-

рее, подумал он вяло, а мне бы... заснуть...: чтобы не проснуться... не видеть!

— Где моя любовь, где моя молодость! — продолжала вопрошать невидимую публику Бинафша-ханум. — Найдите мою любовь! Скажите, пусть ее мне найдут!

Эломонов не выдержал:

— Да можете вы хоть сейчас говорить человеческим языком!

— Все равно не поймете!

Бинафша-ханум заплакала. Эломонов не поверил в ее искренность, не поверил даже тогда, когда две горячие слезинки упали ему на лицо.

— Вы уже конченный человек, Саид-ака! Теперь вы ни о ком не думаете, ни обо мне, ни о своих детях! Разве я виновата в том, что вас сняли с работы! Налюбопытство клопам постель не сжигают!

— Ошибаетесь, не конченный я человек, — ответил Эломонов. — Моя жизнь только начинается!

— Все равно конченный! — зарыдала Бинафша-ханум. — Подумайте хотя бы о детях, Саид-ака! Давайте не разводиться. Хорошо, во всем виновата я, только я, это я не смогла вас оценить... Поймите, Саид-ака, не могу я теперь разводиться... у меня имя... обо мне пишут... Пожалуйста, умоляю вас, не коверкайте биографию!

Эломонов приподнялся, с интересом посмотрел на жену. Посмотрел и будто понял ту простую истину, которой страшился всю жизнь... Ошибся он, ошибся...

— Убирайся, Санобар! — прохрипел он. — Нет, ты давно уже на Санобар, та, кажется, была лучше! Убирайся, Бинафша, убирайся к чертовой матери, чтобы глаза мои тебя не видели!

Утром он проснулся от боли в сердце. Посмотрел на часы. Было ровно десять. Из кухни доносился звон посуды. Эломонов удивился: может, дочь вернулась с хлопком? Подумал это и обрадовался. Но тут же услышал звонкий голос Бинафши-ханум:

— Вставайте, папочка! Хватит нежиться!

Эломонов не ответил. Увидев зажженную лампу на столе, он вспомнил давнишнюю картину: тогда, студентом еще, он снимал крохотную комнатку у старушки



Адолат, была зима, а на столике горела эта самая лампа, было сыро и холодно, но ему казалось, что из-под ее бумажного колпака светило настящее солнце...

В дверях показалась Бинафша-ханум с новым полотенцем через плечо.

— Вставайте, — сказала она. — Идите умойтесь. Ну и дел вы натворили вчера, в полночь пришли пьяным и начали буянить, да так буянить! Если рассказать — сами не поверите!

Бинафша-ханум звонко рассмеялась.

— Я помню, — сказал Эломонов сквозь зубы. — Я все прекрасно помню.

Жена чуть смутилась, потупила взор и проговорила:

— Ну... с кем такого не бывает, папочка... Вы же у себя дома... А за книгу большое спасибо!

Она подошла поближе и бросила полотенце на спинку стула.

Эломонов только теперь заметил, какая она нарядная... в новом приталенном атласном платье, стройная, напудренно-напомаженная, у каждого уха по завитку—вылитая Касыма-ханум!

Эломонов чуть не застонал от обиды.

— Подойдите поближе, — сказал он жене. Видя, что та стоит в нерешительности, повысил голос: — Подойдите же!

Бинафша-ханум опасливо приблизилась.

— Нагните голову!

Бинафша-ханум послушно наклонилась. Эломонов протянул руку и растрепал ей прическу. Бинафша-ханум жалко улыбнулась, потерлась щекой о ладонь мужа...

Эломонов не решился убрать руку, лишь отвернулся — боль в сердце не отпускала.

Бинафша-ханум начала всхлипывать. Возможно, она ударилась бы в рев, но в это время в прихожей зазвонел телефон.

Бинафша-ханум вышла из кабинета и принесла аппарат, распутывая длинный шнур.

— Товарищ Мухаммад-Шокиров, — тихо сказала она.

Эломонов взял трубку из ее рук, приложил к уху.

— Здравствуйте, Саидмурад Замонович! — слы-

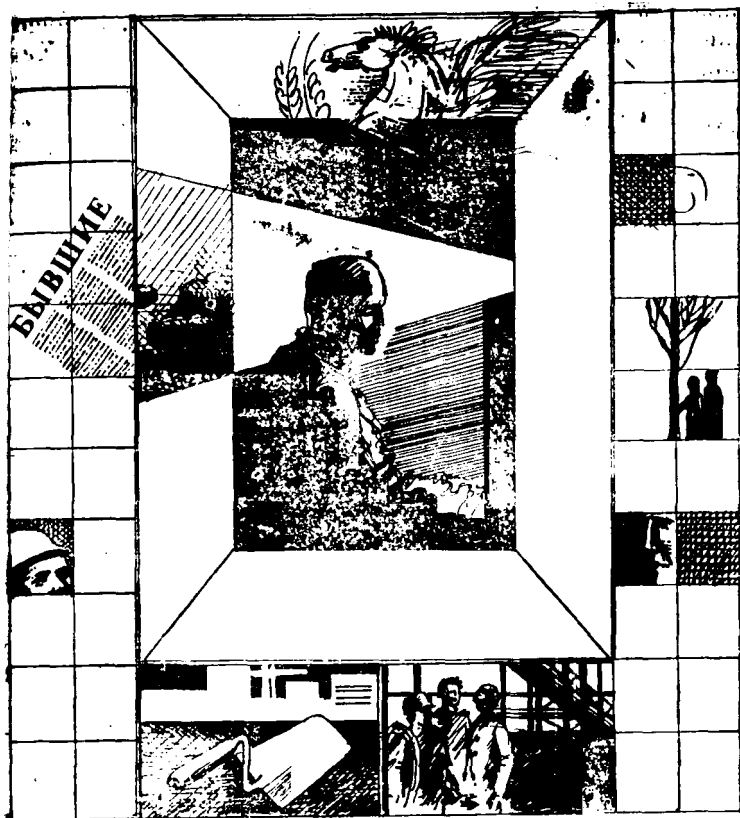
шался бодрый голос Мухаммад-Шокирова. — Нехорошо, Саидмурад Замонович, вы про нас совсем забыли! Как ваше самочувствие, как дома?

— Я вас слушаю, товарищ Мухаммад-Шокиров, — сухо откликнулся Эломонов. — Чем могу служить?

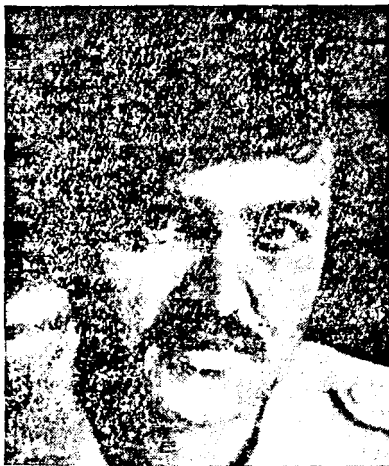
— Извините за беспокойство, Саидмурад Замонович, но товарищ Бакиров послал за вами машинну. Пожалуйста, приезжайте...

Эломонов молча положил трубку. Посмотрел на жену.

Бинафша-ханум, словно ничего не замечая, тщательно начищала висевший на спинке стула парадный его костюм...



*Хайриддин Султанов*  
В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ



Хайриддин Султанов родился в 1956 году.

Закончив Ташкентский университет, работал в редакциях республиканских журналов и издательств.

Х. Султанов — автор сборников повестей и рассказов «Солнце светит всем» (1980), «Сказки одного вечера» (1983), «Земля моей матери» (1987).

В переводе Х. Султанова изданы на узбекском языке произведения В. Шукшина (совместно с У. Хашимовым), Ю. Нагибина, А. Сент-Экзюпери, А. Якубана, С. Цвигуна.

Участник VIII Всесоюзного совещания молодых писателей в 1983 году.

За сборник «Сказки одного вечера» Х. Султанов удостоен в 1986 году премии Ленинского комсомола Узбекистана.

## Памяти Батыра Закирова

Происходило это в один из примечательных дней...

Правда, день этот мало чем отличался от других: холод, слякоть, на дорогах огромные лужи, «Пахтакор» скатился в первую лигу... И все же это был замечательный день: люди торопились по своим делам, над площадями порхали стаи голубей, магазины, зазывая прохожих яркими витринами, услужливо распахивали свои двери, по радио Муножот Юльчиева, пленяя душу, пела «Муножот», влюбленные, спрятавшись под яркими зонтиками, гуляли по намокшим бульварам.

Словом, происходило это в один из таких дней...

Уже под вечер к администратору гостиницы «Семург» обратился приехавший из далекого горного кишлака мужчина лет сорока и, как водится в подобных ситуациях, вкрадчиво спросил:

— У вас места есть?

На что администратор, как всегда, равнодушно ответила:

— Мест нет.

— Почему?— риторически произнес гость, как бывает, чуточку растерявшись.

— Потому, что их нет,— как обычно, без тени сомнения заявила администратор.

— Странно! А почему их постоянно не бывает?— скорее задумчиво, чем назойливо, произнес гость.

— Вы что, с луны свалились?— не терпящим возражений тоном отрезала администратор, дав понять, что продолжать разговор бесполезно.

На том гостю следовало бы, как водится, молча удалиться или же прибегнуть к испытанному способу. Но поскольку событие это происходило в один из замечательных дней, все обернулось иначе: гость не ушел, а, наоборот, неторопливо снял с головы кожаную шляпу, примостил ее на выступ окошка и уверенно прива-

лился к барьеру, разделявшему зал на хозяев и гостей, чем несколько обескуражил администратора.

— Если бы было, с удовольствием, но у нас все места заняты, так что... не теряйте зря времени,— стараясь быть вежливой, произнесла та.

Гость, хоть и не выглядел нахалом, однако же сдавать своих позиций не собирался.

— Сегодня я должен ночевать именно здесь!— не шлохнувшись, произнес он.

Столь необычное поведение «просителя» поколебало администратора — она подняла телефонную трубку. Через минуту-другую, тихо перемолвившись о чем-то с невидимым «арбитром», она с выражением незыблемости своей правоты, а потому и чуть ли не с удовольствием, сообщила:

— К сожалению, мест нет!

— И все же для меня у вас оно должно найтись,— взглянул на нее уверенно гость.

Администратор недовольно сдвинула бровки.

— Это почему же? У вас что — бронь? Или вы инвалид войны? А может, депутат? Или, скажем, Герой Труда?— насмешливо произнесла она.

— Нет,— отрицательно качнул головой проситель,— но я должен остановиться именно здесь.

На этом переговоры прекратились. Гость, не меняя прежнего положения, продолжал стоять, опершись о барьер, администратор с непроницаемым видом продолжала что-то писать.

Молчанье длилось довольно долго. Казалось, оба испытывают терпение друг друга. Наконец администраторша вскинула на него вопрошающие, подведенные сурьмой глаза. Недовольная гримаса исказила ее алые губы, отчего она вдруг показалась увядающей.

— Так и будем стоять?— начальственно спросила она.

— Да, пока не предоставите мне место,— непреклонно ответил гость.

— Послушайте, вы,— процедила сквозь жемчужные зубки юная администраторша, не в силах далее скрывать своего раздражения,— где прикажете взять вам место, если его нет?! Идите и не мешайте мне работать, иначе позову сейчас милиционера!

— Не стоит,— произнес гость.— Мы сами себе милиция.

На мгновение девушка смутилась.

— Давайте ваш паспорт,— бросила она, вынимая из ящика стола какую-то бумагу.— И удостоверение тоже.

Гость неспешно протянул ей свои документы. Администраторша внимательно осмотрела их и опять вскипела:

— Что вы мне голову морочите? Нечего меня разыгрывать!

— В чем дело?— произнес гость невозмутимо.

— Вы что, меня за дурочку принимаете? Тоже мне «милиционер» из семейства инженеров. Видали мы таких!

— Но такого, как я, уверен, еще не видели.

— Совершенно верно! Такого наглеца встречаю впервые,— сказала администраторша, взметнув нахмуренные бровки.

Гость усмехнулся.

— Ну ладно, шутки в сторону,— сказал он, беря шляпу.— Так и быть, откроюсь, а вы мне за это дадите номер, договорились? Дело в том, что гостиницу эту строил я.

В глазах девушки мелькнули заинтересованные огоньки:

— Даже так! И когда же это вы строили... вашу гостиницу?

— Семнадцать лет назад,— спокойно произнес гость.

Администраторша, будто оказывая ему снисхождение, милостиво улыбнулась. Уж лучше бы она вообще не улыбалась. Куда предпочтительней был ее прежний недовольный вид, ибо она тут же не замедлила съязвить:

— Может быть, медресе Кукельдаш тоже вы строили?

— Нет,— сказал он.— Я, к сожалению, не знаю, кто его строил. Может быть, вы знаете?

Она высокомерно скривила губы:

— Как же не знать. Черным по белому написано: в XV веке построено Кукельдашем.

— Кем?

— Кукельдашем, был такой визирь.

— Ах, вон оно что...— гость устало вздохнул.— Значит, визирь Кукельдаш, говорите, построил,— он усмехнулся.— Небось сам он не месил глину, засучив штаны, не клал кирпичи, обливаясь потом, а?

Администраторше не понравилось это схищство. Ей

больше была по душе не чужая ирония, а собственные насмешки над другими.

— Не знаю,— произнесла она сухо и положила документы гостя на выступ окошка.— Ну, что ж, уважаемый зодчий, всего вам хорошего, идите.

— На какой этаж?

— Что значит на какой этаж?!

— Но я же вам сказал, мне нужен номер...

— Я вам тоже объяснила: мест у нас нет!

В другое время в подобной ситуации непременно вышел бы скандал, который безусловно закончился бы победой администратора. Но поскольку событие это происходило в один из замечательных дней, все сложилось иначе.

— Послушайте,— сказал гость, перегнувшись через барьер.— Между прочим, вот этот зал, в котором вы восседаете, штукатурил я. Вот этими руками. Эти дубовые двери перетаскивал на собственных плечах. Понятно вам?

— Ну и что?

— Понятно или нет?

— Поднимитесь на третий этаж, в тридцать девятый,— повелительно сказала она и тихо добавила:— Не зря говорят, нахальство — второе счастье.

Гость надел шляпу, приподнял стоявший у ног чемодан и исподлобья взглянул на девушку.

— Вы правы, в наши дни нахальство, действительно, кое для кого оборачивается счастьем. Но эту гостиницу и вправду строил я, пусть эти стены расскажут, если умеют говорить.

Не оглядываясь, гость зашагал к лифту.

«К сожалению, стены не умеют говорить, уважаемая сестрица. Иначе они тебе такую правду выложили бы, что ты, вероятно, от удивления схватилась бы за воротник. Если бы они умели говорить, то рассказали бы, чей труд, чья частица жизни оставлены под тем или иным кирпичом.

И это прекрасно, уважаемая сестрица, что стены не умеют говорить. Иначе они разгласили бы такие тайны-секреты, что ты от стыда, возможно, провалилась бы сквозь землю... Какие тайны-секреты, спрашиваешь? О, об этом лучше не говорить, пусть тайны останутся тайнами, а стены стенами — вечно немymi, вечно глухими,



Человеку, знаешь ли, обидно, что век бездушного строения гораздо продолжительней его собственной жизни. Человеческая плоть со временем, увы, рассыпается в прах, а венец его труда не умирает! И хоть эта истина неоспорима, а все же, все же... Разве тебе, уважаемая сестрица, не было бы больно: уйди ты из жизни, а твое любимое кресло, на котором ты сейчас сидишь, продолжало бы стоять, и в нем восседала бы уже другая, может быть, и повежливей тебя девица.

Обидно, ох как обидно!

Если хочешь знать, уважаемая сестрица, эти сады, эти скверы, эти фонтаны воздвигали, строили не кукельдаши. Они только «строили» из себя великих.

А это величественное здание строили мы — бывшие солдаты, безусые юноши и хрупкие девушки, приехавшие в поисках счастья в Ташкент из далеких Яйпана и Термеза, Джалалабада и Андижана, Ташауза и Джамбула, пожилые мастера, головы которых поседели не в тиши уютных спален, а в пыли и грохоте строек.

Строили, порой споря и ругаясь, и все же оставаясь братьями и сестрами... И хочется знать, где они сейчас? Живы ли, здоровы ли? Не изменила ли им жизнь? У Ильяса-ака часто болел желудок — избавился ли он от недуга? У Акбара была голубая мечта накопить денег, чтобы съездить в Индию, повидать Раджа Капура и сфотографироваться с ним, сбылась ли его мечта? У штукатура Клавы муж — лейтенант — погиб в двадцать шесть лет, единственную дочь она хотела видеть только художницей, исполнилось ли ее желание? А остальные, что с ними? Как сложились их судьбы? Жив ли еще Абу-Гроза? Благодарю судьбу, уважаемая сестрица, что ты сегодня нарвалась на меня, а не на него... Кто знает об остальных? Может быть, ты знаешь о них, уважаемая сестрица? Возможно, и Шакир и Муштари нашли свое счастье? Мир тесен, а вдруг один из них твой сосед по дому...

Как бы там ни было, я благодарен тебе, сестрица. За то, что ты все-таки приютила меня. А могла бы и выставить за дверь. И в этом не было бы ничего несправедливого: мало ли у нас симпозиумов, семинаров, конференций, да и просто наезжает туристов. И все же я должен был провести хоть ночь в том здании, которое я возводил, с которым вместе рос, потому что, простившись с ним, я распрощался со своей юностью. Ты усмехнулась: «Ваша гостиница...» Что ж, молодости

даже злая ухмылка к лицу. А мне только приходится повторять, что былого не вернешь, и сожалеть о том, что чужую молодость, увы, напрокат не взять.

Ты могла бы сказать: «Подумаешь, строил, небось не задаром». Но не сказала. За это тоже спасибо.

Я должен много вспомнить, много обдумать, уважаемая сестрица, поэтому был так настырен. Нет, я не из тех, кто может пропасть в чужом городе. Вон, в двух шагах отсюда, в просторной квартире живет мой племянник. Стоит только ему прослышать, что я здесь, тут же прибежит, да еще три дня дуться будет, что не к нему пожаловал. И все же... Эх, сестренка, где тебе понять, как обидно бывает человеку, когда ему отказывают в крове. Ведь, если задуматься, все мы, в сущности, в этом мире гости. Как сказал бессмертный Хафиз: «Мир похож на дворец с двумя воротами, каждый день в нем новый гость». А мне, сестрица, получается, пришла пора покинуть этот дворец, выходит, отгостил я в нем, вышел мой срок. Сюда я шел с последней надеждой. Если и здесь...

В этом городе мне приходилось бывать не раз в течение семнадцати лет: застолья со множеством желанных и нежеланных людей, долгими нужными и ненужными разговорами — как табачный дым растворились мои дни, как вихрь промчались драгоценные минуты, как соломой по ветру развеял я свое время, будто жить мне было дано вечно; бывало, неделями обивал пороги кабинетов ради одной-единственной подписи начальства, а вырваться сюда, где оставил когда-то кусочки своего сердца, отринуть суету, вспомнить друзей, так и не смог.

Вот и настал час, пришло свободное время, которого теперь вдоволь, так много, что не приведи никому обрести такую его бесконечность...»

Он наскоро разложил свои вещи в шкафу и направился в ванную. Стоя в блаженстве с закрытыми глазами под теплой струей воды, он вспоминал свою молодость, Кудрата... Во дворе этой гостиницы, вон в том углу, среди щебня и пыли, стоял летний душ, обнесенный толем. После смены все устремлялись туда. Он раньше всех забирался в него и не хотел выходить из-под воды. Кудрат то и дело нетерпеливо дергал шаткую дверцу: «Эй, Султан! Куксултан — зеленая слива! Выйдешь или нет, давай быстрее, хватит, ты уже весь зе-

ленный, смотри, совсем окочуришься!» И, не дождавшись ответа, насмешничал в ином тоне: «Ну и бедуин ты сахарский, дорвался до воды и рад. Неводом, что ли, прикажешь тебя тащить оттуда. Небось и Азраила<sup>1</sup> к черту пошлешь, если вдруг ему вздумается сейчас прийти за твоей жизнью, скажешь: «Подожди, уважаемый, дай искупаться!»— «А как же!— не терялся Султан,— туда никогда не мешает чистеньким являться. Еще неизвестно, в каком состоянии водоканал в чистилище. Если и там такие же халтурщики, как ты, работают, то уж точно, от грехов не очиститься...»

Ладно бы в летние дни, даже в стужу он плескался в ледяной воде, раздевшись по пояс, и, не просушив черные курчавые волосы, с непокрытой головой, нараспашку отправлялся на свой Катартал, в общежитие.

Как-то раз, в одну из очередных «водных процедур», когда окунал голову в ледяную воду, он попался на глаза сторожу, который страшно переполошился: «Что ты делаешь, глупый мальчишка, эдак недолго и головы лишиться!» И, заметив его беспечную улыбку, бросился в свою каморку и спешно вынес оттуда разъединную молью старую цигейковую шапку: «На, надень это на голову, чего свою-то не купишь? Денег, что ли нет?» На что Султан весело рассмеялся: «Да не стоит она того, дед, работает неважно...» Шутка обидела старика: «Вижу, деньги у тебя есть, а вот ума ты действительно еще не нажил!»— в сердцах он махнул рукой.

Прав был старик, не доходил он тогда до многого своим умом. И только ли тогда? А потом, много позже? Пристало ли умному человеку так ошибаться? Так опрометчиво поступать? Плыть, что называется, по течению?..

Печально, бесцельно глядя из окна во двор, он вдруг почувствовал, что жизнь его стала похожа на скучный роман, что мысли его скользят по избитым, серым, бессмысленным строкам. Что ж, надоевшую книгу можно захлопнуть на любой странице, а вот с книгой собственной жизни так не поступишь... Плохо ли, хорошо ли легко ли, тяжело ли — все в ней дорого, все в ней близко сердцу!

До этого дня его заботы и стремления имели какой

---

<sup>1</sup> Азраил — ангел смерти.

то глубокий смысл, который он, быть может, и не осознавал, а если и осознавал, то не придавал тому значения.

Повседневная беготня — начиная с пиалы чая, выпитой утром на бегу, до бурных собраний в управлении, просьб и угроз на участке, открытых и затаенных обид сослуживцев, домочадцев — все это была его жизнь, ее милые сердцу страницы. И на тебе: он остался вдруг без привычных забот, напряжения, дум. Сердце вдруг опустело, в нем теперь властвуют лишь тревога и боль. О чем бы он ни размышлял, все помыслы неизбежно возвращаются к этой несносной болезни.

Жить не думая, к сожалению, невозможно, но какие, оказывается, муки и страдания способны порой причинять мысли. Человеку можно приказать не веселиться, не смеяться, не плакать, и он, если захочет, справится с этим, однако запретить ему думать невозможно...

Любая пустячная вещь теперь заново пробуждает в его сердце почти забытые воспоминания, хотя чаще всего большинство из этих событий совершенно не бывают причастны к его теперешнему душевному состоянию; почему-то он думает, что на свете все взаимосвязано, иначе зачем все это вспоминает: безусловно, есть взаимосвязь, оттого они его и мучают, только не знает он, что это за таинство... Порой закрадывается сомнение: а не сходит ли он с ума, и тогда начинает раскалываться голова, в такие минуты хочется поскорее кого-то увидеть, пусть даже врага, лишь бы услышать чей-то голос.

Вот уже второй год он пребывает в таком состоянии, не находя себе места — с тех пор, как выписался из областной больницы. Совершенно иной смысл улавливает теперь в случайных разговорах, словах, услышанных где-то или прочитанных в стихах или рассказах. Помнится, однажды в палате он был, так же как сейчас, один, на подушке лежал транзистор, вдруг известный поэт начал читать свои стихи:

Ты будешь долго жить...

Твой вешний луг

Вовсю кружит веселых жеребят.

А мой скакун уже оседлан, друг.

Он ждет — чтоб отвезти меня назад<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Стихи А. Арипова, перевод И. Бяльского,

Ему показалось, что существо его рассыпалось, как ртуть; припав головой к стене, он беззвучно заплакал... Это было невероятно: грустные строки, казалось, усугубляют его болезнь, и в то же время они доставляют его душе какое-то щемящее, светлое страдание. И это страдание возвышает его, утешает, обещает чье-то участие взамен его бесконечным мучениям. Когда он пришел в себя, в палате было темно, за окнами горели фонари, в коридоре топот, голоса, смех — обычная больничная суета. Вздохнув всей грудью, он печально повторил: «Ты долго будешь жить, дольше всех...» Но докончить куплет так и не смог, вновь уткнулся в подушку.

Немалые надежды он возлагал на будущее! Пройдя через жизненные тяготы, трудясь день и ночь, как пчела, не поддаваясь ни отчаянию, ни соблазнам, он только-только встал было на ноги, зажил по-людски, и на тебе — судьба вынесла приговор, и он не мог понять, за какие грехи страдает, потому что, если и делал в жизни зло или добро, то не больше и не меньше других.

И мучила одна мысль — о смысле жизни, так и не разгаданная им: вот он пришел и скоро уйдет из жизни, прожив нелегко и недолго, и это — все, и на этом конец?

Нет, так не должно быть, не должно быть, это несправедливо, а если это так, то, значит, на свете не осталось ни капли правды! Подобные мысли преследовали и мучали его неотступно.

А впереди была ночь, бессонная, тяжелая, еще одна страшная ночь...

Днем еще кое-как можно выдержать: встретишься с одним, другим, перекинешься парой слов, и светлее на душе становится, спадает тяжесть с сердца, но ночью... Ночь — владения Азраила.

Чтобы избавиться от надвигающейся тоски, он вытащил из чемодана брошенные туда на всякий случай книги. Улегшись на кровать, принялся листать их, но через некоторое время в унынии отложил в сторону. Как назло, все книги были о страданиях, нескончаемости людских переживаний, бесконечности человеческой стойкости.

Но он уже давно познал предел человеческого терпения, поэтому его более не занимали горести похожих на него людей, встающих со страниц этих книг...

Он протянул руку к радиоприемнику. Сумеречную

комнату заполнили нежные, как крылья бабочки, звуки симфонической музыки. Когда она смолкла, раздался голос диктора: «А теперь предлагаем вашему вниманию песню «Веселая девчонка». Музыка народная. В обработке Джуры Хабибова». От этих слов диктора он поморщился, как от кислой ягоды: «В обработке?! В какой? Для кого? Ну и ну! Неужто этот композитор мудрее народа, чтобы обрабатывать...»

И в то же мгновение он поймал себя на том, что становится мелочным, придирчивым пессимистом...

\* \* \*

Всю ночь моросил дождь, дул пронизывающий ветер. Проснулся он от холода.

На улице редкий снег пестрым одеялом ложился на землю и, не успевая выбелить ее всю, тут же таял. Султана опять охватило уныние: «Вот и снег выпал,— подумалось ему,— раньше ты мог и не заметить первый снег, а если и замечал, то тебя это не трогало, а теперь даже этот унылый пейзаж чуть ли не слезы на глазах вызывает,— кто знает, придется ли вновь увидеть весну...» От этой мысли он вовсе затосковал, вспомнились друзья, близкие, те, кто ушел из жизни. И вдруг ему захотелось еще, быть может в последний раз, посмотреть на этот древний, но юный город, увидеть его бульвары и улочки, залитые солнцем площади и тенистые скверы, где прошли дни его молодости, часть плохой ли, хорошей ли, но его жизни; еще раз взглянуть на его людей — беспечных и энергичных, полной грудью вдохнуть его настоящий на солнце и пыли воздух, побывать в близких сердцу уголках и мысленно попрощаться с ними. Возможно, в ту самую минуту он думал не так книжно, но то, что именно такие мысли посетили его, было бесспорно, потому что человек остается человеком, и в трудные минуты ему свойственно искать целительное пристанище, жаждать успокоительных слов, ждать чуда во всяком утешении.

Он открыл шкаф. На вешалке одиноко висел его пиджак. Неожиданно вспомнилась Зумрад: каждый раз, открывая шкаф в спальне, он видел вещи жены, беззаботно брошенные поверх его одежды. Странно, почему она это делала — с умыслом или без умысла — неизвестно, но почти всегда он натыкался взглядом на какое-нибудь платье, свисающее с плеч его пиджака,

отчего ему каждый раз становилось не по себе. Зумрад, Зумрад, ни о чем ты не ведаешь, ни о чем не догадываешься...

Из института нейрохирургии он вышел совсем расстроенным: ему сказали, что профессор Насимов отбыл за границу на международный конгресс... Этот человек был для него последней надеждой, его легендарная слава казалась Султану залогом того, что все еще поправимо. Принявший Султана молодой, но уже с заметным брюшком заведующий отделением велел оставить документы и сдать анализы, а посмотрит, мол, его доцент Абдураимова. Оттого, что с первого дня не повезло, он окончательно скис.

Троллейбус, как хворый старик, тащился в сторону старого города.

Старый город..! Базар...

Здесь ничего не изменилось. Как и пятнадцать лет назад он привлекает своим неповторимым, пестрым великолепием! Всюду кипит жизнь — всюду ее торжество; до самого неба поднимается разноголосый, разноязыкий гомон, на прилавках — дары райских кущ; задумчивые, неторопливые старики, бойкие, шустрые старухи и бесконечная душещипательная индийская музыка... В старых и новых торговых рядах под яркими навесами полноводной рекой кипят страсти, рядом соседствуют простота и жульничество, скупость и щедрость, тонкая любезность и ухарство...

Купив у усатой старухи бумажный пакет, он набрал горячих лепешек, жареных фисташек, изюма, халвы...

Обогнув рыночный забор, свернул влево, в средневековый глухой проулок с шербатыми стенами и ухабистой дорогой. Ничего не переменилось и здесь, каждый поворот, каждая колдобина обжигают память своими знакомыми очертаниями. И все же здесь что-то не так. Древние мудрецы говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. А на одну улицу? В этом малолюдном, укромном уголке он распрощался со своей молодостью. Вот здесь, на повороте, в пристройке с окошком на улицу горбатый старик, летом и зимой не вынимая ног из сандала, торговал семечками, куртом, земляными орехами, которые были аккуратно разложены в белые бязевые мешочки и выставлены на обозрение, а в нишах вдоль стен стопками лежали сигареты... Старик непрерывно покачивал седой, не в меру крупной грушевид-

ной головой, и было не понять, одобряет или отрицает он твои слова. Вон в том углу размещался крохотный дощатый лоток, где они с Кудратом в жаркие летние вечера покупали сухое вино. Чуть дальше скалой выступал сложенный из древнего квадратного кирпича старинный дом с балаханой, некогда считавшийся одним из лучших строений города. В него уходили как-то полутемные, загадочные дорожки, массивные резные ворота бывали всегда заперты и поэтому придавали дому угрюмый вид, хотя на верхнем этаже его осиным гнездом располагалось шумное почтовое отделение. Султан иногда втискивался в этот людской рой, чтобы подать родным короткую, как кашель ягненка, весточку о том, что он жив. Рядом все тот же арык, все так же из него стекает на тротуар мутная вода.

И, наконец, в самом конце проулка, тот самый близкий сердцу уголок — домик Матушки.

Имени Матушки никто не знал. Сама она никогда никому не представлялась. Для всех — соседей, дальних родственников, многочисленных обитателей, устраивавших свое временное гнездо в ее доме, — она была просто Матушкой.

Матушка была самым наивным человеком на свете. У этой беспокойной, вечно озабоченной женщины глаза были постоянно на мокром месте. Детей у нее было целый подол, но Султан знал только дочь Халнису, изредка появлявшуюся с мужем — бухарцем Маматкулом, и сына Бакира, разбитого параличом, прикованного к постели.

Бакиру всегда было плохо. Каждое утро, вытирая широким рукавом платья свои нескончаемые слезы, Матушка объявляла, что Бакир сегодня совсем плох, но проходили дни, недели, месяцы, а он все продолжал лежать. Иногда в сумерках или в полночь у калитки появлялась «скорая» и увозила Бакира. На следующий день Матушка в сопровождении Султана или кого-нибудь еще отправлялась автобусом в другой конец города — в больницу, везя в стеклянной банке уже остывший куриный бульон.

Султану было нескончаемо жаль Матушку, но еще больше он жалел Бакира, которому не исполнилось еще и сорока, а жизнь уже во всем обделила его. Мог ли тогда Султан предполагать, что в один прекрасный день и он попадет в схожую беду...

Бакира уложили в постель проклятия отца, и стра-



дал он, как говорили, по заслугам — его доконала выпивка. А напивался он до потери человеческого облика, вот и довел старика до проклятий, которые и возымели свою силу. «А дело было так — рассказывала не раз старуха, безутешно плача. — Однажды он напился, как свинья; старик, царство ему небесное, разгневался и стал поносить его на чем свет стоит. Так этот несчастный спустил брюки и, повернувшись к шестидесятилетнему отцу, закричал: «Что тебе надо? На, отрежь, если сможешь!» — и расхохотался. Отец весь передернулся, задрожал, стал кричать пуще прежнего, что у него больше нет сына, чтобы такому сыну ни на этом, ни на том свете сладко не жилось и на следующий день слег. А через неделю из этого дома вынесли его тело...»

Матушка проливала по мужу горькие слезы, но без Бакира и минуты прожить не могла.

Все четыре года — с тех пор, как Бакира разбил паралич и он больше не вставал с постели — руки Матушки заменяли все — служили и метлой и веером, сердце же ее, хоть и обливалось кровью, тоже было отдано Бакиру.

Ее старший сын Касымджан работал проводником, два года назад, на какой-то станции в России попался на спекуляции и получил два года. Старуха, поверяя свои несчастья Султану, повторяла плача: «Что же у меня за доля такая, дети есть, а радости от них никакой...»

Возвращаясь с лекций, Султан порой становился свидетелем очередного скандала: Халниса с Маматкулом в крайнем возбуждении уговаривали Матушку переехать к ним на Карасу в их панельный, многоэтажный дом, где у них была трехкомнатная квартира. Матушка же была непреклонна. «Что станет без меня с Бакиром?» — противилась она. Халниса, выходя из себя окончательно, срывалась на фальцет и уже бесцеремонно напускалась на мать: «Если не думаете о себе, то хоть нас пожалейте. Мне стыдно перед людьми, что вы так живете! И все из-за него. Что, забыли уже, как он измывался над вами, пакости вытворял. Да отдайте вы его в дом инвалидов!»

Но Матушка была прежде всего матерью, она не могла думать о себе.

Халниса не простила Бакиру прошлого, даже после смерти не пожалела его, не проронила по нему ни одной слезинки — для нее брат умер, еще будучи живым.

Султан прожил у Матушки три года. В этом доме находилось и место, и теплое слово не только для него, но и для его гостей из кишлака, будь то братья, сестры или очередные племянники, приезжавшие поступать в институт, многочисленные дяди и тети, приезжавшие в столицу за покупками. Никто не мыкался по гостиницам, не шел в общежитие, все находили приют у Матушки.

Кто бы к ней ни постучался, будь то днем или ночью, она старалась приветить гостя: «Проходи, дорогуша, располагайся, сейчас я чай заварю»,— и выставляла на дастархан припасенные для гостей сладости. И речь у нее была по-восточному обходительная, простая и незатейливая, без новых словечек, которых так много теперь в разговоре горожан. Кудрат быстро перенял ее обороты и до конца учебы в самые критические минуты прибегал к ним: «Ах, дорогуша, не сбегаешь ли мигом на базар, не купишь ли чего-нибудь поесть, а то у меня совсем желудок свело, а в кармане ни копейки!»

В конце зимы, на второй год их пребывания у Матушки, страданиями Бакира наступил конец. Бакиру долго пришлось мучиться за свои тяжкие провинности, оно понятно, а вот Султану за какие грехи перепало?..

Что там говорить, все мы, осуждая ближнего, считаем себя едва ли не ангелами. Но если покопаться, у каждого найдутся большие или малые ошибки, известные или утаенные, ничего не стоящие или несмываемые грехи, к которым, будь они у других, мы отнеслись бы с осуждением, а в нас самих мы их чуть ли не лелеем, потому что всегда своя рубашка — ближе к телу!.. Да мало ли и у Султана грехов? Взять хотя бы случай с обманом Матушки. Разве он не виноват перед этой доверчивой, несчастной женщиной, ставшей ему чуть ли не матерью. Среди бела дня он обвел ее вокруг пальца! Стоит только вспомнить об этом мерзком поступке, как муторно становится на душе.

То было время, когда он однажды, съездив в кишлак, почему-то сильно поссорился с Зумрад, и белый свет стал ему не мил... В один из таких вечеров он не выдержал и привел к Матушке красавицу с раскосыми глазами, с которой познакомился на остановке: «Вот ваша невестка, а моя жена, приехала из кишлака»,— представил он ее старухе, не моргнув глазом. У той, как всегда, навернулись слезы на глазах, она с чувст-

вом прижала девицу к груди, что-то молитвенно зашептала, поцеловала ее в лоб, затем извинилась, что не смогла по случаю траура побывать у них на свадьбе, и неожиданно вспомнила, что ей необходимо срочно съездить к Халнисе. Тут же засобиравшись и, вручив ему ключ от своей комнаты, ушла...

Прошло столько лет, и лишь теперь, когда он волей судьбы, как говорится, ударился головой о камень, когда на него свалилась такая напасть, он вспомнил о своем позорном поступке и решил покаяться... Но не опоздал ли он? Ведь с тех пор миновало время, равное жизни юноши, а он так и не удосужился ни разу проведать этот дом и его горемычную хозяйку! Жива ли она? Если жива... как он все это расскажет? Простит ли она? Простит ли по-настоящему? И легче ли ему станет от этого прощения?

Решительность его рассеялась, как дым, он понуро остановился у ветхой калитки. Очевидно, прошло немало времени, так как прохожие стали оглядываться на него. Скрепя сердце он протянул руку к звонку.

За дувалом раздался лай, послышались звон цепи, легкие шаги, и женский голос прикрикнул: «Замолчи!» Наконец стукнула щеколда и приоткрылась створка двери. Показалась круглолицая женщина в плюшевом халате.

— Вам кого?

Он смущенно пробормотал слова приветствия и пересохшим от волнения голосом произнес:

— Дома ли Матушка?

— Какая Матушка?— удивленно вскинула брови хозяйка.

«Ну вот! Она ее не знает!»

— Это дом Бакира-ака? — спросил гость, совсем растерявшись.

— Нет,— покачала головой женщина, оглядывая его с ног до головы.— Кто вам нужен?

— Матушка...

— Какая Матушка?

Черт побери! Как же ей это объяснить?

— Я одно время жил здесь, у одной почтенной старушки...— все же решился Султан.

— Как ее звали?

— Звали... Я не знаю ее имени.

— Никакая старуха здесь не живет,— сказала женщина и захлопнула дверь прямо перед его носом.

Кончено! Не везет ему сегодня! Что же теперь делать? У кого о ней спросить? Да и найдет ли он ее?

В задумчивости он дошел до начала улочки и... вернулся назад. Тихонько толкнул соседнюю калитку. Знакомый старик с кувшином в руке выходил из дома. Увидев Султана, подошел к калитке.

Оказалось, Матушка умерла пять лет назад. Касымджан, вернувшись после окончания срока, продал дом. Но с тех пор постоянного хозяина в доме нет, дом перепродавали раза три. Нет, он не знает, где живет Халниса, был слух, что они переехали на родину мужа, в Бухару, кажется. Нет, нет, Касымджан потом больше не появлялся. Да, старуху похоронили на кладбище Минар. Вот такие дела...

Расстроившись, Султан скоро распрощался со стариком и поспешил уйти.

Ночью ему приснилась тетушка Орзу. Будто по-прежнему она лежит на айване в своем огромном дворе, уставившись на застреху дома, где свили гнездо ласточки. «Напои моих баранов,— умоляла она,— они уже два дня ничего не пили...»— «Сколько вы мне за это дадите?»— спросил он. Тетушка Орзу, с трудом перевернувшись на бок, достала из-под одеяла завязанный по углам в узелки платочек, вынула оттуда несколько медных монет. «Дайте мне серебряных!— отказывался он от медяков,— А то сейчас уйду...»

Он проснулся. Было половина четвертого. Больше он не заснул. Странно! Тетушка Орзу... Это была старуха, что одиноко жила по соседству в кишлаке. Говорили, что сын ее не вернулся с войны. У нее был огромный двор, где росли два тутовника, да бродила пара тощих овец. Зимой и весной, не в силах передвигаться опухшими ногами, она лежала возле окна и упрашивала пробегающих мимо детей подкинуть овцам сена. И он за эту услугу брал у бедной старухи ее копейки.

«А еще говоришь — чистенький, безвинный! Удивляешься, откуда тебе такое наказание!»

Правда говорят, ничто в этом мире не проходит без следа, ответ все равно приходится держать...

\* \* \*

Утром, когда он брился, зазвонил телефон.

— Султан-ака?— пророкотал в трубке густой бас.

«Абдулла! Ну вот! Откуда он узнал?»

— Здравствуй,— сказал он смущенно.

— Султан-ака, это вы?— На этот раз голос племянника прозвучал неуверенно.

— Я, Абдулладжан, я.

— Ну, вы даете! Разве так делают! Скажите, чем я провинился перед вами?

«Обиделся,— подумал дядя.— Чертов парень, откуда он только узнал?»

— Когда вы приехали? Как там ваши домашние — Зумрад-апа, Сардар?

— Великолепно,— как можно бодрее ответил он.— Как сам-то поживаешь?

— Что, в командировку приехали?

— Нет... так, по своим делам... Откуда ты узнал, что я здесь?

— Агентура хорошо действует. С настроением в порядке? Сейчас я подъеду.

— Ладно, не торопись, тебе же на работу.

— Ничего, мне по пути. А то еще сбежите...

— Не сбегу,— сказал он, присаживаясь на стул.— Лучше так сделаем, Абдулладжан. Ты сейчас не торопись, иди на работу, а вечером заглянешь. Я здесь два-три дня пробуду. Договорились?

— Идет, вечером я забираю вас домой.

— Там видно будет. Как Камал?

— Да как всегда, живет богемной жизнью. Кстати, это он мне о вас сказал, иначе бы и не увиделись с вами.

— Интересно, где он меня засек?

— Вечером шатался в вашей гостинице, издали вас заметил. Говорит, что не смог к вам подойти, потому что был не один.

— Ну так что ж, подошел бы с другом.

— Так ведь то был не друг, а подруга,— недовольно пробубнил племянник.— Не знаете его, что ли?.. Ну ладно, тогда я пошел? Пока...

— До вечера. Захвати с собой Камала.

— На что он вам?

— Ну как же, Абдулладжан...

— Да он небось раньше меня у вас будет.

Наскоро позавтракав, он опять поехал в Институт нейрохирургии. Увидел множество больных в серых халатах, томившихся возле процедурной, и опять ударился в панику, мелькнула даже мысль, что на свете вообще не осталось здоровых людей. До вечера он про-

стоял в пропитанных запахами лекарств коридорах в различных очередях, сдавая анализы, заполняя всевозможные анкеты.

Наконец, выстояв еще одну очередь, он вошел в дверь с табличкой «Доцент Абдураимова Н. А.». Сидящая за белоснежным столом гладко причесанная миниатюрная женщина, не отрываясь от бумаг, молча указала на стоящую кушетку. Через некоторое время она так же молча взяла со стола его бумаги и углубилась в них, затем, взглянув на него поверх очков, спросила:

— Вам сорок один?

— Сорок один...— подтвердил Султан, кашлянув в кулак.

Доцент Абдураимова опять вернулась к бумагам и, будто сама себе, произнесла:

— Это опасный возраст.

Записав что-то в «историю болезни», она медленно поднялась с места. Неторопливо измерила ему давление и с недоумением глянула ему в лицо:

— Почему такое низкое?

— Сколько есть...— произнес он виновато.

— Прямо как у умирающего,— бросила Абдураимова, пересаживаясь на свое место.

Султан, растерявшись, ничего не мог ответить. Он не знал, как воспринимать ее слова. Шутка? Но эта женщина вроде не похожа на тех, кто шутит по поводу и без повода. А принимать ее слова всерьез не хотелось, они как-то не вязались с ее должностью и белым халатом на ней...

Вконец обескураженный, он надел пиджак, и потерянно глядя на продолжавшую писать женщину, неожиданно выпалил:

— Вы врач или писарь?

Абдураимова нехотя подняла голову, будто не слышав его, спросила:

— Где рентгеновские снимки?

Султан, обрадовавшись, что пронесло, ответил:

— Извините, а когда вернется профессор Насимов?— Заметив ее удивленный взгляд, соврал:— Он... обещал сам меня посмотреть!

Доцент Абдураимова, будто сожалея о зря потерянном времени, вновь с рвением принялась писать.

Оказалось, Насимов приедет только на следующей неделе. Стало быть, остается только ждать...

Усталый, измученный, он вернулся в свой номер.

Заварив свежий чай, стал дожидаться Абдуллу с Камалом. Абдулла был средним сыном его брата, пекаря Хабибуллы. Закончив геофак, Абдулла остался в столице «делать науку». Найденные им в прошлом году с коллегой и приятелем самаркандцем Камалом в горах Кугитанга останки динозавра наделали много шума в научном мире. И хотя Султан не очень-то понимал смысл ажиотажа, поднятого вокруг праха какого-то животного, в душе все же гордился племянником. Нет, он ни в коем случае не станет сообщать ему о своей болезни. Абдулла — человек занятый, ему и семейных забот хватает. Вот и Зумрад ни о чем не подозревает! Наверное, думает, что муж уехал на усовершенствование... Хотя, кто знает, правильно ли он поступил?

Если уж суждено тому случиться, скрывать нет смысла — ведь в конечном итоге в последний путь его будет провожать не похоронная контора, а родственники и друзья! Но... он уверен, стоит только об этом сказать, начнется нежная опека, бесконечные вздохи, слезы, беготня. Одни сожаления да нескрываемый страх в их глазах живьем вгонят его в могилу: все будут о чем-то суетно хлопотать, сочувствовать, но все как один будут бессильны ему помочь! И никому не известно, сколько это продлится, когда придет конец... Да и стоит ли, чтобы из-за болезни одного страдали десять других, не лучше ли все тяготы нести самому.

Сидя в темнеющей тихой комнате, он трезво пришел к такому выводу.

Эх, Султан, а ты-то думал, что только начнешь по-настоящему жить, работать, что все печали теперь позади. Ведь тебе пришлось немало вытерпеть и пережить на строительстве в Заркургане? Неужели всему конец? Теперь, когда ты лишь на полпути. Неужто победа за мавлянкуловыми? Не они ли довели тебя до этой черты?

О, этот Мавлянкулов! Как сейчас помнится, весной, три года назад, ты поймал его с поличным — целой машиной дефицитных досок. Сначала он, лисья душа, готов был целовать тебе ноги, даже прослезился, затем дал понять, что и он не сирота казанская, есть кому и за него постоять да словечко замолвить, но, поняв, что и этот номер не пройдет, перешел в открытое наступление: что ж, раз ты собака на сене — сам не жрешь и другому не даешь — на, бери, пусть гниет, посмотрим, воздвигнет ли тебе за это государство памятник из зо-

лота? Если и вздвигнет, то, будь уверен, поставит чучело взбесившейся собаки!.. Но странно, ты, обычно готовый вспыхнуть от малейшей искры, на этот раз почему-то не схватил его за шкирку (и хорошо, что ты этого не сделал, иначе не миновать тебе пару годков за хулиганство!), только и сумел сказать, сверля его глазами: «Ты... негодяй! Не смей трогать государство, не пачкай его...» Потому что другие слова, сокровенные, как клятва, были запрятаны в тайнике твоей души, были не для таких, как Мавлянкулов, он не достоин их. А они ох как жгли твое сердце. «Знаешь ли ты, мерзавец, что мой отец в голодуху тридцать третьего года один остался в живых из огромной семьи в восемнадцать человек! И государство его сберегло! Своим детдомовским хлебом! Если бы отец помер тогда, как остальные, появился бы я на белый свет?

Да вольтесь свинцом в твои уши, подлец: я и сын, и хозяин этого государства! Хоть ты тресни! Поэтому я готов вырвать твои руки, протянутые к государственной копейке, понял?!» Ты знал, что эти слова никогда не дойдут до сознания Мавлянкулова, а посему был краток: «Собирай свои манатки, пойдешь завтра в милицию, там и ответишь!»

В тот вечер ты раньше обычного вернулся домой. Зумрад лепила пельмени, а ты лежал на суфе под виноградником, усадив сынишку на живот. И тут в доме длинными гудками зазвонил телефон. Он звонил так настойчиво, что казалось, не подними ты трубку, из него сейчас выскочит тот, кто звонит. С неохотой ты подошел к аппарату.

— Алло, кто это?— прозвучало в трубке.

Услышав этот бесцеремонный вопрос, ты передернулся, потому что терпеть не мог нелепых расспросов.

— А кто вам нужен?— сказал ты недовольно.

— Квартира Мурадова? Султанджан?

«Камар Шарипович!»— У тебя невольно екнуло сердце.

— Да, я,— произнес ты сдержанно.

— Как поживаете, дорогой! Как идут дела? Не устаете? Ну, молодец. Так и держите. Вся надежда теперь на вас. Как там с планом? Школу в Чавканчаге уже сдали?.. Почему?

Не выдавая волнения в голосе, ты начал докладывать своему областному начальству: тонны, кубометры, метражи, лимиты... В то же время ты был удивлен: «С



чего это вдруг?» Не хотелось верить, что высокое начальство и впрямь заинтересовалось строительством школы, которую из-за нехватки материалов не могли достроить вот уже пять лет.

— Хорошо.. Прекрасно.. Согласен.. Говорите, плохо с запчастями? Да-а, это нелегкий вопрос...— Камар Шарипович недовольно вздохнул.— Ладно, для вас найдем. Но только для вас.— После таких слов Камара Шариповича у тебя словно крылья выросли. Вообще этот человек всегда удивлял тебя: он никогда не срывался, не грубил, как это нередко бывает среди строителей — скорее он напоминал директора театра, нежели начальника стройтреста.— Да, а как настроение в коллективе?

— Не очень хорошее, Камар Шарипович,— сказал ты решительно.— Не получаем вовремя материалы, план не выполняется. А раз план не выполняется, сами понимаете...— Наболевших вопросов у тебя было много, от неожиданного внимания ты растрогался и не знал, о какой из проблем говорить.— С цементного завода...

— Дорогой мой, вы, пожалуйста, старайтесь находить общий язык с вашими подчиненными. Рабочий человек всегда нуждается в добром слове. Одного почитайте за старшего брата, другого любите как меньшого... Вы поняли меня? Иначе в коллективе не будет дружбы. А там, где нет дружбы, не будет и работы. Как там в народе говорится: где была ссора, там сорок дней не будет покоя. Да что вас учить, сами лучше меня знаете. Кстати, как там поживает ваш председатель месткома? Как его, Мавлянкулов Тураббай?

Твою растроганную душу будто обдали холодной водой, ты вдруг прозрел: «Ах, вот кто его покровитель! Вот почему Тураббай так обнаглел!» И, представив себе продолжение разговора, ты приуныл.

— Живет потихоньку,— со скрежетом выдавил ты из себя.

— Передайте ему от меня привет. Он настоящий джигит, отличный парень.

Тут ты не нашел силы сдержаться:

— Что, пожаловался уже?— спросил глухо.

— Кто пожаловался, на что пожаловался?— ничего не изменилось в голосе Камара Шариповича.

— Извините, Камар Шарипович,— взял ты себя в руки,— возможно, Мавлянкулов и прекрасный человек, я не знаю, это мне неизвестно, но только он вор.

— Что?— на некоторое время в трубке настудило молчание.— Дорогой мой, кто это вам сказал? Я бы, например, не стал доверять таким грязным сплетням!

— Сплетням я бы тоже не стал верить,— ты уже еле сдерживался,— но он мне второй раз попадаетеся на воровстве!

— С чем вы его поймали?— Эти слова Камара Шариповича прозвучали так, как будто было сказано: «Зачем вы его поймали?»

— В прошлый раз мы задержали его с сотней дюралюминиевых труб. Вчера он попался с машиной «пятидесятки», проданной им одному чабану.

— Ночью?

— Нет!— сказал ты, почему-то успокоившись.— Среди бела дня, еще и не обедали!

— М-да, нехорошо вышло,— произнес Камар Шарипович с глубоким сожалением.— Надеюсь, об этом никто не знает?

— Все знают,— отрезал ты холодно.— Составили акт. Утром передадим в органы.

— Мда-а, очень нехорошо вышло,— повторил Камар Шарипович.— Хотели вашей ЦМК по итогам квартала премию дать. И на тебе! Удивляюсь, как это Тураббая черт попутал! Ведь говорил я ему, и не раз, чтобы он оставил свои темные делишки!.. Так нет, вор, хоть сам и сыт, но глаза его не насыщаются.

В общем так, дорогой мой...— Камар Шарипович покряхтел в трубку,— вы поступили очень правильно. Я одобряю вашу принципиальность. Мы учтем это. Но есть одна тонкость, и ее нельзя упускать из виду: попади это дело в милицию или суд... разговоров не оберешься, три года на всех собраниях будут склонять: «Камар Шарипович такой, Камар Шарипович не доглядел...» Вы думаете, у Камара Шариповича нет врагов? Полным-полно!— Ты с удивлением слушал его, не понимая, с чего это вдруг начальнику вздумалось изливаться перед тобой.— Подумайте, от того, что вы предадите это дело гласности, никому ни малейшей пользы не будет. К тому же, ходят слухи, что в этом году мы можем получить переходящее Знамя. Правда, пока это только разговоры... но в такое ответственное время... выносить сор из избы... Думается, никому это не делает чести. Вы согласны? Надо устроить ему хорошую взбучку, чтобы в следующий раз поступал с умом. Договорились?!

До боли сжав телефонную трубку, ты стоял не в силах что-либо возразить.

—...Какой бы там ни был, а тоже один из руководителей вашей организации — лет пятнадцать командует местным комитетом вашего профсоюза. А работать с людьми в наше время, сами понимаете, дело нелегкое, приходится не только руководить, но и самому живота не жалеть. Да еще должность его, снабженец, — дело непростое. Но сам он верный человек, в этом вы можете не сомневаться. Уверен, вы еще подружитесь. Так что не надо ссориться. Для чего лишние разговоры?!

— Камар Шарипович, — опомнился ты наконец, еле поворачивая окаменевшим языком, — как же мне не ругаться с вором и обманщиком? Прикажете и мне вором стать или ослепнуть?!

— Э, братец, зачем сразу гнуть разговор в другую сторону! — в голосе Камара Шариповича прозвучали усталость и нотки неодобрения. — Мне-то что, ведите хоть под расстрел. А только жаль, что доски вам дорожке человека... Не знал я этого! Я ломаю голову и стараюсь поправить дело из чисто человеческих побуждений, думаю о детях этого мерзавца, которых полон дом, и о вас, если хотите знать. Да-да, не удивляйтесь! Управление завалено жалобами на вас. Странно, с кем вы собираетесь работать, если разгоните всех?

— Не всех, Камар Шарипович, мы уволили десять-пятнадцать человек, самых ярых бездельников, — сказал ты как можно спокойней.

— Та-ак, а кто за это ответит?

— За что? — не понял ты.

— За текучесть кадров. Завтра в центре, на коллегии? Что? Не знаете? — Камар Шарипович усмехнулся. — Думаете, мне по душе все, кто работают под моей рукой? Мне даже выскочек и наглецов приходится терпеть! — Из чего вытекало: «Вот, терплю же я тебя», на что ты ничего не ответил. — Среди людей, братец мой, не бывает бракованных, и выбрасывать их на улицу мы не имеем права, я вам дал дружеский совет, принимать его или не принимать — дело ваше. Всего хорошего.

Ты весь обмяк и без сил прислонился к стене. Камар Шарипович, словно бросив тебя меж двух огней, повесил трубку.

Всю ночь ты боролся с Камаром Шариповичем, а вернее сам с собой. Ответы один резче другого обжига-

ли твою голову: «Извините, Камар Шарипович, о детях какого-то негодяя вы подумали, а о моих? Ведь у меня тоже они есть! Ладно, оставим и меня — я наглец, выскочка, — но вам следовало бы подумать и о своих детях! Вы, конечно, большой человек, Камар Шарипович, однако правда — выше вас...»

Но что махать кулаками после драки...

Разве отняли бы у тебя язык, выскажи ты все это чуть раньше? Нет, отняли бы только работу. Что ж теперь будет? Скоро наступит рассвет, начнется новый день, ты пойдешь на работу, все взоры устремятся на тебя, а ты должен будешь пойти... уничтожить вчерашние акты и, как ни в чем не бывало, продолжать мирно жить и работать с Мавлянкуловым!

Нет, нет, лучше подружиться с самим дьяволом, чем с Мавлянкуловым!..

Клочок неба в окне начал светлеть, над головой без устали стучали часы, а ты с обидой размышлял: «Как легко говорить о честности, но как трудно быть честным! Если бы вчера, видя проделки этого негодяя, ты притворился, что ничего не заметил, сегодня весь мир оказался бы цветущим садом и в нем не было бы человека лучше тебя. А теперь все на тебя в обиде: перво-наперво чабан — дело у него не вышло, Мавлянкулов готов разорвать тебя на части, будь на то его воля; сторож — хромой Кабул, небось тоже не молит аллаха о твоём здоровье, потому как и ему придется отвечать; а если Мавлянкулова привлекут к ответственности, то и мать его, старая карга, и жена, и дети до скончания своих дней будут проклинать тебя; и куча его родственников начнет катить на тебя телегу жалоб и анонимок; не обрадовал ты и Камара Шариповича, так что жди теперь проверок и комиссий... Но что ты можешь поделать? Тебе пришлось бы заново родиться, чтобы стать другим. Так что пусть хоть небо разверзнется, по-другому ты не мыслишь себе жизнь!.. Но почему же их ничем нельзя пронять, ни стыда, ни страха они не ведают. Эх, Султан, ты наивней ребенка, тот кто не стыдится своей совести, разве будет стыдиться людей?!

С чугуновой головой, с покрасневшими глазами ты явился утром на работу. У конторы тебе попался Мавлянкулов, который резво подбежал, как ни в чем не бывало горячо поздоровался с тобой.

— Что вы здесь делаете? — взглянул ты на него пристально.

— Вот, пришел,— проямлил он заискивающе.

— Здесь вам нечего делать!— сказал ты, засовывая в карман ненароком задрожавшую руку.— Приказ об увольнении получите в отделе кадров.

Мавлянкулов изменился в лице.

— Послушайте, вы...— преградил он тебе дорогу.

— Что вам еще угодно?— произнес ты с презрением и, увидев его замешательство, странно, почему-то даже обрадовался.

Такого оборота Мавлянкулов явно не ожидал.

— Посмотрим еще,— прошипел он, его мелкие, как рис, зубки сверкнули.— Подожди, ты у меня еще на улице без штанов останешься, клянусь своим именем!

Выматерившись, он исчез. Он-то исчез, но его скандальное дело не исчезло, почти шесть месяцев тянулось и смердело, как мертвая змея, ему не видно было конца. По утрам устрашающе звонил телефон, требуя тебя в управление, двери кабинетов, куда ты являлся, часами перед тобой не открывались, не ускользнуло от тебя и то, что некоторые знакомые холодно с тобой здороваются, а «хозяева» кабинетов и вовсе не замечают твоих приветствий... Сердце твое закипало от обиды... Каждый второй, переступавший в те дни порог твоей конторы, оказывался проверяющим: то кадровый вопрос, то финансовый, то документы, то... О, тогда ты воочию убедился: этот мир, оказывается, состоит только из вопросов.

К работникам твоим невозможно было подступиться: с самого утра и до позднего вечера, не поднимая головы, они беспрерывно строчили в управление справки. Однажды ты специально подсчитал исходящую документацию: до полудня было подписано двадцать семь бумаг! Тебе показалось будто где-то, за тридевять земель — то ли в горах, то ли в песчаной пустыне — обитает какое-то ненасытное чудовище, пожирающее справки. Вот оно опять раскрыло глаза, с наслаждением потянулось и стало со страшной силой втягивать в свое бездонное нутро гору справок: еще, еще, еще!..

Ты смертельно устал: с одной стороны — бесконечные вызовы к следователю, с другой — горящий план, издерганные люди. В один из таких дней, когда ты сидел схватившись за голову, и начались первые приступы этой проклятой боли, именно тогда к тебе прибежала, задыхаясь, полнотелая плановичка Светлана Кравцова,

избранная недавно председателем месткома вместо Мавлянкулова.

— Султан Мурадович,— она была взволнованна,— этот Мавлянкулов, оказывается, не член профсоюза!

Услышав фамилию «Мавлянкулов», ты передернулся.

— Ну и что?

— Как это «ну и что»?— удивилась Кравцова.— Я хочу сказать, что он никогда не состоял в профсоюзе

Опомнившись, ты недоумевающе смотрел на Кравцову:

— Что вы сказали? Что? Как же он тогда столько лет был председателем месткома?

— Я поражена не меньше вашего,— пожала плечами Кравцова.— Вчера мы с Махамаджановым приводили в порядок документы всех членов профсоюза и обратили внимание на то, что его карточки нигде нет. Тогда мы подняли ведомости взносов — его фамилия нигде не значится. Лишь на протоколах заседаний стоит его подпись. Только и всего...

«Вот, поганец! — мысленно выругался ты.— Тысяча проклятий твоему отцу, Мавлянкулов! И тем, кто тебя этому научил, тоже тысяча проклятий!»

— Но вы ведь и раньше в месткоме состояли, неужели не знали?.. — вымолвил ты наконец.

— Откуда мне было знать? — сказала Кравцова.— Я вела культмассовый сектор. А взносами занималась Галя Мамедова, наш старший бухгалтер. Она теперь ушла от нас — вы знаете, вышла замуж и уехала. Кто бы мог подумать, что Мавлянкулов...

— У, сволочь! — произнес ты, не найдя другого слова.— Сколько лет Мавлянкулов был председателем?

— Семь лет.

— Рабочие так сильно любили его? Или он так уж хорошо вел профсоюзные дела?

Кравцова беззвучно рассмеялась.

— Чего вы смеетесь, Светлана Сергеевна! — вспылил ты.— Ведь я работаю с вами недавно, мне многое из того, что было до меня, неизвестно.

— На собраниях месткома кандидатура Мавлянкулова ежегодно отклонялась, однако все равно он оказывался избранным.

— Как это?

— Очень просто. Рекомендация областного управ-

ления, даже сам Камар Шарипович раза два бывал на собраниях.

«Понятно-о... Вон откуда вбирали влагу твои корни, Мавлянкулов!»— подумал ты с болью.

— Король-то оказался голым, Светлана Сергеевна?— поморщился ты.

— Кто такое мог предполагать, Султан Мурадович,— развела руками Кравцова.— Был человек как человек, на собраниях говорил больше всех...

— Что теперь хотите предпринять, Светлана Сергеевна?— прервал ты ее.

— Я сама в растерянности. Неприятный, конечно, случай для нашего учреждения.

— Для начала, Светлана Сергеевна, следует выяснить, что он получил по профсоюзной линии.

— Ох-хо, этого не перечесть, Султан Мурадович! Я, к примеру, знаю, что он по бесплатным путевкам ездил в Болгарию и Венгрию. Каждый год отдыхал в профилактории. Если к этому добавить и больничные листы...— Кравцова покачала головой.

— Ну что ж, не торопясь посчитайте все и составьте акт. Напишите рапорт в обком профсоюза. Пусть пришлют представителя, проведем внеочередное заседание профкома.

— Я не против, Султан Мурадович, но...— заколебалась Кравцова,— как это будет выглядеть со стороны? Не скажут ли, а куда смотрел коллектив?

— Светлана Сергеевна,— сказал ты решительно,— знаете, что такое фурункул? Иногда он появляется у человека даже в неприличных местах. И если, стыдясь, больной не обратится вовремя к врачу и не даст его вскрыть, то гной может распространиться по всему организму. Поймите же!

Кравцова ушла. Ты погрузился в раздумье. И чем больше ты думал, тем сильнее становились твои сомнения: зачем ты разбудил спящую собаку? Теперь, конечно, не оберешься хлопот. Разве тебе неизвестно, какими опасными могут быть хитрые, подлые люди? Не свернешь ли ты себе шею, дружище Султан? Ведь они, должно быть, не одного такого, как пылинку, смели со своего пути! Что тебя мучит? Раскаяние? Страх? Да, козни таких людей страшны, но ты не бойся их, дружище! Раз уж ты вступил в бой, то надо идти только вперед, что бы тебя ни ожидало. Назад нет пути. Иначе стоило ли начинать, сидел бы себе тихо-мирно, были бы

тогда и овцы целы и волки сыты. Но ты же не из тех, кто может молча созерцать... Каждый человек хоть раз в жизни должен спросить себя, как Гамлет: быть или не быть? А силу тебе должна придавать уверенность в том, что если на превращение мавлянкуловых в могучую скалу уходят годы, то с наступлением часа правосудия на их падение нужно лишь короткое мгновение. И если сейчас такие, как Мавлянкулов и Камар Шарипович, невидимыми цепями тянут друг друга вверх, то в то мгновение этими же цепями они потащат друг друга в бездну!..

С помощью подобных мыслей ты старался обрести прежнее душевное равновесие, но сердце твое не поддавалось — на него волной накатывала ярость и переполняла его: да как же так случилось, что бесстыдство, несправедливость, ложь стали восприниматься как норма, они не только не возмущают, даже не удивляют людей. Неважно, где ты добыл деньги и как — главное, что они у тебя есть, и поэтому ты достоин уважения. Но почему Мавлянкулов не вступил в профсоюз, неужели из-за того, что надо было платить ежемесячно взносы? Впрочем, то, что он скряга,— общеизвестно, зимой, говорят, у него снега не выпросишь. А может быть, он когда-то проштрафился и его исключили из рядов профсоюза? Никто ничего не знает!.. Во всяком случае это его плутовство не поддается никакому логическому анализу. А посему бесполезно мучить и изводить себя. И все-таки, отчего он так нагл и нахален? Чувствует за своей спиной силу? Знает, что все сойдет ему с рук? Понимает, что он безнаказан? Да, именно так! Безнаказанность позволяет ему делать все, что ему заблагорассудится, пускать людям в глаза пыль.

А люди тоже странные: они без «против» и «воздержавшихся», всегда единогласно голосовали за этого жулика... Равнодушие — вот что виновато больше всего!

Эти события происходили в начале июля, а двадцать восьмого августа ты ушел с работы... Нескончаемые ревизии, проверки, квалифицированно написанные анонимки, всевозможные намеки руководства, мол, «если вам трудно...» — все это сделало, наконец, свое дело. Написав заявление, ты до последней минуты надеялся, что Камар Шарипович порвет его и бросит в корзину... Правда, твое заявление было с укоризной: «...Прошу освободить меня от занимаемой должности, так как ис-



кусственно созданная атмосфера недоверия мешает продолжению успешной работы», но в целом оно соответствовало истине. Поэтому, когда Камар Шарипович фиолетовыми чернилами крупным почерком вывел на нем резолюцию: «С двадцать восьмого августа уволить согласно заявлению» — и передал в отдел кадров, на глаза твои неволью навернулись слезы... Сославшись на необходимость перекурить, ты бросился в коридор.

Хоть ты и не лелеял больших надежд, все же такого конца не ожидал. Сердце твое, будто вымерший дом, вдруг опустело. Обидно тебе стало, дружище Султан! Обидно не за отнятый кусок хлеба, а за поправное твое достоинство...

Когда ты выходил из отдела кадров, смотревшая на тебя своими бездонными глазами Зухраhon тихо спросила: «Когда будете дела сдавать?» — «Кому сдавать, готов хоть сейчас», — ответил ты бодро. «Как кому? Буранову. Разве вы не знаете?» — «Буранову?! — ты застыл, будто пораженный молнией, но тут же, оправившись, спокойно произнес: — «Хорошо, когда он придет?» — «Он уже, наверное, там» — отвела глаза Зухраhon.

В отчаянии, спотыкаясь о ступени, ты спустился вниз. «Эй, возьми себя в руки, успокойся, — твердил ты себе. — Буранову так Буранову, Урманову так Урманову, нам-то что, сдадим — и баста!» Но тут в твоём сознании всплыла еще одна очевидная истина: эти люди преследовали какие угодно цели, но только не связанные с улучшением самого дела! Иначе как объяснить кандидатуру Буранова. Да более неподходящей замены во всей области днем с огнем не сыщешь! «Значит, они старались только выжить меня, чтобы освободилось место... Ладно, пусть делают что хотят, лишь бы оставили в покое — с меня достаточно!»

Ты пытался успокоить себя, но сердце твое пощипывало, будто рана, посыпанная солью. Пропало дело, бесповоротно пропало! И дисциплина, которая только-только начала налаживаться, и бригадный подряд, и наметившиеся ростки ответственности за общее дело — все канет в воду, не пройдет и месяца. А ведь ты немало крови себе попортил, нервных клеток загубил, чтобы наладить этот механизм. Выходит, напрасными оказались твои усилия, раз в одно мгновение, одним росчерком пера можно было избавиться от тебя.

Ты шел, и в голову лезли разные мысли: вон как, оказывается, выходит, если работе отдаешь душу — она становится для тебя чем-то вроде собственного дитя — родным и близким. Вот и ПМК эта сделалась чуть ли не четвертым твоим ребенком. Ты его любил и холил, отдавал до последнего свои силы, свое время, чтобы он рос и процветал, и от того, что любил его, не ведал об усталости.

Пожалуй, из крохотного младенца вырос бы настоящий богатырь. И вот, когда ты с гордостью начал любоваться его могучим сложением, подошел чужой человек, и, схватив его за руку, молча стал уводить за собой... «Эй, куда вы его ведете? Этой мой ребенок!» — в отчаянии крикнул ты вслед. Чужой человек не торопясь обернулся, в его тусклых глазах мелькнул холодный свет, он внушительно произнес: «Не несите вздор, этот юноша не имеет к вам никакого отношения!» Ты опешил, будто тебя хватили обухом по голове, ты с мольбой и надеждой смотрел на стройного богатыря, а тот молча водил носком по земле...

Домой ты вернулся убитый горем — в душе было темно, как в зиндане, ты казался себе презренным отцом, отдавшим обманутого сына в руки палача.

После отпуска Сережа Ершов пригласил тебя в свое РСУ. «Султан, мы сто лет знаем друг друга, — сказал он, не выпуская твоей руки, — мне нужен прораб, можешь начинать хоть завтра». Ты стоял перед ним растроганный, не в силах что-либо ответить.

Ты-то устроился — стал тихо-спокойно трудиться на новом месте, но на твоей прежней работе за короткий срок было уволено семь человек: бульдозерист Мухаммад, Сайфулла-ака, Равиль Гиззатуллин, бригадир бетонщиков Рихсивой, бухгалтер Самадова, этот рыжий парень — монтажник Утбасаров, экономист Кравцова... Все те, кто после твоего ухода встали на твою защиту. Услышав об этом, ты расстроился и в то же время испытал странное чувство умиления. Ведь ты им в жизни, в общем-то, ничего хорошего не сделал, более того, Равиля, за то что он явился однажды нетрезвым, лишил премии, Самадовой за опоздания объявил выговор, Мухаммад три года выпрашивал новый бульдозер, ты так и не прислушался... И вот они вступились за правду, за справедливость — и погорели. По одному могущественному жесту Камара Шариповича семь человек разбрелись в семи направлениях; хорошо еще если уш-

ли «по собственному желанию»... А однажды к тебе пришел Рихсивой, как он выразился, «за советом», и предложил написать коллективную жалобу повыше. Ты еле отговорил его. Не хватало, чтобы тебя обвинили еще и в «групповщине»! Рихсивой тогда ушел обиженный...

Иногда, время от времени, из самых недр твоего сердца прорывался какой-то бунтующий голос: «Неужели так и будешь молча листать свои дни, уповая на судьбу? Неужели так быстро пришел конец твоему мужеству?» Но что ты мог еще поделать? Ведь для борьбы нужен простор, нужно оружие, а ты выпустил из рук и то, и другое. Ибо выходить на льва с пустыми руками и кричать на него — не отвага, а безрассудство. Что еще оставалось? Хождение по учреждениям с жалобой? Межкабинетные мытарства? Наверное, можно бороться и таким способом, но это не по тебе, как-то неловко хлопотать за себя, да и терпеливостью ты не отличаешься, а главное, болтаться без дела — не в твоей натуре, поэтому все свои муки и чаяния ты вложил в новую работу. Если бы эта болезнь не доконала тебя, ты с Ершовым протрудился бы до самой пенсии. Но головные боли с каждым днем ужесточались...

Были первые дни сбора хлопка. В один из воскресных дней вместе с рабочими ты отправился в подшефный колхоз. Вечером, грязный, уставший, возвращался домой, когда по дороге нагнала тебя новенькая «Волга» и остановилась в нескольких шагах. Не машина, а настоящий сказочный конь — дулдул, разве что не ржет. Открывается дверь, и — верить своим глазам или нет — выходит улыбающийся Мавлянкулов! Изысканно одет, аккуратно причесан, будто и не строитель, а кинозвезда...

— Ассалом алейкум,<sup>1</sup> — протянул руку Мавлянкулов.

Ты не смог преступить обычай, — тоже молча протянул руку.

— Хорманг<sup>2</sup> — участливо произнес он. — Чего так? С поля, что ли? Садитесь, подброшу!

Мавлянкулов с подчеркнутой любезностью распахнул дверцу автомобиля.

---

<sup>1</sup> Ассалом алейкум — здравствуйте; приветствие.

<sup>2</sup> Хорманг — не уставайте; приветствие.

— Куда вам еще хочется меня подбросить?— усмехнулся ты.

— Как куда, домой. Не бойтесь, я не из тех, о ком вы подумали.— Нагнувшись, он стряхнул с брюк невидимую пылинку.— А то, что было, то быльем поросло, я зла не держу... Человек — как птица, везде подберет свои крохи, куда бы его жизнь не забросила.

— И где же вы теперь подбираете крохи?— съязвил ты.

Поразительно, Мавлянкулов даже бровью не повел.

— Работаю в тресте,— сообщил он самодовольно.— Заглядывайте, если что нужно для РСУ. Поможем. Ну ладно, будьте здоровы.

Дав короткий сигнал, машина тронулась, обдав тебя облаком пыли. Растерянный, ты стоял и смотрел вслед. Неужели этому не будет конца? Неужели не найдется на таких управы?..

В одно прекрасное утро... все переменялось, будто в сказке. Пришел праздник и на твою улицу. Эзопову языку настал конец, все обрело свое подлинное название. Те, кто топтал справедливость, стали сами валиться под ноги, те, кто душил правду, стали задыхаться, как в петле. Ты никогда не забудешь, как в больнице, где ты изнывал от ужасных головных болей, тебе попала одна из республиканских газет со статьей, озаглавленной «Бывшие». Ты перечитал ее несколько раз, задавая себе один и тот же вопрос: как получилось, что такие постыдные дела так противоестественно разрослись? Среди многочисленных высокопоставленных особ, продавших свою честь, упоминался и Камар Шарипович. Вопрос Мавлянкулова был каплей в море его грязных деяний. В статье описывался случай из частной жизни бывшего руководителя... Его жена, будучи деканом одного из факультетов мединститута, решила, что дочери непременно должны пойти по ее стопам. Старшая кончила мамин факультет, когда младшая «поступила» в него, но самое интересное, что во время вступительных экзаменов младшая... спокойно отдыхала в санатории на Кавказе. Вернувшись в конце августа домой, она узнала, что «набрала двадцать четыре балла» и «зачислена в институт»... Кульминацией в этой истории был ответ матери на вопрос, почему она это сделала: «А что, я должна была поступить нечестно и послать дочь под чужим именем?...» В статье наряду со знакомыми и незнакомыми упоминалась и твоя фамилия:

«...неоправданному гонению подверглись такие принципиальные, честные специалисты, как...»

Сердце бешено колотилось. Вот она справедливость! Справедливость! Вот она! Конечно, она есть. Она вечна. Иначе в чем же смысл жизни, в чем?

В один из осенних дней ты выписался из больницы. Через три дня тебя вызвали в обком. Разговор был короткий. «Товарищ Мурадов, обстановка вам ясна. Мы в курсе всего, что с вами произошло. Хотя и поздно, но мы должны исправить ошибку. Если предложим вам прежнюю должность, пойдете? Коллектив требует вас. Вот письма трудящихся, видите подписи? Но должны предупредить там не все в порядке. Буранов завалил участок, а сейчас под следствием. Будет нелегко. Что скажете?»

Да, все было как в сказке. Люди... люди... Значит, тебя помнят... Еще свежи были боль и обида, но ты знал, что сейчас надо расчищать авгиевы конюшни, а не стоять в стороне в позе оскорбленного. Ведь по-прежнему сияло солнце, в садах цвели яркие осенние цветы, на деревьях суетились воробьи — жизнь продолжалась; люди влюблялись, строили семьи — и кто-то должен возводить им дома; не сегодня завтра у них появятся дети — им понадобятся детские сады, потом малыши пойдут в школу — надо строить им школы. На чьи плечи должны лечь эти заботы, как не на твои, Султан Мурадов!

Помнишь, как в один из замечательных осенних дней ты вернулся в свою контору, откуда два года назад был изгнан? В тот день на свете не нашлось бы человека счастливее тебя! Предстояло все начать сначала. Мавлянкулова не было, между тем мавлянкуловы попрятались по углам... Работы было невпроворот — и ты ушел в нее без оглядки. Но эти проклятые головные боли...

А ведь замечательные дни только наступили, наконец-то настала пора, когда можно было радостно жить, радостно трудиться. Эти дни ты, в конце концов, заслужил! И разве не обидно, что именно в такое время ты выбываешь из строя, дружище Султан! Где же справедливость!

\* \* \*

Они ворвались шумно, как вихрь. Увидев племянни-

ка и его друга, Султан обрадовался: они были молоды, веселы, здоровы, глаза их лучились...

— Ассалом алейкум! Ну-ка, поднимайтесь, чего лежите, как старый бай!— начал Камал уже с порога.— Или совсем без сил оставили вас здешние красавицы. Да, они у нас бойкие и весьма жалуют мужчин вашего возраста.

— Ну, Султан-ака,— спросил Абдулла после традиционных приветствий,— какими ветрами вас сюда занесло? Опять едете лес рубить? По вашей милости, глядишь, и в тайге деревьев не останется.

Действительно, Султан несколько раз ездил в Сибирь за лесоматериалами, о чем однажды рассказывал племяннику.

— Ты прав, тайга редеет,— улыбнулся он.— Но на этот раз путешествие мое из коротких. Приехал отдохнуть и поглядеть на ваш город.

— Но не на нас, да?

— Ладно, будет сводить счеты!— сказал Камал, нарочито насупившись — Я бы на твоём месте, между прочим, устроил пир, встретив такого дядю. Он тебя не беспокоит, не обременяет. Не то что мои гости! Не успею утром глаза раскрыть — бреду к двери, а у порога целая бригада: «Ассалом алейкум, брат, не узнаете? В прошлом году в Аманкутане мы с вами в чайхане чай пили, помните, под чинарой? Да-да, тот самый Сайфулла. Приехали, понимаете, в ваш город, покупки кое-какие сделать для тоя, ну и решили: чего в гостинице-то останавливаться, имея такого друга, обидится ведь, если не навестим. Вот и приятелей с собой прихватил, все же веселее. Эй, Амантурды, Ниязбай, проходите, проходите, насвай-то сплюнь, не в хлев идешь»,— изображал он в лицах, а Султан с Абдуллой не могли удержаться от смеха.— Представляете, иногда в собственном доме негде прикорнуть, и тогда я оставляю ключ моим дорогим гостям и отправляюсь к какому-нибудь приятелю. Между прочим, ваш племянничек только называется другом, а придешь в такой вот раз к нему, так он даже двери не откроет, и я, несчастный, отправляюсь в гостиницу, но, сами знаете, с ташкентской пропиской туда не пускают, и вот, уцепившись за последний трамвай, я добираюсь — куда вы думаете?— до родного вокзала, там все же теплее...

— Вон, значит, почему ты частенько не ночуешь дома!— вставил Абдулла.

— А ты думаешь, легко мне, дорогой? Ох, и тяжело мне приходится, Абдулладжан, ох, тяжело. Вон и сегодня восемь человек, веришь ли, приступом взяли мою крепость. Прямо нашествие Батыя! Если еще и Султан-ака захочет пойти ко мне, не знаю, что и делать тогда...— подмигнул он, погружаясь в «мировую скорбь».

— А что, может, действительно рассчитаться с гостиницей и пойти на жительство к Камалджану, а?— улыбнулся Султан.

— О, в таком случае, брат Абдулла, в один прекрасный день я окажусь за решеткой. Вот увидишь! И знаешь за что? За то, что открыл в своей квартире гостиницу. Вай, умереть мне! А если, действительно, когда-нибудь умру, дорогой, то на могиле не забудьте написать: «Был гостеприимным хозяином».

— Нет, голубчик, смертью от нас не отделаешься,— сказал Абдулла, закуривая.— Все равно сегодня к тебе пойдем.

— Ох, не жить мне на свете! Вообще-то сам виноват, дурак,— нет чтоб в жены взять посварливей девицу, так нет, женился на шелковой, хоть веревки вей из нее...

Грусть Султана развеялась как дым, легче стало на душе. Вновь всплыли в памяти запомнившиеся строчки, на этот раз без отчаяния и боли: «Ты будешь долго жить...»

— Что ж, ничего не поделаешь, пошли ко мне, может, удастся отыскать завалившуюся после очередного нашествия корочку,— вздохнул Камал, вставая с места.

— Поехали,— поддержал Султан, надевая пиджак.— Ну-ка, скажите мне, какой сейчас ресторан в Ташкенте самый лучший?

— Плохих ресторанов нет, все хорошие, если, конечно, нас туда приглашают,— торопливо произнес Камал.

— Ну зачем нам ресторан?— Абдулла недовольно сморщился.— Только и могут деньги сдирать, шумно, подают непонятно что— в рот не возьмешь. Едем ко мне. Съедем по полкасы шурпы и спокойно поговорим.

— Шурпу свою хлебай сам!— проворчал Камал и повернулся к Султану.— Не обращайте внимания на эту деревенщину, его хоть тридцать лет халвой корми, человеком не станет. Если хотите знать, самый хороший ресторан— в Доме кино! По вечерам там собираются все знаменитости Ташкента...

— Лучше скажи, все деньги Ташкента!— недовольно буркнул Абдулла.

— Молчи, деревня! Воспитанник ичкари<sup>1</sup>!. В кон веки приезжает человек в столицу, а ты его хочешь упрятать в бетонную клетку! Разве Султан-ака не видел этих клеток? Правильно я говорю, Султан-ака! Сами ведь строите, насмотрелись небось! Верно?

Султан с улыбкой кивнул.

— Гость — дороже отца родного, сказано в народе. Так что желание гостя — прежде всего, а что желает гость? Гость желает посмотреть достопримечательности столицы, а поскольку теперь уже вечер, мы можем предложить ему только Дом кино с его богемой, понятно тебе, дуралей! А для этого ему необходим культурный, достойный внимания проводник, каким являюсь я — ваш покорный слуга, — без умолку болтал Камал.

— Интересно, что это в тебе достойно внимания? — спросил Абдулла, пропуская Султана вперед.

— Во мне все достойно внимания. Особенно мой язык, который...

— Который надо бросить в кипящее масло, — вставил Абдулла.

— Прошу не задевать мой язык своим осиным жалом... Чего ты стал поперек двери, как бревно расплавленное?..

Слушая с улыбкой эту безобидную перепалку, Султан вспомнил друга своей молодости Кудрата. «Эх, дружище, где ты теперь? Вот бы встретиться сейчас с тобой! Ведь, кажется, только вчера мы весело болтали и бродили вдвоем по этому городу; и этот город, да не только он, весь мир был только нашим; и неведомы были нам ни сожаления, ни печали, ни болезни, жизнь казалась вечной радостью, улыбочивой и ясной...»

У выхода из гостиницы дискуссия возобновилась. Абдулла опять стал предлагать поехать к нему домой.

— Завтра поедем, — сказал Султан, обняв его за плечи. — Давай посидим сегодня мужской компанией.

— Поговорим о непристойностях... — ввернул Камал.

Абдулла вынужден был согласиться с дядей...

— Ну-ка, мои современники, вперед! — двинулся в путь Камал.

— Слушай, чего ты так разошелся, потише! — Абдулла придержал его за локоть.

---

<sup>1</sup> *Ичкари* — в старину женская половина дома.



— Отстань, может, еще замок мне на губы повесишь! Видали, каков ваш племянничек... — «пожаловался» Камал с кислой миной.

— Не обращайтесь внимания, — успокоил Султан. — Эту гостиницу строили мы, здесь все можно.

— Правда? Вот это прекрасно! Объясните хорошенько этому благовоспитанному молодому человеку — слышал, эй, темнота? — это здание строили мы!

— Надеюсь, не нам его разрушать? — улыбнулся Абдулла.

В ресторане было малоллюдно...

— Гвоздь программы — через час, — со знанием дела объявил Камал. — Здешние пери спешно докрашивают свои реснички. Эх, здорово! Что это вы скисли Султан-ака! Или расквашиваетесь, что пригласили нас?

— Нет-нет, что вы, — Султан торопливо провел ладонью по лицу. — Так, вспомнилось кое-что...

Стоило ему только переступить порог любого ресторана, как в памяти всплывала история с днем рождения «Мингбаши» — Кадыркула; как в замедленной киноленте проходили перед глазами события тех дней.

...Познакомились они в доме Матушки. Еще до переезда туда Султана Кадыркул «оккупировал» две отдельные комнаты в глубине двора, где и жил себе господином. Высокое звание «мингбаши» даровал ему Кудрат, выказав необычную почтительность при их знакомстве. Когда Кудрат, решивший тоже поселиться у Матушки, появился во дворе со своим чемоданом, к нему подошел рыжеватый долговязый парень и, протянув руку, демонстративно произнес: «Кадыркул». Кудрат, семеня, приблизился к нему и, согнувшись в три погибели, подобострастно произнес: «Ассалом алейкум, досточтимый мингбаши!» Все рассмеялись — и Матушка, и Султан, даже сам Кадыркул. То были слова из пьесы. Кудрат за всю свою жизнь посмотрел один-единственный спектакль «Бай и батрак» (и то по телевизору!) и до мельчайших подробностей помнил все диалоги и монологи.

С тех пор и повелось: вместо Кадыркула — «мингбаши». На самом же деле он — уроженец одного из горных кишлаков Намангана — был парнем простым, даже несколько наивным. Закончив лет пять назад уни-

<sup>1</sup> *Мингбаши* — наместник ханства.

верситет, он, как говаривали его друзья, «грыз новый гранит» в научно-исследовательском институте. А точнее сказать, грезил о научной работе по почвоведению. Но никто не знал, когда он начнет писать свой научный труд, и тем более не ведал, когда он его закончит. Сердце Кадыркула было отдано не почвоведению, а миру искусства, вернее, его закулисной стороне, он знал все новости: какой певец какую исполнил новую песню, какой артист с какой актрисой завел роман, кто с кем развелся, чей дойрист чьему аккордеонисту на чьей свадьбе что сказал, каким был номер проданной четыре года назад машины такой-то знаменитости, и так далее и тому подобное. У него были поистине энциклопедические познания в этой сфере, никто, правда, не знал, где могут пригодиться столь глубокие познания. Он не испытывал особого пристрастия к поездкам на опытный участок — куда приятней было глотать городскую пыль, чем вдыхать испарения презренной почвы, на которой могла бы взрасти его кандидатская диссертация. Говоря откровенно, он был одним из тех урбанистов, которые никак не могут понять, для чего они стали горожанами и чего собственно ищут в его суетных лабиринтах.

Был один из летних вечеров. Матушка уехала к дочерям, стояла духота, они лежали в одних трусах на вынесенных во двор кроватях и безмятежно глядели в небо. Неожиданно Кадыркул завздыхал:

— Эх, ребятки, лежим мы тут с вами и лапу сосем, а ведь сегодня у меня день рождения!

Кудрат соскочил с места, бросился в дом и, тут же выглянув в окно, произнес:

— Извольте врать, господин «мингбаши», здесь не указано!

— Что не указано? — проворчал Кадыркул, отбиваясь от комаров.

— В календаре не указано. Столь важная дата, а листок не красный — можете взглянуть!

— Ладно, тебе... — отмахнулся Кадыркул.

Захлопнув книгу, Султан приподнялся на локте. Подошел Кудрат, жуя черствую лепешку, и подсел к Кадыркулу.

— Не помассировать ли ваши усталые ножки, господин «мингбаши»?

— Пошел вон! — разозлился Кадыркул, переворачиваясь на другой бок.

Кудрат, беззвучно смеясь, направился к водопроводу.

— Сколько вам исполнилось, Кадыркул-ака?— тихо спросил Султан.

— Тридцать,— сказал Кадыркул, тоже приподнявшись, и печально улыбнулся Султану.— Уже тридцать, как быстро время летит!

Султана охватила внезапная жалость.

— Вставайте, Кадыркул-ака!— сказал он решительно.— Раз в тридцать лет вам исполняется тридцать, а мы будем лежать?— Эй, Кудрат, куда ты запропастился?— Ответа не последовало.— В какую могилу тебя занесло?— позвал он еще раз.

— Чего тебе?— донесся из глубины двора голос Кудрата, а через минуту, словно тень, выплыл из темноты он сам.

— Уважаемому Кадыркулу-ака исполнилось тридцать лет. А мы, что же, так и будем сидеть сложа руки?— Султан испытующе глядел на Кудрата.

— Поздравляю вас, досточтимый «мингбаши»!— хотнул Кудрат.— Прикажете барана резать?— Но, заметив пристальный взгляд Султана, крикнул:— Чего пялишься, у меня всего-то двенадцать рублей!

— Та-ак, двенадцать рублей...— Сняв со спинки стула свои брюки, Султан полез в карманы.— А у меня девять...

Кадыркул, не вставая, молча протянул измятую пятерку.

— Послезавтра зарплата...— виновато улыбнулся он.— Если бы позавчера не потратил на концерт Дада-хана Хасанова...

Кудрат давно уже был одет... Он взял в свои руки деньги и инициативу.

— Двадцать пять, двадцать шесть...— шептал он, разворачивая купюры и складывая их одна к одной. Положив деньги в карман, с удовольствием потер руки и улыбнулся.— Ну-ка, вставайте, досточтимый «мингбаши», на эти деньги я могу даже поженить вас, если, конечно, пожелаете. Есть одна прекрасная пери, кроме своей матери, всеми целованная, хотите, засватаю? Не хотите? Ну, тогда мы приглашаем вас отужинать.

Кадыркул просиял.

Троллейбусом они добрались до ресторана «Чинара». По подсчетам Кудрата, денег должно было хватить и на салат, и на горячее, и на выпивку, и даже ос-

тавалось еще пятнадцать копеек на чаевые швейцару.

Вначале все было прекрасно: закуски, сухое вино, зелень, хорошее настроение, хоть и немолодая, но приветливая, улыбчивая официантка... В честь «мингбаши» то и дело подымались тосты, с пожеланиями успехов на научной стезе, и чтобы, когда придет время и он станет академиком, не забывал двух голодранцев-студентов, чтобы он, наконец, женился на девушке из хорошей семьи. Кадыркул и вправду будто заново родился, чувствовал себя безмерно счастливым. Но, к сожалению, человеку свойственно желать большего, чем давно, если, конечно, не горе и не беда. Иначе можно было бы вовремя тихонько встать и уйти, не переполняя чашу удовольствий через край, ведь в ненаполненности тоже есть своя прелесть! Но...

Но в это время неизвестно откуда — то ли с неба, то ли из-под земли — возле их столика появились два парня, будто сошедшие со страницы журнала мод, и две, по выражению Кудрата, потрясающие девицы. Парни стали обниматься и чмокаться с «мингбаши», горячо здороваться с Кудратом и Султаном, будто со старыми добрыми друзьями. Застолье само собой продолжилось, но теперь уже более пышно. Султан, кроме их имен, так и не узнал, кто они и какое отношение имеют к Кадыркулу. Кудрат же, растаяв, как весенний снег, ручейком разливался перед круглолицей пышно-волосой девушкой. Один из парней сделал заказ, и на столе появились новые закуски и непечатые бутылки. Они все по очереди приглашали девушек танцевать. Султан хотел расспросить Кадыркула о гостях, но это ему не удалось — одна из девиц, словно бабочка, порхала вокруг «мингбаши». Разговор не смолкал, те и дело поднимались бокалы, сыпались анекдоты... «Мингбаши» и Кудрат опять пошли танцевать. Султан остался с ребятами. Все взгляды были обращены в сторону танцующих, звучала громкая музыка, мелькали разноцветные наряды женщин. Вдруг, обернувшись, он заметил, что лицо одного из парней исказила судорога, второй, суетливо подавая ему воду, виновато улыбнулся Султану: «Ему немного плохо... Мы сейчас...» — «Ничего, ничего, бывает, — сказал Султан. — Холодной водой его...» — «Да-да, непременно, не обращайтесь внимания, мы мигом. Придется вам посидеть одному, просим прощения...» Парень поднял приятеля и повел его через зал.

Султан кивнул и опять стал глядеть на танцующих.

Но проходили минуты, часы, прошли дни, и вот минуло уже пятнадцать лет, а Султан так больше и не видел их. И как ни пытался потом, так и не смог вспомнить их лиц. Оставив имениннику, Султану и Кудрату, в кармане которого лежали двадцать шесть рублей сорок две копейки и пять трамвайных абонементов, двух потрясающих девушек, «целованных всеми, но не матерями», богатый стол, улыбчивую, но не совсем вежливую официантку, милиционера, скучающего у выхода за стаканом минеральной воды, музыку, танцы и остальные удовольствия, таинственные друзья исчезли так же неожиданно, как и появились. То, что они влипли, Султан понял, когда заметил, что девицы не обратили никакого внимания на исчезновение своих приятелей. Взглянув на «мингбаши» и Кудрата, он вскипел: в полном неведении они о чем-то шушукались и хихикали с девицами. Тогда он наступил под столом на ногу Кудрату.

— Чего тебе?— уставился на него Кудрат, недовольный, что его оторвали от приятной беседы.

— Пойдем покурим,— сказал Султан.

— Кури один, я не хочу,— бросил Кудрат и, вновь повернувшись к девице, продолжил прерванный разговор:— Потом я поднялся и решительно...

Султан еле сдерживал себя от желания схватить его за шиворот. Наконец чуть ли не силком он вытащил его из-за стола и отвел в сторону. В мгновение ока беззаботность слетела с Кудрата, он набросился на Султана:

— Все из-за тебя! Ведь лежали спокойно! Нет, тебе захотелось, видите ли, отметить день рождения! Тридцатилетие! К черту все, я ничего не знаю, пусть именинник сам теперь расплачивается!

— Не ори. Скажи лучше, что делать будем?

Кудрат совсем сник:

— Может, и мы потихоньку смоемся, а...

— А как же «мингбаши»? Представляешь, что с ним будет?

— Вот проклятый, нашел же день, когда явиться на свет.

— День как день, чего ты на него бочку катишь?— улыбнулся Султан.

— Сегодня тринадцатое число, да еще ожидается лунное затмение.

— Оставь луну в покое, это нас начисто затмило, попробуй теперь выберись из этой крошечности.

— Черт, как же нам теперь быть?— от решительности Кудрата не осталось и следа, в эту минуту он представлял собой самого беспомощного на свете человека.— Часы, что ли, отдать? Не возьмет, на что они ей, да и не ходят к тому же!

— Зови юбиляра,— решительно сказал Султан.— Иди, наступи ему тихонько на ногу, пусть идет сюда.— Сделав два шага, Султан остановился.— Смотри у меня, если улизнешь! Покажу тебе, где раки зимуют!— помаhal он ему кулаком.

— Не бойся, не сбегу! Эх, и угораздило же меня с вами связаться! Нет чтобы дома сидеть да консервы свои лопать...

Через пять минут «переговоров» Кудрат привел к столу «мингбаши», вернее его тень. Наклонившись к Султану, Кудрат прошептал ему на ухо:

— «Мингбаши» лишился дара речи.— Затем, выпрямившись, как ни в чем не бывало обратился к девушкам:— Ну, красавицы, не скучали без меня? Вот послушайте новый анекдот: как-то раз Насреддин-афанди сказал жене...

Увидев перед собой прежнего Кудрата, Султан решил, что они нашли какой-то выход, и кошки, парававшие его душу, «устало улеглись». Откуда ему было знать, что Кудрат рассыпается бисером, чтобы подавить свой страх. Султан попытался мимикой и жестами выяснить кое-что у «мингбаши», но, видно, тот и впрямь лишился дара речи, сидел, не издавая звука.

С натянутыми, как струна, нервами Султан дожидался развязки. Официантка, уже не улыбаясь, с озабоченным видом зачастила к их столику. Кудрат, хоть и болтал без умолку, но, видно, не спускал глаз с дверей. Неожиданно, прервав свою речь на полуслове, он вскочил:

— Раджаб-ака! Раджаб-ака!

Вспыхнув, как пламя, он весь засветился и, бросив девушкам: «Одну секунду», подмигнул Султану: «Пошли». Султан послушно, без лишних вопросов, как верблюд за вожакон, потянулся за ним.

Решительно шагая, Кудрат направился в конец зала. Там у самой стены в полумраке сидели представительный мужчина с копной посеребренных волос, солидным брюшком, распирающим фирменную рубашку, и

смуглая женщина с надменным выражением лица.

— Ассалом алейкум, Раджаб-ака,— почтительно произнес Кудрат.

Мужчина встрепенулся, торопливо убрал руку с колена своей спутницы, покраснел и сконфуженно улыбнулся:

— О-о, Кудратбек! Откуда в такой поздний час?

— Ассалом алейкум, уважаемая! В добром ли вы здравии?— спросил Кудрат спутницу Раджаба-ака, как ни в чем не бывало.

Женщина еле заметно кивнула.

Придвинув стул, Кудрат уселся, пригласил и Султана:

— Садись дружище,— что Султан не замедлил исполнить.— Ну, как вы поживаете?— повернулся он к Раджабу-ака.

Тот что-то растерянно пробормотал, предложил отведать стоявшие на столе яства.

— Твой-то как дела?— провел он платком по лбу.— Учеба как?

— Неплохо,— сказал Кудрат, наполняя фужер минеральной водой.— А ваши как успехи? Повышаете квалификацию? Видно, совсем она у вас на нет сошла, дома ведь не очень-то развернешься, а?

— Не говори, заставляют вот на старости лет...— Раджаб-ака попытался улыбнуться.

— Что ж, на старости оно, наверное, приятней,— загадочно ухмыльнулся Кудрат.

Раджаб-ака пропустил эти слова мимо ушей.

— Та-ак, в кишлаке-то бываешь?

— Да, на прошлой неделе оттуда приехал,— сказал Кудрат и, глядя прямо в глаза Раджабу-ака, добавил:— Видел вашу жену, она, как знала, велела передать вам привет, если встречу, и сказать, что домочадцы ваши в добром здравии, так что передаю вам ее привет, не хочу остаться перед ней в долгу...

«Эх, как он его!..» мысленно поаплодировал Султан и украдкой взглянул на женщину: глаза опущены, губы сжаты, вот-вот встанет и уйдет...

— Аха...— простонал Раджаб-ака, будто ему выдергивали зуб, и с мольбой взглянул на Кудрата.

— И племянничков повидал, все живы-здоровы,— спокойно продолжал Кудрат.— Мне так понравился

ваш младший сынишка, Буньядик, такой сладенький, такой хулиганчик...

Опять зазвучала музыка. Султан что есть силы наступил Кудрату на ногу.

— Замечательно, правда!— не унимался Кудрат, наступив в ответ на ногу приятелю.

Султан, догадавшись куда он клонит, медленно поднялся с места и, подойдя к женщине, как заправский кавалер, галантно кивнув головой, пригласил ее на танец:

— Разрешите?

Когда они вернулись к столу, Кудрат и Раджаб-ака были уже на короткой ноге, на лицах их сиял румянец, они безудержно хохотали. Посидев еще минут пять, распрощались.

— Все, можем теперь гулять до утра,— сказал Кудрат, тут же забыв о только что висевшей над ними грозовой туче.

— Уймись! Что ты провернул? Кто это?

— Не спрашивай, все как нельзя лучше,— довольно хмыкнул Кудрат.— Это председатель сельпо. Муж дальней моей родственницы. Его прямо-таки само провидение нам послало, ну и повезло нам! Если бы ты видел, как он радовался, когда давал мне деньги!

— Да что ты?— произнес Султан недоверчиво.

— Как он меня упрашивал: «Дорогой, пусть все останется между нами».

— Значит, для «дяди мингбаши» взял у дяди председателя?

— Ух, этот «дядя мингбаши»... Сидит, наверное, как истукан.

«Мингбаши» действительно сидел, как пришибленный. Но самое странное, когда они вышли на улицу, он выругался:

— Слушай, а друзья-то твои оказались дерьмом!

— Какие друзья?— схватился за голову Кудрат.— Так вы, уважаемый «мингбаши», даже не знаете их?

— Откуда мне их знать?

— Так вы же целовались с ними?!— вышел из себя Султан.

— Они полезли целоваться, а что мне оставалось делать?— пожал плечами Кадыркул.

Взвинченные, злые, они переглянулись... и вдруг расхохотались. Кудрат, схватившись за живот, чуть ли не катался по земле:



— Вот это да! Разбойник дал по шанке вору! Отметили день рождения «мишбаши»! Ну и комедия. Нет, этого я вовек не забуду...

Султан и теперь улыбнулся, с грустью вспоминая невозвратную беззаботность молодости. Полутемный зал ресторана оживал на глазах, зазвучала громкая музыка. Абдулла с Камалом, плохо слыша друг друга, в полный голос спорили:

— Э, не пори ерунду!— качал головой Камал.— Меня не проведешь! Ведь Марадона в том матче не играл, значит, и мяч никак не мог забить.

— Что-что?— Глаза Абдуллы едва не вылезли из орбит.— Почему это не играл? Может быть, это ты забил оба мяча! Ну ты даешь! «Барселона» играет, а Марадоны нет! Да если хочешь знать, из-за того, что проиграл «Эвертон», англичане чуть «Уэмбли» не взорвали!

— Нет, нет,— не соглашался Камал.— Марадоны не было, это я знаю точно. На что хочешь могу поспорить!

— Идет!— распалившись, протянул руку Абдулла.— Тогда кто забил мяч?

— Откуда я знаю?— сказал Камал, часто мигая.— Что я, помню, что ли, ведь это было четыре года назад...

— Вот видишь, не знаешь, а споришь!— победно произнес Абдулла.— Раз не знаешь, то нечего говорить!

— Почему это я не должен говорить?— все еще не сдавался Камал.— Сам я, конечно, ту игру не видел, но кладу голову на отсечение, Марадона играл!

Абдулла на такое наглое заявление только присвистнул...

Султан, слушая их спор, думал: «Какие же вы счастливые, ребята! Оттого вы счастливы, что не ведаете своего счастья! К лешему этого Марадону, этот «Эвертон», стоит ли из-за пустяков спорить до хрипоты, омрачать прекрасное настроение! Ведь жизнь, наша с вами жизнь, небесконечна, поэтому каждое ее мгновение надо воспринимать как праздник, каждое ее мгновение! Иначе будет поздно, ох, как поздно!..»

— Что вы на это скажете, Султан-ака?— неожиданно обратился к нему Камал.

— Я?— Он на секунду задумался и вдруг подмигнул.— Я скажу: оставьте ваш спор, пошлите его к черту, этого Марадону!

— Ничего себе!

— Нет, мы этот вопрос не можем оставить открытым,— нарочито серьезно произнес Абдулла.

— Не понимаю, какой прок от бессмысленного спора?

— В этом-то и прелесть, что нет смысла,— подмигнул Камал.— Знаете, какие бывают заядлые спорщики. У нас на работе есть один такой, мы его называем «ака Фархад», может, ты знаком с ним?— повернулся он к Абдулле.— Так вот, споры — его стихия: спорит по любому поводу и даже без повода. Этот человек был ярым поклонником Шукшина, собирал все новости о нем — фотографии, вырезки... Стоило кому-нибудь принести что-нибудь новое о Шукшине, как он на радостях дарил тому какую-нибудь редкую или просто хорошую книгу. Однажды утром, едва мы только приступили к работе, к нам заглянул коллега из соседнего отдела. «Ака Фархад, вы слышали о Шукшине? Необычайная новость...» — «Ну-ка, ну-ка!» — заторопился ака Фархад. «Только договоримся, вы даете мне за нее однотомник Фолкнера, идет?» — «Согласен, выкладывайте!» — сказал ака Фархад нетерпеливо. «Шукшин умер,— сказал наш коллега, будто сообщил о том, что выпил из-под крана пиналу воды.— Вот газета... Ну, ака Фархад, когда я получу книгу?»

Султан читал почти все произведения Шукшина, видел его фильмы и относился к нему, как к родному брату: любил его жгучую правду творчества, его порывистую натуру, и особенно — его колючие глаза, в которых сквозила какая-то невысказанная боль, не исчезающая, даже когда он улыбался...

— Ну и что же?— спросил он Камала.

— Взял, конечно, книгу...

— Неужели?

— Так же было, когда попал в катастрофу «Пахтакор»,— сказал Абдулла, отпив минералки.— После похорон мы пошли на троллейбусную остановку, а там столпотворение, чуть ли не драка. Оказывается, какой-то малый отпечатал фотографии футболистов вместе с некрологом из газеты и продавал по пятнадцать рублей за штуку! Прямо рядом с кладбищем!

— Такие ребята погибли,— произнес Камал с горечью.

Султан устало вздохнул. «В том-то и дело, братишки,— думал он,— что все мы смертны, все уйдем, но почему-то ведем себя в жизни так, будто мы вечны...

Скоро кончится и этот вечер, опять наступит утро, сядет солнце, кто знает, может быть, скоро вы здесь так же, как о них, будете с грустью вспоминать обо мне...»

От мрачных мыслей настроенные его стало падать, как свеженасыпанный холмик, он жалко улыбнулся.

— Что же мы так сидим, Камалджан,— сказал он,— уныло, повесив носы?... Давайте лучше, как вы недавно сказали, будем говорить о непристойностях...

Камал улыбнулся...

На сцену поднялся высокий, цыганского вида солист и запел. Тихо, с хрипотцой исполнял он известную песню. После только что отзвучавших шумных ритмов эта песня о степных просторах показалась родной и близкой. Певец стоял посреди сцены, не двигаясь, глядя в сторону окна, будто оттуда на него были устремлены печальные глаза любимой, которой он рассказывал о своих страданиях на пути к ней.

Зал молчал, тронутый грустным мотивом. Султан, опустив голову, мысленно подпевал певцу и, когда закончилась песня, приподняв голову, посмотрел на Камала:

— Хорошо, правда?

— Хорошо... да не очень,— сказал Камал, опять переключаясь на насмешливый тон.— Мастерство есть, а души маловато.

— Иногда раздражители трогают сильнее, чем мастера,— сказал Абдулла, доставая из пачки сигарету.

— Э, что ты плетешь, ты только вспомни, как это поет Назым, разве можно сравнить?!— заерзал Камал.

— Опять хочешь затеять спор? Я ведь тоже самое хотел сказать! С Назымом, конечно, никто не сравнится!

— Странно, песня почти двадцатилетней давности, но, черт побери... все еще за сердце берет!

— Песня моей молодости,— задумчиво произнес Султан.— Я ее впервые услышал в шестьдесят седьмом году на Украине, в Черкассах.

— О, вы, оказывается, тоже реликт, Султан-ака,— засмеялся Камал.— Что, и тогда вы лес рубили?

— Султан-ака учился там три года, в индустриальном техникуме,— уточнил Абдулла.— Расскажите, как вы Назыма угощали пловом.

— Да что там рассказывать!

— Ладно, расскажите!

— Ну, если хотите... Однажды,— было это ранней

весной, стужа, пронизывающий ветер, спать мы ложились чуть ли не в пальто, и все равно зуб на зуб не попадал,— мы, продрогшие, возвращались с занятий. Смотрим, всюду афиши: гастроль Назыма Кадырова! Прибежали в общежитие, стали мыться, бриться, гладиться, еле дождались вечера и, пригласив самых красивых девушек, отправились на концерт. Людей — видимо-невидимо... Ах, как он пел, как пел! Такие овации были, что после два дня руки гудели. С ним была и сестра, тоже певица. Мы на все наши деньги купили цветов и забросали их букетами. Мы сидели там такие гордые... Эх, братишки, именно тогда я понял значение слов «узбек, Узбекистан!»... Мы не могли от него оторвать глаз: молодой, красивый, три часа пел без перерыва, и хоть бы голос дрогнул! Будто и не поет, а душевно так разговаривает с нами, даже движение губ еле заметно, а голос сильный, прозрачный, душу переворачивает. Он пел на узбекском, туркменском, индийском, французском... А когда начал «Арабское танго»!.. Какие же это было прекрасные дни!— Уйдя в воспоминания, Султан и не заметил, что разволновался.—После концерта мы ворвались к нему в номер и, несмотря на отговоры, потащили его в общежитие. И он пошел! Приготовили плов с красной морковью, так хорошо посидели... Был среди нас кокандец Якуб, который никогда не расставался со своим старым дутаром, так он принес свой инструмент, попросил что-нибудь спеть... На что Назым-ака тихо засмеялся: «Что ж, с удовольствием». И на дутаре он играл отменно — дутар в его руках просто плакал... Он спел кусочек из «Макома»... Еще запомнилось, что в ту ночь нам в общежитии было не холодно, как обычно, и заснули мы, не кутаясь и не дрожа...

Зазвучал популярный шлягер,— незамысловатую песенку эту певец исполнял столь же легкомысленно, как только что задумчиво спел предыдущую.

— Арти-ист... — насмешливо произнес Абдулла.— Голос у него, конечно, неплохой, но вкус...

— Что ж, просто неплохой ремесленник. Верно, Султан-ака?

Султан молча кивнул.

— А представьте на его месте Назыма... — Камал вдруг обернулся к Абдулле.— Слушайте, а не пойти ли нам сейчас к нему?

— Куда?

— К Назыму-ака.

— К нему домой? Да ты что? В такой поздний час? Неудобно...— пожал плечами Абдулла.

— Ни с того ни с сего? Что мы ему скажем? Ну, вы даете!— махнул рукой Султан.

— Что значит поздно?— Камал поднялся с места.— Где тут часы?.. Вот они, только пол-одиннадцатого. Ничего неудобного, скажем, что очень захотели его повидать, посидим, поговорим немного и уйдем... Не забывайте: ученые и художники ложатся поздно. И вообще, надоело всю жизнь смотреть на жалкие копии, можно хоть раз в жизни поглядеть на оригинал! Ну?

— Не знаю, как-то это...— промямлил Абдулла.

— Пошлите, Султан-ака, сами поедем! Чего бояться? Увидав такого старого знакомого, как вы,— я уверен,— он, обрадуется.

— Не забывайте, Камалджан, сколько воды с тех пор утекло... Да и знакомство, по правде говоря...

— Ничего!— Решение Камала было твердым, и отговорить его уже было невозможно.— Зовите официанта, пусть нас рассчитает. Денежки, надеюсь, у вас есть? Чего стесняться, мы же к нему не по делу, не с просьбой, правильно?

— Все это как-то странно...— растерянно произнес Султан.

— Что тут странного? Человек, к которому мы едем, не простой гражданин, а народный артист, и что плохого в том, что народ хочет видеть своего певца. Помоему, он этому будет только рад.

— Это ты-то народ? М-да... Мы даже не знаем, где он живет. Ты хоть знаком с ним?— спросил Абдулла, не двигаясь с места.

— Был у него однажды. Ну, пошли, что ли? Давайте хоть раз в жизни решимся сделать то, что нам душа велит!

«А ведь он прав,— подумал Султан,— всю жизнь только и делаешь, что считаешься с желаниями других, до своих все руки не доходят, и вот теперь, когда вроде бы настал час...»

На улице было прохладно, от вчерашнего снега не осталось и следа, небо звездное, без единого облачка. В ожидании такси Султан стал разглядывать огромное многоэтажное здание напротив. Почти во всех окнах горел свет, только одно окно на третьем этаже зияло чернотой. Душу Султана опять заполонил сумрак... Кто

знает, может, в этой темной квартире, беспомощно глядя в потолок, одиноко изнемогает больной? Возможно, он так ослаб, что не в силах даже зажечь свет... А может быть, ему уже все равно — свет или темнота...

Незажженные окна чужой незнакомой квартиры пробуждали в его душе странную смуту и горечь...

Такси домчало их за пятнадцать минут. По чистым ступенькам они гуськом поднимались на третий этаж.

— Я читал в одной книге: люди не решаются переступить порог знаменитостей, а те порой очень нуждаются в человеческом участии,— подбадривал Камал то ли себя, то ли друзей.

Небольшая площадка, дверь, обитая черным дерматином, белая кнопка звонка.

— Султан-ака, пожалуйста,— сказал Камал, пропуская его вперед.

— Ничего, ничего, проходите вы.

— Слушай, зря мы все это затеяли,— сказал Абдулла Камалу.— Когда ты здесь был?

— Перед Новым годом. Анар притащил. Возьми себя в руки, чего дрожишь? Сейчас войдем. Нажимай на звонок!

Звонок прозвенел. За дверью было тихо.

— Хоть бы его не было дома...— Абдулла непроизвольно сделал шаг назад.

— Кто такой Анар?— отчего-то шепотом спросил Султан, повернувшись к Абдулле.

— Друг его, из театра Навои. Эй, на чем играет Анар?

— Кто его знает,— пожал плечами Камал и спяť нажал на звонок.

Приоткрылась дверь, и Султан увидел такое знакомое лицо. Он удивился: надо же, столько лет прошло, а его кумир совсем не изменился! Все такой же худощавый, стройный, те же волнистые волосы, полные печали лучистые глаза...

— Ассалом алейкум, Назым-ака!— чуть ли не прокричал Камал.— Признавайтесь, ожидали вы сегодня гостей или нет? Привёл к вам сразу двоих дервишей, принимайте.

— Камалджан?! О, проходите, проходите!— постороился хозяин. На его сухошавом, удлинённом лице промелькнуло удивление.— Сюда, пожалуйста...

Султан с Абдуллой, обескураженные простотой знаменитого артиста, замешкались у порога, Камал же бес-

переманно полез обниматься, затем, смеясь и радуясь, принялся опять стрекотать.

По обе стороны длинного коридора были развешаны портреты и пейзажи: яркое лето, печальная осень, написанные акварелью и маслом. Султан засмотрелся на картину в конце коридора, на которой был изображен Назым-ака. Лицо певца на портрете, выполненном в необычной манере, выражало глубокую боль; притягивали к себе глаза, в которых, казалось, отразилась вся его душа.

— Сам Назым-ака писал,— пояснил Камал, снимая пальто. И тоном обо всем осведомленного человека спросил хозяина:— Закончили «Саратан», Назым-ака? А «Гранат»?

Пропуская гостей вперед, Назым-ака чуть заметно улыбнулся:

— Пока нет...

После недолгих взаимных приветствий Назым-ака поднялся, извинился, что дома нет хозяйки, прошел в кухню и вернулся с подносом, на котором стояли чайник и сладости. Султан в жизни не пил такого вкусного, ароматного чая, он удивленно загляделся в изящную расписную пиалу.

— Цейлонский чай,— сказал Камал, заметив его удивление.— Назым-ака привез его оттуда, в прошлом году.

Назым-ака, не сдержавшись, рассмеялся:

— Ну, Камалджан, вы прямо-таки ходячее справочное бюро.

— А как же иначе!— невозмутимо произнес Камал.— Вот этих людей, Назым-ака, я, можно сказать, притащил сюда силком. Кто же, говорю, должен ходить к народному артисту, как не его народ, правильно?

Назым-ака, видно, не раз слышавший подобные разглагольствования, молча кивнул.

— Так, а теперь, позвольте вам задать один вопрос,— произнес Камал, воодушевляясь.— Раз уж вы назвали меня справочным бюро... Скажите, где вы были одиннадцатого марта тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года?

Хозяин удивленно вскинул голову...

— Кто его знает...

---

<sup>1</sup> Саратан — самый жаркий месяц лета.

— А мы знаем,— сказал Камал.— В тот день вы давали концерт в доме культуры «Юбилейный» в городе Черкассы на Украине. Вспомнили?

— Да... что-то такое было...

— Концерт закончился в половине десятого вечера, а что вы делали потом?

— Наверное, спал,— кротко улыбнулся певец.

— А вот и нет!— торжествующе возразил Камал.— Все дело в том, что вы не спали. Если бы уснули, то лишились бы удовольствия познакомиться с одним замечательным человеком! Вы пошли в общежитие индустриального техникума...

— Подождите!.. Откуда вы это знаете?

— Все-таки он был рожден стать следователем,— пробормотал Абдулла.

— А почему бы нам не знать?— сказал Камал.— В наше время ничто не забывается. Слава богу, живем в век НТР, каналы связи работают хорошо. Короче говоря, там вы познакомились с одним человеком...

— Видно, запасам памяти Камалджана сегодня не будет конца,— вмешался в разговор Султан.— Назым-ака, если помните, мы с вами вот так же сидели в общежитии техникума. Тогда я учился на третьем курсе...

— Да-да-да!— оживился певец.— Вспомнил! Было очень холодно, да?

— Да. Вспомнили?

— Извините, как вас зовут...

— Султан.

— Да, Султан, вы правы, было очень холодно. Я не выношу холода. Он улыбнулся, поежившись.— Мы дети Востока, в нашей крови должно гулять солнце... Подумать только, сколько лет с тех пор пролетело... Ну, как вы, где живете? Кем работаете?

— В Заркургане, Назым-ака. Строим для людей дома...

— Наш Султан-ака инженер, а когда был студентом, строил гостиницу «Семург»,— торопливо вставил Камал.

«Медресе Кукельдаш строил визирь Кукельдаш!»— вспомнил вдруг Султан.

— Говоря откровенно, Назым-ака, мы к вам прямо из ресторана,— сказал он после минутной паузы.— Там один парень исполнял вашу песню, и нам вдруг



очень захотелось вас увидеть, явились непрошеными гостями...

— Спасибо,— певец был явно тронут вниманием.— Султанджан, вы не смущайтесь, прошу вас, почувствуйте себя как дома. Договорились? Угощайтесь, пожалуйста. На улице не холодно? Когда же наконец наступит весна?— сказал он с какой-то печалью.

Камал протянул руку к стопкам книг и альбомов, лежавших на журнальном столике.

— Можно посмотреть, Назым-ака?

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Навои!— прочел Камал, раскрыв толстую книгу в оранжевом переплете.

— Да, Навои. Дайте-ка мне ее,— обратился Назым к Камалу.— Вчера я вспомнил отца. Эта книга — память о нем. Помнится, в длинные зимние вечера он подолгу сидел у окна и листал старые-престарые книги. Я любил молча глядеть на отца. Мне казалось, он постоянно что-то ищет в книгах и не может найти. Однажды я спросил: «Что вы там все время ищете, папа?» Отец засмеялся и ответил: «Себя ищу, сынок. Вот послушай: «Зачем народу искать меня, если я не нашел себя...» Так сказал Алишер Навои, понял?»— Назым-ака заговорил спокойнее.— Тогда эти слова крепко засели в моей голове. Действительно, как народу найти меня, если я сам не нашел себя... Но смысл этих слов по-настоящему я начал понимать только сейчас. Если я не буду знать, кто я, чей я, народу от меня не будет пользы, вот что он хотел сказать. Но, к великому сожалению, я не знаю, из какого произведения Навои это строки, когда они написаны.

Наступила длительная тишина.

— Может, из «Возлюбленного сердца»?— предположил Камал.

Назым-ака неопределенно покачал головой:

— Не знаю... До сих пор мы ни Навои, ни себя толком не знаем...

— Если уж вы так говорите, Назым-ака...— произнес Абдулла смущенно,— то такие босоногие, как мы, должны криком кричать.

— Что там говорить!— Назым-ака махнул рукой.— По молодости, неискушенный, пел все, что придется. И вот теперь, как вспомню... Но не забудешь... Как говорят, из песни слов не выкинешь...

Опять наступила тишина. Султан, изредка поглядыва-

вая на Назыма-ака, думал: «Уж у этого-то человека, мне казалось, нет никаких горестей и сожалений. Оказывается, есть! Эх, если бы на долю каждого человека выпадали только такие сомнения!..»

— Я должен был петь из Навои, Фузули, Машраба. Какие у них глубокие мысли, кристально чистые слова... А народные песни? «Играл на дугаре, струна оборвалась, вспомнил любимую, тоска закралась...» Как ясно, просто, трогательно! Ведь я рос, слушая такие песни, отец и мать пели их. Я долго плутал, долго...

— Зачем вы так говорите, Назым-ака?..— Султан удивленно взглянул на него.

— Я подражал Масиасу, Азнавuru, другим... пел их песни. Зачем? Хотел удивить разучившихся удивляться французов?— Он печально улыбнулся.— Но им не нужны два Масиаса, каким бы великим он ни был. Вообще, в искусстве каждый ценен своей индивидуальностью, неповторимостью — я это понял поздно, слишком поздно...

— Для нас тем и дорог Назым Кадыров!— бестактно встрял опять Камал.

Назым-ака тихо покачал головой, наступила тишина. Заговорил Абдулла, который давно собирался что-то сказать, но все никак не решался:

— Один случай в моей жизни связан с вами... Я все мечтал когда-нибудь встретить вас, Назым-ака, и поблагодарить, но до сих пор не приводилось... И вот сегодня, можно сказать, сама судьба предоставила такую возможность. Семь лет назад я был на вашем концерте во Дворце железнодорожников. В тот день я был сильно расстроен: повздорил с очень дорогим для меня человеком, думал, больше не увижу ее. Потом я долго пытался вспомнить причину этой размолвки, но так и не смог, такой она была пустячной... Короче говоря, начался концерт. Переполненный зал. И так мне сделалось обидно, ведь я на ваши концерты всегда ходил с ней, нам было так хорошо... А тут и песни до меня не доходят, то себя ругаю, то ее виню. И вдруг мне вздумалось написать вам записку. Записок было много, не торопясь, вы прочли их все, моя оказалась последней. Сердце мое застучало... Подойдя к микрофону, вы еще раз взглянули на мой листочек, и сказали: «Наш друг Абдулладжан попросил исполнить для него песню «Рано». Я с удовольствием ее спою». И я вдруг почувствовал себя таким счастливым, Назым-ака... Когда после

концерта я выходил из зала, у дверей увидел свою Рано, мне стало так жалко ее. Оказывается, она сидела в другом конце зала, так же мучаясь, как я. Она молча подошла ко мне, мы без слов поняли друг друга и, конечно, помирились. Если бы не вы, не знаю, нашел бы я ее заново...— закончил Абдулла свой рассказ.

— Когда это было? Семь лет назад, говорите?— Назым-ака задумался.— Не помню...

— Наверное, в вашей жизни таких случаев было немало, а в моей это единственный, и я его никогда не забуду.

— Э, нечего болтать попусту. Не забуду, не забуду, а сам, когда женился на Рано, и не вспомнил о Назыме-ака, на свадьбу-то не пригласил!— зашумел Камал.

— Нет, не забыл,— произнес Абдулла тихо.— Чтобы пригласить Назыма-ака на свадьбу, мы специально пошли вместе с Рано в филармонию: придет так придет, а не придет, то хоть выразим ему свою благодарность. Но, к сожалению, тогда вы лежали в больнице.

— Да-а, полжизни проведено в больницах,— удрученно согласился Назым-ака.— Я рад, Абдулладжан, что у вас все сложилось хорошо. Почему вы не пьете чай?

— Пьем,— хитро подмигнул Камал.— Считайте, у нас теперь наступил век чая: дома чай, на работе чай, даже в ресторане чай!

Все рассмеялись.

— Если хотите,— приподнялся с места Назым-ака,— имеется и более холодный чай.

— Нет-нет! Что вы!— запротестовал Камал.— Я пошутил. Слышали новую поговорку? «Будешь пить «холодный чай», теплый мир, навек прощай!»

— Ну и Камалджан!— Вытирая на глазах выступившие от смеха слезы, Назым-ака, похлопал Камала по плечу.— С вами не соскучишься! Век бы с вами сидеть.

— Назым-ака, напишите эти ваши слова на бумаге и поставьте свою подпись!— горделиво поглядел на друзей Камал, затем, вдруг посерьезнев, спросил:— Как здоровье-то ваше?

— О здоровье не будем говорить,— сказал Назым-ака твердо,— тот, кто говорит о болезнях, еще больше болеет. Лучше расскажите, нашли ли вы наконец останки динозавров?

— Найдем!— ответил Камал уверенно.— Сейчас там

ведутся большие поисковые работы. Предполагаются богатые нефтяные залежи. Э, Назым-ака, про наши дела говорить неинтересно, лучше расскажите о своих.

— Почему неинтересно? Я вот, к примеру, думаю, что лучше уж искать динозавров, чем дремать целый день в кабинете.

— Это конечно,— подтвердил Султан.

— Назым-ака, когда же мы услышим ваши новые песни?— Абдулла разлил по пиалам чай.

— Не знаю,— нерешительно пожал плечами Назым-ака.— Пока не знаю. Но верю, в один прекрасный день спою совсем по-новому, на новый мотив, с новыми словами... Пока в голове у меня вертится одна картина, которую я непременно должен написать. И увидел я ее, тоже читая Навои. Отец отметил... Вот... в этой книге,— он длинными тонкими пальцами стал листать книгу.— Вот послушайте-ка:

...Как будто каждый здесь платан  
окрашен охрой золотой,  
Как будто каждый соловей  
смущен своею немотой,  
Но если падающий лист  
не так несчастен, как вон тот,  
Что лег на землю миг назад,  
зачем же этот желтый цвет?  
Кружит над рябью темных вод  
листву моих багряных слез,  
И кажется, что в мире нет  
ни соловьев уже, ни роз,  
А только этот желтый сад,  
что молча на меня глядит,  
Как в зеркало, в меня глядит...  
Он этой ночью облетит.<sup>1</sup>

— Если бы я мог перенести эти строки Навои на холст!... Ведь это же целая симфония! Хочу написать этот пейзаж.

Султан попытался представить себе этот просторный сад с вековыми платанами и соловьями, удивленными листопадом... Теплые лучи осеннего солнца извлекают печальную музыку из пожелтевшей и ярко-красной листвы. Озеро... Листья на дрожащей от предчувствия

---

<sup>1</sup> Перевод И. Бяльского.

близкой зимы воде... Алые, как кровь, опавшие листья... По тихому, почти прозрачному уже саду идет человек. О чем он думает? О чем его печаль? Неужели только об осени? Какую роковую загадку таит этот облетающий сад?..

\* \* \*

Распрощались у гостиницы, Абдулла все не хотел его отпустить, звал к себе, Султану насилу удалось отговориться обещанием прийти завтра.

Проводив друзей, он немного погулял по опустевшей улице — в номер идти не хотелось. Как кадры из кинофильма, вереницей проносились в голове впечатления сегодняшнего вечера, разговоры в доме Назыма Кадырова. Воспоминания эти словно очистили его, но и опечалили тоже.

«Кто говорит о болезни, тот больше болеет...» Он прав. Но человек больной не думать об этом не может..

Он загляделся на здание гостиницы, ночь делала ее похожей на загадочную птицу с распростертыми крыльями. Вот его неосвященное окно на третьем этаже. Именно третий этаж штукатурила их бригада. Тогда Султан впервые взял в руки мастерок, и тоненькая Муштари обучала его премудростям ремесла. Вначале у него ничего не получалось: раствор норовил сползти вниз по бетонной стене, Султан растерянно оглядывался на девушку, старался не попадаться на глаза сердитому бригадиру...

Он медленно вернулся в гостиницу, вошел в холл и, не дожидаясь лифта, неторопливо стал подниматься на третий этаж... Как семнадцать лет назад.

«Если зачислим вас в институт, пойдете работать на стройку?»

Ради института Султан был готов идти хоть до Кухи-Кафа<sup>1</sup>, поэтому не задумываясь согласился...

В бригаде штукатуров было четырнадцать человек, Султан стал пятнадцатым. Однако завоевать у бригады звание «человек» было гораздо труднее, чем получить в трудовой книжке запись «штукатур».

Пятеро были женаты, шестеро, не считая Султана,

---

<sup>1</sup> *Кухи-Каф* — в народных дастанах — далекая гора — обиталище дивов.

ходили в холостяках, трое принадлежали к прекрасному полу.

Одна из них, бойкая и неутомимая в работе, умеющая как никто постоять и за себя, и за товарищей, Зайтуна, работала в бригаде чуть ли не с ее основания. Вторая, белолицая, с пышной копной каштановых волос, Клава, жила одна с маленькой дочкой — год назад погиб ее муж — молодой офицер. Скромная, ясноглазая, — сердце сжималось от тоски, когда встречался с ее печальным взглядом. Третья, с необычным именем Муштари, была моложе двух остальных, недавно ей исполнилось двадцать.

Познакомившись с ней поближе, нельзя было не воскликнуть в сердцах: «Природа-мать! Как же ты несправедлива! Такая добрая, приветливая, и такая...» Хотя, может быть, в этом и состоит высшая справедливость природы: одной — доброту, а красоту — другой. Муштари уже три года работала в бригаде, она училась на вечернем отделении биофака. Зайтуне и Клаве — близкая подруга, шести холостякам — сестра, для Султана и болтуна Шакира, закончившего недавно профтехучилище — терпеливая наставница. Даже всегда всем недовольный грозный бригадир Абубакир, награжденный за свой нрав прозвищем «Абу-Гроза», — естественно, употреблявшимся только за глаза, — ни разу не повышал на нее голоса и называл ее непременно «доченькой».

Первое время Султан не переставал удивляться тому, что эта хрупкая девушка предпочла стройку спокойной чистой работе в школе или какой-нибудь лаборатории. Еще его удивило ее необычное имя. На второй день, когда они, закончив работу, отмывали в железной бочке свои мастерки, Султан спросил девушку:

— Извините, а что означает ваше имя?

— Не знаю, — просто ответила она. — А вообще, в прошлом году в журнале «Наука и жизнь» я прочла, что оно якобы значит «подписчик».

— Не может быть!

— Правда.

— А я думал... что имя ваше имеет какой-то иной смысл. — Султан был разочарован, но для приличия добавил: — Все равно очень красивое имя.

— Может быть, — пожалала плечами девушка, — но все красивое лишено глубокого смысла. — Очевидно, поняв, что слова ее могут быть истолкованы как вызов, она

покраснела и, нагнув голову, стала усиленно очищать мастерок.

Султан не нашелся что ответить. Вести речь о прекрасном с этой девушкой было бы так же кощунственно, как разъяснять слепому цвета радуги.

— Потому что люди, плененные иногда внешней красотью, не замечают, что попадают впросак,— продолжала девушка более сдержанно.— Например, в одно время, кажется, в тридцатые годы, было модно называть детей звучными именами. Один наш дальний родственник — теперь его нет в живых,— получив большую должность, вообразил себя человеком интеллигентным и назвал свою дочь «Дизентерией».

— Как-как? Дизентерией? — рассмеялся Султан.

— Да. Ему это слово, очевидно, показалось очень красивым, может быть, даже величественным, а понтересоваться его значением он посчитал ниже своего достоинства,— улыбнулась Муштари.— Я знала эту старушку, уже в преклонном возрасте она все же поменяла имя в паспорте.

Султан, вытирая выступившие от смеха слезы, догадался, что в сердце девушки горит скрытый огонь зависти к красоте и даже к слову «красивый».

— А кто вас так назвал, Муштари? Не тот ли самый ваш родственник? — спросил он.— Или отцу вашему понравилось такое имя?

Девушка грустно покачала головой:

— Нет, так назвала меня мама. Несмотря на то, что она нигде не работала и не кончала никаких институтов, она была женщина образованная — читала по-арабски, особенно любила газели Надиры-бегим,— сказала она тихо.— А отец называет меня «Муштар»,— сжала она свои толстые губы.— Это звучит как «наштар»<sup>1</sup>...

На этом разговор сам собой исчерпался,— они молча направились к лестничной площадке.

В те времена Султан, юный холостяк,— Зумрад еще не появилась в его судьбе,— как всякий неженатый парень, думал, что при желании может и луну достать с неба, и, разумеется, не обратил внимания на полные тепла и надежды лучистые глаза этой внешне непривлекательной девушки. Он, обливаясь потом, вкалывал на самых высоких площадках стройки до темноты в

<sup>1</sup> Наштар — ланцет, букв.—«ало».

глазах, вечером, наскоро перекусив, бежал на занятия, вернувшись, до поздней ночи сидел над учебниками, а в короткие часы сна ему снились прекрасные принцессы.

Через два месяца к нему пришел его друг Кудрат, работавший лаборантом на химфаке.

— Все, дружище,— сказал он, как-то вздохнув,— ничего не получается. Чаще приходится мыть не колбы, а машину моего заведующего. И зарплата того... только на хлеб да лук хватает. Скажи своему Абу-Грозе, пусть и меня возьмет в свою бригаду. Давай уж вместе будем пропадать, хоть в радости, хоть в беде.

Нелегко было уговорить Абу-Грозу... «Не знаю, не знаю, похоже, дружок твой любитель бить баклуши. Работа за полгода не смотал бы удочки. Ладно, раз уж ты просишь, так и быть... Пусть идет подручным к Ильяссу». Султан улыбнулся про себя: идти учеником к Ильяссу — значит идти учеником к запрограммированной машине: работает без продыху, со словом «усталость» не знаком, обращаясь к человеку на «вы», выматывает его до последнего. «Ну, Кудрат, ты пропал!»

Но Кудрат не пропал, он принялся за работу с таким рвением, что через четыре месяца Абу-Гроза стал даже время от времени похваливать его: «Посмотри, брат, на своего друга Халикова, дашь ему задание, он в доску расшибется, а сделает, ни перед чем не спасует, черта возьмет себе в подручные, а своего добьется». Таков был Абу-Гроза: если даже кого и хвалил, спуску все равно не давал.

Перейдя на работу к ним в бригаду, Кудрат решил, что и жить им с Султаном следует вместе, и переехал в дом Матушки, да и на стройке следовал за ним, как тень. К этому времени Султан уже кое-что освоил, Муштари занималась теперь Шакиром. Однажды она пожаловалась Султану:

— Султан-ака, скажите своему приятелю... Кудрату, пусть он называет меня полным именем.

— А как он вас зовет?

— Только и слышу «Муштар» да «Муштар». Хватит с меня и того, что дома так называют. Самой мне неудобно об этом сказать, хорошо?

— Не обижайтесь,— успокоил ее Султан.— Я ему объясню.

Вечером, возвращаясь домой, он подумал: несомнен-



но, в имени девушки есть какой-то скрытый смысл, иначе бы оно не звучало так загадочно.

Назавтра была суббота, утром он отправился в библиотеку. Выписав «Словарь произведений Навои», принял его листать. «Муштариф, муштамил, муштарак, муштари...» Слово имело два значения: первое — покупатель, потребитель, клиент, второе — Юпитер — планета, звезда». Так и должно было быть, Муштари — яркая, лучистая звезда, далекая, загадочная планета... Добрая мать, наверное, хотела, чтобы ее дочери сопутствовали такие яркие эпитеты...

В понедельник он буквально примчался на работу. Гостиницу планировали сдать к очередному приближающемуся празднику, некогда было даже перекурить, а уж Абу-Гроза не прочь был работать даже без обеда. Султан торопливо натянул спецовку и направился в сторону бетономешалки, но по пути наткнулся на бледного от ярости Абу-Грозу, который, словно шпагой, махал чем-то завернутым в газету и, как бык на тореодора, напирал на Шермат-бревно. Шермат-бревно был уже не похож на бревно, он дрожал, как осенний листочек. Увидев Султана, он вскинул на него полный мольбы взгляд.

— Вот, вот свидетель! Султан, братец, иди сюда! — Абу-Гроза что было сил потянул его за рукав. — Я тебя за решетку засажу, сволочь! — кричал он Шермату. — Ты за кого меня принимаешь? Хочешь подкупить? Ах ты гад, ну-ка признавайся, какой сукин сын, да сгорит его дом, сказал тебе, что я беру взятки?!

— Абубакир-ака, что случилось? — испуганно спросил Султан.

Абу-Гроза, все еще держа его за рукав, весь дрожа, стал торопливо рассказывать...

Оказывается, на прошлой неделе Шермат-бревно два дня отсутствовал на работе: по каким-то делам уехал на родину в Джамбул. Естественно, отпроситься у него не хватило решимости, и вот, вернувшись, стал ломать голову, как загладить вину. Тут-то кто-то и подсказал ему выход — дай-де бригадиру один круг казы, привезенных тобой из дому, и не будет у тебя ни прогула, ни лишних разговоров. Выбрав казы подлиннее и потолще, Шермат-бревно завернул его в газету и, выбрав момент, когда Абу-Гроза остался один, сунул ему в руки, отчего тот взорвался, как бомба. И вот теперь бригадир требовал немедленно назвать имя этого «сукиного сы-

на», и несчастный Шермат, еще раз подтверждая свою кличку, как бревно тупо уставился на него.

— Да не обижайтесь, товарищ бригадир, наверное, какой-то шутник...— начал было Султан.

Тут Абу-Гроза накинулся и на него:

— Человек, который может со мной шутить, находится еще в утробе матери, понятно, тебе, братец!— Затем, вдруг почти умоляющим тоном, обратился к Шермату:— Слушай, братишка, как ты мог поверить какому-то подонку? Значит, ты поверил, что я такая сволочь? Значит, и другие так думают? О боже, что же это за наказание, на старости-то лет?

— Простите меня, простите...— бубнил Шермат.

— Тридцать лет я возжусь в глине, ращу своих детей,— отчаянно замотал головой Абу-Гроза,— в сторону чужой копейки никогда глазом не повел! Да лучше мне напороться на клинок Али<sup>1</sup>, разорваться на части, чем взять и сожрать взятку!

— Абубакир-ака, успокойтесь, возьмите себя в руки,— урезонивал бригадира Султан.— Ну, ошибся человек. Эй, чего ты вытаращился? Бери свою казы и вали отсюда!

Шермат-бревно испуганно отступил назад.

— Извините,— бормотал он,— извините...

Абу-Гроза, тяжело вздохнув, опустил на бетонную плиту.

— Ты погляди, а, братец, с землей меня сравнил,— сказал он через некоторое время, вытирая лоб.— Какой подлец распускает обо мне такие слухи? Неужели этот мальчишка столько со мной проработал и ничего не понял?

Он, постанывая, поднялся с места и направился в сторону вагончика. Еле кивнул на приветствие безавшей навстречу Муштари и скрылся.

Муштари, здороваясь за руку с Султаном, спросила:

— Не в настроении он, что ли?

— Не знаю,— пожал плечами Султан, затем, испытующе глядя ей в глаза, спросил:— Так знаете, что означает ваше имя?

Девушка, восприняв вопрос как очередной праздный треп, недовольно свела брови.

— Не знаю. Ну, начали? Раствор готѳв?

---

<sup>1</sup> Али — арабский полководец-завоеватель.

— Готов. Сказать, что оно обозначает? А что я за это получу?

Муштари показала на валявшееся под ногами дырявое ведро.

— Это? Ладно, если вы достаиваете меня этим... согласен. Повешу его себе на шею и буду ходить. Ну, так слушайте: Муштари — значит звезда, это название планеты Юпитер.

— Что? Звезда? Юпитер? Да бросьте вы! — глаза девушки засияли. — Откуда вы это взяли?

— Из «Словаря произведений Навои», — сказал Султан просто. — С этого дня ваше имя — Сайёра<sup>1</sup>. Нет, Юлдуз<sup>2</sup>. Недосягаемая звезда.

Муштари смущенно опустила глаза, на лице засияла благодарная улыбка.

«Как легко порой сделать человека счастливым!» — думал Султан, шагая вслед за девушкой к стройплощадке.

С этого дня он стал называть Муштари то Сайерой, то Юлдузхон.

Ни завтра, ни послезавтра Абу-Гроза не появлялся на работе. Хоть и не попробовал он казы, но давление у него подскочило. Убедившись воочию, что он, как и все честные люди, легко раним, теряется и даже вовсе становится беспомощным перед клеветой и оговором, Султан еще больше зауважал этого крикливого, но честного человека. А Шермат-бревно, чтобы скрыть свой позор, пока бригадир болел, подал заявление и уволился.

Новый год Султан встретил в больнице. Двадцать шестого декабря его прихватил приступ аппендицита. Кудрат, как всегда, где-то пропал, вернувшийся с работы Кадыркул вызвал «скорую» и отвез его в клинику. Вечером следующего дня, когда он лежал, стиснув зубы от боли, в палате появился Кудрат. Как сейчас помнит: Кудрат принес ему две банки скумбрии в томате, от чего Султан, забыв про боль, рассмеялся.

— Ах, да, консервы тебе нельзя, — почесал затылок Кудрат. — Ладно, утром мы их мигом умнем с «мннг-баши».

Через полчаса после Кудрата, задыхаясь, переваливаясь с ноги на ногу, появилась Матушка в сопровождении Кадыркула; плача и причитая, она дала выпить

---

<sup>1</sup> Сайёра — планета.

<sup>2</sup> Юлдуз — звезда.

Султану две ложки бульона, который принесла в кастрюльке, аккуратно завернутой в махровое полотенце. Всю ночь у него скакала температура, только под утро наступило забытие. Разбудил его какой-то больной, допрудившись до плеча:

— К вам пришли, просят выйти.

Он с трудом узнал высокого подростка из своей палаты.

— Мальчик, я же не могу,— сказал Султан растерянно.— Кто там пришел, не знаешь?

— Какая-то девушка, по имени Юлдуз.

Султан еще больше удивился. В этом городе, да и во всем мире у него не было не только знакомой с таким именем, но и вообще девушки, которая могла бы о нем беспокоиться?

— Сказать, чтобы ей дали халат?

Он торопливо кивнул и удивленно уставился в потолок.

Вскоре открылась дверь и появилась Муштари.

«Эх, дурень!»— усмехнулся про себя Султан.

Глаза девушки... Так могут глядеть только глаза любящего человека!

Вечером она вновь пришла. Назавтра опять..

Каждый раз, провожая ее с шутками, остротами, Султан чувствовал себя почему-то не совсем порядочным человеком.

Когда Султана выписали из больницы, началась зимняя сессия, он ушел в ученический отпуск. После экзаменов явился к Абу-Грозе, сказал, что чувствует себя неважно, и попросил отпустить, потому как теперь он не пригоден к тяжелой работе. Абу-Гроза и слушать не хотел: «Брось, братец, за душегуба, что ли, меня принимаешь? Я тоже человек! Это что ж получается: хорош осел, когда трудится, а когда не трудится — плох. Это я так, к слову, ты не обижайся. Я поговорю с руководством, месяц-другой поработаешь в конторе, где полегче, а там опять соберемся в единый кулак и будем вместе трудиться, не беспокойся и не ломай себе голову, братец!»

Тут же, откуда-то прослышав об этом разговоре, примчалась Муштари.

— Что, уходите?— спросила она, сверкнув глазами.

У Султана подкатил к горлу комок.

«Эх, мне бы кого-нибудь так полюбить!»— подумал он с грустью.

— А для чего я вам, такая обуза?— как можно беспечнее произнес он.

— Вы обуза?!— Девушка улыбнулась, с укором покачала головой и, теребя пуговицу на своей робе, мягко сказала:— Оставайтесь... к вам все так привыкли,— и чуть ли не бегом выскочила из вагончика.

Абу-Гроза настоял на своем: поработав месяца два в конторе, Султан вернулся в бригаду. В день его выхода Муштари не было на работе. Улучив минуту, он спросил о ней у Зайтуны.

— Что, соскучился?— загадочно улыбнулась та, будто знала о чем-то совершенно секретном. Затем, не переставая водить мастерком по стене, отчего она становилась гладкой, как стекло, мигом выложила ворох новостей: дочь Клавы заболела желтухой, вот уже полтора месяца лежит в больнице, болезнь оказалась запущенной, девочка в тяжелом состоянии, мать не выходит из палаты, нужно какое-то дефицитное лекарство,— Муштари отправилась его искать.

— Султан, я хочу сказать тебе...— продолжила Зайтуна разговор уже по-русски,— женился бы ты на этой девушке... Если б я была холостым мужиком, ни секунды бы не задумалась. Только ты не сердись, что я вмешиваюсь в твою личную жизнь. Если у тебя нет никого на примете, женись на ней, она тебя сделает счастливым.

— А я? Я смогу ее сделать счастливой?— спросил Султан.

— Да ну, Султан, брось! Такой парень, как ты...

— О, вы меня не знаете, Зайтуна-апа. Стоит мне сообщить вам хотя б об одном из своих недостатков, как вы меня тут же прибьете мастерком. Муштари действительно прекрасная девушка и должна осчастливить такого же хорошего человека, как она сама.

Зайтуна, нагнувшись, намочила тряпку в ведре.

— Как знаешь, Султан! Я чувствую, она к тебе равнодушна,— сказала она, опять переходя на узбекский:— Ты не гляди на ее внешность. Что красота, на хлеб ее не намажешь, да и потом, красота, она ведь как весна. А доброта, трудолюбие Муштари!.. Во всем виноват ее отец, иначе бы...

— А что ее отец?

— Стал поперек счастья своих дочерей... Ты не видел ее отца? Пьет он... И жену, от большой любви, довел до могилы... Теперь дочерям житья нет. Трое их,

все на выданье, а сидят... Все из-за отца-пьяницы... Никто к ним свататься не приходит...

Султан только теперь понял, отчего в голосе Муштари прорывались нотки обиды, когда разговор касался ее отца.

— ...Мой тоже было начал. Гляжу, каждый день веселенький, ни толку от него в доме, ни денег. Так я его раз-другой поставила на место — сразу притих, угомонился, — с гордостью рассказывала Зайтуна.

— Послушайте, — прервал он ее, — что, отец ее и сейчас пьет?

— Нет, — покачала головой Зайтуна. — Сейчас как будто бросил. Теперь он, как все бывшие пьяницы, ходит в мечеть, грехи замаливает.

— И отчего люди так пьют?.. — задумчиво произнес Султан.

— А кто их знает, — сказала Зайтуна. — У каждого, наверное, своя причина. У него, например, молодая жена умерла, он больше не женился. Дальше хуже. Малые дети, заботы, нужда, вот и заливал все вином.

Ночью Султан долго думал над словами Зайтуны. Она права, красоту на хлеб не намажешь. Но ведь человек жив не хлебом единым...

В сердце его не было никаких чувств к Муштари, кроме уважения. Видите ли, она с ним будет счастлива. На земле одним счастливым человеком станет больше? А Султан, сделав ее счастливой, сам должен остаться без счастья? Значит, на свете появится еще один несчастный человек — какой в этом смысл?..

Ни с кем не делаясь, он мучился этим до самого лета, а в один из июньских дней встретил Зумрад — и жизнь его перевернулась. Вон, оказывается, какой бывает любовь! Не умещалось в сознании, как он мог четверть века прожить без Зумрад?..

Любовь, как оказалась, делает человеческую натуру не только широкой, но и эгоистичной. Султан вдруг забыл многое и многих.

Повстречавшаяся ему однажды на жизненном пути девушка с добрыми, полными надежд глазами, стала для него далекой, как планета Юпитер.

В августе Муштари ушла в отпуск, а через три дня принесла приглашение на свадьбу.

Как снегом среди лета — все были застигнуты врасплох. Ни Клава, ни Шакир, ни Зайтуна — никто ничего не знал, не ведал.

На следующий день Зайтуна принесла новость: жених из одной махали с Муштари, пять лет назад у него умерла жена, у него три дочери и сын, работает грузчиком в овощном магазине, живет неплохо, по словам соседей, не очень старый...

Абу-Гроза распорядился собрать по пятерке. Долго думали, что купить в подарок, но никто ничего путного не предложил. Рассерженный Абу-Гроза пошел и купил два торшера. Выставив их в вагончике на обозрение, дней пять выспрашивал у всех заходящих их мнение по поводу подарка.

На свадьбу пошли всей бригадой...

Султану запомнился чистый опрятный дворик на Бешагаче, отец девушки — сухонький старичок в бархатной тюбетейке с виноватой улыбкой... и глаза Муштари!.. Ох, эти глаза, что излучали они — упрек или улыбку?

Султан еще не видел такой свадьбы. Плясали все. Даже Абу-Гроза поднялся с места, когда к нему, уперев руки в бока, по-восточному покачивая головой, подошла несколько отошедшая от своих печалей Клава. Будто собираясь месить глину, он засучил рукава, и пригнув голову, как бык, собравшийся боднуть, вступил в круг. Затем, обернувшись к Султану, подмигнул ему и стал взглядом показывать на танцующих, мол, давайте, выходите. Никогда не танцевавший ранее Султан, чтобы не выглядеть белой вороной, тоже вышел в круг...

Разошлись после полуночи. Поймав такси, посадили женщин и Абу-Грозу. После того, как захлопнулась дверца, он высунулся в окно машины и прокричал:

— Ребята, вы тоже поторапливайтесь по своим углам, нечего шляться до утра, как бездомные собаки. Султан, ты уж сам отправь всех по домам. Не дай бог в понедельник искать вас по вырезвителям!

— Ну, до этого дело не дойдет, Абубакир-ака — помахал рукой Султан.

— Чего нам в вырезвители делать, плов там не подают, — недовольно добавил Кудрат.

— Мое дело предупредить, братцы, — сказал Абу-Гроза усталым голосом. — Береженого бог бережет! Поехали!

Машинна рванула с места, увозя бригадира.

— Ну все, обидел ты старика!

— А-а!— махнул рукой Кудрат.

До моста шли молча. На улицах тишина, яркие фонари, в голове легкий хмель, в душе неведомые желания, идти бы и идти так молча, до утра... Домой никому не хотелось. Странные чувства обуревали всех, у каждого в голове кружились похожие мысли, но никто не решался их высказывать... Прошло пять минут, десять, пятнадцать... Вдруг Кудрат сплюнул себе под ноги.

— Ну и гадами мы оказались, братцы!

Никто не отозвался. Акбар взял сигарету. Исомиддин дал ему прикурить.

— Такую девушку... Эх!— Кудрат в сердцах махнул рукой и, прислонившись к ограде моста, повернулся ко всем спиной.

Никто не промолвил в ответ ни звука,— любое слово было бы сейчас некстати...

— Пошли... — наконец бросил Султан глухо.

Они опять молча зашагали по безлюдным освещенным улицам. Попадись они сейчас на глаза прохожим, никто не сказал бы о них, что они возвращаются со свадьбы...

\* \* \*

Дородный завотделением узнал Султана и на этот раз поздоровался приветливо, как со старым знакомым.

— Садитесь,— указал он на диван, обтянутый белым чехлом, и, вытащив из кармана халата пачку сигарет, протянул и ему:— Закурите?

Султан отрицательно покачал головой:

— Спасибо, только что курил.

— Так, что же с вами делать?— произнес он задумчиво.— Вы же из области, замучились уже, наверное? Сегодня после обеда мы выписываем одного больного, на его место и положим вас, пожалуй.

— Сегодня?— недоверчиво переспросил Султан.

— Да. Ведь сегодня пятница, не так ли. Вот и приходите. Тапочки у вас есть?

— Найдем,— сказал Султан несколько разочарованно.— А когда... приедет Насимов?

Заведующий поднял глаза от стола.

— Исмаил Рахимович, по-моему, возвращается в понедельник,— сказал он, листая календарь.— Не беспокойтесь, мы ему обязательно вас покажем. А пока начнем обследование. Договорились? Оставьте свое направление.



До этого момента Султан еще питал какую-то смутную надежду, что все как-то обойдется, что так или иначе он скоро вернется домой, но после слов заведующего все теплившиеся надежды разом рухнули. «Значит, вот оно как выходит...»

Во второй половине дня, насилу заставив себя, он вошел в больничный двор, огороженный высокой стеной, оглядел мрачные сероватые стены здания клиники и в страхе подумал: «Неужели мое тело будут выносить отсюда?!»

Его положили в тридцать четвертую палату, расположенную в конце длинного сумрачного коридора на втором этаже. Высокий потолок, белые скучные стены, в одинаковых халатах, словно на одно лицо, больные...

Суббота прошла тоскливо: кроме медсестры, взявшей у него кровь на анализ, никто им больше не поинтересовался. Ему тоже не хотелось никого видеть, весь день он пролежал с закрытыми глазами, отвернувшись к стене.

Наступил вечер. Пришли и ушли посетители, все, кто должен был прийти и уйти. Кончились вечерние процедуры. Выключили свет, улеглись шум и суета — наступило время сна.

Накинув халат, Султан вышел в коридор. Приоткрыв створку окна, он закурил. Когда же кончится ночь и взойдет солнце? Скоро ли придет конец его мучениям? Неужели вместе с мучениями завершится и его жизнь?..

Внизу на ярко залитых электричеством улицах по-прежнему текла жизнь. Куда-то торопливо мчались машины, спешили по домам запоздалые прохожие. Счастливики! Потому что шли они прочь от больницы, потому что несли их собственные ноги, вели собственные глаза... В памяти опять всплыли строки: «Ты будешь долго жить...»

Наступило утро, и мир посветлел... В глазах больных опять засветилась вера в завтрашний день.

Во время завтрака по радио, как всегда, передавали утренний концерт. Султан задумчиво сидел у окна, не замечая, что у него давно уже простыл чай.

— ...А теперь послушайте песни, исполненные в разные годы Назымом Кадыровым,— объявил диктор.

Султан встрепнулся. Назым-ака будет петь. Но почему сказали «исполненные песни»? Обычно говорят «песни в исполнении такого-то». Наверное, просто оговорились...

Ему показалось, что Назым Кадыров никогда еще не пел так проникновенно. А может быть, сам Султан никогда не слушал их так сосредоточенно.

Словно яркий лучик проник в сгустившийся сумрак последних дней. Вернувшись в палату, он заговорил о чем-то с лежащим на соседней койке дядей Фимой. Тот, увидев просветлевшее лицо соседа, ни разу за два дня не улыбнувшегося, обрадовался, как ребенок, отчего у Султана еще больше поднялось настроение.

Дядя Фима тут же не преминул рассказать анекдот из нескончаемого цикла о сумасшедших.

— Звонят в сумасшедший дом: «Доктор, пожалуйста, пригласите к телефону больного из десятой палаты». — «К сожалению, больной из десятой палаты сегодня утром сбежал», — отвечает доктор. И тут в трубке раздается: «Вот здорово! Значит, мне действительно удалось бежать».

Все засмеялись...

— Я очень люблю слушать анекдоты, но никогда не запоминаю их, — прислонился Султан к подушке.

— Я тоже быстро забываю, — сказал дядя Фима. — А этот я вычитал вчера в «Вечерке». Там еще есть. Хотите почитать? — он вытащил из ящика тумбочки замасленную газету. — Жена вчера принесла, колбасу завернула...

Султан прилег и развернул газету. «Субботняя страница»... «Полезные советы»... «Это интересно»... «Вредно ли ореховое дерево?»... Странно... Ага, вот «Давайте посмеемся». Ну что ж, давайте. В остальных анекдотах потуги на юмор выглядели еще более нелепо... Он зевнул, начал рассматривать четвертую страницу. Так, «Реклама и объявления»? Хорошо. «И чисто, и прохладно...» Должно быть, кондиционеры. «Утерянные чистые бланки... считать недействительными...» «С прискорбием сообщаем...» Это вот плохо. Опять двое ушли из жизни. Эх, жизнь!.. Что, что?.. Не может быть!

Султан, как ужаленный, соскочил с места, подобрал с пола выпавшую из рук газету, не веря глазам, прочел еще раз: «...в связи с безвременной кончиной народного артиста Узбекистана Назыма Кадырова...»

Да как же это так?! Не может этого быть! Ведь только три дня назад. О боже!.. Назым-ака, Назым-ака... как же так?!

Дядя Фима, наблюдавший за Султаном, наклонился к нему:

— Что случилось? Вам плохо? Позвать врача?

— Нет,— Султан беспомощно опустился на кровать,— сейчас пройдет... сейчас...

— Натек-ка валидол,— сказал лежащий у окна парень по имени Саидакбар с повязкой наподобие чалмы.

Бросив таблетку под язык, Султан долго пролежал в молчании. Голова разламывалась, в сердце не было ничего, кроме горечи и отчаяния. Как же так могло случиться? Несчастный случай? Почему никто об этом не знает?

— Послушайте,— обратился он спустя некоторое время к Саидакбару,— это правда, что умер Назым Кадыров?

— Кто вы говорите? А, этот артист? Вчера во дворе я что-то такое слышал. А что, и он тоже здесь лежал?

Вопрос его остался без ответа.

Резко поднявшись, Султан вышел из палаты.

Как назло, один из автоматов во дворе совсем не работал, другой проглотил монету, но безрезультатно. Султан, выпросив у гуляющих во дворе еще одну двушку, в третий раз со злостью набрал номер.

Трубку поднял Абдулла.

— Султан-ака? Разве можно так пугать людей? Да я с ног сбился, разыскивая вас... Где вы?

— Назым-ака... Я только что прочитал...

—...

— Почему молчишь? Алло!..

— Я тоже не могу поверить,— вздохнул Абдулла.— А вы что, не знали? Откуда вы звоните, Султан-ака?

— Из больницы...— горечь не отпускала его.— Почему, Абдулладжан? Как это случилось?

— А что вы делаете в больнице?! Как вы туда попали? В какой больнице? Султан-ака, говорите скорее, сейчас я к вам приеду.

— Не беспокойся, я чувствую себя неплохо. Мне тут надо обследоваться. Я в институте нейрохирургии...

— Нейрохирургии?— испуганно переспросил Абдулла.— Султан-ака, что с вами приключилось? Что, попали в аварию?..

— Нет, нет, успокойся,— торопливо сказал Султан,— я же сказал: лег на обследование. Откровенно говоря, я не хотел, чтобы об этом узнали, но, услышав про Назыма...

— Эх, вы, Султан-ака! Ладно, я через полчаса подъеду. В какой вы палате?

Застигнутый врасплох, Султан ответил:

— Я буду ждать у ворот.

Не прошло и двадцати минут, как у ворот появился бледный, перепуганный Абдулла и, лишь увидев его целым и невредимым, несколько успокоился.

Присев на скамеечку, застланную кем-то газетой, они закурили.

— Я совсем замотался, Султан-ака, все сразу — смерть Назыма Кадырова, вы пропали неизвестно куда. Хорошо, хоть вы объявились, я уже хотел звонить вам домой, в кишлак, вот бы вышла история...

Султан как-то совершенно не подумал об этом... Да и не о том были сейчас его мысли...

— Когда это произошло?— спросил он, жадно затягиваясь.

— В пятницу... утром. После обеда похоронили...

— Но почему, отчего...— не мог подобрать нужных слов Султан.

— Сердце...— Абдулла молча уставился в землю, затем вздохнул:— Вот она какая, оказывается, жизнь. Ничего нельзя знать заранее.

— У него было больное сердце?

— Говорят, у него уже было два инфаркта... И вообще, ему запретили петь.

За забором раздался гудок, похожий на паровозный. Султан приподнял голову: откуда в центре горсда паровоз? Абсурд какой-то! Абсурд... Эх, несчастный Назым-ака!

— А что, доктора не знали!— в горле у Султана, казалось, совсем пересохло.

— Знали... и доктора, и он сам... И все-таки пел... Помните, как мы у него?

— Это ужасно,— вздохнул Султан.— Когда мы у него были, в четверг?

— Нет, в среду.

— Значит через день... Ну как же так?.. Как будто все во сне происходит... Помнишь, он читал Навои?

Абдулла молча кивнул.

— Он хотел еще перенести эти стихи на полотно. Я даже помню, как он собирался назвать свою картину: «В опавшем саду»... Может быть, ему виделся такой же сад, как вон тот.— Султан кивнул на уходившую вдаль аллею.— Он и сам в тот вечер был как опавший

сад. Не знаю, как тебе, но мне он показался в тот вечер ну просто пронзительно печальным. Неужели он предчувствовал?

— Не знаю...— Абдулла поднялся.— Может быть, и чувствовал... Прощание устроили в концертном зале «Бахор». Народу собралось — не протиснуться...

— Ну, почему ты мне не сообщил, я бы хоть ползком, но добрался бы!— вырвалось у Султана.

— А как бы я вам сообщил?— растерялся Абдулла.— Если вас нигде не найдемь...

— Ах, да...

Абдулла пристально посмотрел ему в глаза, поправил завернувшийся воротник его вельветового халата и тихо спросил:

— А теперь скажите, что вы здесь делаете?

Участливость племянника тронула Султана: «Как-никак родная кровь,— подумал он растроганно.— Сразу примчался. Нет, тело мое не останется на улице...»

— Что тебе сказать, Абдулладжан!— он проглотил подкатившийся к горлу ком.— Может быть, Назым-ака ушел из жизни вместо меня.— Глянув на опешившего племянника, хрипло выдавил:— Рак у меня,— и резко отвернулся в сторону.— Головные боли до смерти замутили...

На лице Абдуллы проступила тревога, которую он тут же постарался скрыть.

— Да вы стали настоящим паникером,— сказал он, вновь опускаясь рядом на скамейку. Султан догадался, что этими словами он хотел больше успокоить себя, чем его.— Это, конечно, ваши собственные домыслы! Вот увидите — ничего не подтвердится... Ах, Султан-ака, ну что ж вы так, а?..

Не этих ли ненужных утешений больше всего боялся Султан? Не из-за этого ли он тянул и тянул с поездкой в Ташкент, довел себя до такого состояния?

— Что ж, Абдулладжан!— сказал он наконец.— Будем уповать на судьбу. Только единственная просьба — никому пока об этом ни слова. Еще неизвестно, сколько мне придется здесь пролежать. Да и сам не очень-то суетись. У меня есть твой телефон, когда что-нибудь понадобится, я позвоню. Вот только...— он заколебался.

— Говорите, говорите, Султан-ака... Я все сделаю...— заторопился племянник.

— Не знаю, возможно ли это, но мне очень бы хотелось увидеть Кудрата...

— Кудрата-ака? Хорошо. Он, кажется, на гелиостанции работает? Я ведь тоже его не видел с тех пор, как мы встречались вместе четыре года назад.

— Да, он на прежнем месте. Где-то у меня был записан его телефон, да не знаю, куда я его подевал.

— Не беспокойтесь, найдем,— заверил Абдулла.— По-моему, это не очень далеко, километров сто...

— Не знаю!

Они распрощались, и Абдулла ушел.

Султан еще долго сидел один в больничном дворе на холодной скамейке, пока не наступила ночь и не высыпали на небе звезды.

Поднявшись, он направился к опустевшей аллее. В осыпавшемся саду стояла тишина,— всюду лежали опавшие листья, напоминая формой сердце, напоминая сердце, сердце...

«Как прекрасна жизнь! Как не хочется умирать...»

\* \* \*

Все уже спали. Султан вошел в столовую, где на столы были нагромождены перевернутые стулья, сел и задумался... Он решил написать письма... Так, на всякий случай... Мало ли что скажет профессор, что покажут анализы. Хотя он-то знает... Одно для Зумрад, другое — детям.

«Тебе, конечно, будет нелегко, Зумрад,— писал он,— но как бы ни было тяжело, оставайся чистой и честной, гордой будь, моя родная. Пускай наши дети лучше растут в нужде, пускай у тебя не будет в достатке еды, средств, чтобы накормить их повкуснее и одеть покрасивее, главное, чтобы они выросли настоящими людьми. Я ведь и раньше тебе не раз говорил: бывает, что пол-лепешки вкуснее, чем целая... Потом... ты еще молода, можешь сама распорядиться своей судьбой. Лишь бы дети...»

Не в силах продолжать это послание он поднял голову и, откинувшись на спинку стула, взглянул на темное окно.

Всюду тишина. Лишь на газовой плите в углу раздаточной беспечно попыхивает чайник, да изредка в окнах неярко промелькнут лучи фар проносящихся мимо машин.

Эх, если бы случилось чудо... Если бы...

Прежде всего он позаботился бы о могилах матери

и отца. Бывая на похоронах родственников или знакомых, он каждый раз с горечью отмечал заброшенность осевших, почти сравнявшихся с землей дорогих сердцу холмиков, и душа его исходила болью, он давал себе клятву, что «завтра же непременно...», но на завтра в суете все забывалось... Да, из жизни ушло немало и других людей, перед которыми он в долгу: Матушка, тетушка Орзу, Назым-ака... А живые? Разве мало среди них нуждающихся в его ласке и любви, справедливости и уважении? Конечно, прежде всего он постарался бы искупить свою вину перед ними. Сколько обещаний он надавал перед женитьбой Зумрад! А что из обещанного он исполнил? Если бы жизнь подарила ему шанс, он постарался бы выполнить хотя бы тысячную долю из того... Затем, неплохо было бы подумать и о себе — ведь до сих пор он жил только заботами о работе, о ней он думал, просыпаясь поутру, думал на службе, и даже возвращаясь с нее. В сущности, он только теперь понял, что работа велика, если велик сам человек, и надо не копошиться день и ночь муравьем, а, как сказал Пахлаван Махмуд, «надо рабски трудиться и беком жить!».

Но, к сожалению, чудеса происходят только в сказках...

Второе письмо писалось еще труднее. Правда, он несколько успокоился, положившись теперь полностью на судьбу, даже отчаяние как-то поутихло. Султан сожалел лишь о том, что после него некому будет по-настоящему защитить от лицемерия и обмана его Джамилю, Камилю, Сардара, поведать им о том, что не все в жизни так розово и безопасно, как кажется в детстве.

Все невысказанное, что камнем лежало на сердце именно потому, что не было высказано за пятнадцать лет самой близкой женщине, теперь изливалось в письме, которое он писал детям.

«Родные мои, сын и доченьки... Это письмо я пишу вам из больницы... Когда станете большими, прочтите его еще раз и подумайте над моими словами... Я растил вас как мог, честно трудился, не бегал от дела, и поэтому совесть моя чиста. Но, к великому сожалению, болезнь одолевает меня, и я не смогу до конца воспитывать, выучить вас так, как мне хотелось бы. Об этом я бесконечно и горько сожалею. Но я очень хотел бы, чтобы вы выросли людьми мужественными, стойкими,

вы должны научиться преодолевать любые трудности. Сардарджан, ты теперь остаешься единственным мужчиной в доме, поэтому не давай никогда в обиду своих сестер и мать. Сынок, я мечтал увидеть тебя летчиком, чтобы ты летал высоко-высоко над землей, как гордый орел. Когда вырастешь, подумай об этом. Джамиля, доченька моя милая, ты теперь остаешься за старшую, следи за сестричкой и братиком, за их учебой, поведением. Ты у меня само милосердие: у тебя приветливые глаза, нежные, тонкие пальчики, отзывчивая душа, как закончишь школу, поезжай учиться на врача, стань доктором, чтобы находить исцеление страшным болезням. Камилахон, звездочка моя, ты еще совсем малышка, тебе еще не понять этих слов, теперь Сардар будет тебе и братом и отцом. Сладкая моя, я называл тебя моим цветочком, моим солнышком, оставайся всегда такой лапушкой. Я мечтал, чтобы ты стала учительницей,— если придется тому быть, будешь учить детей родному языку...— Смахнув слезу, он продолжал:— Во все времена у всех народов отцы хотели видеть своих детей умными, честными, храбрыми. И наши отцы тоже... Но, к сожалению, не все дети придерживаются заветов своих отцов. Хватает еще мошенников, воров, взяточников, и самое ужасное, что все это происходило на ваших глазах. Боюсь, чтобы грязные дела или помыслы не запачкали ваших чистых сердец!.. Однако хочу верить, деточки мои, что ни один из вас не пойдет по такому пути, потому что я вас кормил честно заработанным хлебом и учил честности. Будьте такими всю свою жизнь, учите честности и порядочности и своих детей и внуков, повторяйте им это на каждом шагу. Всегда помните, чем больше в мире честных людей, тем меньше будет грязи и горя.

Родные мои, вы растете в замечательное время. Я уверен, что обязательно наступят еще более прекрасные дни. Но чтобы такие дни наступили скорее, каждый должен жить и трудиться по совести.

Сардарджан, Джамиляхон, Камилахон, вы мои жемчужины, которые подарила мне жизнь, будьте же всегда чисты и неподдельны, как жемчуг...»

Ранним утром с полной сеткой в палате появился Абдулла.

— Зашел по дороге на работу,— сказал он, выкла-



дывая еду.— Как вы тут? Чувствуете себя неплохо? Вечером зайду еще.

Султан, конечно же, довольный приходом племянника, стал ему выговаривать:

— Зачем! Я слава богу еще... К чему такое беспокойство?

— Это уж не ваша забота,— мягко возразил Абдулла.— Та-ак, вам что-нибудь еще надо?

— Нет. Кстати... а, ладно, потом.

— Что значит потом?— обиделся Абдулла.— Вы уж, пожалуйста, не стесняйтесь, Султан-ака. Не за жарптицей же меня посылаете?!

Султан не без колебаний вытащил из кармана конверты.

— Возьми вот эти письма. На всякий случай. Одно жене, другое — детям. Потом, если что... отдашь.

Абдулла растерялся...

— Ну, что у вас за мысли такие мрачные? Вы что, сами себе диагнозы ставите?— упрекнул Абдулла. Но тут же, смутившись, взял письма и, наскоро расправившись, ушел.

После завтрака по палате, пронеслось: «Профессор Насимов! Профессор... Профессор...».

Забегали и врачи, и сестры, и санитарки; поменяли постельное белье, вытерли до блеска подоконники и тумбочки, даже заведующий отделением дважды заглянул в дверь.

Всеобщее волнение передалось и Султану, он улегся на кровать и стал с нетерпением поглядывать на дверь.

Наконец, в двенадцатом часу дверь раскрылась и появился профессор со свитой в белых халатах. Судя по поднятой суматохе Султан ожидал увидеть свирепого исполина в очках в золотой оправе, но профессор оказался мягким старичком ниже среднего роста, с копной седых, но по-юношески густых волос.

Начался обход...

Султан, не смея шевельнуться, краешком глаза следил за Насимовым. Вот он, значит, какой. Теперь его участь в руках этого человека, вся надежда на него!

Глядя на профессора, как на святого исцелителя, Султан удивлялся все больше и больше: этот подвижный, участливый старичок, как свои пять пальцев, помнил больных, знал их имена и фамилии, место работы и, очевидно, нрав, судя по тону, который выбрал для каждого свой.

— Ну, Искандар-двурогий, как наши дела?— спросил он, подсаживаясь к Саидакбару.

На лицах больных и врачей появилась улыбка: Саидакбар попал в автомобильную катастрофу, у него был разбит череп, кость размером в четверть пальца не срослась и выпирала наружу.

— Ничего,— пробасил Саидакбар и, улыбнувшись, погладил крепко забинтованный «рог».

— Вы их еще не бодаете?— шутливо заметил профессор Насимов и, перейдя на профессиональный язык, стал о чем-то расспрашивать заведующего отделением, затем попросил медсестру снять бинты...

Султан, закрыв глаза, отвернулся к стене. Врачи между собой на непонятной терминологии принялись обсуждать что-то вслух. Саидакбар стонал...

Наконец опять послышался бодрый голос Насимова:

— Ну, полно, полно, думаете, если у вас рога, так можно кричать, нет уж, дорогой мой, кричать можно только в колодец, только в колодец!

— Ой, ой, моя голова...— негромко постанывал Саидакбар.

Султан тихонько открыл глаза.

— Как вы себя чувствуете, товарищ гвардии сержант?— Насимов уже стоял у кровати дяди Фимы.— Как ваша боевая голова?

— Вроде нормально, товарищ капитан,— тут же нашелся дядя Фима, ответив, как полагается по уставу.— Как вы съездили? Вена стоит на месте!

— Вена на месте,— подмигнул ему профессор.— В Вене, как всегда, хорошо, но и в Ташкенте неплохо.

— А раньше тоже там бывали?

— В сорок пятом. Два месяца в госпитале работал.

— Товарищ капитан, если не секрет, по какому вопросу на этот раз были?

— Ну, товарищ гвардии сержант, в вас все еще жив разведчик!— рассмеялся Насимов.— С чем я туда мог поехать, конечно же, с заботами о головах таких, как вы. Ну-с, как она у вас? Сделали пункцию? Так, хорошо, хорошо... Ну-ка, прилягте. А вы что, тоже бывали в Вене?

— Ох-ох...— дядя Фима лежа покачал головой.

— Конечно, не бывали. Где уж вам! Вы-то служили, кажется, на Дальнем Востоке! Как аппетит?..

Подошла очередь Султана.

— Что, Сабирова выписали?— спросил Насимов, подходя к кровати, где лежал Султан.

Завотделением торопливо кивнул и подал Насимову историю болезни Султана, шепнув профессору что-то на ухо.

Насимов минут пять читал развернутый лист бумаги, но Султану показалось, что прошла целая вечность.

— Ну, что ж,— сказал профессор вздохнув и оглядел его с ног до головы.— Дети есть?— спросил он неожиданно.

У Султана упало и куда-то быстро покатилося сердце.

«Ну все! Сейчас скажет: «Вызывайте их».

— Есть,— выдавил он через силу,— сын и две дочери.

— Почему вы о них не думаете?— Насимов не отрывал от него глаз.

— Как это не думаю? Думаю!— сказал Султан растерянно.

— Разве тот, кто думает о детях, так поступает? Посмотрите на себя! Мыслимо ли мужчине в вашем возрасте весить пятьдесят два килограмма! Да вы же сами себя источили живьем!— Он в сердцах повернулся к заведующему отделением.— Что анализ крови показал?— Тот протянул ему какой-то листок. Профессор недовольно закачал головой.— Плохо, приятель. Как же прикажете вас лечить?

Перед Султаном словно вспыхнул луч света...

«Лечить! Лечить?!»

— Если вы не одолеете болезнь, то она вас одолеет. Слышали когда-нибудь о Сократе? Даже зная, что через час умрет, он мечтал выучиться музыке. А Муса Джалиль в ночь перед расстрелом писал стихи.

«Ах, вон оно в чем дело! Он хочет сказать, чего ты так убиваешься? Вон какие люди ушли из жизни...»

— Как спите?

Султан приподнялся:

— Можно сказать... не сплю совсем.

— Так, сестра, запишите: этому больному прежде всего необходим покой, хорошее питание, режим. Поставьте его на усиленное питание. Тофик Мамедович!..

— Слушаюсь, Исмаил Рахимович,— заведующий отделением вытянулся, как солдат.

— Возьмите его под особый контроль. Все его снимки, анализы занесите после обхода мне. Пункцию назначили? Почему?.. Ну, хорошо...

Насимов поднялся с места. Остальные вышли вслед за ним.

— Во человек! Настоящий гвардеец!— сказал дядя Фима, подняв указательный палец, затем, вытащив из тумбочки «Беломор», поманил Султана:— Пойдем подымим?

В коридоре он на миг остановился у зеркала и, взглянув на себя, не поверил глазам. Неужели этот немощный человек он и есть? Ввалившиеся глаза, высохшее лицо, лишь нос торчит — стоит только подвязать подбородок — и готов мертвец.

«Размазня, рохля, паршивец несчастный!— выругался он про себя и, сморщившись, отошел от зеркала.— И как это еще профессор Насимов принял тебя за человека?»

После обеда появился атлетического сложения парень в сером халате с засученными по локоть рукавамн.

— Мурадов, на пункцию,— сказал он громко.

Султан был уже наслышан об ужасах этой процедуры — из его позвоночника должны были взять жидкость на пробу,— он похолодел и безнадежно, как на плаху, поплелся за парнем.

Пропахшая лекарствами ярко освещенная комната напоминала операционную, столики с инструментами, высокая кушетка — все было накрыто стерильными простынями.

Его встретили еще один рослый молодой человек и круглолицая медсестра. Когда Султану предложили раздеться и лечь на кушетку, по спине у него побежали мурашки.

...В палату его привезли на каталке и, осторожно переложив животом вниз на кровать, велели не двигаться,— настоящие страдания начались только теперь.

А в палате каждый был занят собой, своими маленькими заботами: кто-то пил чай, кто-то стонал, кто-то спал, закрыв лицо полотенцем, а лежащий у двери черный, как негр, таксист Уммат, усевшись по-восточному на свою скрежещущую пружинами кровать, что-то рассказывал и орал при этом, как на базаре:

— ...Смотрю, на часах половина третьего. Пошел, открыл ворота, и как только он переступил порог, я ему врезал по морде. Он даже завопил поганец. Из рта так и несет перегаром. «Как вы смеете, папаша, меня бить? Да у меня уже трое детей!»— кричит. Услышал я это и еще больше вскипел. «Ах, твою мать!— говорю.— Вспомнил про детей? Да пусть у тебя их хоть десять будет, я тебя до смерти изобью, если не будешь вести себя по-человечески». Я уже давно чуял неладное, а тут узнал, что он похаживает к одной сучке на Чиланзаре. «Ах ты мерзавец,— думаю,— дома у тебя жена как молодая луна, дети — чистое золото...»

— Да, круто вы с ним обошлись — слышался хриплый голос Саидакбара из другого угла.

— Еще бы не круто! Пусть попробует не послушаться отца родного. Сразу смиренным стал, как обезженый ослик муллы. Вон, сами видите, в день по три раза прибегает.— Кровать под Умматом-ака внушительно заскрипела.— Если не держать парня в ежовых рукавицах...

Дверь открылась и закрылась, кто-то, очевидно, вышел из палаты.

Дядя Фима опять гринялся рассказывать анекдоты. Откуда-то доносились звуки играющего радиоприемника.

«Неужели я так и умру, не увидев своих детей, не простившись с друзьями, не услышав их голосов? Да ведь я еще не насытился этой жизнью! Не насытился, не насытился!»

Он почувствовал, что в палате вдруг стало тихо. Кто-то подошел к нему, приложил ко лбу ладонь, затем тихо, будто боясь, как бы кто не услышал, прошептал:

— Горит, горит весь. Бредит...

Султан не проронил ни звука,— он будто отдалялся куда-то, уходил или улетал в какое-то пространство и откуда-то издали чувствовал, что боль в его горящем теле и раскалившемся мозгу сменяется каким-то оцепенением, которое постепенно заглатывает его...

Утром он открыл глаза и увидел подол кожаного пальто и пару высоких ботинок на толстой подошве. Кто-то у его изголовья, примостившись на стуле и прислонившись к подоконнику, разговаривал с невидимым

собеседником. Грубоватый, будто немного простуженный голос был очень знакомым и бесконечно дорогим. Султан, утонув лицом в подушке, силился вспомнить этого человека.

«Кто это? Чей это голос? О боже, такой знакомый! Вчера вечером... говорил Уммат-ака! А кто же это?»

— Кажется, проснулся,— склонился к нему кто-то.

«Саидакбар! А рядом кто?»

Он краем глаза попытался дать понять, что уже не спит, и слабо улыбнулся.

— Проснулся?— Человек в кожаном пальто легко поднялся и тоже склонился над ним.— Ну, это уж слишком, дружище. И медведь столько не спит! Как себя чувствуешь, кукусултан?

«Кудрат!— Сердце Султана забилося быстро-быстро.— Пришел, пришел-таки, друг мой, дорогой ты мой!»

Он печально улыбнулся, вытащил из-под одеяла руку и протянул ему.

Кудрат заграбастал его кисть своими, с лопату, ладонями, бережно обнял его вздрагивающие плечи, коснулся губами его обросшей щеки: лицо Султана обдало теплым дыханием. «Вот, оказывается, и такое бывает в жизни: лежу и страдаю. Кто гадал, что меня так скоро постигнет беда. Я так боялся, что уйду из жизни, так и не увидев тебя. Но, к счастью, свиделись, и есть теперь возможность у меня попрощаться с тобой, мой верный друг».

Очевидно, Кудрат прочитал эти мысли в его глазах, он не вынес взгляда друга и, будто поправляя ему одеяло, отстранил свое лицо.

— Когда ты приехал?— спросил Султан, заметив это.

— Вечером.

— Я спрашиваю, когда ты пришел в больницу?

— Я тоже говорю о больнице. Пришел вечером, а ты спишь. Хоть ухо тебе отрежь, не почувствуешь.

«Все тот же Кудрат, только волосы седые, да морщинки на лице, но все такой же неугомонный...»

— У тебя тут доктор вредный... Не разрешил долго сидеть. Говорит, первый день по-настоящему заснул. А что ему не спалось, спрашиваю я, не новобрачный ведь, небось внуки уже есть, можно бы и поспать,— подмигнул ему Кудрат.— Ну мы и ушли вместе с Абдуллой.

— А ты... откуда узнал? Абдулла, что ли, поэзонил?

— Как же не узнаешь? Вчера по радио сообщили, а сегодня в газетах напечатано: его превосходительство Султан Мурадов с дружеским визитом и на отдых приехал в Ташкент, где он собирается лечить свою отказавшуюся работать голову. Я, конечно, страшно удивился. Странно, говорю сам себе, как же Султан собирается лечить голову, когда у него ее и вовсе не было. Долго я мучился над этим вопросом. Слушай, разве у тебя когда-нибудь была голова?

В палате со всех сторон послышались смешки. Кудрат же сидел прямо и молча, без тени улыбки.

— Болтай, болтай,— сказал Султан, тоже невольно улыбнувшись.— Как твои дети? Манзура как поживает?

Кудрат серьезнейшим образом изобразил удивление и быстро-быстро захлопал глазами.

— А кто ее знает, ничего, наверное...

— А ты разве не из дома приехал?

— Из дома я выехал неделю назад. Сославшись, кстати сказать, на тебя, так что если вдруг зайвится сюда моя благоверная, учти, я уже неделю у твоего изголовья. Не забудь, пожалуйста!

— Ну дает!— громко расхохотался Уммат-ака.

— Только этого мне не хватало,— тихо засмеялся Султан.— Уммат-ака, я бы не заболел и не слег, если бы не жил когда-то шесть лет в одной комнате с этим типом. Вот он мне тогда и...— медленно проговорил Султан.

— Слушай, а разве тогда у тебя была голова?— спросил опять Кудрат и украдкой взглянул на часы.

— Эх вы, молодцы!— Уммат-ака, заскрипев кроватью, поднялся с места и обратился к Кудрату:— Ваш друг, оказывается, тоже умеет смеяться. Вы уж теперь почаще к нему приходите.

— Ладно, если жена отпустит,— сказал Кудрат серьезно.

— А что мужчине жена!— вспльчиво возразил Уммат-ака.

— Э, не слушайте его, у него жена вовсе не такая,— произнес, не двигаясь, Султан.

— Ты говоришь о первой, мой друг,— вздохнул Кудрат.

— Как, у тебя есть и вторая, злосчастный?!

— А ты не знал? Ну, конечно, встречаемся раз в сто лет... Ох, и не повезло мне, дружище! Ни на минуту никуда не отпускает. Вот и к тебе еле-еле вырвался...

— Правда?— недоверчиво произнес Султан.— Где ты такую отхватил?

— Жизнь... понимаешь ли, серьезная штука,— Кудрат, понизив голос, нагнулся к нему.— Сам знаешь, дело мужское, вот и нарвался... А теперь не знаю, как избавиться.

— Ну, не печальтесь, всякое бывает в жизни,— подбодрил его таксист.

— Это на тебя не похоже. Что же это тебе так не повезло?— Султан через силу покачал головой.— Кто она есть, какая из себя? Я ее знаю? Скажи хотя бы, как зовут?

— Может, и знаешь,— проговорил Кудрат все еще виноватым тоном. А зовут ее... имя у нее, пожалуй, имеется... Зовут эту бабу «гелиостанция».

— Что?— переспросил Султан, не веря своим ушам.

— Гелиостанция ее зовут...

Султан расхохотался, он так затрясся от смеха, что спину пронзила дикая боль,— он едва не потерял сознание.

— Ты неисправим!— стонал он. Затем громко пояснил удивленным слушателям:— Кудрат строит гелиостанцию, ее он и имел в виду.

— Вот тебе и на!— Умат-ака, разочарованный, вышел в коридор с чайником в руке.

— Все-таки закончил ее?— спросил Султан, вглядываясь в загорелое лицо друга.

— Да-а,— воодушевился Кудрат.— Вот это можно назвать стройкой! По телевизору показывали, может, видел?

— Видел.— Султан вдруг вспомнил Заркурган, свою работу, незаконченные дела и загрустил.— А я вот лежу...

— Ну и лежи,— сказал Кудрат, будто не заметив изменившегося выражения на лице друга.— Говорят, ты тут в панику ударился?

— Это не паника...

— Ну, если не паника, то, во всяком случае, ты кое-кому устроил переполох. Сдурел, что ли? Я тебе одно скажу: на том свете строителя ожидает безработица: рай давным-давно уже построен, и капитальный ремонт наверняка раза три уже проводился. А если думаешь о



преисподней, то преисподняя и есть преисподняя, кому там вздумается что-нибудь строить? Поэтому, дорогой, ты и думать брось о смерти. Останешься без работы, понял?

— Ладно,— сказал Султан.

— И потом, ты уже, кажется, совсем забыл о нашем уговоре.

— Каком уговоре?

— Ну вот, я же говорил, что у тебя с самого начала не было головы, а ты еще обижаешься. «Какой уговор?» Мы с тобой собирались породниться. Забыл? Эх, ты, куксултан — зеленая слива!

— А-а...— Султан просветлел.

— Может, ты уже раздумал? Мой сын уже с меня ростом, не мудрено, если скоро потребует себе жену. Кстати, а дочка у тебя красивая? Чего ты улыбаешься?

— Приедешь сватать, увидишь.

— Итак, догадываюсь,— он придвинул стул поближе.— Хорошо, если она пошла в Зумрад, а если на тебя емахивает, то тут, брат... а!

— А сын твой в кого пошел?— сверкнул глазами Султан.

— В меня, конечно, не в соседа же!— произнес Кудрат горделиво и опять взглянул на часы.

— Торопишься?

Кудрат засмеялся:

— Я-то не тороплюсь, время торопится, брат, время. Через час я должен быть в аэропорту.

Султан вопросительно взглянул на него:

— Провожаешь кого-нибудь?

— Нет, на этот раз меня провожают.— Кудрат, шурша бумагой, раскрыл большой пакет, стоявший у его ног, и, обернувшись к Саидакбару, подозвал его:— Братец, пожалуйста, тут я кое-что принес, угостите всех и сами попробуйте. Ну, Султан, дружище, мне пора, разреши откланяться.

— Куда ты хоть летишь?— спросил Султан растерянно.— В Москву?

Кудрат покачал головой:

— Тут вот какое дело, друг: я еду на два года в командировку. В Афганистан.

Султан опешил:

— Прямо сейчас?!

— Через час,— сказал Кудрат и поднялся с места.

Взял со спинки стула белый халат, набросил его на плечи и нагнулся к нему.— Такая сейчас обстановка... брат. И не посидели мы с тобой, как водилось у нас.

— Кудрат, дружище, ведь это значит...— Султан не смог продолжить дальше.

— Ничего. Мы с тобой еще наговоримся вдоволь. Сватами будем!— Кудрат прижался лицом к его лицу, поцеловал в один висок, потом в другой.— Здорово у нас должно получиться! Ладно, дорогой, вот тебе какой наказ будет: выздоравливай как можно быстрее, поезжай домой и принимайся за воспитание моей будущей невестки. Понял? Ладно, счастливо тебе оставаться! До свидания. Как только прибуду на место, напишу тебе.

— Прощай...

Кудрат попрощался со всеми, пожал каждому руку, пожелал выздоравливать и, еще раз обернувшись к другу, на цыпочках вышел из палаты. Вздрагивающих плеч Султана он уже не видел...

\* \* \*

Прошли три дня и три ночи, похожие на три долгих года.

Уммата-ака выписали, и он, попрощавшись со всеми, ушел домой.

Саидакбара прооперировали, но в палату он не вернулся, по словам дяди Фимы, лежал в отдельной палате до улучшения состояния.

Султан все так же лежал ничком, ощущая ломоту во всех своих затекших суставах и думая о том, какое это счастье, когда человек может двигать руками и ногами как хочет.

Ближе к обеду в палату вошел Насимов. На этот раз он был почему-то один, даже без Тофика Мамедовича. Он прошел прямо к Султану и, поздоровавшись с ним, спросил:

— Где ваш сосед?— указав на кровать дяди Фимы.

— Пошел в столовую.

— Ну-с, как дела?— профессор внимательно оглядел его.— Лежите?

— Лежу,— произнес Султан, сжав пересохшие губы.

— А почему вы строите бракованные дома?— спросил Насимов, устраиваясь на стуле.

— О каких домах вы говорите?

— Как о каких, да о всех. Вы же строитель... Мой младший зять получил на Юнусабаде квартиру. Вот уже три месяца не может туда въехать. Ни рам, ни дверей, батареи не поставлены, санузел, говорит, не действует. Разве так можно?

Султан покраснел, как будто сам строил этот злощастный дом.

— Бывает иногда...

— Поэтому-то у вас и головы больные! Нет, не смейтесь, это не предрассудки: если вы, допустим, кого-то безвинно обидели, то обязательно в один прекрасный день вам придется — гласно или негласно — отвечать за свой проступок. Геродот назвал это «законом возмездия». — Насимов снял с него одеяло. — Ну-ка, давайте посмотрим... Так-ак, откуда вам известен ваш диагноз?

Султан смущенно отвел глаза.

— Когда я лежал в областной больнице... Как-то ночью вышел в коридор. На столе дежурной медсестры лежала моя «история болезни», я и прочел. Конечно, я поступил не совсем правильно...

— С тех пор вы ударились в панику и стали есть себя поедом, верно? — Насимов вытащил из нагрудного кармана листочек бумаги. — В областной больнице вас смотрел Алиаскаров, врач высшей категории. Не знаете случайно, где он учился — в Ташкенте или Самарканде?

— Не знаю, — ответил Султан с беспокойством. — А в чем дело?

— Если он учился в ТашМИ, — произнес профессор рассеянно, будто не слыша его слов, — то и я, наверное, был его учителем. А жаль!

Султан в растерянности попытался приподнять голову, но профессор жестом приказал лежать спокойно.

— Придется еще немного потерпеть, шах Султан! — улыбнулся он. — Как давление? У меня вот давление подскочило.

— Почему?

— Да как же! Мы разъезжаем по Венам. Выступаем на международных конгрессах! А здесь наши ученики-недоучки... — Профессор, покачав головой, поднялся с места. — Между прочим, ваш диагноз не подтвердился, дорогой...

Султан растерялся не от слов, профессора, а от его тона.

— Почему не подтвердился?— выпалил он.

Насимов удивленно посмотрел на него исподлобья.

— А что, должен был подтвердиться?

— Нет, извините... Но...— Султан, окончательно смешавшись, чуть было не вскочил на ноги. Профессор насилиу удержал его.— Извините...— повторил он глухо.— Я так долго мучился!

— У вас совершенно другая болезнь,— сказал профессор.— Лептоменингит.— Это не так уж страшно. Вы еще долго будете жить.

Султану показалось, что сердце его остановилось. Он испуганно приподнял голову. Голова кружилась, закружились потолок, стены... «Я буду долго жить... Мой вешний луг кружит веселых жеребят... Я буду долго жить...»

Голос стоявшего уже у порога Насимова прозвучал будто с другой планеты:

— ...Теперь терпение и терпение. Полечим вас как следует... А потом... Когда зацветет миндаль, отпустим домой... Только дома вы, уж пожалуйста, стройте лучше...

Дверь тихо затворилась...

«Жизнь вернулась,— шептал Султан... Из глаз его выкатились две быстрые капли и сбежали к подбородку.— Вернулась!..»

Теперь надо было дорожить каждой минутой этой прекрасной, желанной жизни— этого несравненного, великого чуда,— он мысленно давал себе такой обет. Впереди— жизнь! Ну, а бывшие его ошибки, а память... А письма, врученные Абдулле?..

Вспомнив встречи и расставания, горечь и боль, надежды и отчаяние последних дней, Султан почувствовал неудержимую тоску по Зумрад, детям, дому.

«Неужели я мог умереть, так и не увидев их!.. Нет, нет, успокойся, тебе нельзя, тебе вредно так волноваться!»— неслышно вздохнув, он закрыл глаза.

Скоро наступит весна. Весенняя поросль зашагает по земле. Мир помолодеет. Сначала расцветет миндаль, затем абрикосы, персики... В один из таких прекрасных дней он выпишется из больницы. Останутся в прошлом и эта душная палата, и боль, и страдания, и тогда, распахнув объятия, он скажет родным и друзьям: «Здравствуйте, дорогие мои! Я заново родился! Я опять вернулся в жизнь!»

А там... снова потечет жизнь с радостями и забота-

ми, удачами и неудачами. Он чувствует: теперь он будет жить долго. Он еще посадит не одно дерево, вырастит маленьких дочерей и сыновей, построит множество домов, обретет новых друзей... Когда же придет Абдулла? Надо забрать свои письма...

В комнате стояла глубокая тишина...

Султан понял: он больше не в состоянии так лежать, это выше его сил.

«Надо встать! Надо встать!»

В сердце и висках отдалось: «Надо встать! Надо... встать!..»

Опершись на руку, он медленно приподнялся. На лбу выступили бисеринки пота, но потолок и стены палаты не закружились, как недавно, а остались на месте, как им и было предназначено с 7 века...

## СОДЕРЖАНИЕ

Эркин АГЗАМОВ. Ответ. <i>Перевод И. Цесарского</i> . . . . .	3
Асад ДИЛМУРАДОВ. Таинственные ступени. <i>Перевод Э. Амида</i> . . . . .	83
Мурад МУХАММАД-ДОСТ. Отставной. <i>Перевод автора</i> . . . . .	237
Хайриддин СУЛТАНОВ. В один прекрасный день. <i>Перевод Р. Азимовой</i> . . . . .	355

## ОТВЕТ

Эркин Агзамов. **Ответ**  
Асад Дилмурадов. **Таинственные ступени**  
Мурад Мухаммад-Дост. **Отставной**  
Хайриддин Сулганов. **В один прекрасный день**

## ПОВЕСТИ

Перевод с узбекского

Рецензент — В. Д. Новонрудский

Редактор Л. Казакова.  
Художник А. Бобров.  
Художественный редактор А. Кива.  
Технический редактор Э. Сандов.  
Корректор К. Байходжаев.

ИБ № 3540

Сдано в набор 09.01.87. Подписано в печать 08.09.87.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Гумага типографская № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-оттисков 23,52. Уч.-изд. л. 25,05. Тираж 30000. Заказ № 61. Цена 2 р. Договор № 182—86.

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 700129, Ташкент ул. Навои, 30.

Отпечатано в типографии № 2 ТППО «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 702800, г. Янгйуль, ул. Самаркандская, 44

Ответ: /Сборник/: Пер. с узб.— Т.: Изд-во лит. и искусства, 1987.— 448 с.

Содерж.: Ответ /Э. Эгзамов. Таинственные ступени/ А. Дилмурадов. Отставной/М. Мухаммад-Доста. В один прекрасный день/Х. Султанов: Повести.

В сборник вошли повести узбекских писателей Э. Агзамова «Ответ», А. Дилмурадова «Таинственные ступени», М. Мухаммад-Доста «Отставной», Х. Султанова «В один прекрасный день».

Все вместе они дают возможность представить наиболее примечательные тенденции молодой узбекской прозы. В своих произведениях авторы поднимают проблемы, связанные с делами и устремлениями человека в переломные этапы его жизни. Важные темы сегодняшнего дня раскрываются через характеры, психологию и поступки героев, настоящих и мнимых.